

*Dubka*

Н О В Ы Й  
М И Р

8



1958

# ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 8

Август, 1958 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Джамиля, повесть Перевела с киргизского А. Дмитриева	3
ФИММА КОЗАКОВА — <i>Мать В клубе плачет старый партизан... Здесь солнце нежаркое светит..</i> Стихи	32
Е. РЖЕВСКАЯ — <i>Спустя много лет</i> , повесть	35
ПЕТРУСЬ БРОВКА — <i>Из лирических стихов.</i> Перевели с белорусского Н. Рыленков, М. Василевский	104
МАРК МАКСИМОВ — <i>Разведчица</i> , стихи	106
ТАИР ЖАРОКОВ — <i>Степь моя</i> , стихи. Перевел с казахского Александр Коренев	108
С. БОНДАРИН — <i>Малая земля.</i> Из рассказов военных лет	109
В. ФИРСОВ — <i>Август</i> , стихи	122
ВИКТОР НЕКРАСОВ — <i>Первое знакомство.</i> Из зарубежных впечатлений. Окончание	123
<b>ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА</b>	
МИЛАН ЯРИШ — <i>Спокойная жизнь.</i> Перевел с чешского Ю. Молочковский	160
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
И. ОСИПОВ — <i>У нефтяников Татарии</i>	170
<b>ПРОБЛЕМЫ НАУКИ</b>	
А ПЛАХОТНИК, кандидат географических наук — <i>Международный геофизический год</i>	214
К. ЖУКОВ, кандидат архитектуры — <i>На подмогу строителям идет химия</i>	225
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ВЕРА СМИРНОВА — <i>О детях и для детей</i>	232
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	239
А. Злобин. На главном направлении. — Ю. Капусто. Страницы юношеского дневника. — Игорь Поступальский. Новый сборник Максима Рыльского. — Евг. Босняцкий. Поиски ненависти. — В. Лакшин. Несостоявшийся поединок. — Г. Бялый. В. Архипов против И. Тургенева.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	
А. Литвак. Человек и его дело.— И. Браславский. Гордость Советской страны.— Кандидаты исторических наук С. Марлинский, И. Портной. Очерк истории города-героя.— И. Халифман. Ценный вклад в литературу о жизни Ч. Дарвина.— Кандидат исторических наук Вал. Зорин. В американском «раю».— Г. Драмбяни. Рыцари нефтяного бизнеса.— Сергей Львов. Добрый спутник,	260
<b>ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО</b>	277
Кандидат филологических наук С. Орлов. Вальтер Скотт в переписке с Денисом Давыдовым,	.
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285

---

---

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

## ДЖАМИЛЯ

*Повесть*

С киргизского

**В**от опять стою я перед этой небольшой картиной в простенькой рамке. Завтра с утра мне надо ехать в аил, и я смотрю на картину долго и пристально, словно она может дать мне доброе напутствие.

Эту картину я еще никогда не выставлял на выставках. Больше того, когда приезжают ко мне из аила родственники, я стараюсь запрятать ее подальше. В ней нет ничего стыдного, но это далеко не образец искусства. Она проста, как проста земля, изображенная на ней.

В глубине картины — край осеннего поблекшего неба. Ветер гонит над далекой горной грядой быстрые пегие тучки. На первом плане — красно-бурая полыннная степь. И дорога черная, еще не просохшая после недавних дождей. Теснятся у обочины сухие, обломанные кусты чия. Вдоль размытой колеи тянутся следы двух путников. Чем дальше, тем слабее проступают они на дороге, а сами путники, кажется, сделают еще шаг — и уйдут за рамку. Один из них... Впрочем, я забегаю немного вперед.

Это было в пору моей ранней юности. Шел третий год войны. На далеких фронтах, где-то под Курском и Орлом, бились наши отцы и братья, а мы, тогда еще подростки лет по пятнадцати, работали в колхозе. Тяжелый, повседневный мужицкий труд лег на наши неокрепшие плечи. Особенно жарко приходилось нам в дни жатвы. По целым неделям не бывали мы дома и дни и ночи пропадали в поле, на току или в пути на станцию, куда свозили зерно.

В один из таких знойных дней, когда серпы, казалось, раскалились от жатвы, я, возвращаясь на порожней бричке со станции, решил завернуть домой.

Возле самого брода, на пригорке, где кончается улица, стоят два двора, обнесенные добротным саманным дувалом. Вокруг усадьбы возвышаются тополя. Это наши дома. С давних пор живут по соседству две наши семьи. Я сам — из Большого дома. У меня два брата, оба они старше меня, оба холостые, оба ушли на фронт, и давно уже нет от них никаких вестей.

Отец мой, старый плотник, с рассветом совершал намаз и уходил на общий двор, в плотницкую. Возвращался он уже поздним вечером,

Дома оставались мать и сестренка.

В соседнем дворе, или, как называют его в аиле, в Малом доме, живут наши близкие родственники. Не то наши прадеды, не то наши прапрадеды были родными братьями, но я называю их близкими потому, что жили мы одной семьей. Так повелось у нас еще с времен кочевья, когда деды наши вместе разбивали стойбища, вместе гуртовали скот. Эту традицию сохранили и мы. Когда в аил пришла коллективизация, отцы наши построились

по соседству. Да и не только мы, а вся Аральская улица, протянувшаяся вдоль аила в междуречье, — наши одноплеменники, все мы из одного рода.

Вскоре после коллективизации умер хозяин Малого дома. Жена его осталась с двумя малолетними сыновьями. По старому обычаю родового адата, которого тогда еще придерживались в аиле, нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши одноплеменники женили на ней моего отца. К этому его обязывал долг перед духами предков, ведь он доводился покойному самым близким родственником.

Так появилась у нас вторая семья. Малый дом считался самостоятельным хозяйством: со своей усадьбой, со своим скотом, но по существу мы жили вместе.

Малый дом тоже проводил в армию двух сыновей. Старший, Садык, ушел вскоре после того, как женился. От них мы получали письма — правда, с большими перерывами.

В Малом доме остались мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Садыка. Обе они с утра до вечера работали в колхозе. Моя младшая мать, добрая, покладистая, безобидная женщина, в работе не отставала от молодых, будь то рытье арыков или поливы, — словом, прочно держала в руках кетмень. Судьба, словно в награду, послала ей работающую невестку. Джамия была под стать матери — неутомимая, споровистая, только вот характером немного иная.

Я горячо любил Джамию. И она любила меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных семей, я бы, конечно, звал ее Джамия. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, а она меня «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким и разница у нас в годах совсем невелика. Но так уж заведено в аилах: невестки называют младших братьев мужа «кичине бала» или «мой кайни».

Домашним хозяйством обоих дворов занималась моя мать. Помогала ей сестренка, смешная девочка с ниточками в косичках. Мне никогда не забыть, как усердно она работала в те трудные дни. Это она пасла за огородами ягнят и телят обоих дворов, это она собирала кизяк и хворост, чтобы всегда было в доме топливо, это она, моя курносая сестренка, скрашивала одиночество матери, отвлекая ее от мрачных дум о сыновьях, пропавших без вести.

Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери. Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молоденькой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтит их память, управляя семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались, как с самой почтенной, совестью и умудренной опытом хозяйкой. Всем в доме ведала мать. Отца, по правде говоря, жители аила не признавали главой семьи. Не раз приходилось слышать, как люди по какому-либо поводу говорили: «Э-э, да ты лучше не иди к устаке, — так почтительно у нас называют мастеровых людей, — он только и знает, что свой топор. У них старшая мать всему голова — вот к ней и иди, так оно вернее будет...»

Надо сказать, что я, несмотря на свою молодость, частенько вмешивался в хозяйственные дела. Это было возможно только потому, что старшие братья ушли воевать. И меня чаще в шутку, а порой и серьезно, называли джигитом двух семей, защитником и кормильцем. Я гордился этим, и чувство ответственности не покидало меня. К тому же мать поощряла мою самостоятельность. Ей хотелось, чтобы я был хозяйственным и смекалистым, а не таким, как отец, который день-деньской молча строгаёт и пилит.

Так вот, я остановил бричку возле дома, в тени под вербой, ослабил постромки и, направляясь к воротам, увидел во дворе нашего бригадира

Орозмата. Он сидел на лошади, как всегда с подвязанным к седлу костью-лем. Рядом с ним стояла мать. Они о чем-то спорили. Подойдя ближе, я услышал голос матери:

— Не быть этому! Побойся бога, где это видано, чтобы женщина возила мешки на бричке? Нет, милый, оставь мою невестку в покое, пусть она работает, как работала. И так света белого не вижу, ну-ка, попробуй управься в двух дворах! Ладно еще дочка подросла... Уж неделю разогнуться не могу, поясницу ломит, словно кошму валяла, а кукуруза вон томится — воды ждет! — запальчиво говорила она, то и дело засовывая конец тюрбана за ворот платья. Она делала это обычно, когда сердилась.

— Ну что вы за человек! — проговорил в отчаянии Орозмат, покачивавшись в седле. — Да если бы у меня нога была, а не вот этот обрубок, разве стал бы я вас просить? Да лучше бы я сам, как бывало, накидал мешки в бричку и погнал лошадей!.. Не женская это работа, знаю, да где их взять, мужчин-то?.. Вот и решили солдаток упросить. Вы своей невестке запрещаете, а нас начальство последними словами кроет... Солдатам хлеб нужен, а мы план срываем. Как же так, куда это годится?

Я подходил к ним, волоча по земле кнут, и, когда бригадир заметил меня, он необычайно обрадовался — видно, его осенила какая-то мысль.

— Ну, если вы так уж боитесь за свою невестку, то вот ее кайни, — с радостью указал он на меня, — никому не позволит близко к ней подойти. Уж можете не сомневаться! Сеит у нас молодец. Эти вот ребятки — кормильцы наши, только они и выручают...

Мать не дала бригадиру договорить.

— Ой, да на кого же ты похож, бродяга ты! — запричитала она. — А волосы-то, зарос весь космами... Отец-то наш тоже хорош, побрить голову сыну время никак не найдет...

— Ну вот и ладно, пусть сынок побалуется сегодня у стариков, голову побреет, — ловко подхватил Орозмат в тон матери. — Сеит, оставайся сегодня дома, лошадей подкорми, а завтра с утра дадим Джамиле бричку: будете вместе работать. Смотри у меня, отвечать будешь за нее. Да вы не тревожьтесь, байбиче, Сеит не даст ее в обиду. И если уж на то пошло, отправлю с ними Данияра. Вы же его знаете: безобидный такой малый... ну, тот, что недавно с фронта вернулся. Вот и будут втроем на станцию зерно возить, кто же посмеет тогда тронуть вашу невестку? Верно ведь, Сеит? Ты как думаешь, вот хотим Джамилю возницей поставить, да мать не соглашается, уговори ты ее.

Мне польстила похвала бригадира и то, что он советуется со мной, как со взрослым человеком. К тому же я сразу представил себе, как будет хорошо вместе с Джамилей ездить на станцию. И, сделав серьезное лицо, я сказал матери:

— Ничего ей не сделается, что, ее волки съедят, что ли?

И, как завзятый ездовой, деловито сплюнув сквозь зубы, я поволок за собой кнут, степенно покачивая плечами.

— Ишь ты! — изумилась мать и вроде бы обрадовалась, но тут же сердито прикрикнула: — Я вот тебе покажу волков, тебе-то откуда знать, умник какой нашелся!

— А кому же знать, как не ему, он у вас джигит двух семейств, гордиться можете! — вступился за меня Орозмат, опасливо поглядывая на мать, как бы она опять не заупрямилась.

Но мать не возразила ему, только как-то сразу поникла и проговорила, тяжело вздохнув:

— Какой уж там джигит, дитя еще, да и то день и ночь пропадает на работе... Джигиты-то наши ненаглядные бог знает где! Опустели наши дворы, точно брошенное стойбище...

Я уже отошел далеко и не расслышал, что еще говорила мать. На ходу хлестнул кнутом угол дома так, что пыль пошла, и, не ответив даже на

улыбку сестренки, которая, прихлопывая ладошками, лепила во дворе кизяки, важно прошел под навес. Тут я присел на корточки и не спеша вымыл руки, поливая себе из кувшина. Войдя затем в комнату, я выпил чашку кислого молока, а вторую отнес на подоконник и принялся крошить туда хлеб.

Мать и Орозмат все еще были во дворе. Только они уже не спорили, а вели спокойный негромкий разговор. Должно быть, они говорили о моих братьях. Мать то и дело вытирала припухшие глаза рукавом платья и, задумчиво кивая головой в ответ на слова Орозмата, который, видно, утешал ее, смотрела затуманенным взором куда-то далеко-далеко, поверх деревьев, будто надеялась увидеть там своих сыновей.

Поддавшись печали, мать, кажется, согласилась на предложение бригадира. А он, довольный, что добился своего, стегнул лошадь камчой и выехал со двора быстрой иноходью.

Ни мать, ни я не подозревали тогда, конечно, чем все это кончится.

Я нисколько не сомневался, что Джамия управится с пароконной бричкой. Лошадей она знала, ведь Джамия — дочь табунщика из горного айла Бакаир. Наш Садык тоже был табунщиком. Однажды весной на скачках он будто не сумел догнать Джамию. Кто его знает, правда ли, но говорили, что после этого оскорбленный Садык похитил ее. Другие, впрочем, утверждали, что женились они по любви. Но как бы там ни было, а прожили они вместе всего четыре месяца. Потом началась война, и Садыка призвали в армию.

Не знаю, чем объяснить, может оттого, что Джамия с детства гоняла с отцом табуны, — она у него была одна, и за дочь и за сына, — но в характере у нее проявлялись какие-то мужские черты, что-то резкое, а порой даже грубоватое. И работала Джамия напористо, с мужской хваткой. С соседками ладить умела, но если ее понапрасну задевали, никому не уступала в ругани, и бывали случаи, что и за волосы кое-кого таскала.

Соседи не раз приходили жаловаться:

— Что это у вас за невестка такая? Без году неделя, как переступила порог, а языком так и молотит! Ни тебе уважения, ни тебе стыдливости!

— Вот и хорошо, что она такая! — отвечала на это мать. — Невестка у нас любит правду в глаза говорить. Это лучше, чем скрытничать да исподтишка жалить. Ваши тихонями прикидываются, а такие вот тихони — что протухшие яйца: снаружи чисто да гладко, а внутри — нос заткни.

Отец и младшая мать никогда не обходились с Джамией с той строгостью и придирчивостью, как это положено свекру и свекрови. Относились они к ней по-доброму, любили ее и желали только одного — чтобы она была верна богу и мужу.

Я понимал их. Проводив в армию четырех сыновей, в Джамиле, единственной невестке двух дворов, они находили утешение и потому так дорожили ею. Но я не понимал своей матери. Не такой она человек, чтобы просто любить кого-нибудь. У моей матери властный и суровый характер. Она жила по своим правилам и никогда не изменяла им. Каждый год с приходом весны она ставила во дворе и окуривала можжевельником нашу кочевую юрту, которую отец сладил еще в молодости. Она и нас воспитала в строгом трудолюбии и почтении к старшим. Она требовала от всех членов семьи беспрекословного подчинения.

А вот Джамия с первых же дней, как пришла к нам, оказалась не такой, какой положено быть невестке. Правда, она уважала старших, слушалась их, но никогда не склоняла перед ними голову, зато и не язвила шепотком, отвернувшись в сторону, как другие молодухи. Она всегда пря-

мо говорила то, что думала, и не боялась высказывать свои суждения. Мать часто поддерживала ее, соглашалась с ней, но всегда решающее слово оставляла за собой.

Мне кажется, что мать видела в Джамиле, в ее прямодушии и справедливости, равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага.

— Благодарю аллаха, дочь моя, — поучала мать Джамилю, — ты пришла в крепкий, благословенный дом. Это — твое счастье. Женское счастье — детей рожать да чтобы в доме достаток был. А у тебя, слава богу, останется все, что нажили мы, старики, в могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье, — оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом, соблюдай себя!..

Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекровей: уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем беспричинно начинала смеяться, да еще так громко, радостно. А когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивая через арык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую.

А еще любила Джамиля петь, она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися в айле представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля остепенится: ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше Джамили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело, мы могли хохотать без всякой причины и гоняться друг за другом по двору.

Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие, тяжелые косы, она ловко повязывала свою белую косынку, чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей и красиво оттеняло смуглую кожу гладкого лица. Когда Джамиля смеялась, ее иссиня-черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые айльские куплеты, в ее красивых глазах появлялся невинный блеск.

Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшиеся домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. И все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер, и если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, что как бы говорил своим видом: «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее!»

В такие минуты я с нарочитой развязностью, к месту и не к месту, встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набывшись, сопел.

Парни прыскали со смеху:

— Ой, ты только погляди на него! Да никак она его джене, вот потеха-то, а мы и не знали!

Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя джене, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо.

— А вы думали, что джене на дороге валяются? — присоанившись, говорила она джигитам. — Может, у вас и валяются, а у нас нет! Пошли отсюда, кайни мой, ну вас! — И, красуясь перед ними, Джамиля гордо вскидывала голову, вызываяще поводила плечами и, уходя вместе со мной, молча улыбалась.



И досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда: «Эх ты, глупенький! Если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите — не уследите!» Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя жене, гордился ее красотой и независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не тайли друг от друга.

В те дни в аиле было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно: чего, мол, с ними канителиться, только помани пальцем — любая побежит.

Однажды на сенокосе к Джамиле стал приставать Осмон, наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени.

— Отстань! — проговорила она с болью и отвернулась. — Хотя чего от вас еще ждать, жеребцы вы табунные!

Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы.

— Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит... Чего ломаешься, небось самой до смерти хочется, а тоже — нос воротить.

Джамиля резко обернулась.

— Может, и хочется! Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу — противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать!

— Вот и я говорю! Война — ты и бесишься без мужниной камчи! — Осмон ухмыльнулся. — Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела.

Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала, поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим ненавидящим взглядом. Потом, брезгливо сплюнув, подняла с земли вилы и зашагала прочь.

Я стоял на можаре за скирдой. Увидев меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили, что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее:

— Зачем ты связываешься с такими, зачем ты с ними разговариваешь?

До самого вечера Джамиля ходила, мрачно насупившись, ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней можару, Джамиля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую она таила в себе, с размаху втыкала вилы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывала сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Можара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вил, и о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу.

Когда мы загрузили последнюю можару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра<sup>1</sup> пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт, обагрив заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просинью ранних сумерек. Джамиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее

<sup>1</sup> Тандыр — устроенная в земле, возле дома, печь с круглым отверстием, в которой пекут лепешки.

полуоткрытые губы. И тут Джамия, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще просились у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор:

— А ты не думай о нем, кичине бала, ну его! Разве это человек?.. — Джамия умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца, и, вздохнув, задумчиво продолжала: — Откуда им знать, таким, как Осмон, что у человека на душе? Никто этого не знает... Может, и нет таких мужчин на свете...

Пока я разворачивал лошадей, Джамия уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло, — может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат, может, просто развеселилась оттого, что хорошо поработала. Я сидел на жокаре, на высокой копне сена, и смотрел на Джамию. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подол ее платья. И от меня тоже вдруг отлетела грусть: «Стоит ли думать о болтовне Осмона!»

— Ну-о, пошли! — заспешил я, подхлестывая лошадей.

В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дожждаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила: братья писали письма на имя отца, айльский почтальон вручал их матери, читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что написал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в отаре. Садык постоянно начинал со слов «Послание о здравии» и затем неизменно сообщал: «Посылаю это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе: премного любимому, дорогому отцу Джолчубаю...» Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали неперенные вопросы о здоровье и благополучии аксакалов рода, близких родственников, и только в самом конце, вроде бы второпях, Садык приписывал: «А также шлю привет моей жене Джамиле...»

Конечно, когда живы отец с матерью, когда здравствуют в айле аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя, просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в айле, и это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались, да и не до того было. Ведь каждое письмо — желанное, радостное событие.

Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля негнушимися пальцами, она складывала наконец письмо в треугольник.

— А-а, дорогие мои, как талисман, мы будем хранить ваши письма! — приговаривала она дрожащим от слез голосом. — Вот ведь справляется, как там отец, мать, родичи... Да куда мы денемся, мы-то ведь у себя в айле. А каково-то вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я, и все — нам большего не надо...

Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук.

Если в это время Джамия оказывалась дома, то и ей давали прочитывать письмо. Каждый раз, когда она брала в руки треугольник, я замечал, как она вспыхивала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опуска-

лись ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг.

Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее.

— Ты что это? — говорила она, запирая сундук. — Вместо того чтобы радоваться, поникла вся! Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде — горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим... Тоскуй, но виду не показывай, в себе тай!

Джамиля молчала. Но ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил: «Ничего-то вы не понимаете, матушка!»

Письмо Садыка и на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что, бог даст, осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встрече с ним.

Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ток. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерник и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерне, но, чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, к тому же ночью никто ничего не мог заметить, но в этот раз, когда я выпряг лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на люцерник четырех лошадей. Это меня возмутило. Ведь я был хозяином пароконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторгшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошадей в покое и вернулся на ток.

Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях.

— Данике, это твои лошади в низине? — спросил я.

Данияр медленно повернул голову.

— Две мои.

— А другая пара?

— Это, как ее, Джамили, что ли, это ее лошади. Она тебе кем доводится, джене твоя?

— Да, джене.

— Бригадир сам их тут оставил, приказал присмотреть...

Как хорошо, что я не отогнал лошадей!

Наступила ночь, улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На току тоже утихло. Данияр расположился возле меня, под скирдой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку, над обрывом, да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная, угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. «Опять он задумал ночевать у реки, вот чудак!» — усмехнулся я.

Данияр недавно появился в нашем аиле. Как-то на сенокос прибежал мальчишка и говорит, что в аил пришел раненый солдат, а кто и чей, он не знает. Ох, что тут было! Ведь в аиле-то как: вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до одина, и старые и малые, гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал: может, наш брат вернулся, а может, сват? Ну и помчались косари узнать, в чем дело.

Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем айла. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три мыкался по дворам, а потом подался к казахам в Чакмакскую степь — родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад, так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что он с лихвой хлебнул горяшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как пережаты-поле, по разным краям. Он долгое время пас овец на Чакмакских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых хлопкосовхозах, потом — на Ангренинских шахтах, под Ташкентом, а оттуда ушел в армию.

Возвращение Данияра в родной аил народ встретил с одобрением. «Сколько ни мотало его по чужим краям, а вернулся — значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка, на казахский чуть сбивается, а так — говорит чисто!»

«Тулпар<sup>1</sup> за тридевять земель отыщет свой косяк. Кому не дорога своя родина, свой народ! Молодец, что вернулся. И мы довольны и духи твоих предков. Вот, бог даст, добьем германа, заживем мирно, и ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взвовется свой дымок над очагом!» — говорили старые аксакалы.

Припомнив предков Данияра, они точно установили, из какого он рода. Так появился в нашем айле «новый родич» — Данияр.

И вот бригадир Орозмат привел к нам на сенокос высокого сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать от семенящей иноходью приземистой кобыленки Орозмата. А сам бригадир рядом с длинным Данияром своим небольшим росточком и подвижностью чем-то напоминал беспокройного речного кулика. Ребята даже рассмеялись.

Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в каски он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилки. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего не пришлась нам по душе его замкнутость. Говорил Данияр мало, а если и говорил, то чувствовалось, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него какие-то свои мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хотя и глядит прямо тебе в лицо своими задумчиво-мечтательными глазами.

— Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта! — говорили про него.

Но что интересно — при такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность? Возможно, и так.

Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты, глаза смотрели печально, спокойно, и только гибкие, подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим, и тогда взлетали у него брови и глаза загорались непонятым восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это, у него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали, когда кухарка сварит еду, а Данияр взбирался на караульную сопку<sup>2</sup> и просиживал там дотемна.

<sup>1</sup> Тулпар — сказочный скакун.

<sup>2</sup> Караульная сопка — возвышенность, откуда обозревается вся окрестность. Это название осталось у киргизов со времен кочевых набегов.

— Что он там делает, на дозор поставлен, что ли? — смеялись мы.

Однажды и я, ради любопытства, полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простиралась окрест предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные, смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине.

Данияр даже не обратил внимания на мой приход; он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то не доходящие до моего слуха звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу, только не передо мной — меня он не замечал, — а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его: понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы.

Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нас Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным, бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенящаяся. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревушая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно напал страх: а вдруг снесет, вдруг смочет шалаш? Товарищи мои спали непробудным сном косарей, а я не мог уснуть и выходил наружу.

Красива и страшна ночь в поймище Куркуреу. Там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади. Они напаслись вдоволь на росистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют. А рядом, сгибаемая исхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу. Неистовым, грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно.

В такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не гложет от шума реки? Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Станный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам — никого не видеть. Пологими холмами уходят вдаль берега, в темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно.

Казалось бы, пора было уже Данияру завести в аиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь в аиле тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая аксакалам, распоряжается на пиршествах и поминках, — такие и у женщин на примете.

А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела айла, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят:

— Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет, бедняга, перебивается кое-как, ну и ладно...

Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хотелось казаться старше своего возраста, чтобы быть на одной ноге с истинными джигитами, если не прямо в лицо, то между собой постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает — и еще не просохшую наденет: она у него была одна.

Но, странное дело,— казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним запанибрата. И не потому, что он был старше нас,—подумаешь, три или четыре года разницы, с такими мы не церемонились и называли их на ты, — и не потому, что он был суров или важничал, что подчас внушает подобие уважения, нет, что-то недопустное таилось в его молчаливой, угрюмой задумчивости, и это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно.

Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на сенокосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика.

Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали.

— Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спагь не легли,— попросил я.

Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас.

— О войне, говоришь? — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил: — Нет, лучше вам не знать о войне!

Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас.

Больше Данияр ничего не сказал. Но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка на сон грядущий. Война кровью запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней не легко. Мне было стыдно перед самим собой. И я никогда уже не спрашивал у Данияра о войне.

Однако не только этим он завоевал уважение к себе. Тот вечер быстро забылся, так же как быстро пропал в аиле интерес к самому Данияру. Его нелюдимость и замкнутость вызывали у людей равнодушие или просто чувство жалости.

— Бездомный, несчастный малый,— говорили о нем.— Хорошо еще, кормится в колхозе, а то впору с сумой пойти... Тихий он, безобидный, точно овца!

Постепенно люди свыклись со странным характером Данияра, а потом вообще перестали замечать его. Пожалуй, так оно и должно было быть: если человек ничем не проявляет себя, то о нем постепенно забывают.

На другой день, рано утром, мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени и Джамия пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула:

— Ой, кичине бала, а ну, веди моих коней сюда! А где мои хомуты? — И, будто всю жизнь была ездовым, принялась с деловым видом осматривать брички, пробуя толчками ноги, хорошо ли подогнаны колесные втулки.

Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ей потешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах с широченными гсленищами. А я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками.

— Ну и пара! — Джамия весело вскинула голову. И, не мешкая, начала командовать нами: — Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать!

Она схватила коней под уздцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожжи. Данияра она не замечала, будто его и вовсе не было рядом.

Решительность и даже вызывающая самоуверенность Джамили, видно, поразили Данияра. Недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамили накинулась на него:

— Это что же, каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет, а ну давай сюда руку! Эй, кичине бала, что ты смотришь, лезь на бричку, укладывай мешки!

Джамили сама схватила руку Данияра, и когда они вместе — на сомкнутых руках — подхватили мешок, он, бедняга, покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамили хоть бы что, она, казалось, и не замечала своего напарника, перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены и мы взяли вожжи в руки, Джамили, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех:

— Эй ты, как тебя, Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду, давай первым открывай путь!

Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ох ты, горемыка, какой же ты, ко всему, еще и стыдливый!» — подумал я.

Путь нам предстоял дальний: километров двадцать по степи, потом через ущелье, к станции. Одно было хорошо — как выедешь и до самого места дорога все время идет под гору, лошадям не в тягость.

Наш аил Куркуреу раскинулся по берегу реки, на склоне Великих Гор, и тянется до самых Черных Гор. Пока не въедешь в ущелье, аил с его темнеющими купами деревьев всегда на виду.

За день мы успевали сделать только один рейс. Мы выезжали утром, а приезжали на станции после полудня.

Солнце немилосердно палило, а на станции толчея, не пробьешься: брички, можары с мешками, съехавшиеся со всей долины, навьюченные ишаки и волы из дальних горных колхозов. Пригнали их мальчишки и солдатики, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами.

На воротах «Заготзерна» висело полотнище: «Каждый колос хлеба — фронту!» Во дворе — сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли.

В приемном пункте, под железной накаленной крышей, — горы зерна. Мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, пыль спирает дыхание.

— Эй ты, парень, смотри у меня! — орет внизу приемщик с красными от бессонницы глазами. — Наверх тащи, на самый верх! — Он грозит кулаком и разражается бранью.

Ну чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, и дотащим. Ведь несем мы этот хлеб на своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую страдную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос.

Я и сейчас еще помню, как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В гор-

ле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз, ослабев на полпути, чувствуя, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось бросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди. Они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы, или солдаты, у которых такие дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступить, когда такую же работу выполняли женщины.

Вон Джамия идет впереди, подоткнув платье выше колен, и я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах, вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамия, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом.

— Крепись, кичине бала, немного осталось!

А у самой голос незвонкий, придушенный.

Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам подался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным мерным шагом, как всегда одинокий и молчаливый. Поравнявшись с нами, Данияр окидывал Джамию мрачным, жгучим взглядом, а она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые, а Джамия продолжала не замечать его.

Да, так уж повелось: Джамия или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне: «Айда, пошли!» И, гикая и наворачивая над головой кнут, погонит лошадей вскачь. Я за ней. Мы обгоняли Данияра, оставляя его в густых облаках долго не оседающей пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть. А вот Данияр, казалось, не обижался. Мы пронеслись мимо, а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую Джамию, стоявшую на бричке. Я оборачивался. Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль. И было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску.

Как насмешки, так и полное равнодушие Джамии ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву — сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил Джамии:

— Ну зачем ты смеешься над ним, джене, ведь он такой безобидный!

— А ну его! — смеялась Джамия и махала рукой. — Я ведь так просто, в шутку, ничего с этим бирюком не случится!

А потом и я стал подшучивать и подсмеиваться над Данияром не хуже самой Джамии. Меня начали беспокоить его странные, упорные взгляды. Как он смотрел на нее, когда она взваливала себе мешок на плечи! Да и право, в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамия бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе.

И нельзя было не заглядеться на нее. Чтобы взять с борта брички мешок, Джамия вытягивалась, изгибаясь, подставляла плечо и закидывала голову так, что обнажалась ее красивая шея и бурые от солнца косы почти касались земли. Данияр, как бы между делом, приостанавливался, а потом провожал ее взглядом до самых дверей. Наверно, он думал, что делает это незаметно, но я все примечал, и мне это начинало не нравиться и даже вроде бы оскорбляло мои чувства: ведь уж Данияра-то я никак не мог считать достойным Джамии.

«Подумать только, даже он заглядывается, а что же говорить о других!» — возмущалось все мое существо. И детский эгоизм, от которого я еще не освободился, разгорался жгучей ревностью. Ведь дети всегда ревнуют своих близких к чужим. И вместо жалости к Данияру я испытывал



теперь к нему чувство такой неприязни, что злорадствовал, когда над ним смеялись.

Однако наши проделки с Джамилей окончились однажды весьма печально. Среди мешков, в которых мы возили зерно, был один огромный, на семь пудов, сшитый из шерстяного рядна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на току мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Джамилей забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись: Джамия кидалась яблоками в Данияра. А потом мы, как обычно, обогнали его, подняв тучу пыли. Нагнал он нас за ущельем, у железнодорожного переезда: путь был закрыт. Отсюда мы уже вместе прибыли на станцию, и как-то так получилось, что мы совершенно забыли об этом семипудовом мешке и вспомнили о нем, когда уже кончали разгрузку. Джамия озорно толкнула меня в бок и кивнула в сторону Данияра. Он стоял на бричке, озабоченно рассматривая мешок, и, видно, обдумывал, как с ним быть. Потом огляделся по сторонам и, заметив, как Джамия подавилась смешком, густо покраснел: он понял, в чем дело.

— Штаны подтяни, а то потеряешь на полдороге! — крикнула Джамия.

Данияр метнул в нашу сторону злой взгляд, и не успели мы одуматься, как он передвинул мешок по дну брички, поставил его на ребро борта, спрыгнул, придерживая мешок одной рукой, и, взвалив его на спину, пошел. Сначала мы сделали вид, будто ничего особенного в этом нет. А другие и подавно ничего не заметили — идет человек с мешком, так ведь все идут. Но когда Данияр подходил к трапу, Джамия догнала его.

— Брось мешок, я же пошутила!

— Уйди! — раздельно сказал он и пошел по трапу.

— Смотри, тащит! — вроде бы оправдываясь, проговорила Джамия.

Она все еще тихонько посмеивалась, но смех ее становился каким-то неестественным, словно она вынуждала себя смеяться.

Мы заметили, что Данияр стал сильнее припадать на раненую ногу. И как мы не подумали об этом раньше? До сих пор не могу простить себе этой дурацкой шутки, ведь это я, глупец, такое выдумал!

— Вернись! — вскрикнула Джамия сквозь невеселый смех.

Но вернуться Данияр уже не мог: позади него шли люди.

Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу. Каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал. И чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок. И мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот опять его качнуло, он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног.

Я очнулся от оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до ломоты в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уж не только мы, а и все, кто был, и приемщик тоже, сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага, хотел поправить на спине мешок — и начал медленно опускаться на колено. Джамия закрыла лицо руками.

— Бросай! Бросай мешок! — крикнула она.

Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услы-

шав голос Джамии, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало.

— Да бросай же ты, собачий сын! — заорал приемщик.

— Бросай! — закричали люди.

Данияр и на этот раз выстоял.

— Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то.

И, кажется, все — и те, что шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, — поняли: не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной, снаружи, отрывисто свистнул паровоз.

А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей, они выбивались из сил, но никто не возмутился, никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой, люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого. В их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, и еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом! У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем.

Уже осталось немного, скоро кончится наклонная часть трапа. Но Данияр опять зашатался, раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок.

— Беги! Поддержи сзади! — крикнула мне Джамия, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру.

Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы, налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок.

— Уйди! — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед.

Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели, как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал:

— Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек, разве я не разрешил тебе высыпать внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?

— Это мое дело, — негромко ответил Данияр.

Он сплюнул в сторону и пошел к брочке. А мы не смели поднять глаза. Стыдно было и зло брало, что Данияр так близко к сердцу принял нашу дурацкую шутку.

Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело, совесть мучила.

Утром, когда мы грузились на току, Джамия взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском.

— На свою дерюгу! — Она швырнула мешок к ногам удивленной вековщицы. — И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!

— Да ты что? Что с тобой?

— А ничего!

Весь следующий день Данияр ничем не проявлял своей обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче — на том и забылась бы наша размолвка.

Джамия тоже старалась делать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе.

Мы поздно возвращались со станции. Данияр ехал впереди. А ночь выдалась великолепная. Кто не знает августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами! Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндевшая по краям, вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысили к дому, под колесами поскрипывала щебенка. Ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита, и все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову.

С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неугомонная Куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда и, удаляясь, долго уносили за собой перестук колес.

Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамия ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал — ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать, в такую ночь хочется петь!

И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром, хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенные айильные песенки, вроде: «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру:

— Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь! Джигит ты или кто?

— Пой, Джамия, пой! — смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. — Я слушаю тебя, оба уха наострил!

— А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет! Подумаешь, не хочешь — не надо! — И Джамия снова запела.

Кто знает, зачем она просила его петь! Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор? Скорее всего, ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула:

— А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь? — И засмеялась.

Данияр ничего не ответил. Джамия тоже умолкла.

«Нашла кого просить петь!» — усмехнулся я.

У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом:

Горы мои, сине-белые горы,  
Земля моих дедов, моих отцов!

Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть с хрипотцой:

Горы мои, сине-белые горы,  
Колыбель моя...

Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал.

Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший, просто не верилось, что это Данияр.

— Ты смотри! — не удержался я.

А Джамия даже воскликнула:

— Где же ты был раньше? А ну пой, пой как следует!

Впереди обозначился просвет — выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Данияр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах.

Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить — только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы.

Если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра! В ней почти не было слов, без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после — никогда я не слышал такой песни: она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская.

Я слушал и диву давался: «Так вот он, оказывается, какой, Данияр! Кто бы мог подумать?»

Мы уже ехали степью по мягкой, наезженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь, новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Слово он только и ждал своего дня, своего часа!

И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение и насмешки, — его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке и почему оставался один на ночь у реки, почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам и почему иногда вдруг загорались у него глаза и взлетали обычно настороженные брови. Это был человек, глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека; это была какая-то другая, огромная любовь — к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке, он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так петь, каким бы он ни обладал голосом.

Когда, казалось, угас последний отзвук песни, ее новый трепетный порыв словно пробудил дремлющую степь. И она благодарно слушала певца, обласканная родным ей напевом. Широким плесом колыхались спелые сизые хлеба, ждущие жатвы, и предутренние блики перебежали по полю. Могучая толпа старых верб на мельнице шелестела листвой, за речкой догорали костры полевых станов, и кто-то, как тень, бесшумно скакал по-над берегом, в сторону айла, то исчезая в садах, то появляясь опять. Ветер доносил отсюда запах яблок, молочно-парной медок цветущей кукурузы и теплый дух подсыхающих кизяков.

Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо.

И вдруг на самой высокой, звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамия устремится за ним, и тоже приготовился, но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушивалась к витающим где-то в воздухе неостывшим звукам. Данияр уехал, а мы до самого айла не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить, ведь словами не всегда и не все выскажешь...

С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на току, прибывали на станцию, и нам не терпелось побыстрее выехать отсюда, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Его голос вселился в меня, он преследовал меня на каждом шагу: с ним по утрам я бежал через мокрый, росистый люцерник к стреноженным лошадям, а солнце, смеясь, выкатывалось из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос и в мягком шелесте золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками веяльщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси,— во всем, что видел я и слышал, мне чудилась музыка Данияра.

А вечером, когда мы ехали по ущелью, мне каждый раз казалось, что я переносюсь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза, и передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины: то проплывало в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков; то проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы, и молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах гордо и ошалело обегали на ходу своих маток; то спокойной лавой разворачивались по пригоркам отары овец; то срывался со скалы водопад, ослепляя глаза белизной всклокоченной кипени; то в степи за рекой мягко опускалось в заросли чия солнце, и одинокий далекий всадник на огнистой кайме горизонта, казалось, скакал за ним — ему рукой подать до солнца — и тоже тонул в зарослях и сумерках.

Широка за рекой казахская степь. Раздвинула она по обе стороны наши горы и лежит суровая, безлюдная...

Но в то памятное лето, когда грянула война, загорелись огни по степи, затуманили ее горячей пылью табуны строевых коней, поскакали гонцы во все стороны. И помню, как с того берега кричал скачущий казах гор-таным пастушьим голосом:

— Садись, киргизы, в седла: враг пришел! — и мчался дальше в вихрях пыли и волнах знойного марева.

Всех подняла на ноги степь, и в торжественно-суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, впереди на древках колыхались красные знамена, позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жен и матерей: «Да поможет вам степь, да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!»

Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы...

И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился, от кого он все это слышал? Я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине? А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны?

Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко, по-сыновьи обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать, но это было что-то неодолимое, это была потребность выразить себя, да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть.

Я любил рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается «точь-в-точь». Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война, братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра всполошили мою душу. Я ходил, точно во сне, и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые.

А как изменилась вдруг Джамиля! Слово и не было той бойкой, языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах, она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза.

Однажды на току Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой:

— Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку. Давай постираю!

И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно.

Только один раз за это время Джамиля громко, заразительно смеялась и у нее, как прежде, сияли глаза. На ток шумной гурьбой завернули мимоходом со скирдовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты — бывшие фронтовики.

— Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть, угощайте, а не то в реку покидаем! — И джигиты шутя выставили вилы.

— Нас вилами не запугаешь! Подружек своих найду чем угостить, а вы сами промышляйте! — звонко отозвалась Джамиля.

— Раз так, всех вас в воду!

И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду.

— Хватай их, тащи! — громче всех смеялась Джамиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих.

Но, странное дело, джигиты точно и видели только одну Джамилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом обхватили ее и занесли над берегом.

— Целуй, а нет — бросим!

— Давай раскачивай!

Джамиля изворачивалась, хохотала, запрокинув голову, и сквозь смех звала на помощь подруг. Но те суматошно бегали по берегу, вылавливая в реке свои косынки. Под дружный хохот джигитов Джамиля полетела в воду. Она вышла оттуда с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое ситцевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь, а она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгоряченному лицу стекали веселые ручейки.

— Целуй! — приставали джигиты.

Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос.

Над затеей молодых все на току смеялись. Старики веяльщики, побросав лопаты, вытирали слезы, морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джамилю от джигитов.

Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне показалось, что он сорвется сейчас, побежит и выхватит Джамилю из рук джигитов. Он смотрел на нее не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозила и радость и боль. Да, и счастье и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил.

Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась.

— Побаловались, и хватит! — неожиданно осадила она разошедшихся джигитов.

Кто-то еще попытался обнять ее.

— Отстань! — Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье.

Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной оттого, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в аил и слушали пение Данияра.

По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше — идти по дороге и слушать. Сперва мы шли каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз — неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр!

И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку, но он не видел этого, он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла.

Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрягано в наших душах, а теперь пришел его день?

В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на току, она не находила себе места. Она слонялась возле веяльщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы, потом вдруг бросала лопату и уходила прочь к скирдам соломы. Здесь она садилась в лодке и, точно боясь одиночества, звала меня:

— Иди сюда, кичине бала, посидим!

Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, ерошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена, так же как и я желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата.

Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски приоткрытые, чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо! Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос: может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо, что же мне делать, как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость. И однажды я, кажется, нашел ответ.

Мы, как обычно, ехали со станции. Уже спускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонило ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним.

Но что случилось в этот раз с Данияром — в его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкапывали от сочувствия и сострадания к нему.

Джамилия шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамилия вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамилию. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви!

Я был потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они и не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песне. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке, но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамилия, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдавал ей, он пел для нее, он пел о ней.

Мной опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их.

Я испугался собственных мыслей. Но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми! Да, вот такими, какие они сейчас! Но смогу ли я? Дух захватывало от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытьи. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр, я красками расскажу песню Данияра, у меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда: «А где же я возьму краски? В школе не дадут — им самим нужны!» Будто все дело только и заключалось в этом.

Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамилия порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи, лошади остановились. Джамилия стояла на дороге, повернувшись к нему спиной, потом резко вскинула голову, глянула на него вполоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила:



— Ну что ты смотришь? — И, помолчав, сурово добавила: — Не смотри на меня, езжай! — И пошла к своей бричке. — А ты чего уставился? — накнулась она на меня. — Садись, бери свои вожжи! Эх, горе мне с вами!

«И что это она вдруг?» — недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило: нелегко ей было, ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос.

Смертельная усталость ломила тело, хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка, вожжи выскальзывали из рук.

На току я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись.

Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй.

Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая холодная люцерна сочно стегала по босым ногам, щипало потрескавшиеся, в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся подсолнух, что случайно вырос над арыком. Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался, ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через арык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок вымахавшей по пояс пахучей мяты. Я бегу по родимой земле, над моей головой носятся наперегонки ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух-дичок, что вырос у арыка.

Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверно, не спала в эту ночь, темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Орозмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала:

— Забирайте свою бричку! Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду!

— Ты чего это, Джамалтай, овод тебя укусил, что ли? — добродушно удивился Орозмат.

— Овод у телят под хвостом! А меня не допытывайте! Сказала — не хочу, и всё тут!

Улыбка исчезла с лица Орозмата.

— Хочешь не хочешь, а возить зерно будешь! — Он стукнул костылем о землю. — Если обидел кто, скажи — костыль на его шее обломаю! А нет — не дури: хлеб солдатский возишь, у самой муж там! — И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле.

Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля стояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке.

В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Ведь вчера она бы-

ла совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней, и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веяльщиков.

— Благослови, аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем! Мне уже казалось, что на бумагу легла та августовская ночная степь, мне казалось, что я слышу песню Данияра и вижу его самого, с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок: вот бричка, а вот они оба, вот вожжи, брошенные на передок, спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды.

Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос.

— Ты что, оглох, что ли?

Это была Джамия. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок.

— Брички давно нагружены, целый час кричим не докричимся! Ты что тут делаешь?.. А это что? — спросила она и взяла рисунок. — Гм! — Джамия сердито вздернула плечи.

Я готов был провалиться сквозь землю. Джамия долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала:

— Отдай мне это, кичине бала.. Я спрячу на память... — И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху...

Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя. Как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование, даже гордость, и мечты — одна другой дерзновеннее, одна другой заманчивее — кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамия не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась — трогательно и виновато. И я улыбался: значит, она уже не сердится на нас с Данияром и если попросит, то Данияр споет сегодня...

На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного, зато лошади были взмылены. Данияр с ходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим, задумчивым взглядом. Джамия тоже смотрела туда, куда и он, словно пыталась понять, что у него на уме.

— Подойди-ка сюда, подкова болтается, помоги оторвать, — позвала она Данияра.

Когда Данияр сорвал подкову с копыта, зажатого между колен, и распрямился, Джамия негромко заговорила, глядя ему в глаза:

— Ты что — или не понимаешь?.. Или на свете только я одна?..

Данияр молча отвел глаза.

— Думаешь, мне легко? — вздохнула Джамия.

Брови Данияра взлетели, он посмотрел на нее с любовью и грустью и что-то сказал, но так тихо, что я не расслышал, а потом быстро зашагал к своей бричке, даже довольный чем-то. Он шел и поглаживал подкову. Я глядел на него и недоумевал: чем могли утешить его слова Джа-

мили? Какое уж тут утешение, если человек говорит с тяжелым вздохом: «Думаешь, мне легко?..»

Мы уже кончили разгрузку и собирались уезжать, когда во двор зашел раненый солдат, худой, в помятой шинели, с вещевым мешком за плечами. За несколько минут до этого на станции остановился поезд. Солдат огляделся по сторонам и крикнул:

— Кто тут из аила Куркуреу?

— Я из Куркуреу! — ответил я, раздумывая, кто бы это мог быть.

— А ты чей будешь, браток? — Солдат направился было ко мне, но тут он увидел Джамилю и удивленно и радостно заулыбался.

— Керим, это ты? — воскликнула Джамилия.

— Ой, Джамилия, сестрица! — Солдат бросился к ней и сжал обеими руками ее ладонь.

Оказывается, это был земляк Джамили.

— Вот кстати-то! Как знал, завернул сюда! — возбужденно говорил он. — Ведь я только от Садыка, вместе лежали в госпитале, бог даст, и он через месяц-другой вернется. Когда прощались, сказал ему: напиши письмо жене, сведу... Вот оно, получай, в целости и сохранности. — И Керим протянул Джамиле треугольник.

Джамилия схватила письмо, вспыхнула, потом побелела и осторожно покосилась на Данияра. Он одиноко стоял возле брички, как тогда на гумне, широко расставив ноги, и глазами, полными отчаяния, смотрел на Джамилю.

Тут со всех сторон сбежались люди, сразу нашлись у солдата и знакомые и родные, посыпались расспросы. А Джамилия не успела даже поблагодарить его за письмо, как мимо нее прогрохотала данияровская бричка, вырвалась со двора и, подпрыгивая на выбоинах, запылила по дороге.

— Очумел он, что ли! — закричали ему вслед.

Солдата уже куда-то увели, а мы с Джамилей все еще стояли посреди двора и смотрели на удаляющиеся клубы пыли.

— Поедем, джене, — сказал я.

— Езжай, оставь меня одну! — с горечью ответила она.

Так, первый раз за все время, мы ехали порознь. Горячая духота обжигала высохшие губы. Потрескавшаяся, выжженная земля, раскаленная за день добела, казалось, сейчас остывала, покрываясь соленой сединой. И в таком же соленом белесом мареве колыхалось на закате зыбкое, бесформенное солнце. Там, над смутным горизонтом, собирались оранжево-красные буревые тучки. Порывами налетал суховей, белой накипью оседаая на конских мордах, и, тяжело откидывая гривы, уносился прчь, вороша по пригоркам метелки полыни.

«К дождю, что ли?» — думал я.

Каким бесприютным почувствовал я себя, какая тревога охватила меня! Я подстегивал лошадей, норовивших все время перейти на шаг. Тревожно пробежали куда-то в балку длинноногие, сухопарые дрофы. На дорогу выносило пожухлые листья пустынных лопухов — таких у нас нет, их принесло откуда-то с казахской стороны. Закатилось солнце. Вокруг ни души. Только истомившаяся за день степь.

Когда я приехал на ток, было уже темно. Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра.

— Он ушел к реке, — ответил сторож. — Духотища-то какая, все разошлись по домам. Без ветра на току и делать нечего!

Я отогнал лошадей пастись и решил завернуть к реке — я знал излюбленное место Данияра над обрывом.

Он сидел ссутулившись, склонив голову на колени, и слушал ревшую под обрывом реку. Мне захотелось подойти, обнять его и сказать ему

что-нибудь хорошее. Но что я мог ему сказать? Я постоял немного в сторонке и вернулся. А потом долго лежал на соломе, смотрел на темнеющее в тучах небо и думал: «Почему так непонятна и сложна жизнь?»

Джамиля все еще не возвращалась. Куда она запропастилась? Мне не спалось, хотя морила усталость. Далекие зарницы вспыхивали над горами, в глубине туч.

Когда пришел Данияр, я еще не спал. Он бесцельно бродил по току, то и дело поглядывая на дорогу. А потом повалился за скирдой на солому возле меня. Уйдет он куда-нибудь, не останется теперь в аиле! А куда ему идти? Одинокий, бездомный, кому он нужен? И уже сквозь сон я услышал медленное постукивание приближающейся брички. Кажется, приехала Джамиля...

Не помню, сколько я проспал, только вдруг у самого уха зашуршали по соломе чьи-то шаги, будто мокрое крыло легко задело меня по плечу. Я открыл глаза. Это была Джамиля. Она пришла с реки в прохладном, отжатом платье. Джамиля остановилась, беспокойно огляделась по сторонам и села возле Данияра.

— Данияр, я пришла, сама пришла,— тихо сказала она.

Вокруг стояла тишина, бесшумно скользнула вниз молния.

— Ты обиделся? Очень обиделся, да?

И опять тишина, только с мягким всплеском оборвалась в реку подмытая глыба земли.

— Разве я виновата? И ты не виноват...

Над горами вдали прогремел гром. Профиль Джамилы осветила молния. Она оглянулась и припала к Данияру. Плечи ее судорожно вздрагивали под руками Данияра. Вытянувшись на соломе, она легла рядом с ним.

Запаленный ветер набежал из степи, вихрем закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и радостно стало— надвигалась гроза, последняя летняя гроза.

— Неужели ты думал, что я променяю тебя на него? — горячо шептала Джамиля.— Да нет же, нет! Он никогда не любил меня. Даже поклон и то в самом конце письма приписывал. Не нужен мне он со своей запоздалой любовью, пусть говорят что угодно! Родимый мой, одинокий, не отдам тебя никому! Я давно любила тебя. И когда не знала — любила и ждала тебя, и ты пришел, будто знал, что я тебя жду!

Голубые молнии одна за другой, изламываясь, вонзались под обрыв в реку. Зашуршали по соломе косые студенькие капли дождя.

— Джамилем, любимая, родная Джамалтай! — шептал Данияр, называя ее самыми нежными казахскими и киргизскими именами. — Я ведь тоже давно люблю тебя, я мечтал о тебе в окопах, я знал, что моя любовь на родине, это ты, моя Джамиля!

— Повернись, дай мне поглядеть тебе в глаза!

Гроза разразилась.

Забилась, хлопая крыльями, как подбитая птица, сорванная с юрты кошма. Бурными порывами, словно целуя землю, хлынул дождь, подстегнутый понизу ветром. Наискось, через все небо, раскатывался могучими обвалами гром. Весенним палом тюльпанов зажигались на горах яркие вспышки зарниц. Гудел, неистовствовал в яру ветер.

Дождь лил, а я лежал, зарывшись в солому, и чувствовал, как бьется под рукой сердце. Я был счастлив. У меня было такое ощущение, будто я вышел впервые после болезни посмотреть на солнце. И дождь и свет молний достигали меня под соломой, но мне было хорошо, я засыпал, улыбаясь, и не понимал, то ли это шептались Данияр и Джамиля, то ли это шелестел по соломе стихающий дождь.

Теперь пойдут дожди, скоро осень. В воздухе уже настаивался по-осеннему влажный запах полыни и намокшей соломы. А что ожидало нас осенью? Об этом я почему-то не думал.

В ту осень, после двухлетнего перерыва, я снова пошел в школу. После уроков я частенько ходил к реке на кручу и сидел возле прежнего гумна, теперь заглохшего и опустевшего. Здесь я писал свои первые этюды ученическими красками. Даже по тогдашним моим понятиям, мне не все удавалось.

«Краски негодные! Вот были бы настоящие краски!» — говорил я себе, хотя и не представлял, какими же они должны быть.

Лишь значительно позднее мне довелось увидеть настоящие масляные краски в свинцовых тюбиках.

Краски красками, а все же учителя, кажется, были правы: этому надо учиться. Но об учебе не приходилось мечтать. Где там, когда от братьев так и не было никаких вестей, и мать ни за что не отпустила бы меня, своего единственного сына, «джигита и кормильца двух семей», об этом я и не смел заговорить. А осень, как назло, выдалась такая красивая, только пиши ее.

Обмелела студеная Куркуреу, обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом. Краснел по ранним заморозкам голый нежный тальник, но топольки еще сберегли желтые плотные листья.

Прокопченные, омытые дождями юрты табунщиков чернели в поймище на порыжелой отаве, и над дымовыми отверстиями вились сизые пахучие струйки. По-осеннему голосисто ржали поджарые жеребцы — разбредались матки, и теперь уже до самой весны нелегко их будет удержать в косяках. Скот, вернувшийся с гор, гуртами бродил по стерне. Побуревшую сухостойную степь вдоль и поперек пересекли ископанные тропы.

Вскоре задул степняк, помутилось небо, пошли холодные дожди — предвестники снега. Как-то выдался сносный день, и я пошел к реке — уж очень приглянулся мне на отмели огненный куст горной рябины. Сел я неподалеку от брода, в тальнике. Вечерело. И вдруг я увидел двух людей, которые, судя по всему, перешли реку вброд. Это были Данияр и Джамиля. Я не мог оторвать глаз от их суровых, тревожных лиц. С вещевым мешком за плечами, Данияр шагал порывисто, полы распахнутой шинели хлестали по кирзовым голенищам его стоптанных сапог. Джамиля повязалась белым полшалком, сбитым сейчас на затылок, на ней было ее лучшее цветастое платье, в котором она любила шеголять по базару, а поверх него — вельветовый стеганный жакет. В одной руке она несла небольшой узелок, а другой держалась за ляжку данияровского мешка. Они о чем-то переговаривались на ходу.

Вон они пошли тропой через лог по зарослям чия, а я смотрел им вслед и не знал, что делать. Может, окликнуть? Но язык точно присох к нёбу.

Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. А Данияр и Джамиля, не оглядываясь, уходили в сторону железнодорожного разъезда. Раза два еще мелькнули их головы в зарослях чия, а потом скрылись.

— Джамиля-а-а! — закричал я что было силы.

«А-а-а-а!» — бесприютно откликнулось эхо.

— Джамиля-а-а! — крикнул я еще раз и, не помня себя, бросился бежать за ними через реку, прямо по воде.

Тучи ледяных брызг летели мне в лицо, одежда намокла, а я бежал дальше, не разбирая пути, и вдруг со всего размаху упал на землю, обо что-то зацепившись. Я лежал, не поднимая головы, и слезы заливали мне

лицо. Тьма будто навалилась мне на плечи. Тонко, тоскливо посвистывали гибкие стебли чия.

— Джамия! Джамия! — всхлипывал я, захлебываясь слезами.

Я расставался с самыми дорогими и близкими мне людьми. И только сейчас, лежа на земле, я вдруг понял, что любил Джамию. Да, это была моя первая, еще детская любовь.

Долго лежал я, уткнувшись в мокрый локоть. Я расставался не только с Джамией и Данияром, я расставался со своим детством.

Когда я прибрел впотьмах домой, во дворе был переполох, звенели стремена, кто-то седлал лошадей, а пьяный Осмон, гарцуя на коне, орал во всю глотку:

— Давно надо было гнать из аила эту прилудную собаку-полукровку! Срам, позор всему роду! Попадись он мне, убью на месте, пусть судят, — не позволю, чтобы каждый бродяга уводил наших баб! Айда, садись, джигиты, куда ему не уйти, догоним на станции!

Я похолодел: куда они поскачут? Но, убедившись, что погоня пошла по большой дороге на станцию, а не на разъезд, я незаметно прокрался в дом и завернулся с головой в отцовскую шубу, чтобы никто не видел моих слез.

Сколько разговоров и пересудов было в аиле! Женщины наперебой осуждали Джамию.

— Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое!

— На что позарилась, спрашивается? Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!

— Уж конечно не полон двор скота! Безродный скиталец, бродяга — что на нем, то и его. Ничего, опомнится красotka, да поздно будет.

— Вот то-то и оно! А чем Садык не муж, чем не хозяин? Первый джигит в аиле!

— А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает! Пойди сыщи еще такую байбиче! Погубила она себя, дура, ни за что ни про что!

Может быть, только я один не осуждал Джамию, свою бывшую джене. Пусть на Данияре старая шинель и дырявые сапоги, но я-то ведь знал, что душой он богаче всех нас. Нет, не верилось мне, что Джамия будет несчастна с ним. Только жалко мне было мать. Мне казалось, что вместе с Джамией ушла ее былая сила. Она приуныла, осунулась и, как я теперь понимаю, никак не могла примириться с тем, что жизнь иной раз так круто ломает старые устои. Если могучее дерево выворотит буря, оно уже не поднимется. Раньше мать никого не просила вдеть ей нитку в иголку, гордость не позволяла. А вот вернулся я однажды из школы и вижу: дрожат руки у матери, не видит она ушка иголки и плачет.

— На, вдень нитку! — попросила она и тяжело вздохнула. — Пропадет Джамия... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла... Отреклась... А зачем ушла? Или худо ей было у нас?..

Мне захотелось обнять, успокоить мать, рассказать ей, что за человек Данияр, но я не посмел, я бы на всю жизнь оскорбил ее.

И все-таки мое невинное участие в этой истории перестало быть тайной...

Вскоре вернулся Садык. Он, конечно, горевал, хотя и говорил по пьянке Осмону:

— Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь. А на наш век баб хватит. Даже золотоволосая баба не стоит самого что ни на есть никудышного парня.

— Это-то верно! — отвечал Осмон. — Только жаль, не попался он мне тогда, убил бы — и все тут! А ее за волосы да к конскому хвосту!

Небось на юг подались, на хлопок, или по казахам пошли, ему-то не впервой бродяжничать! Только вот в толк не возьму, как все получилось, и знать никто не знал, да и подумать бы никто не мог. Это она все, подлая, сама устроила! Я б ее!..

Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону: «Не можешь забыть, как она тебя отчитала на сенокосе. Подлая ты душонка!»

И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты. Мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался Садык. Бледный, со злобно прищуренными глазами, он кинулся ко мне и сунул мне под нос лист бумаги.

— Это ты рисовал?

Я оторопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня.

— Я.

— Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу.

— Данияр.

— Изменник! — крикнул мне в лицо Садык.

Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверь.

После долгого гнетущего молчания мать спросила:

— Ты знал?

— Да, знал.

С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи. И когда я сказал: «Я еще раз их нарисую!» — она горестно и бессильно покачала головой.

А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей! Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня.

В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую пел он в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу, выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем.

— Я поеду учиться... Скажи отцу. Я хочу быть художником! — твердо сказал я матери.

Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала. Только грустно и тихо сказала:

— Поезжай... Оперились вы и по-своему крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда. Поезжай... А может, там одумаешься. Не ремесло это — рисовать да малевать... Поучись, узнаешь... Да не забывай дом свой...

С того дня Малый дом отделился от нас. А я вскоре уехал учиться.

Вот и вся история.

В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу — это была картина, о которой я давно мечтал.

Нетрудно догадаться, что на этой картине изображены Данияр и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге. Перед ними широкая, светлая даль.

И пусть не совершенна моя картина — мастерство не сразу приходит, — но она мне бесконечно дорога, она мое первое, осознанное творческое волнение.

И сейчас бывают у меня неудачи, бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и Джамиле. Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор.

«Где вы сейчас, по каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог — по всему Казахстану до Алтая и Сибири! Много смелых людей трудится там. Может, и вы подались в те края? Ты ушла, моя Джамия, по широкой степи, не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя? Прислонись к Данияру. Пусть он споет тебе свою песню о любви, о земле, о жизни! Пусть всколыхнется и заиграет всеми красками степь! Пусть вспомнится тебе та августовская ночь! Иди, Джамия, не раскаивайся, ты нашла свое трудное счастье!»

Я смотрю на них и слышу голос Данияра. Он зовет и меня в путь-дорогу — значит, пора собираться. Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски.

Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамии!

*Перевела А. Дмитриева.*







\* \* \*

В клубе плачет старый партизан.  
Кулаками долго трет глаза,  
всхлипывает так, что жутковато, —  
словно перед ним мы виноваты.  
Все:

и бабы в сапожищах мужниных,  
и орава малышей простуженных,  
тянущих губами запеченными  
из бутылок воду кипяченую,  
и завхоз,

худой, с бровями чуткими,  
что у печки суетится с чурками,  
и седой рыбозаводский лекарь,  
и приезжий моложавый лектор...  
А на сцене кумачовой клубной  
хор рокочет горячо и грубно:  
«И останутся, как сказка,  
как манящие огни,  
штурмовые ночи Спасска,  
Волочаевские дни...»

В клубе плачет старый партизан.  
Бабы шепчут, отводя глаза:  
— Вишь ты, дед..  
— Пушай идет поспит! —  
И качают головами:  
— Спирт...

Только знаю я, что им не верится  
в собственные грубые слова!  
Вот вздыхают, словно колет в сердце,  
шепчут что-то слышное едва...  
На детишек шикают рассеянно,  
смотрят и печально и растерянно  
в окна, исцарапанные льдинами  
и шальными ветрами путинными...

В клубе плачет старый партизан —  
по друзьям,  
по сопкам и лесам...

Больно мне, и трепетно, и гордо,  
и сама не знаю,  
что стряслось.

И во мне  
поют и плачут  
годы —  
грозные  
и ясные насквозь.

\* \* \*

Здесь солнце нежаркое светит,  
нет яблок, арбузов, слив,  
и лето

тоскует о лете,  
ворча на Татарский пролив.

А сопки,

по-человечьи  
продрогнув до синевы,  
кутают круглые плечи  
в бурую шаль листвы.  
Вот так и стоит Совгавань  
на перекрестке ветров.

Бухты пенная лава,  
ритмичный стук катеров,  
пристаней желтые балки,  
пряность морского запаха...

В магазинах —

консервные банки.

с этикетками юга и запада...

Клубы

в буднично-строгой  
скромной одежде труда...  
И единственную дорогой  
идущие поезда...

Совгавань.



Е. РЖЕВСКАЯ

★

## СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ

*Повесть*

1

**А**вгустовским вечером Прасковья Матвеевна скромно отмечала свое вступление в брак. Днем сильно парило, и вечер был душный, но Прасковья Матвеевна решила надеть синее шерстяное платье с глухим воротом и длинными рукавами. Она переодевалась за большим шкафом, в той части комнаты, где еще недавно жили молодые — сын с невесткой, а теперь пустовал простенок, прежде занятый их кроватью. Только она успела переодеться, пришла Фанна Козлова, ее давняя подруга.

— Вот, Паня,— сказала она, заметно волнуясь. Шурша бумагой, она развернула принесенный на блюде пирог с яблоками, поставила на стол и сняла с него салфетку.

Прасковья Матвеевна растроганно обхватила худенькую Козлову, и они крепко расцеловались. Поправив сбившуюся шелковую праздничную косынку, Козлова строго взглянула на жениха. Он перестал хлопотать у стола, пригладил пушок, венчиком охватывавший его голову, и улыбнулся ей. Козлова протянула ему руку.

Нина Ивановна, нарядно одетая соседка Прасковьи Матвеевны, сидела на краю дивана. Сегодня утром она спросила у Прасковьи Матвеевны, знает ли Федя о свадьбе матери. Прасковья ответила: «Не докладывалась». И то, что Федя ничего не знал о свадьбе, а Нина Ивановна не только знала, но и была в некотором роде причастна к ней, уговаривая Прасковью Матвеевну согласиться на предложение Николая Арсентьевича, теперь беспокоило ее.

С приходом Козловой свадьба немолодых людей стала простой и естественной.

Прасковья Матвеевна, засучив рукава платья, быстро нарезала хлеб. Веснушчатое лицо ее выглядело молодо.

Николай Арсентьевич принес из кухни соленые грибы и поставил тарелку на стол. Он осмотрел на свет зубцы начищенной вилки и попросил садиться. Пока он разливал по рюмкам водку, у него дрожала рука, и все молчали. Четыре сдвинутые рюмки звякнули не бойко. По-встречавшись глазами, помедлили.

— Будьте счастливы и здоровы,— сказала Козлова.

Николай Арсентьевич выпил, легонько охнул и припечатал ножку рюмки к столу.

— Закуси-ка атлантической, Нина Ивановна. — Николай Арсентьевич пододвинул селедочницу.

— Да, так-то вст,— сказала Нина Ивановна, улыбкой сгоняя с лица хмурость. Больше двадцати лет она знала Прасковью и Николая Арсен-

тьевича порознь, и вот теперь пришлось присутствовать при том, как они соединяют свои жизни.

— А-а, Козлова,— погрозил пальцем Николай Арсентьевич,— до дна, голубушка, до доньшка!

Он гостеприимно и ласково ухаживал за обеими гостями. Привстав, раскладывал по тарелкам салат из помидоров, заливное, тушеную картошку со свиной и, снова опускаясь на стул, вытирал лоб большим белым платком.

Козлова сидела очень прямо. Снятая с головы косынка аккуратно лежала на ее плечах, она пила глоточками и почти не затрагивалась до еды. С лица ее не сходило серьезное выражение.

Она много лет работала в бригаде Прасковьи Матвеевны. И как бы та ни поступила, она никогда не стала бы ее осуждать — так велики ее уважение и привязанность к Пане. У нее самой и муж и дети, и она понимает, как трудно женщине жить одной, без семьи, какая это неполная жизнь. И все же она с тревогой присматривалась: что сулит Пана эта поздняя свадьба?

Выпили еще по одной и почувствовали себя свободнее. Нине Ивановне слегка ударило в голову, она дерзко выкрикнула:

— Горько! — Смutilась и неуверенно повторила: — А что же, на самом деле? Горько!

Прасковья Матвеевна рассмеялась, выдернула из рукава платочек, обтерла рот и, обернувшись к Николаю Арсентьевичу, обняла его за шею. За столом стало оживленнее и уютнее. Николай Арсентьевич снял пиджак и повесил на спинку стула. Выпили еще. Поговорили о том, что вдвоем все же веселее жить, чем одному. Потом незаметно перекинулись на веревку, на прыжу № 54, и стало так шумно, как будто в комнате были не три женщины, а по крайней мере десять.

Нине Ивановне захотелось вставить в разговор что-нибудь свое.

— Не успели полугодовой отчет сдать, а к следующей субботе надо уже подбивать итоги за август месяц...

Николай Арсентьевич отозвался:

— Смотри-ка, загодя составляете.

Пора было разливать чай, и он посматривал на буфет, где лежали накрытый салфеткой пирог, принесенный Козловой, покупные пирожные, печенье. Он просил Прасковью спечь пироги, но она не смогла, некогда было — проводила бригадное собрание по итогам месяца в фабричном саду под грибочком. Николай Арсентьевич обиделся было, но она засмеялась.

— Хочешь не хочешь, поймешь теперь работниц. Их ругают за что-нибудь, а они: мы, говорят, всю энергию отдаем. Домой придем — язык вываливается. А ведь мы семейные. Вот теперь и поймешь их.

Но и без своих пирогов все шло хорошо. Помогая выносить тарелки, Николай Арсентьевич шепнул Прасковье на кухне:

— Ах, жалко, Федю не позвали. Видишь, как хорошо все получилось. Прасковья Матвеевна ничего не ответила.

Уже стоял на столе разлитый в чашки крепко заваренный чай, и Козлова, обмахиваясь косынкой, ждала, чтобы он остыл. Прасковья Матвеевна подняла блюдце на растопыренных пальцах, когда, толкнув дверь, без стука вошел Федор. Он остановился на пороге, молодой, рослый, без пиджака, в синей шелковой рубашке, со свернутой в трубочку газетой в руке. Он зашел с работы. С тех пор как его взяли в конструкторскую группу, он всегда поздно возвращался с комбината.

Федор поздоровался, немного смущенный тем, что застал у матери гостей.

— Приятно кушать

— Поздравить, сынок, пришел, заходи,— громко сказала Прасковья Матвеевна, опустив блюдце на стол и расплескав чай на скатерть.— В самый раз пришел. Мать замуж выходит.

Сын засмеялся, на лице его, у рта, запрыгали складочки, и он стал очень похож на мать. Все смотрели на него. Николай Арсентьевич поднялся, уступая ему место за столом, а себе пододвинул стул.

— Приятно кушать,— повторил Федор, подсаживаясь к столу. Голос у него был глухой.

— Немного запоздали, Федор Петрович,— мягко сказал Николай Арсентьевич, щелкнув пальцем по пустому графинчику.

— Да ты вникни. Это отчим твой,— громко сказала Прасковья Матвеевна.

Козлова перестала обмахиваться косынкой. Федор, растерянно улыбаясь, обвел всех взглядом, задержался на матери, на ее нарядном шерстяном платье, надетом не по погоде, и перевел взгляд на цветы в кувшине.

— Чего ж не предупредила?

— У тебя своя жизнь, у матери — своя,— зачем-то вставая, сказала Прасковья Матвеевна.— А Николай Арсентьевич анкеты твоей не попортит. Был рабочий человек всю жизнь...

— Папа,— сказала Козлова,— сядь, не дури.

— ...Теперь на пенсии отдыхает,— закончила Прасковья Матвеевна и, чувствуя, что выпила лишнее, опустилась на стул.

Сын не шелохнулся. Николай Арсентьевич потрогал узелок галстука, поднялся, стараясь никого не задеть: «Я сейчас...» — и, взяв с комода кепку, тихо вышел, не надевая пиджака. Никто не обратил внимания на его уход. Сидели молча, потупясь.

— Тут тебя, Федя, вчера одна бабочка спрашивала,— сказала Нина Ивановна.— Приличная такая особа, я ей твой адрес дала.

Федор ничего не ответил, как будто и не слышал.

Нина Ивановна отодвинула кувшин с цветами, заслонявший ее.

— Скоро, что ли, Федя, мы с матерью внуков нянчить будем?

— Как же,— сказала Прасковья Матвеевна,— сейчас ведь не умеют родить. Это раньше умели, а теперь нет.

— Стипендию тебе, мать, принес,— проговорил Федор.

Нина Ивановна вспомнила: он каждый месяц, двадцать шестого числа, приносит матери деньги. Значит, не без умысла Прасковья вечер сегодня устроила: подгадала к сыну.

— Мне деньги кучкой нужны, а не враструску,— засмеялась Прасковья Матвеевна.

В самом деле, невелика кучка — сто пятьдесят рублей. Прасковья Матвеевна совсем не соглашалась брать у сына деньги («Что я, сама себя не оправдаю?»). Сын настаивал, и едва помирились на ста пятидесяти рублях. Прасковья Матвеевна называла эти деньги «стипендией».

Федор прошел к комоду и незаметно положил деньги, как всегда, в обклеенную ракушками коробку. Вернувшись, сел на прежнее место. Позади, на спинке стула, висел пиджак Николая Арсентьевича.

Прасковья Матвеевна сидела, подперев рукой подбородок. Козлова собирала на скатерти в кучку хлебные крошки. Она смотрела на Федора, точно впервые видела ежик волос, тугой подбородок. Она вздохнула: ох, как трудно иметь такого сына! Это даже нельзя объяснить словами почему, но такому — всю себя отдашь.

Вернулся Николай Арсентьевич с поллитровкой, быстро разлил по рюмкам и лишь тогда снял кепку. Мужчины выпили.

— Будем здоровы! — Николай Арсентьевич доверчиво крикнул, ожившись, принялся ухаживать за Федором, накладывая в его тарелку закуску.

В молчании, установившемся снова за столом, Николай Арсентьевич

повернулся к Федору и, держась за узелок галстука, с расположением смотрел на него.

Прасковья Матвеевна замкнулась, она видела замешательство сына, и в глазах ее были тревога и торжество.

— Ну, ладно, — сказал Федор, наконец поднимаясь. — Будьте здоровы.

Его пробовали удержать. Но он протянул уже через стол руку матери, потом соседке, потом Козловой и напоследок, не глядя на него, Николаю Арсентьевичу. Николай Арсентьевич проводил Федора к двери.

После ухода Федора все почувствовали себя легче, проще. Прасковья Матвеевна украдкой вытерла глаза. Подтолкнув ее в бок, Нина Ивановна запела:

Красота ли, девья красота,  
Красота неоцененная...

Прасковья Матвеевна всхлипнула. Козлова подхватила:

Ты кого, радость, послушала,  
Отца своего с матерью  
Али своих подружек?

От песни, от выпитого вина, от слез стало похоже на настоящую свадьбу. Пока пели, Прасковья Матвеевна успокоилась. Она спросила Николая Арсентьевича:

— А что ты на мне женился? Теперь ведь приказ молоденьких замуж брать.

Николай Арсентьевич добродушно отозвался:

— Эх, головушка, ты-то окаянней молодой! — И рассмешил всех.

Федор сбежал по лестнице и, очутившись на улице, глубоко вздохнул. В ушах стоял вкрадчивый голос Николая Арсентьевича. Чужой, старый человек словно брал над матерью опеку. Это было нелепо: мать — и опека!

Еще два часа назад, если бы кто-нибудь попытался рассказать Федору о том, чему он сейчас был свидетелем, он бы только рассмеялся. Он прожил почти всю жизнь бок о бок с матерью, и мать в его представлении не менялась, она всегда была выносливой, веселой, о ней все давно было известно: и ее привычки и круг ее забот. И было само собой разумеющимся, что мать не замужем, хотя она вдовствовала тридцать лет и могла выйти замуж второй раз еще молодой женщиной.

Он вспомнил пух на голове Николая Арсентьевича. На что матери нужен этот старый гриб? Ведь он со своей пенсией только на шею ей сядет.

Федор быстро шел, наступая на тени, отбрасываемые на тротуар деревьями и фонарными столбами, подгоняя себя взмахом руки. А мать, казалось, следовала за ним в глухо застегнутом шерстяном платье, с незнакомым воспаленным взглядом: «Да ты вникни, это отчим твой!» Спятила она, что ли?

Федору было не по себе. Он думал, что вот в комнату, где он двадцать лет жил, пришел и расселся чужой человек. Но Федор не привык жалеть себя, а мысли его были жалостливыми. И все же, как ни гони их, правда была в том, что с матерью связь рвалась. Теперь не придешь к ней запросто, теперь подумаешь, прежде чем пойдешь. И это ему было обидно и странно.

На углу проспекта Советов он остановился у лотка с газированной водой. Пока круглолицая продавщица наливала ему воду, он видел, как кружится у нее за плечом сорвавшийся с липы листок. Продавщица спросила, который час. Отвечая ей, он машинально подумал о том, что осталось десять минут до конца смены и Дуся будет дома минут через сорок.

Подгонявший его в спину ветер и лист, запримеченный под фонарем, подсказали — лето кончилось, и он вдруг подумал: а прибор все в том же положении, в каком был весной. И если дело будет идти так, с заданием в срок не управятся...

Он всегда испытывал потребность оградиться от всего, что не имеет отношения к его работе. Время, текучее, не задерживающееся на месте, вечно подгоняло, подстегивало его.

Он продрог. Убыстряя шаг, он шел по проспекту мимо ярко освещенных витрин магазинов, обгоняя толпу, валившую из кинотеатра.

Две женщины с нераспроданными букетами в руках напомнили ему о цветах на праздничном столе у матери. Федор подумал: может быть, и лучше, что мать теперь будет не одна, а то она очень обижалась на него. Зря, пожалуй, он послушался Дусю, когда она настаивала переехать от матери и жить отдельно.

Федор свернул в переулок. Здесь пахло табаком, отцветающим в палисадниках. Было темно. Федор пошел медленнее. И вдруг все то, что успокаивало его, куда-то отодвинулось, уступив место тоске. Федор остановился, настигнутый ею врасплох. «Ого», — сказал он и провел рукой по волосам. Мать — не такая, какой она была сегодня, а прежняя — стояла перед глазами. Он провел ладонью по лицу, ото лба к подбородку. Он готов был бежать назад. «Мать, брось эту затею, останься, как была».

Он втиснул в карман руку со свернутой газетой и быстро пошел дальше.

Его обогнал велосипедист с девушкой на раме, ехавший по тротуару. Федор шел мимо вышедшего на дежурство дворника в белом фартуке, мимо расклейщика афиш, водившего по доске большой кистью. В другое время Федор непременно остановился бы поглазеть на свежую афишу.

Пересекая сквер, он врезался в толпу, кружком обступившую гармониста. Перед ним удивленно и враждебно расступились.

Ай, спешит, спешит, спешит  
К милке на свидание! —

хлестко затянул девичий голос. Гармонист заиграл громче.

В это время загудело на Большой мануфактуре, на комбинате, и в слившихся мощных гудках потонули все звуки...

Когда Федор подходил к дому, ему послышалось, что кто-то окликнул его. Он остановился и увидел быстро идущую ему навстречу женщину в белом платье.

Он сразу узнал эту женщину, раньше чем она приблизилась настолько, что можно было разглядеть ее. Он остолбенел.

— Юлька?

— Федя!

Они порывисто обнялись и поцеловались.

— Ты в Куваеве? Давно?

Она сказала торопливо:

— Я боялась, не узнаешь.

Гудки умолкли, и ее голос прозвучал очень громко.

— Господи, Федя, — сказала она, тяжело дыша. — Неужели ты?

— А то кто же? — Он засмеялся. — Мне тоже не верится, что это ты.

Держась за руки, они посторонились — еще один велосипедист вез на раме девушку по тротуару.

— Я была у тебя на квартире... На Сосневской улице... Какая-то женщина сказала, что ты переехал, и дала твой адрес...

— Да, да, — сказал он, украдкой рассматривая ее. — Ах, ну да, ведь соседка мне говорила...



Гладкие, уложенные в пучок волосы, белое платье с затейливыми карманами. Как это он узнал ее? Ведь он видел ее только в военной гимнастерке.

— А в Куваеве-то ты давно? Ты работаешь здесь?

Она нерешительно ответила:

— Нет. Я только вчера приехала.

Они помолчали. Мимо шли рабочие со смены.

Федор сказал:

— Понимаешь, сегодня моя мать вышла замуж.

Юлька тихонько отняла руку.

— Вот и повстречались, — тихо сказал Федор и размашисто провел рукой по волосам. — И не думал... Хутор Занайте — так, кажется, назывался, да? С ветряком на пригорке. С того хутора, значит, не виделись...

— Нет, не в Занайте... На станции в Керенте...

— Верно, — вспомнил он.

— Помнишь? Эшелон отходит... Ты побежал по шпалам. Ребята тебя втащили в вагон, ты снял фуражку и помахал... — Она оживилась. — Федя, ты Уварина из нашей дивизии помнишь?

— Еще бы!

— Так это я от него узнала твой адрес. Иду в Москве по улице...

— А ты в Москве жила?

— Ну да. И вдруг смотрю — Уварин в шляпе, а такой же рябой...

— Ну и Уварин! Всегда обо всех в курсе...

Он силился припомнить, какие у Юльки были волосы в армии.

— Вот так случайно узнала, где ты живешь. И надумала поехать...

— Да? — переспросил Федор.

Она ответила смело:

— Повидаться решила.

Он невольно огляделся, точно хотел полнее оценить несуразность того, что происходит сейчас здесь.

— Ну, а живешь-то ты как? У тебя семья? Ты замужем?

— А ты?

— Я-то? — грубовато сказал Федор. — Да уж три года женат.

Шофер, медленно ехавший на «Победе» вдоль тротуара, посигналил им из озорства.

Юлька зажала сумочку локтем и зачем-то пригладила волосы.

— Мы тут стоим...

— Ну и что? — Он перебил, улыбнувшись, и взглянул на часы. — Она сейчас придет.

— Сейчас?

— Да. С работы. Ты где остановилась?

— Как где? В гостинице. — Юлька протянула ему руку.

— Пойдем, — сказал Федор, — провожу тебя.

— Нет, нет, — заупрямилась Юлька. — Не надр.

— Да нет, как же так?

Он вдруг увидел вдалеке Дусю, идущую к ним навстречу с чемоданчиком в руках.

— Ну, ладно, — растерянно сказал он. — Я пошел.

Они попрощались. Федор нерешительно направился к подъезду, но передумал и пошел навстречу Дусе.

— Ты что? — обеспокоенно спросила она, удивленная тем, что он вышел встречать ее. Лицо у Дуси было бледным от усталости.

— Да ничего.

Они пошли рядом. Федор сказал:

— Мама нашла себе какого-то старика. Взяла его к себе. Дуся остановилась.

— Что это она? Да зачем это ей? — Поглядев на Федора, она замолчала.

Они пошли дальше. Дуся взяла Федора под руку, и он обрадовался ее прикосновению. Из-за матери, из-за Юльки, из-за всех наваждений сегодняшнего вечера у него под ногами было непривычно зыбко.

— Федя, ведь холодно? Что пиджак не надел?

Он покачал головой. С облегчением, перескакивая через две ступеньки, всбежал на второй этаж и осторожно вставил ключ в замочную скважину. В квартире было темно, все спали.

Комната, которую они снимали в чужой квартире, была маленькой, метров девяти. Кроме кровати, перевезенной от матери, в ней не было ни одного предмета, принадлежащего им. В платяном шкафу их вещи висели вперемежку с вещами хозяев. В узком одностворчатом книжном шкафу Дуся держала посуду, сахар, хлеб. Был здесь еще квадратный стол, ножная швейная машина, покрытая яркой набойкой, и тумбочка, на которой Дуся расставила зеркало, пудру и две большие чашки, подаренные ей бригадой, когда она вышла замуж.

Федор включил свет и вспомнил, что собирался сегодня вечером рассчитать схему передачи для прибора. Теперь уже было поздно, пора спать, да и голова гудела, но он привычно подсел к столу.

Дуся развязала косынку и встряхнула мокрыми волосами — она мылась под душем после работы.

— Ужинать будешь?

Он покачал головой.

— У матери поел.

Дуся хотела расспросить о свекрови, но что-то остановило ее. Переобувшись в тапочки, она тихо вышла на кухню.

Федор вдруг вспомнил, что в армии у Юльки были короткие пышные волосы, прикрывавшие лишь уши. И, вспомнив наконец, он почувствовал какое-то облегчение. Они даже не спросили друг друга, как жили, как работали все это время. И ведь надо же, решилась, приехала, ничего не зная о нем. Да если бы даже он не был женат, ведь сколько воды утекло. Ох, Юлька, Юлька...

Дуся на краю стола пила молоко с хлебом. На лбу, на висках у нее высохшие прядки волос посветлели и свернулись колечками, маленькие сережки в ушах приветливо поблескивали. С мокрыми волосами она выглядела еще моложе, чем обычно. Они встретились глазами, и Дуся сонно улыбнулась. Она поднялась и принялась прибирать со стола.

Федор сидел над тетрадкой, не видя цифр, подперев ладонями лоб, и слышал, как за его спиной Дуся возилась в комнате, стелила постель.

## 2

Номер в гостинице, где поселилась Юлька, был двухместным. Но первые два дня вторая койка пустовала. А как раз на другой день после встречи Юльки с Федором, под вечер, в номер, не постучавшись, вошла высокая женщина в велюровом берете с пером. Они поздоровались. Женщина, оглядевшись, повесила на вешалку зеленый плащ, который несла на руке, и задвинула под кровать большую кожаную продовольственную сумку. Юлька, лежащая на постели в платье, поспешно встала. Поправив одеяло и застегнув кнопки на груди, она прошла к окну, освобождая проход между кроватями.

В комнате, где она наедине с тяжелыми мыслями провела много часов, просто и по-хозяйски размещалась незнакомая женщина.

— Вы откуда будете? — вежливо спросила Юлька, хотя этонисколько ее не интересовало.

Женщина повесила берет на шпешечку кровати и обернулась. В лице ее, в посадке головы Юльке почудилось что-то значительное. «Геолог или, может быть, учительница», — подумала она. Женщина объяснила: она из Фурманова, это три часа езды отсюда. Приехала на семинар работников системы ВОС.

Юлька не поняла.

— ВОС, — сказала, улыбнувшись, женщина. — Всероссийское общество слепых, понимаете? Каждый год съезжаемся на семинар.

Юлька недоумевающе посмотрела на нее.

— Чего ж тут не понимать? — улыбнулась женщина. — Я работаю в артели слепых начальником цеха.

— У вас слепые работают? В вашем цеху?

— Да. У нас цех валенок. А вы из Москвы?

— Да. Мне тут нужно на текстильную фабрику, — сказала Юлька, вспомнив, что Уварин говорил ей, будто Федор работает на каком-то текстильном предприятии.

Женщина не стала больше расспрашивать, она куда-то заторопилась.

Из репродуктора на площади в открытое окно доносился голос московского диктора. Внизу, под окном, громко разговаривали. Юлька зажгла свет, задернула шторы. Она не выходила из номера, все чего-то ждала, прислушивалась к шагам в коридоре.

Вернувшись, соседка присела с края стола, развернула кульки, поела, потом, вымыв руки, взбила подушки и быстро нырнула под одеяло.

А Юлька снова лежала в платье на постели.

В дверь постучали. Юлька вздрогнула, вскочила с колотящимся сердцем, повернула ключ в замке. За порогом стоял маленький пьяноватый мужчина.

— Вам кого? — сурово спросила Юлька.

— Родионову.

— Какую Родионову?

— Лидию. Лидию Родионову.

Соседка зашевелилась, приоткрыла глаза. Из-под одеяла выглядывали ее голые плечи. Юлька наконец сообразила.

— Родионову Лидию спрашивают. Это вы?

Соседка махнула рукой.

— Скажите — спит.

Она лежала, красивая, на разложенных по-домашнему — одна подле другой — подушках, словно кто-то должен был лечь с ней рядом.

Юлька, приоткрыв шире дверь, сказала:

— Она спит. — И заперла дверь.

— Это наш, с семинара, — сонно сказала Родионова. — Договаривались в кино пойти. — И повернулась на другой бок, лицом к стене.

Нетрезвый, плохонький дяденька. А все же Родионова Лидия кому-то нужна.

Утром соседка мылась над раковиной, пустив сильную струю воды. Торопясь на свой семинар, она не сходилa за кипятком и, завтракая, подливала в стакан холодную воду из графина. Она спросила Юльку о Москве.

— Шумно, — сказала, лежа в постели, Юлька, думая о том, что с Москвой для нее покончено. — Тяжело переносить такой шум и движение.

— А я бы, кажется, жила и жила в Москве. Так бы никуда и не уезжала. В прошлом году в отпуске гостила у сестры. В магазин войдешь — чего только нет. Как во сне!

Быстро покончив с едой, она, заслонясь от Юльки плечом, поднося к глазам ладонь с зажатым в ней зеркальцем, торопливо и долго мазала кремом лицо, пудрилась.

— Ох, что же это я, — спохватилась Лидия. — Опаздываю...

Она энергично просунула руки в рукава зеленого жесткого плаща и надела велюровый берет с пером.

Юлька лежала и слушала, как булькает скопившаяся в раковине, медленно протекавшая вода. Когда она наконец поднялась, за окном лило, и она пожалела, что не предложила Родионовой зонтик.

Она ходила по комнате в длинной ночной рубашке, с болтающейся по спине косой.

За дверью уборщица переговаривалась с жильцом и смеялась в полный голос. Слышно было, как она стучала совком о ведро, сбрасывая мусор. Громыхало переставляемое с места на место ведро, и его дужка звенела.

Юлька вымылась, расчесала волосы и, сильно стянув их, сколола на затылке в большой и небрежный пучок. Белое платье от лежания на кровати измялось, да и погода переменялась. Юлька достала из шкафа светло-серую юбку и лилового цвета свитер. У Юльки был смуглый цвет кожи, поэтому губы она не красила — ей не шло. Зато ресницы она накрашила густо, как всегда. Она знала: ее голубые глаза становятся больше и ярче оттого, что накрашенные ресницы загнуты вверх, а волосы гладко зачесаны.

Она привыкла к тому, что ей смотрят вслед. Ее привлекательность — это был, пожалуй, подсознательно основной Юлькин довод в жизни. Всем превратностям она могла противопоставить только свою привлекательность.

Юлька спустилась на второй этаж в буфет. Двое мужчин пили пиво, сидя за столиком и держа в руках на весу портфели, и не обратили на Юльку внимания.

Буфетчица, крашеная блондинка с мушкой на щеке, посмотрела на нее с интересом.

— Что для вас?

Юлька пила кофе со сладкой булочкой. Размахивая портфелями, поднялись и ушли двое мужчин.

— Заходите, — приветливо сказала Юльке буфетчица.

Подходя к своему номеру, Юлька услышала — за дверью заливается телефон.

Седая женщина в окошке дежурного администратора услужливо рылась в своих карточках.

— Возможно, уехала обратно в Москву, — сказал Федор.

— В семьдесят шестом, — сказала дежурная.

Он поблагодарил и направился к лестнице. Но тут другая женщина, сидевшая за маленьким столиком с телефоном, задержала его. Выяснив, в какой номер и к кому он идет, она сняла телефонную трубку. Юлькин номер не ответил.

— Погуляйте, — посоветовала женщина, — возможно, вышла.

Федор нетерпеливо прошелся по вестибюлю.

В открытой двери с улицы появился безногий инвалид в холщовой куртке, с солдатским вещевым мешком за плечами. Отталкиваясь колодками от пола, он прокатил на своей тележке по вестибюлю к стеклянной двери, на которой выведено: «Ресторан «Москва». Навстречу ему вышел гардеробщик и загородил собой дверь.

До Федора допелись обрывки фраз: «Ресторан 1-го разряда... Нельзя, гражданш...»

Погруженный в свои мысли, Федор не сразу понял, что происходит. Гардеробщик, слегка наклонившись к инвалиду, что-то втолковывал ему.

Федор подскочил в тот момент, когда инвалид поворачивал свою тележку, и увидел его бледное спокойное лицо.

— Что вы делаете? — взбешенно крикнул Федор гардеробщику. — Кто вам позволил?

Гардеробщик пожал плечами.

— Вы его, что ли, поднимать на стул будете?

— Буду! — крикнул Федор. — И тебя заставлю!

— Публика может возражать. Ресторан первого разряда...

Федор оглянулся — инвалида уже не было. Он выбежал на улицу, добежал до угла гостиницы, завернул, побежал обратно, снова свернул за угол. Пока Федор мотался вокруг углового здания гостиницы, инвалид исчез. Гардеробщик, стоя в дверях, следил за Федором. Он торопливо посторонился, когда Федор проходил мимо.

— Какая сволочь тебя этому учила? — сдерживаясь, спросил Федор.

Дежурная за столиком поспешно снова набирала Юлькин номер. Но Юлька уже сбегала по лестнице вниз.

— Федя!

Он обернулся, лицо у него было взволнованным.

— Пойдем отсюда. — Он потянул ее.

Они быстро поднимались по лестнице, и Федор рассказывал о том, что произошло.

— Взять хотя бы одну Глебовскую переправу. Помнишь? Сколько там ребят покорежило!

Юлька отозвалась:

— Да, на Глебовской он нам давал.

Они вошли в номер и огляделись, не зная, куда бы сесть.

— Господи, Федя, это же настоящий гад! — Юлька смахнула со стола крошки. — Садись.

Они сели к столу, положили на стол локти. На Федоре был темный пиджак, Юлька только сейчас заметила, как Федор возмужал, раздался в плечах.

— С Глебовской переправы, помнишь, — сказала она, чувствуя себя увереннее в их прошлом, — ты пришел весь обледенелый. И шинель и все-все...

— Помню.

— А помнишь, в Дорофеевке твою пилотку осколком снесло?

Федор засмеялся. Ему было приятно, что Юлька помнит все это. Фронтовые воспоминания были дороги ему, они трогали его, как будто речь в них шла не о нем самом, а о хорошем его друге, славном малом.

— Я, знаешь, как трубил эти годы? Техникум вечерний одолел. Теперь вот в заочный институт поступил...

Юльке еще в армии очень нравилось, как Федор говорит на «о» — простовато и как-то сосредоточенно. Она слушала его, подперев ладонью лицо.

— Подумать, Федя, как мы близко друг от друга жили все эти годы! Всего десять часов езды!

Федор кивнул.

Юлька сказала:

— На фронте все равно кем быть. Официанткой, судомойкой — все равно, не обращаешь внимания. А в мирной жизни все разбирается по полочкам: получай, чего заслуживаешь...

Федор посмотрел на ее порозовевшее лицо, на гладко стянутые волосы, покрашенные ресницы.

— У тебя семья, дети?

Юлька ответила неохотно:

— Детей у меня нет.

— Я почему спрашиваю — когда спросил тут внизу, в окошке, подумал: а может быть, у нее другая фамилия...

Она поднесла руки к затылку, поправляя пучок, и этим незнакомым Федору жестом отделила ту Юльку, которую он знал, от этой сидящей против него женщины.

— Ох, Федя, — помолчав, сказала она. — Рассказать бы тебе...

— Ты о чем? — Он пылливо посмотрел на нее. Он не мог доискаться в ней какой-то определенности, которая была в окружающих его людях. — Чего ж молчишь?

— Как-нибудь в другой раз...

— Ты замужем?

— Была.

За дверью заспорили горничные, пересчитывая белье. Дежурная громко сказала:

— Меньше болтайте по пустякам.

И снова стало тихо.

— А ты изменилась...

— Постарела?

— Да нет. Не в том дело.

Юлька покраснела и пожала плечами.

Федор положил руку на ее голову и провел по волосам. Юлька податливо и растерянно наклонила к нему голову. Он гладил ее по голове, и рука испытывала какое-то совсем новое, незнакомое ощущение — ведь тогда у нее были пышные короткие волосы.

— Ну, мне пора, — неожиданно сказал Федор.

Юлька поднялась. А он все еще сидел. Юлька была похожа на прежнюю и в то же время совсем другая, непонятная Федору со своими накрашенными ресницами. «Неприкаянная», — наконец-то нашел он.

Он встал. У двери они задержались. Федор неловко переминался. Недоумение от их встречи, от приезда Юльки только усилилось в нем. Юлька, потускневшая, сложила на груди руки и прислонилась к косяку. Она вдруг поняла всю нелепость порыва, приведшего ее в Куваево, в эту гостиницу. Зачем она приехала? Она громко вздохнула.

Они простились. Юлька вышла проводить Федора до лестницы. Здесь они еще раз крепко пожали друг другу руки. Федор спустился площадкой ниже и оглянулся. Юлька помахала ему рукой.

### 3

Тридцать пять лет назад юный чапаевец, попав после госпиталя домой на двухнедельную побывку, познакомился с молодой прядильщицей в кумачовой косынке на рыжих волосах. И хотя чапаевцу через несколько дней надо было возвращаться в полк и его подруге исполнилось едва ли семнадцать, она бесстрашно назвала его мужем.

На марше, где-то под Уфой, красноармеец Барулин узнал, что у него родился сын. Он увидел его, когда отгремела гражданская. Но недолго прожил с семьей — полученные на фронте ранения свели его в могилу вскоре после возвращения домой.

Его сын, Федор, рос с матерью. Федор уже второй год ходил в школу, когда мимо их дома — они жили тогда еще в двухэтажном доме, бывшей собственности купца Гандурина, — со знаменами и пенем прошли первые отряды строителей рыть котлованы для нового комбината. Это было на другой день после ноябрьских праздников, и по всей улице развевались еще не снятые флаги. За колонной бежали ребята, и с ними Федор.

А еще через полтора года мать взяла его с собой на праздник пуска первой очереди комбината.

С трибуны говорил Михаил Иванович Калинин. Вокруг на грудах кирпичика, на железных балках, на щелбе тесно стояли люди. Кто-то посочув-

ствовал мальчишке, и Федора посадили на дерево. По окружной дороге подошел поезд — прибыли рабочие из Кохмы. И все пошли за Калининым. У входа на прядильную фабрику он перерезал ленточку. Включили ток. Приехавшие из Узбекистана дехкане в пестрых халатах бросили в машину первые пучки хлопка. До позднего вечера люди шли и шли через цехи — весь город хотел участвовать в празднике.

На дворе играла гармонь, и мать, приведшая на комбинат с «Красной прялки» свою бригаду, молодая, в красной косынке на голове, плясала на шебне...

В фабзавкоме хранится пожелтевшая приветственная телеграмма: «Поздравляем передовой отряд революции куваевских рабочих-текстильщиков. Крупнейшая победа на фронте соцстроительства претворения в жизнь лозунга Партии догнать и перегнать. Огромное значение по выполнению хлопчатобумажном ассортименте острейшего дефицита одежных тканей. Москва. Оргтекстиль».

Поступив после войны на комбинат, Федор первое время удивлялся, что люди торопливо проходят мимо бронзовой доски на стене, у входа на прядильную фабрику, где покоится прах Орлова — героя гражданской войны и организатора строительства комбината. Сам он невольно замедлял здесь шаг. Но постепенно и он привык быстро проходить мимо бронзовой доски.

Сегодня, идя на работу по скрипучей, посыпанной шлаком аллейке, он издали увидел мать в кружке женщин, заступавших на смену.

Гудела кукушка — маленький паровоз комбината, дрожали стены прядильного корпуса, и Федор шел с чувством бодрости, которое он всегда испытывал, входя в ворота комбината. Он подумал: «И что это женщины так боятся одиночества?» И опять вспомнил, что в городе Юлька.

В пустой комнате конструкторского бюро он постоял, крепко расставив ноги и насвистывая. Он приходил сюда раньше всех. Он вообще готов был поселиться здесь и не выходить, пока не закончит работу.

Парторг комбината Карнаухова, сидя за письменным столом в своем кабинете, положил карандаш и нажал кнопку.

Секретарь Варвара Алексеевна медленно прошла по длинному кабинету и остановилась перед письменным столом. Карнаухов продолжал писать. Наконец он поднял лицо, и взгляд его из-под сдвинутых бровей упал на ее худые ноги в белых носках. Карнаухов побарабанил пальцами по настольному стеклу и взял другой карандаш из стаканчика.

Хорошо заточенные карандаши — единственное его требование. Больше ни одной личной просьбы, никаких личных поручений за все три года совместной работы.

Приподняв плечо, Варвара Алексеевна снисходительно думала о том, что все же с е г о д н я он мог бы не заставлять ее ждать.

Стенные часы ударили один раз. Варвара Алексеевна покашляла и надтреснутым голосом старой курильщицы спросила:

— Вы вызывали?

— Материалы комиссии готовы?

— Печатаю.

— Соедините меня с главным инженером.

Она повернулась и пошла по длинному кабинету, унося в приподнятых бровях снисходительный укор.

— Возьмите трубку, — сказала она, снова появившись в дверях кабинета.

— Афанасий Николаевич? — заговорил Карнаухов. — Я по поводу приказа министра. Точнее сказать, наших мер...

Вернувшись в приемную к свосму столу, Варвара Алексеевна раскурила потухшую папиросу.

Она печатала на машинке и думала о том, что завтра будет далеко отсюда, а здесь на комбинате еще долго будут переживать эту неприятность — попали в приказ министра за плохое использование новой техники.

Раздался звонок. Варвара Алексеевна поднялась.

— Попросите ко мне Барулина.

Федор был членом парткома, и ему часто приходилось встречаться с Карнауховым. И все же всякий раз, когда Варвара Алексеевна, в своем черном жакете, с жестко навитыми седыми волосами, заглядывала в конструкторскую группу и произносила обесцвеченным голосом: «Товарищ Барулин, вас просит Александр Егорович», — Федор ощущал какое-то смутное беспокойство и в то же время чувствовал себя приподнято. Карнаухов в его глазах был хозяином на комбинате, в большей даже степени, чем директор, и Федор, как все, побаивался его, но уважал и не представлял себе комбината без Карнаухова.

Вот и сегодня, вызванный Варварой Алексеевной, Федор стремительно вошел в кабинет парторга. Карнаухов крепко пожал ему руку и спросил с требовательным интересом:

— Как с прибором для прядильных машин? Какое сегодня число, помнишь? — И искоса глянул на синюю папку, где собрано было то, что парторг держал «на контроле».

Федор, садясь на стул сбоку от Карнаухова, пригладил волосы и заговорил с охотой:

— Мы, Александр Егорович, пошли сейчас другим путем...

Требовательное ожидание Карнаухова подстегивало Федора. Каким заманчивым рисовался ему тот день, когда он наконец сможет сказать Карнаухову, что прибор готов, и услышит от него слова одобрения.

— Понимаешь, ищем новое решение... Вот в чем загвоздка... К тому же механические мастерские волынят, не выполнили до сих пор наш заказ...

У Карнаухова большелобое лицо с высоко снятыми на висках темными поблескивающими волосами. Он плечист на одну сторону. Другое плечо спадает, и искусственная рука вложена в карман пиджака.

— Срок поджимает. — И, постучав карандашом по бумагам раскрытой контрольной папки, Карнаухов сказал: — На объективные причины уже поздно ссылаться. Спросим с тебя на парткоме. Имей в виду.

С тех пор как на комбинате парторгом стал Карнаухов, начальники цехов знали: не выполнишь плана — схлопочешь себе выговор, но не роптали на такую строгость. Так и Федор. Все же резкость Карнаухова показала ему незаслуженной. Он закатал и снова раскатал рукав спецовки.

— Мы ведь не прохлаждаемся...

Но Карнаухов не слушал. Он взялся за телефонную трубку и вызвал начальника механических мастерских.

— Карнаухов говорит. Что это у тебя делается? Заказ конструкторской группы маринуется. Наведи порядок, товарищ Свиридов, убедительно прошу тебя. Беру на контроль.

Он положил трубку на рычаг и побарабанил пальцами по стеклу.

— Вот так, — сказал он. — Надеюсь, теперь и аш с тобой заказ мариновать не будут. Я прослежу.

Федор знал у Карнаухова эту черту: встретит в штыки, отругает, но всячески поможет.

— Александр Егорович, — сказал он с чувством, — не подведем.

Заговорили о приказе министра, и тон разговора сразу переломился. Федор пробежал глазами уже знакомый ему приказ: «Безобразное положение с освоением новой техники. На Куваевском комбинате



механизмы высокой вытяжки до сих пор не используются». И молча встретился взглядом с Карнауховым. Оба они, как показалось Федору, подумали об одном и том же: хотя эти новые механизмы не используются по вине главка, но теперь престиж комбината подорван и переходящее знамя трудно будет удержать.

Карнаухов прижал мизинцем коробок к столу и с усилием зажег одной рукой спичку.

— Завтра соберем партком. Мероприятия разработаем. — Он раскурил папиросу. — Придется крепко взяться за Волкова. Строго спросить с него...

Федор удивленно посмотрел на Карнаухова.

— С Волкова? При чем он тут?

— Старший мастер в цехе. Ответственен за технику.

— Ну, знаешь, это если формально...

Механизмы высокой вытяжки в прядильном цехе предназначались для тонких сортов пряжи, которые сейчас на комбинате не изготавливались.

— Не может же старший мастер по своему усмотрению изменить номера пряжи и заправить эти механизмы... — сказал Федор.

— По-твоему, выходит, нет виноватых, — вяло сказал Карнаухов.

— Сам знаешь, главк должен был пересмотреть ассортимент, раз появилась новая техника...

В самом деле, никто не торопился — ни главк, ни комбинат. На низких номерах пряжи работать спокойнее: меньше обрывность нити и выше производительность. Вот и дождались...

— Ну, это несерьезно, Барулин. Так на критику не реагируют. Сами вы, мол, виноваты, а наша хата с краю.

— Значит, ищи стрелочника...

Карнаухов глубоко затыкнулся и, щурясь от дыма, спросил:

— Вы, кажется, приятели с Волковым?

Федор вспыхнул.

— Ну и что?

— Мы должны руководствоваться пользой дела. А личные отношения...

Тихо вошла Варвара Алексеевна и курила, грустно и заинтересованно прислушиваясь к их разговору. Карнаухов поднес папиросу к пепельнице одновременно с Варварой Алексеевной, стряхнул пепел. Оба они курили только «Беломор».

— Вот материал комиссии в трех экземплярах, — сказала Варвара Алексеевна. — Я не нужна больше? Могу я идти? А то мне еще укладываться надо...

Карнаухов кивнул ей.

Варвара Алексеевна прошла к стенному шкафу, где все три года рядом с карнауховским висело ее пальто. Пока она одевалась, в кабинете молчали. Федор хмуро уставился в пол, он встал и рассеянно пожал протянутую Варварой Алексеевной руку.

Карнаухов вышел к ней из-за стола.

— Бросает нас Варвара Алексеевна.

— Что ж делать, семейные обстоятельства.

— Пишите же нам, как вы устроились.

— Непременно, — дрогнувшим голосом пообещала Варвара Алексеевна.

Закрывая за собой дверь, она слышала, как Карнаухов громко сказал Барулину:

— Есть мнение — мы тут обменялись в рабочем порядке — заострить на примере Волкова внимание всего коллектива... Прими к сведению как член парткома...

Варваре Алексеевне нравилось умение Карнаухова оперативно ставить вопрос. Директор с главным инженером еще не пришли в себя от приказа министра, а партком уже действует.

Варвара Алексеевна накинула черный клеенчатый чехол на машинку — кто-то будет стучать теперь на ней? — и ушла.

— Вот так, — сказал Карнаухов. — Проведем заседание парткома — и за дело. — Откинувшись в кресле, он говорил громко, точно Федор был в другом конце кабинета.

Федор вдруг подумал с тревогой: Карнаухов никогда не стал бы ходить тайком на свидание в гостиницу...

## 4

Было это так. В деревенском доме на лавках сидели офицеры армейского резерва в шинелях не по росту, полученных в госпитале и надетых поверх стеганых фуфаек. А в углу девушка в гимнастерке пела под гитару.

Федор вошел в дом, тихо стащил со спины вещевой мешок и сел на лавку.

Девушка кончила петь. Офицеры дружно попросили:

— Юля, спой еще.

Девушка не стала ломаться, перебрала струны и с охотой запела:

...И черемухи ветреный иней  
Уберет жемчугами твой сад...

Хорошо ли она пела? Наверно, хорошо. Песня горько томила. Когда над крышей, противно воя, прошел снаряд, никто не выругался ему вслед. Все зачарованно смотрели в красный угол — откуда такая свалилась в армию?

В резерве не засидишься. Федор снова был направлен в артполк. Юлька — в столовую штаба дивизии.

В столовой чистила мерзлую картошку. В обеденный час потуже заправляла за ремень гимнастерку и подвязывала белый фартук. Подавала обед, мыла посуду, скребла котлы, а к ужину опять надевала белый фартук. Спала с девчатами тут же, на столах, не раздеваясь: раздеваться было строго запрещено, ждали наступления немцев.

Ночью в столовую приползал слух: немецкие танки в Ножкине.

— От, будь они прокляты! — вздыхала на соседнем столе толстая Шура и, повернувшись на бок, засыпала, сопя и посвистывая.

Что ни день деревня Ножкино переходила из рук в руки.

Юлька лежала обутая, закутавшись в одеяло, дрожа от озноба. Она помнила, как немецкие танки вступали в ее родной город Тарицу.

Когда штаб дивизии переезжал на новое место, Юлька мерзла на мешках сухарей неприкосновенного запаса. Въезжая в лес, с ходу заправляли снегом котлы, и дымок столовой первым осваивал новый КП.

Обстрел Юлька переносила легко. Но еще в первое лето войны, когда школьницы Тарицы рыли противотанковый ров за городом, Юлька попала под жестокую бомбежку, и с тех пор осталась травма. Если часовой на деревенской улице кричал «Воздух!» или доносился отвратительный, сверлящий звук в небе, все выбегали из дому на улицу и, смотря по обстоятельствам, стреляли вверх или ложились. Юлька же забивалась в подпол.

В деревне Займище у хозяйки было пятеро маленьких детей.

— Ребята у меня дробные, — виновато говорила она.

Юлька вместе с ней совала в подпол ребятишек и, прижавшись к ним, сидела в темноте с замирающим сердцем.

В распутицу в столовой три раза в день разводили в котлах концентрат манной каши. Для вкуса на столы ставили горчицу. Люди в непросяхающих сапогах хмуро ели, стуча ложками.

Было по-всякому. Но в праздники сдвигали в сторону столы, гремел баян, и Юлька увлеченно кружилась в танце, при каждом повороте отбрасывая голову.

Весной по ночам в калининских лесах заливались соловьи, пахло травой. Тревожно шемило сердце.

У кого какое заветное желание? Шура смеялась:

— Вареников с вишнями вволю поесть.

Юлька вздыхала чистосердечно:

— Влюбиться. Когда война кончится, конечно.

— А может, война еще пять лет протянется?

— Может, протянется, а может, нет.

Ночью вдалеке за полем немец бросал ракеты. Гулко стучали пулеметы на передовке. Все это было как обычно. Но было и звездное небо над головой, и соловей, и тревожный запах весеннего леса, когда Юлька первый раз в жизни поцеловалась.

— Где тебя носит? Всю росу обила. — Шура ворчала. — Днем на ходу спать будет. А ты ж за нее отдувайся.

Ни лихости, ни настойчивости в ухаживании — ничего этого не было у Федора. Появляясь в штабе дивизии, он заходил в столовую, и они тепло встречались с Юлькой — как-никак старые знакомые, вместе провели несколько дней в резерве. А на войне и таким знакомством дорожат.

Может быть, поэтому она и потянулась к нему. А может быть, просто пришло Юльке время любить. Вот так и началось, тихо, ни с чего как будто.

Теперь по ночам, тайком от своего начальства, Юлька ускользала с КП.

Добиралась в дивизион по проводам связи, выжидая в кювете, чтобы перебежать пристреливаемую немцами дорогу, пока наконец ее не окликал сиплый от ночной сырости голос часового: «Стой! Пропуск!» — и она различала заставленную елочками штабную машину и орудие, накрытое маскировочной сеткой, — она была дома.

Федора смущала ее безудержность, неловко было перед бойцами. Потом это прошло, к Юльке быстро привыкли.

Дивизия, обогнув Холм-Жарковский, рвалась к Смоленску. И порыв наступления и любовь — все это слилось для Юльки вместе, и казалось, это и есть жизнь, самая настоящая, и ей не будет конца.

Как-то в деревне, на коротком постое, молодая хозяйка, проводившая на фронт мужа, доверилась Юльке:

— Вот нажила близкого человека, теперь покоя нет.

Так и у Юльки — нет покоя. Вдали от Федора она, повзрослевшая, молчаливая, тревожится, все ждет чего-то. И дождалась, что однажды за ней прислали из дивизиона: Федора ранило.

Отвязала фартук и бежала, спотыкаясь, через поле...

Уже продвигались по Латвии, когда Федор вернулся из санбата. В столовой дивизии не было больше толстой Шуры — ее схоронили под городом Красным, погибла при артиллерийском налете.

В октябре дивизия участвовала в боях за Ригу и вышла к морю. Артполк был перебросен на другой фронт. Уехал с полком и Федор.

«Война, — говорили, — война все спишет». Нет, Федор так не рассуждал. Он привязался к Юльке, скучал по ней.

Но отношения их все же, казалось ему, временные, ненастоящие. Вот когда-нибудь потом, отвоювавшись, и он заживет, как люди, женится.

Письма от Федора приходили Юльке не часто, потом переписка и вовсе оборвалась.

В День Победы в Прибалтике в воинских частях стреляли в воздух, пили, что было выдано, и сверх того, что могли раздобыть, пели песни.

Отпраздновали победу, и все опостылело Юльке. Чужбиной показалась земля с ветряками на холмах, с отличными дорогами, с высокими крестами у одиноких хуторов.

Люди потянулись по домам. Но Юлька и представить себе не могла, как она снова заживет в маленьком домике в Тарице. О чем будет говорить, что делать, чего ждать? Ничего не осталось от прежней резвой Юленьки. В лесу, где теперь лишь ветер забрасывал землей блиндажи, на фронтовых дорогах, на чужом пепелище, да там, где могила Шуры, остался ее дом. Было плечо любимого под головой, и рожь или хмель, Россия или Латвия, звезды над ними или брезня блиндажа — все дом. Разве это понять маме? Куда ж теперь идти, где обжиться?

## 5

Юлька все еще жила в гостинице. Ей нравилось, что в ее отсутствие кто-то невидимый прибирал в номере. Пол паркетный блестел, в пепельнице не было огрызков яблок.

Ее соседка по комнате Лидия Родионова уехала. Юльке грустно было прощаться с ней, она привязывалась к людям, с которыми ей приходилось жить.

Вечером появилась новая соседка. Раздевшись, встряхнула пальто, разбрызгав капли дождя, прошла по комнате, заложив руки в карманы синего форменного платья связистки, круглолицая, молодая. Сообщила, что добиралась в Куваево парходом и на попутных машинах и что пришла на совещание.

— Что-нибудь новенькое по нашему производству узнаем.

Новая соседка поинтересовалась, откуда прибыла Юлька, где работает, кем.

Она съела два крутых яйца, взглянула на часы, сказала:

— Продовольственный до двадцати трех, а промтоварные — до двадцати ноль-ноль.

И выбежала из номера.

Днем Юлька оставалась в номере одна. Здесь все было изучено ею: шелковый абажур, спускавшийся с потолка на шнуре, — в его бахrome навсегда уснула осенняя муха; инвентарная опись, которую Юлька знала наизусть, и сбоку у двери большими черными буквами напоминание: «Уходя, гаси свет!» Облокотившись о деревянный обшарпанный подоконник — масляная краска на нем лупилась, оттого что на подоконник ставили горячий чайник, — Юлька смотрела в окно. Лето непривычно затянулось, и хотя дождь лил часто, снова быстро прояснялось, голубело небо. Где-то по соседству в номере выпиливали на скрипке одни и те же упражнения — без конца.

Юльке вспоминалась комната убитой немцами тетки в тарицком домике, где сейчас жил впущенный матерью квартирант. Раскрашенное восковое яичко в серебряной подставке на комод. Коробки с перламутровыми пуговицами и бисером, семейный альбом. И то, как пахло в комнате — старым теткинским плюшевым пальто и неуклюжим вытертым диваном. Было жаль тетку. Юлька крепилась, чтобы не затосковать.

Понемногу она стала привыкать к Куваеву, огляделась. Она чувствовала, что это трудовой, суровый город рабочих, живущий бодро и деятельно. Здесь все говорили на «о», как Федор. Юльке здесь вообще нравилось. Ей, например, нравилось, как добросовестно и энергично работали кондукторши в трамваях — поливали из леек пол, чтобы прибить пыль, хозяйски

ходили по вагону, продавая билеты. Официантки в кафе не брали на чай.

Юлька подумывала о работе — ведь деньги, которые она выручила от продажи зимнего пальто, собираясь в дорогу, подошли к концу.

В сущности, она все время чего-то ждала, хотя все было ясно и ждать нечего.

Она читала объявления в местной газете: Металлстромсоюзу требуются инженеры и техники, знакомые с кирпичным производством; отделочной фабрике — чертежник-конструктор и котельщик; требуются для охраны мужчины в возрасте до 35 лет; областной радиоклуб ДОСААФ объявляет прием на курсы радиотелеграфистов.

Наконец она нашла — автобазе управления местных торгов нужен нормировщик.

Она разыскала контору автобазы на тихой улочке. Входная дверь была обита войлоком. В коридоре толпились и галдели шоферы, получая зарплату. За тонкой перегородкой в папиросном дыму сидел без пиджака управляющий, тучный человек с короткой шеей, и урчал в трубку:

— И ты, Евстишин, обманывать выучился?

Он спросил ее, прикрыв ладонью трубку:

— Вы ко мне? По какому вопросу? Очень хорошо. А нормирование знаете? А нашу специфику? А холода не боитесь? Приступить можете?

И, не слушая ее ответов, велел прийти завтра к трем часам.

Юлька пришла в назначенное время. Заявив, что сейчас обеденный перерыв, управляющий запер ящики стола, влез в кожаное пальто и повел ее обедать, быстро катясь по улице, забегал вперед, засыпал вопросами и не давал ей говорить.

Юлька поколебалась у дверей ресторана. Зачем она идет с этим дяденькой? И все же вошла. Он предложил ей закурить — ей всегда почему-то предлагали папиросы. Она отказалась. Подали водки в графине. Выпили. Перейдя на «ты», управляющий бурно жаловался ей, что не понят в своей семье и что любит задушевные беседы, «без задних мысли», как он выразился, и положил на ее руку свою с короткими пальцами.

Юлька вздрогнула и поспешно приняла руку. Она сказала, что ее ждут и ей пора уходить. Прощаясь на улице, управляющий сказал по-деловому и дружески, тоном человека, легко переносящего поражения и никогда не теряющего надежды:

— Ну так, значит, с понедельника приступай к работе.

Юлька промолчала, зная, что не придет больше.

Ее действительно ждали. Перед тем как она уходила, позвонил Федор. Она сказала, что идет по делу в город, и они условились встретиться на углу Пушкинской.

Юлька немного запаздывала. Она издали увидела Федора — он читал газету у стенда, — подошла незамеченной и потянула его за рукав плаща. Федор обрадованно сжал ее руку. Он был небрит и казался озабоченным. Они пошли вниз по улице. Ветер мел под ноги сухие листья, и они поскрипывали, перекатываясь по асфальту. Юлька сбоку поглядывала на Федора, мягко и растерянно.

У афиши Федор остановился и прочитал вслух: «Студенческий вечер в помещении драмтеатра. В фойе играет оркестр».

Юлька засмеялась и тоже прочитала: «Скоро! Открытие сезона куваевского госцирка. Следите за рекламой!»

Они пошли дальше. Кое-где в окнах дозревали помидоры.

— Улица Станко, — задрав голову и не останавливаясь, прочитала Юлька на серой стене почты. Она знала, что там, на почте, лежат письма из Москвы на ее имя, но не шла получать.

— А Станко знаешь кто? — спросил Федор. — Он был командиром боевой дружины в девятьсот пятом году.

— Кажется, на этой улице твоя школа?

Он улыбнулся: Юлька и об этом помнит. И знакомые складочки запрыгали у рта.

— Господи, Федя! — пылко сказала Юлька.

Он посмотрел на нее и смутился. «Почему она не возвращается в Москву?» — беспокойно думал Федор. Они молча шли дальше, медленно, без цели. Из дверей под вывеской «Медицинское училище» высыпали девушки в разноцветных фетровых шляпках и, обгоняя их, быстро прошли, размахивая чемоданчиками.

Федор и Юлька миновали желтое здание театра и оказались в сквере. Сторожиха в больших рукавицах метлой сгребала в кучу опавшие листья. А в низинке еще зеленела трава, и проходившая мимо женщина вытирала о траву боты.

— Вот осенью почему-то тоскливо, — сказала Юлька.

— В работе не замечаешь, какое время года, — сказал Федор. — Наше дело — работать.

— Да, конечно, — сказала Юлька, плотнее запахиваясь в серое пальто.

— Когда работаешь, вкалываешь во всю мочь и что-то дельное получается — человеком себя чувствуешь. — Он остановился и добавил вдруг с суровой убежденностью: — По-моему, это самое главное.

— Да, — сказала Юлька.

Они пошли дальше. Федор видел справа у своего плеча непокрытую голову Юльки, ветер расшвыривал выбившиеся длинные тонкие прядки волос. Все что-нибудь делают, только она одна как туристка какая-то.

— Это верно, — сказала она, помолчав. — Если у тебя есть любимое дело или если живешь с человеком, которого уважаешь, не чувствуешь себя в жизни неустойчиво.

Поравнялись с заколоченным павильоном «Мороженое»; синяя краска его облиняла. На аллее кружилась мальчишка, пытаясь раскрутить, поднять в воздух бумажный самолетик на веревочке. На речке Уводь, протекавшей за сквером, вбивали сваю. Несколько человек поднимали деревянную бабу и обрушивали ее на сваю. Доносилось дружное: «А-ах!»

Федор и Юлька остановились у железной ограды. Солнце село, дул свежий, холодный ветер. Гулкий ритмичный возглас с реки хорошо, бодро настраивал Федора.

— Вот бьемся над интересной штукой. — Он показал руками. — Такое вот небольшое приспособление для веретен, а оно оборванную нить задержит. Эффект от него, знаешь, какой будет... Производительность выше и отходов меньше. — Он улыбнулся и добавил чистосердечно: — Это для меня самое интересное; пусть трудно, пусть не сразу ладится...

Юлька, побледневшая на ветру, слушала его, подняв голову.

— Это — основное, по-моему, — сказал Федор. — Остальное приложится.

Федор, в сдвинутой на затылок кепке, стоял рядом и казался таким прочным, таким надежным. Так хотелось приутюжиться к нему.

В армии он не понимал, чего ей стоило пробираться к нему в дивизион, и сейчас не знал, чего стоило приехать в Куваево. И к лучшему. Жертвенность тяготила бы его. Юлька это понимала инстинктивно. Может быть, кто-нибудь другой был бы внимательнее. Но она-то знает, какой ненужной, какой липкой бывает иная внимательность. Иной, может быть, ждет от тебя самоотверженности — слабая душа. А Федор признавал самоотверженность в деле, а с людьми отношения строил проще. Зато Юлька знала его справедливым и честным.

Она пододвинулась к нему, кутаясь в серое пальто. Федор посмотрел на нее. «Красивая» — вдруг увидел он. Они встретились взглядом, и небритое лицо его залило краской.

Они вышли из сквера и пересекли мостовую в направлении гостиницы. Их обогнала машина. В кузове ее, развалившись на рулонах ткани, девушка

в ватнике грызла яблоко. Федор подумал, что Дуся, наверное, еще спит после ночной смены.

Прощаясь, они стояли с Юлькой у чугунного лоснящегося льва при входе в гостиницу. Федор спросил:

— Ты где была сегодня?

— Я? На работу устраиваться ходила.

Теребя пуговицу на его плаще, она рассказала об управляющем автобазой, о ресторане.

Федор слушал ее со щемящим чувством: опять какой-то неприкаянной, не прилепившейся ни к чему былинкой, которую треплет ветер, показала ему Юлька.

Прошло несколько дней. И снова у Юльки в номере зазвонил телефон. — Я хочу зайти к тебе.

— Да, конечно.— Что-то незнакомое почувствовала она в голосе Федора. Помолчали.— Федя, как хорошо, что ты позвонил. Знаешь, я проходила мимо вашего комбината, там на доске вывешено, что нужен нормировщик.

— Какой нормировщик?

— Нормировщик в отделе труда и зарплаты.

— Ну и что?

Она засмеялась.

— Так я ведь нормировщик. Я кончала курсы. Понимаешь? Федя, ты слышишь? Я хотела тебя попросить, узнай, может быть, возьмут меня.

Он ответил не сразу:

— Хорошо. Я поговорю с Назаровым.

— Это кто ж такой?

— Назаров-то? Начальник отдела.

— Ах, ну да.

Они помолчали.

— Я хотел зайти к тебе.

— Да, конечно.

И снова что-то незнакомое послышалось в его голосе.

На этот раз дежурная, предупрежденная Юлькой по телефону, пропустила его. Федор, не постучав, открыл дверь в номер. Юлька стояла у окна в лиловом, поблекшем в сумерках свитере. Вдруг он увидел ее потемневшие глаза. В смятении он прошел к окну, обнял Юльку.

— Господи, Федя! Федя! — повторяла она.

Кто-то пробежал по коридору, громко стуча. И снова стало тихо.

Потом он лежал с закрытыми глазами рядом с Юлькой, подавленный, растерянный. Что-то тягостное, смутное поднималось у него в душе. Опомившись, он уткнулся щекой в Юлькины спутанные волосы.

## 6

Когда Прасковья Матвеевна надевала халат у своего шкафика, Гаврилова, помощник мастера, которую она сменяла, сказала:

— Цепей на себя ищешь.

— Поздно уж. Заковали.

— И чего человеку недостает?..

— Ты лучше расскажи, как станки работали,— перебила Прасковья Матвеевна. Она закатала рукава и вошла в цех.

Она шла, опустив руки в карманы халата, слушая гул веретен, легко неся свое нелегкое тело, — в мягкой, плавной походке видна многолетняя привычка двигаться вдоль станков.

Прасковья Матвеевна деловито охватывала все, что делалось в цехе. Заступала ее смена. Она учила своих работниц:

— Приемка — залог работы на всю вашу смену. Надо принимать станки не панибратски — по-деловому. Станки в пуху, в косичках не принимайте. Пусть сменщица обметает, пусть сдает как следует. Строго спрашивайте, как с вас самих вторая смена спрашивает.

— А мы маленько послабже, попростее второй смены, — улыбалась Фаина Козлова.

— Ой ли?

О Козловой беспокоиться нечего. Но есть в бригаде другие — например, человек семнадцати лет по имени Нина, с месяц всего из ФЗО. На бригадном собрании Прасковья Матвеевна старалась задеть, расшевелить ее:

— Ну-ка, пусть «ФЗО» выступит. Пусть выскажется, будет ли она маршрут соблюдать, как ее учили?

И сейчас Прасковья Матвеевна первым делом к ней.

— Так, — говорит она. — Хорошо. Значит, зад к машине приклеила и ждет...

Нинка, задрав свой облупленный нос, изо всех сил прислушивается к тому, что говорит Прасковья Матвеевна, и ничего не слышит в гуле веретен. Прасковья Матвеевна проводит ладонью по станине и показывает ладонь Нинке.

— Еще раз примешь в пуху, остановлю машину — метц, — говорит она в подставленное красное ухо. — И прометешь все свои обязательства.

Она отходит и застывает, любуясь Козловой. Ах, как Козлова движется, как ловко управляется у веретен!..

Поравнявшись с ней, Прасковья Матвеевна кивает на Нинку.

— Последи, Фая, за ней. Прошу тебя. Шпигуй ее, как родную дочку.

— Что это еще за слеза такая? — Обойдя станки, снова она возле Нинки. — Я тебя пробрала на работе, по существу. — И, вынув из кармана платок, вытирает ей глаза. — Брось, брось! Ты ведь не дома у мамки — с зарплаты живешь.

Подошел мастер Коркешин.

Самое приметное во внешности мастера — уши. Несовершенно большие, оттопыренные, они поддерживают распадающиеся волосы. Коркешин всегда, в любую жару, в туго завязанном галстуке, в темной рубашке; из ее нагрудного кармана торчит авторучка. Рубашек с короткими рукавами, как другие, он не носит, а если закатывает рукава, то только слегка, пониже локтя. И тогда все же татуировка — маленькое сердечко — выглядывает на запястье.

В глазах у него огонек любопытства.

— Поздравить тебя, Матвеевна, надо?

— Да, вот так уж...

И вдруг завернула на нем рукав рубашки. Он изумился:

— Ты чего?

— С каких пор все поглядеть собираюсь. «Люблю Маню». Так я и думала, что это самое у тебя тут написано. А сердечко-то некрасивое — расплзлось. Видно, давно накалывал.

Потом, присев на корточки возле машины, проверяя веретена, она спросила у Нинки:

— Уж известно?

Нинка виновато кивнула головой.

— Ну и хорошо. Цветов, что ли, своему бригадиру принесли бы.

Прасковья Матвеевна и не рада была, что сама подсказала про цветы. Нинка, пошептавшись с работницами, сбегала в обеденный перерыв на трамвайный круг за цветами. Букет поставили в ведро и спрятали в кабинете мастера. А кончив смену, поднесли Прасковье Матвеевне с напутствием:

— Бывайте здоровы! Живите богато!



Пока шла с фабрики к проходной, все спрашивали:

— По какому случаю, Матвеевна, такой букет?

— Двойню сноха родила. Праздную!

Новоиспеченная семейная жизнь Прасковьи Матвеевны потекла по-маленьку, не плохо и не хоршо, но спокойно и складно, как будто лет десять прожили они вместе с Николаем Арсентьевичем.

Теперь, когда она спала днем после ночной смены, она сквозь сон слышала, как в окно, едва затененное облетевшим кустом, доносится: стук-стук — это во дворе Николай Арсентьевич «козла» забивает.

Вечером Николай Арсентьевич заносит с улицы самовар. Они сидят за накрытым клеенкой столом, мерно раскачивается маятник стальных часов. Вдвоем действительно веселее, чем одной.

У Николая Арсентьевича на голове седой венчик, нежный, как пух, благообразный, точно он нажил себе лысину в бухгалтерской конторе, а не в цехе. Брови энергично чернеют на смуглом лице. Он еще крепок, статен. Соседка Нина Ивановна говорит, что они неплохая пара.

Прасковья Матвеевна пьет вприкуску блюдо за блюдом.

— Слышь, Арсентьич, Нинка-ФЗО всю неделю план выполняет.

— Ну?! — покачивает головой Николай Арсентьевич.

— А все Козлова... Козлова — умница. Дома у нее все сделано: сама всегда опрятная, посмотреть удовольствие. На таких вот женщинах белый свет стоит.

— Ну-ну-ну, — соглашается Николай Арсентьевич и поправляет носком ботинка загнущийся половик.

— А вчера у нее на сто пятнадцатой рвет и рвет... Что такое, хоть плачь, не пойму...

Николай Арсентьевич, глядя в окно, вздохнул, позевывая.

— Опять дождь. На осень переломилю. Да, годочки идут, как вода льется.

Отошел человек от производства — и как отрезан. Неинтересно ему. Неужели и с ней так будет — ведь через три года тоже на пенсию.

— Что это я, всего два стакана выпил — больше не хочу? — спросил Николай Арсентьевич и сам себе ответил: — Несолоно поел.

Прасковье Матвеевне вспомнилось, каким нелепым показалось ей еще недавно его предложение. Она почти всю жизнь без мужа прожила, а он только овдовел и уже заскучал, одиночества испугался. Все ли мужчины такие слабые или он один такой?

На днях Нина Ивановна сказала.

— Я на рынке Варьку из второго цеха встретила. Она про твоего Арсентьевича, знаешь, как говорит: не пара он ей, то есть тебе. Она боевая, а он посерее ее.

— То пара, а то не пара. Ох ты, сваха моя!

Сколько лет бок о бок с соседкой прожили. В войну последними дровишками делились, а теперь их разносит в разные стороны: не по душе одинокой Нине Ивановне, что у них теперь доли разные.

Поставив блюдо на стол, Прасковья Матвеевна сказала:

— И почему это такое в жизни: одно дается, другое отнимается? Не должно так быть.

Николай Арсентьевич отозвался:

— Попроси — дастся, поступи — отворится. Потеплее к богу надо б...

— Будет тебе толочь.

Прасковье Матвеевне хочется припомнить, каким был Николай Арсентьевич лет двадцать назад. И никак не удается. Вспоминается один давнишний случай. Идут они на работу. У проходной встречается Арсентьич: ему тоже заступать.

«Бабы, — говорит, — вяжите меня, я пьяный».

Зашибал он тогда. Ну, что было, то было, а теперь этого нет за ним...

Когда сын и сноха ушли от нее, она ни к чему дома не притрагивалась, забросила все. Полы и то не каждую неделю мыла. Не приучена жить сама себе на радость... И ведь ни споров, ни громких разговоров между ними не было. Да, видно, тесно показалось молодой снохе жить со свекровью. Лучше у людей по чужим углам скитаться, лишь бы самой верховодить. И сын пошел за женой, оставил мать. Говорят, так оно обычно и бывает. Но уж очень обидный этот обычай. И, может быть, от этой обиды, от одиночества да еще из самолюбия (живите, как знаете, и я без вас не зачухну) и решилась она на замужество.

Теперь Прасковья Матвеевна, хоть и не с таким рвением, как прежде, все же снова принялась за домашние дела. Николай Арсентьевич и сам старался быть в доме полезным человеком. Вот достал со шкафа потускневший самовар, прочистил, оттер мелом до блеска. Прасковья Матвеевна видела, что ему уютно, он доволен жизнью. Невольно и ей передавалось его настроение.

А Николай Арсентьевич не признался бы, что с тех пор, как он ушел на пенсию, он стал бояться надвигающейся смерти и лепился к тому, кто сильнее его и дальше от смерти, и жить вместе с энергичной, веселой женщиной — сушая отрада для него.

Однажды, когда Прасковья Матвеевна и Николай Арсентьевич вот так же сидели под вечер у самовара, неожиданно вошел Федор.

— Гляди, Арсентьевич, не забывают нас, — воинственно сказала Прасковья Матвеевна.

— Как же, — в тон ей поддержал Федор. — Ты в тени не засидишься, сама о себе напомнишь: «Нам этот механизм высокой вытяжки ни к чему...»

Прасковья Матвеевна засмеялась, довольная, что сын слышал, как она выступала на собрании, ловко вправила гребенку в волосы и стала доставать из буфета угощение.

Разговор оборвался. Федор сел, молча поглядывал то на Николая Арсентьевича, то на мать.

Николай Арсентьевич подхватил со стола самовар и легко понес его разогревать.

— Знаешь, мать, — сказал Федор, когда они остались одни, — прибор-то у нас, кажется, получается.

Она опустила на стул с батоном в руках.

— Это хорошо, Федя. Прядильщицам легче работать будет. — Вздохнула и присмирела, глядя на него. — Случилось что? Ты, Федя, что-то сам не свой сегодня...

— Вот еще! Придумываешь чего-то.

Сидели молча, задумавшись, пока мать первая не заговорила:

— Я, Федя, что-то в последнее время строже на людей смотреть стала. С чего бы? Может, годы идут — характер портится. — Она положила на стол батон и скрестила руки на груди. — Ты, Федя, маленький был, не запомнил, как радовались, какое это счастье тогда было при пуске комбината: фабрики наши, станки большей частью советские. А с тех-то пор, господи!..

Он пододвинулся к ней. Мать давно не разговаривала с ним так серьезно.

— Ты о чем?

— Вот, к примеру, о Леше Волкове...

— Тебя, мать, не поймешь.

— Я говорю, далеко ушли. Да вот не все хорошо.

Она посмотрела прямо перед собой, и Федору были видны складки на ее щеке и веснушчатая рыжеватая щека, иссеченная морщинами.

— Чуть ли не судить Волкова только и остается...

— Ну, уж судить, — сказал Федор.

— Такой у нас обычай, обязательно найти виноватого, погромче наказать, чтобы другим острастка была...

Федор перебил:

— А ты, мать, правда ворчишь чего-то.

— Так ведь не нужны нам, в самом-то деле, эти механизмы высокой вытязки, раз мы работаем сейчас низкие номера. Но уж, видно, если сверху досталось, найдут виноватого...

Она поднялась и стала нарезать батон. Николай Арсентьевич деликатно задерживался на кухне, давая им побыть вдвоем.

— А чего ж не отстояли? — спросил Федор.

— Вот то-то и оно. Ты не слышал, как Карнаухов говорил, тебя уже не было. О большой политике...

— Я ушел.

— То-то, что ушел.

— А что?

— О-хо-хо, — громко вздохнула мать. — Я тебя совсем голодом заморила. Ты, Федя, подвигайся к столу. Сейчас и горячего чайку из самовара напьешься. Ты ешь, ешь, — говорила она, пододвигая ему тарелку с колбасой.

Федор вспыхнул:

— Раз товарищ — значит, вали, защищай. Так, что ли? Это как называется? Было решение парткома? Было!

— А ты-то сам что думаешь, виноват Леша, что ли?

— Чго думаю, записали на заседании парткома. Нечего об этом говорить. Не о Леше думать надо — о комбинате. Не вытянем с новой техникой — знамя заберут в третьем квартале. Хорошо будет?

Николай Арсентьевич внес самовар и, водрузив его на стол, зябко потер руки, взглянул на Прасковью Матвеевну и вдруг, что-то заметив, тихо, озабоченно спросил:

— Болит?

Прасковья Матвеевна отдернула руку — она держала ее под грудью, на том месте, где иногда чувствовала какую-то давящую тяжесть.

Пили, похваливая, чай из самовара, разговаривали о том о сем, а Федор больше отмалчивался, насупившись, и поглядывал на Николая Арсентьевича. Подметив его взгляд, Прасковья Матвеевна громко сказала, разглаживая перед собой скатерть:

— Одна головня и в поле гаснет, а две курятся.

## 7

Федор хотел одного — работать и чтобы ему не мешали довести до конца прибор. Раньше ему обычно удавалось так глубоко погрузиться в работу, что он, точно броней, был защищен от всяких житейских неурядиц, например от неизвестно с чего возникавших между матерью и Дусей обид.

Но приехала Юлька, и все в его жизни запуталось.

Как ясно, как чисто он жил еще совсем недавно. Вот Леша Волков знает о нем: ему ничего больше не нужно — только бы работать. Ведь если хочешь достичь чего-то, не разменивайся на житейские мелочи.

В будние дни по вечерам Федор обычно занимался. А по воскресеньям они с Дусей гуляли по городу. Когда попадали на улицу Ленина, где по обеим сторонам стояли большие здания институтов, Федор говорил:

— Выбирай, Дуся, какой больше нравится. Вон, смотри, как украшается химико-технологический. — Сад института обносили этим летом красивой железной оградой. — Может, подойдет?

— Подойдет! — смеялась Дуся.

В саду научной библиотеки девушки сидели на скамьях с книжками в руках.

— Может, действительно надумаешь, Дуся, учиться пойти? — спрашивал Федор. — Поджались бы материально, зато бы училась. — Он по себе знал: учиться без отрыва от производства не легко.

— Федя, милый, где ты был раньше? Поздно уж мне. Да и неохота уходить из цеха.

С тех пор как они стали жить отдельно, Дуся поправилась, заметно похорошела. Она любила гулять под руку с Федором, особенно по улице Ленина, где всегда было много молодежи.

Но в последнее время они не гуляли. Вечерами Федор дольше прежнего просиживал за столом. Ему с трудом удавалось сосредоточиться, все прислушивался, как непривычно громко шаркают о пол Дусины тапочки, как звякают в руках у нее ложки.

Никогда так не было, чтобы думать одно, а говорить Дусе другое.

— Ты куда собрался?

И словно не Федор, а кто-то другой за него твердо отвечает:

— К матери схожу. — И мимо посторонившейся в дверях Дуси с горячим чайником в руках он уходит, торопливо застегивая пальто.

У него не хватает духу идти нужным ему путем, и он идет сначала в направлении к дому матери. Но потом, свернув, больше ни о чем не думая, ничего не опасаясь, шагает, будто подгоняемый ветром.

Женщина в вестибюле гостиницы набрала Юлькин номер телефона. Федор ждал, не спуская глаз с лестницы.

Юлька сбегала вниз в своем светлом пальто, не глядя в лицо Федору, протянула ему руку. Федор, волнуясь, сжал ее.

Они вышли из гостиницы. Был теплый безветренный вечер. На проспектелюдно, оживленно.

Юлька шла, глядя себе под ноги, понурая. Некоторое время они молчали.

— Как тепло сегодня, — сказал немного погодя Федор, заражаясь от Юльки чувством неловкости и отчуждения. — Даже вон без пальто опять некоторые ходят.

Но ни к чему были эти его слова, как, наверное, все, о чем бы он ни заговорил сейчас. Юлька не поддержала разговора.

Их обгоняли группки парней, молоденькие парочки. Федор понемногу успокаивался, идя рядом с Юлькой. Он даже задумался на минуту о вещах, не имеющих отношения к их встрече. «Молодец Леша Волков! Работает и даже виду не подает». И взял Юльку под руку.

Проспект кончился. Гуляющие парочки поворачивали обратно. А Федор и Юлька вышли на Баррикадную улицу. После проспекта здесь было глухо, уединенно. Они прошли еще немного, и Юлька вдруг остановилась.

— Мне, Федя, поговорить с тобой нужно.

Неяркий свет фонаря падал на ее бледное лицо, показавшееся Федору замкнутым, чужеватым. Он вспомнил, как она стояла у окна в своем номере, когда он вошел к ней, и еще вспомнил, как потом эти воспоминания не давали ему покоя все дни... Он порывисто нагнулся к ней, обхватил ладонями ее голову, притянул к себе.

— Ну, чего ты? — беспокойно спросил он.

Она вздохнула и отстранилась от него. Косынка сбилась у нее с головы и сползла на плечи.

— Так ты говори, чего хотела. Чего ж молчишь?

Она поежилась и спрятала руки в карманы пальто.

— Лучше, Федя, нам не видаться больше.

— Еще чего, — сказал он задетый.

— Не так у нас все... Не так, как было...

Он не сразу понял ее.

— Знаешь, — сказал он, — в мирной жизни, как ни говори, все иначе, нет той ясности...

Она покачала головой, не соглашаясь.

— Ох, Федя... — Голос у нее дрогнул, она замолчала.

И вдруг Федор увидел, что Юлька плачет, беспомощно склонив набок голову.

— Ну, чего ты? Чего? — растерявшись, бормотал он и гладил ее по волосам. — Ну, Юлька. Ну, чего ты?

Он обнял ее, и Юлька прижалась к нему.

— Ну, чего ты? Ведь ничего не случилось. Ну, что плакать? — повторял Федор, ошеломленный серьезностью происходящего. — Ну, не надо.

Он гладил ее по волосам. Юлька тихо плакала.

Прошло несколько дней. У Федора было такое чувство, точно он жил в каком-то угаре, и вот теперь угар рассеивается и все становится по местам.

Им с Юлькой действительно не следует больше видеться. Обманывать Дусю, чувствовать ее болью, встревоженный взгляд на себе, тайком встречаться с Юлькой... Нет, это ему не под силу.

Он не мог забыть, как Юлька плакала на улице, точно он обидел ее, обманул какие-то ее надежды. Но на что же она надеялась? Зачем приехала в Куваево?

Он вообще не мог понять, как это так: надумала повстречаться — взяла и приехала. Этот Юлькин поступок то казался Федору необычайно смелым, а то просто безрассудным: нет у нее дела, ни к чему она не прибилась — вот и носит ее по свету.

Щемящее чувство к Юльке мешало ему жить и работать. И он неоднократно думал о Юльке: пустоцвет. Ничего-то она не успела в жизни, и сама в этом виновата.

Сам он хотел сейчас одного — чтобы ничто больше не мешало ему довести до конца прибор. Федору казалось, что, если Юлька начнет наконец работать, все войдет в колею: и у нее жизнь наладится, и ему будет спокойнее.

Выбрав свободную минуту, он зашел к начальнику отдела труда и заработной платы Назарову.

— Садись, Барулин, — сдерживая свой зычный голос, сказал Назаров, считая, что Федор пришел по какому-нибудь парткомовскому делу.

— Я вот с чем, — сказал, садясь, Федор. — Хочу порекомендовать тебе в отдел нормировщицу.

Побитое оспой лицо Назарова сморщилось в улыбке.

— С дорогой душой. Да только ведь у меня нет вакансий.

Федор удивился.

— Ведь на доску вывешивали...

— Думал, Карнаухов оставит мне единицу. Секретарь-то его Варвара Алексеевна на мне числилась. А он увидел на доске мое объявление и велел снять.

За дверью Федор постоял в нерешительности, испытывая смутное раздражение. Потом подумал: на что же она живет, у нее денег-то, наверное, нет.

— Что у тебя? — спросил Карнаухов у Федора, когда тот вошел.

Недавно они впервые не поладили, и сейчас Федор чувствовал, что доложит связью с Карнауховым. Тяготясь холодком, вставшим между ними, он изложил свою просьбу.

— Фронтовичка, комсомолка. Лично я могу за нее поручиться, — волнуясь, говорил он.

Карнаухов поднял на него глаза. Федор смутился и повторил упрямо:

— Поговори с ней... Лично я поручусь.

— Пусть зайдет.

Возвращаясь к себе в конструкторскую группу, Федор зашел в ткацкий цех.

Тяжело стучали станки. Вот покончит с прибором, и надо будет заняться глушителями шума. Он с удовольствием подумал, что на его век работы хватит.

Он отыскал глазами Дусю. Она быстро и озабоченно шла вдоль своих станков. Остановилась, проворно привязала нитку, пустила станок и пошла дальше, расправив плечи, легкая, серьезная, с нахмуренным лбом.

Федору вдруг представилось, как во время войны пятнадцатилетней девочкой Дуся хлопотала тут у станков. Наверное, тогда руки у нее от неумения вечно были сбиты, в ссадинах. Он подумал, что Дуся никогда не рассказывала ему о том, как жила во время войны, и удивился этому.

Ему порой не хватало рядом с Дусей чувства локтя. Дуся жила иначе, чем он, не так интенсивно. Но это все же Дуся — свое, родное. Федор не мог смотреть на нее со стороны.

Дуся заметила его, улыбнулась издали и скрылась за станками.

Федор вдруг вспомнил: когда он влюбился в Дусю, ничего не мог делать, работа из рук валилась, упрашивал, чтобы замуж за него шла.

После работы, когда в конструкторской группе все разошлись, Федор позвонил Юльке.

— Слушаю, — тотчас ответил Юлькин голос.

Они поздоровались.

— Так я узнал тут насчет работы для тебя.

— Какой работы?

— Ты ведь собиралась нормировщицей устроиться...

— Да, да. Так как же? — возбужденно переспросила Юлька. — Я плохо тебя слышу. Говори, Федя, громче.

— Я насчет работы для тебя, — громко сказал Федор. — Тебе надо будет подойти к парторгу поговорить. Двенадцатая комната...

Он подождал.

— Ты слышишь? Чего ж ты молчишь?

— Хорошо, я схожу.

— Ведь ты комсомолка?

— Да, пока еще. Но вообще-то мне пора выбывать по возрасту.

— Так ты сходи, не откладывай, — сказал Федор уже не так настойчиво. В сущности, мало надежды на то, что Карнаухов возьмет по его просьбе Юльку, скорее всего он подыщет себе секретаря сам.

— Хорошо. Завтра схожу.

## 8

Юлька отыскала в здании управления комбината 12-ю комнату, прочла на табличке: «Партком». В приемной было пусто, на столе, покрытая черным чехлом, стояла большая пишущая машинка. Юлька постучала в следующую дверь. Сильный голос ответил издали:

— Входите.

Она толкнула тяжелую дверь. Парторг сидел в глубине большого кабинета у окна, спиной к свету, склонившись над бумагами.

Она тихо прошла по ковровой дорожке. Теперь ее отделял от него длинный стол заседаний под зеленым сукном.

— Я относительно работы, — сказала Юлька. — Мне передал Барулин...

— Какой работы? — Он поднял лицо, и Юлька подумала, что она где-то его уже встречала, а может быть, не его, но очень похожего.

— Я относительно работы, — повторила она свободнее. — Я кончала курсы нормировщиков и работала в Москве...

Он смотрел на нее, Юльке показалось — изучающе.

— Вы из Москвы? Да вы сядьте...

— Спасибо, — сказала Юлька.

Она отошла к стене. Здесь вдоль всей стены тесно стояли стулья с высокими спинками. Она села на один из них и сложила на коленях снятую с головы косынку.

— Да. Из Москвы.

— Перебрались в Куваево?.. — Он взял с пепельницы потухшую папиросу и прижал мизинцем спичечный коробок к столу, а другими пальцами чиркал спичкой. Спичка не зажигалась. Юлька вдруг увидела его безжизненно повисшую левую руку, потянулась помочь.

— Разрешите?

Он молча снова чиркнул, прикурил. Юлька, покраснев, села на место.

— Вы печатаете на машинке?

— Плохо, — сказала Юлька.

Лицо у парторга было крепкое, неровное, точно сложено из комьев.

— Дело в том... Отдел труда укомплектован...

— Ну что ж, — сказала Юлька подтянуто. — Нет так нет.

— Речь идет о работе в парткоме. Техническим секретарем. Как думаете, справитесь?

Она невольно огляделась: синие шторы на окнах, люстра, столик с телефонами. Подумала секунду.

— Думаю, что справлюсь.

— Вот так, — сказал он. — Тогда завтра и приступайте.

Она уже была у двери, когда он вдруг громко спросил:

— Вас что, Барулин по армии знает?

Юлька обернулась.

— Да, — подтвердила она, почувствовав себя свободнее с этим одноруким человеком, знающим о том, что и она тоже была на фронте. — В одной дивизии служили.

Она вернулась в гостиницу. Дежурная по этажу предупредила, что ее просит зайти администратор.

— Если клиент живет свыше месяца, он платит за номер по двойному тарифу, — сказала седая женщина и деликатно уточнила: — Вы у нас проживаете месяц и три дня.

— Да, — сказала Юлька. — Хорошо, я съеду.

— Да, конечно, кому интересно столько платить. А жить вам есть где?

— Поищу.

— Жаль, что уезжаете. Нас к новой ТЭЦ присоединяют. Тепло будет в номерах, замечательно хорошо. А то ведь клиенты требовали по второму одеялу. — Она плотнее закуталась в серый платок и тихо сказала: — Может быть, пару дней где-нибудь поживете и опять к нам вернетесь — у вас заново срок пойдет.

— Спасибо.

— До десяти атмосфер нам дадут. Теперь у директора новая забота — чтобы трубы не полопались.

У себя в номере Юлька присела на кровать и слушала, как в коридоре горничные громко разговаривают о квашении капусты. Уже было убрано, и паркет в номере блестел. Пока Юлька складывала в чемодан вещи, скрипач за стеной начал свои ежедневные упражнения.

У двери Юлька задержалась, оглядела на прощание комнату. Она сдала все свои вещи в камеру хранения гостиницы, кроме пары туфель, которые завернула в газету и отнесла в «скупку».

Получив деньги, Юлька села в трамвай. Еще утром она заметила поселок вблизи комбината; там, казалось ей, проще договориться насчет квартиры, чем в центре.

Трамвай, раскачиваясь, катил под гору. Дождь прошел, и было еще довольно светло, но ненадежно — теперь разом, по-осеннему, тускнело.

Зачем она остается в Куваеве? Юльке трудно было ответить на этот вопрос, она вообще не умела планировать свою жизнь. Будь она более рассудительной, она, быть может, не кинулась бы так опрометчиво в Куваево или вернулась бы обратно в Москву. Или уехала бы в маленький город Тарицу, где есть домик, в котором она выросла. Но она давно ушла оттуда, с тех пор утекло много воды, и, приезжая навестить мать, она слоняется по дому, чужая всему. Мать потучнела, с годами ей труднее выстоять на отекающих ногах у плиты столовой горсовета. Она ни о чем не расспрашивает, но Юлька чувствует молчаливый укор — она обманула надежды матери, на другую жизнь рассчитывала мать для своей дочери. На стене, рядом с портретом покойной тетки, — после ее гибели круглое лицо тетки кажется героическим, мечтательным и строгим — висит фотография Юльки, и мать поглядывает на девочку с огромным бантом в волосах, склонившую набок голову. Это — рубеж; все, что было с девочкой дальше, смутно, непонятно и горько для нее.

На трамвайной остановке «Стандартный поселок» Юлька сошла.

Прочла на табличке «6-я просека» и пошла поселковой улицей. По обеим сторонам за забором стояли одинаковые небольшие домики. Юлька не отважилась открыть калитку. Но навстречу из дома вышла худая женщина с ведрами, в галошах на босу ногу.

— Вы не знаете, — спросила ее Юлька, — тут никто не сдает комнаты? Я из Москвы. Оформляюсь на комбинат.

Женщина с интересом оглядела ее.

— Нет, не слышала. — Она подумала. — А вам что, для себя одной? А то я бы впустила. Если только устроит. Да вот комната маленькая. — Женщина повесила на руку пустые ведра и повернула назад.

— Нет, отчего же. А на что ж мне большая? — говорила Юлька, поднимаясь за ней следом на крыльцо.

С этого дня Юлька поселилась на 6-й просеке, в семье у Волковых.

## 9

В детстве у Федора был такой случай. Он с матерью жил тогда в доме, принадлежавшем раньше купцу Гандурину. «Гандуринские», как называли их на улице, дрались с ребятами Проходного двора. Когда и с чего началась эта междоусобица, сверстники Федора не знали и не доискивались.

В очередной потасовке Федору и двум его товарищам удалось схватить вырвавшегося вперед одного из предводителей неприятеля — Лешку Волка. Он упирался, и каждую минуту могла подоспеть подмога, а они тащили его через улицу и не знали, что делать с ним. Бить одного втроем не позволяла совесть, сразиться один на один — никто из них не сладил бы с ним. Волк был старше и крепче. В пылу мести они втащили его на трамвайную линию, держа за руки. Бросать его под трамвай они не собирались, но хотя бы поугатать своего врага... Лешка Волков, в отцовском ватном пиджаке, стоял на трамвайной линии, не пытаясь вырваться, презирая опасность.

Переходившая в это время улицу женщина из «гандуринских» завопила и, поставив бидон с молоком на мостовую, надавала им подзатыльников, пообещав пожаловаться матерям, и все четверо разбежались. Товарищам надрали дома уши. А Федору мать сказала сокрушенно:



— Твой отец родился в царском застенке... А ты вон каким негодником растешь...

Он знал—отец родился в тюрьме, потому что бабушка Наталья была революционеркой и царские жандармы схватили ее. Но бабушка была ему известна с очень обыденных сторон. Когда он приходил к ней, она кормила его повидлом и пришивала пуговицы к его пальто. Героем для него был отец, которого он не помнил.

После разговора с матерью, встретив в переулке Волка, Федор остановился в замешательстве. Готовый к подвоху, Волк сшиб его ударом кулака.

Федор поднялся, сплюнул кровь из рассеченной губы. Они злобно смотрели друг на друга.

— Сквитался? — спросил вдруг Федор.

— А то что же! — неуверенно сказал Волк.

Они потоптались на месте. Говорить им было трудно, да и не о чем. Но из переулка они уходили вместе, и это означало, что кончилась пора мальчишеских драк, наступало отрочество.

С тех пор прошло много лет. Теперь они оба были женатыми людьми. Леша Волков, так тот сразу же после войны оброс семьей. Он жил в поселке на 6-й просеке, неподалеку от колодца, в стандартном домике.

Федор решил навестить товарища. В сенях он задел головой о сохнувшую на протянутой веревке детские чулки, постучал.

Жена Леша вскочила с табурета, всплеснула руками.

— Ой Федя, вот не ждала! Давно ж ты к нам не навевывался.

— Здравствуй, Маруся.

Пока Федор снимал пальто, Маруся приглаживала ладонями прямые волосы, свернутые в кулачок на затылке.

— Сейчас и Леша подойдет. Задержался что-то. Ты присядь, Федя.

В незаverschепном дверном проеме был виден большой стол в комнате и за ним маленький Генька, расставляющий на клеенке шахматные фигуры.

— Кто пришел, Геня, смотри, кто пришел?

Он скатился со стула и прибежал на кухню.

— Вырос-то как! — сказал Федор. — Ну, здравствуй. И гони этого дядю — пришел без гостинца.

— Вот еще что выдумал! — сказала Маруся и вытерла Геньке нос подолом его курточки.

Федор посадил Геньку к себе на колени. Генька потрогал пуговицы на его рубашке. Из-под печки вышел маленький поросенок, купленный в прошлое воскресенье, его держали дома, пока немного окрепнет. Генька соскользнул с колен Федора, шлепнулся на пол и принялся играть с поросенком, как со щенком.

— И как только задницу себе не отхлопает, — сказала Маруся.

Федор кивнул на дверь — там в маленькой комнате они прожили месяц с Дусей, уйдя от матери, пока не подыскали себе квартиру.

— А Дима там? — спросил он о старшем сыне Волковых.

— Не-ет. Жиличка у меня там, тоже с нашего комбината. Впустила. Скучно одной в дому с ребяташками, когда Леша в ночь работает, особенно зимой.

Она пошла в большую комнату по настеленным на свежевыкрашенном полу цветным дорожкам. В лад ее шагам позвякивали стеклянные вазюльки новой люстры. Федор пошел за ней. За столиком, упершимся в бок комода, Дима сосредоточенно писал по косым линейкам.

— Дима, дядя Федя пришел.

Дима поднялся со стула и, не здороваясь, угрюмо полез в ранец. Разложив тетрадку, он аккуратно перелистал ее и остановился на странице с отметкой «5—».

— Глядите! — И прикрыл минус пальцем.

На большой кровати, казалось, прибавилось подушек, и вся эта бело-снежная постель стала еще выше, пышнее, и было странно, что Маруся, не щадящая себя, тощая от забот и добросовестности, ложится в такую пышную постель.

Раздались шаги в сенях. Маруся заспешила к двери.

— А мы тут, Алексей Иванович, все гляделки проглядели... — заговорила она.

— Федя! Ну, молодец, что пришел! — Леша оживленно потряс его руку. — Давненько не был у нас.

— Вот и я ему то же говорю, — весело сказала Маруся.

Леша снял пальто и куртку, остался в ковбойке с распахнутым воротом.

— Ну, Федя, чего слышать, как живешь? — оживленно расспрашивал он, точно они в самом деле давно не виделись.

— Да ничего. Ты-то как?

— Я-то? Да на общих основаниях.

Маруся сливала ему над ведром. Он мылся, громко фыркая. Потер лицо вафельным полотенцем, притянул к себе табурет, сел верхом. Федор опустился рядом на другой табурет. Помолчали, с неловкой улыбкой поглядывая друг на друга. Федор положил руку на колено Леша: ладно, мол, брат, не тужи. Брови у Леша съехались.

— Что ты со мной, как с больным?

Федор принял руку, хмуро потер подбородок.

— Заболел бы ты правда, что ли, пока горячку порют. Там, может, и остынут.

— Какие все мудрецы стали, — огрызнулся Леша. — Стратеги.

Маруся громко вздохнула.

— Геня! Не лезь, не мешай Диме! Играй сам. Ну вот, поговорить спокойно не дадут. Не кособочься, Дима! Что сказала учительница — сиди прямо.

Она разлила в тарелки щи, поставила перед Федором и Лешей.

— Что ж, я не понимаю, что ли, — сказал Леша, — общее собрание готовится. Волков прогремит на весь комбинат.

Федор поднял от тарелки лицо, напряженно посмотрел на него.

— Может, ты думаешь, я молчал тогда на парткоме?

— Ну что ты, Федя, — забеспокоилась Маруся, — даже никакого разговора об этом нет. При чем ты, когда вот он, — она ткнула в сторону Леша, — даже постоять за себя не хочет.

— Болтает попусту, сама не знает чего. — Леша бросил есть, поставил локти на стол, плечи его остро приподнялись. — К Карнаухову идти, что ли? Язык одеревенеет раньше, чем выскажешь ему все. — Он побарабанил пальцами по столу и сказал, подражая голосу Карнаухова: — «Объективщина!» — Маруся приснула. — Нашли виновного! Как же! Не хуже меня знает: не мы сами — главк нам устанавливает номера пряжи. И от себя-тоиной заниматься — поди попробуй, сунься. Вот и стоят эти механизмы, не заправлены, раз мы низкие номера работаем. Никому до этой новой техники дела не было, пока в приказ министра не попали. А теперь Волков, выходит, виноват, так, что ли?

— Да что же это? — сказала Маруся. — Щи стынут.

Федор молчал.

Леша, балагур, веселый малый, не похож был сейчас на самого себя. Оживление с него спало, он осунулся, постарел.

— Глядят на тебя круглыми глазами, будто не знают, отчего механизмы стоят. Дурачками притворяются и из тебя дурака делают. Плюнул бы на все и ушел.

— С комбината-то? — Федор даже улыбнулся.

— Это только так говорится — ушел бы, — сказала Маруся. — Куда ж он от своего цеха?

— Плюнул бы и ушел, — мрачно повторил Леша. — А ну их к черту! Щи, правда, стынут. Давай лучше есть.

Маруся подлила горячих щей в тарелки. Федор ел хмуро. Припомнилось, как Карнаухов втолковывал ему, что эта проработка и Волкову пойдет на пользу, подстегнет. Как бы не так! Несправедливость — вот что хуже всего гнетет человека. Прав Леша. А сам он, Федор, слабо отстаивал его на парткоме. Мешало ему, что они с Лешей приятели, чувствовал себя связанно.

— Одно только надо иметь в виду. — Федор отодвинул пустую тарелку. — Положение на комбинате тяжелое. Если знамя отберут, какво? Вот за это Карнаухов и болеет. Вот и бьют тревогу. — Он почувствовал глухое раздражение против Карнаухова за то, что должен выгораживать его, что-то внушать Леше. — Под горячую руку, конечно, перегнуть не долго. Не без этого. Но основа-то верная. Это упускать из виду нельзя...

У Маруси лицо стало серьезным, тихим.

— Да, да, — кивала она примиренно. — Разве ж мы не сознаем?

И Федор привычно заговорил о престиже комбината.

Леша громко вздохнул.

— Я, брат, и сам все это понимаю. Обидно только.

— Обидно, — вздохнула Маруся, — кто с душой работает, а его ни с того ни с сего к ответу. — И, спохватившись, добавила: — Все наладится. Все будет по-справедливому.

И хотя никакого значения этим Марусиным словам не придали, успокоились, заговорили о другом.

Когда Федор собрался уходить и стали прощаться, Маруся сказала: — Ты приходи. С тобой, Федя, поспокойнее. Ты вот и объяснишь все.

Он ушел. Приоткрылась дверь маленькой комнаты, где жила квартирантка.

— Ушел?

— Ты чего, Юля? Ну да, ушел. А ты чего ж, выходить стесняешься, что ли? — Маруся засмеялась. — Да это Барулин был, Федя. С нашего комбината.

— Давай лучше садись, щей поешь, — сказал Леша.

— Не хочется.

— А то налью, пока не остыли, — сказала Маруся.

— Спасибо. — Юлька повязала голову голубой пуховой косынкой, концами вниз. — Я скоро вернусь.

## 10

Громыкнула дверь в сенях, потом звякнула щеколда калитки.

Стоя за забором, кутаясь от ветра в накинутое на плечи пальто, Юлька тщетно вглядывалась — сырая темь поглотила все. Кто-то, приближаясь, тяжело, неразборчиво шлепал по лужам. Юлька посторонилась, надела пальто в рукава и пошла по поселку.

Вдалеке на перекрестке улиц замелькал ярко освещенный трамвай, и Юльку потянуло туда, гделюдно, светло.

А когда поднялась в трамвай и втиснулась между чьими-то сырыми ватниками и пальто и трамвай, встряхиваясь, понес их всех мимо магазинов, фонарей, афиш, Юльке показалось, что еще можно чего-то ждать в жизни, на что-то надеяться.

В центре она сошла. В выемках почерневшего от дождя асфальта плавали залитые водой листья. Распластанные, мокрые, серые, они

лежали повсюду на тротуарах. Торопившиеся прохожие с арбузами в плетеных кошелках шагали по ним.

Юлька пересекла площадь напротив горсовета и оказалась на сквере. Еще недавно здесь визжали у фонтана дети. Теперь же было пустынно и темно — фонарей на сквере не зажигали. Свалена груда кирпича, должно быть, собираются ремонтировать ограду. Лишь редкий прохожий, чтобы сократить путь, быстро пересекал аллею. А сразу же за оградой — грохот трамвая. Машины, подпрыгивающие на булыжнике, вспыхивали столбами света сквер. Наверное, нигде во всем городе не было сейчас такого пустынного места.

Юльке стало грустно, и она подумала о своей жизни. Столько лет жила по чужим углам, потом вдруг вышла замуж... Она вспомнила, как по утрам, когда они с мужем собирались на работу, он сам заботливо намазывал им обоим бутерброды и следил, чтобы Юлька тепло оделась. Как потом, когда они шли часть пути вместе, он говорил о своем управляющем трестом или о новой программе Райкина, кем-то пересказанной ему. Она знала наперед все его рассуждения, и они были ей скучны.

Да, они не понимали друг друга. Юлька не могла сочувствовать его стремлению к размеренной, обеспеченной жизни. Ей казалось, жизнь ее гложет, замирает с каждым днем. Она чувствовала себя совсем одиноко, как будто жила одна. И память о Федоре, об их отношениях, о любви к нему время нисколько не стирало.

Юлька чувствовала потребность в любви, которой она могла бы отдать себя всю, любви, которая захватила бы ее, наполнила смыслом, счастьем, тревогой ее жизнь.

И вот уехала — порвала наконец и гордилась своим освобождением. Но оттого, что там кто-то думает о ней, Москва, которая за тридевять земель от этого сквера, показалась Юльке сейчас милой, родной сторонкой.

Она снова шла по тротуару. Заморосило, и люди еще торопливее шагали к домам. В окнах между рамами лежала пухлая вата. И казалось, там, за окнами, живут домовитые и ясные люди.

Прогудела машина за спиной у Юльки. Хлопнула дверка, и кто-то окликнул ее.

— Юлия Сергеевна!

Юлька обернулась. В черном пальто и такой же кепке, левая рука в кармане — Карнаухов. Она удивленно посмотрела на него, плохо соображая, откуда он вдруг взялся.

Карнаухов подошел.

— Вам в какую сторону?

— Ни в какую, — сказала она, затягивая под подбородком концы косянки. — Немного еще погуляю и поеду домой.

— В дождь-то? А то давайте подкинем вас до дому.

— Не хочется домой. Спасибо.

Она усвоила: «соедините меня», «попросите такого-то», «отпечатайте»... И ничего другого. Идя с ней рядом, он одним только молчанием нарушал установившуюся форму, и неловкость этого чувствовали оба.

Машина медленно ехала за ними, выжидательно прижимаясь к тротуару. Карнаухов махнул шоферу рукой — поезжай. Машина покатила быстрее и пропала из виду.

А дождь, как назло, усиливался.

Они прижались к стене дома под карниз, но и тут они были слабо защищены от дождя, хлеставшего по опустевшему тротуару.

— Да, но в конце-то концов мне правда холодно.

— Что ж теперь делать? Предлагали ж вам...

Карнаухов вышел на середину тротуара, оглядываясь по сторонам.

— Куда же вы? Промокнете совсем! — крикнула Юлька.

— Туда, что ли, зайти можно, — неуверенно показал он. — Кафе...

— Ну что ж, пошли. Чего ради мокнуть?

Карнаухов догнал ее уже в дверях. Он шел за Юлькой, неуклюже натываясь на столики. Сели. Подошла девушка в накрахмаленной наколке на волосах, пристукнула записной книжкой о столик.

— Что для вас?

Юлька взглянула на Карнаухова, забывшего снять в гардеробе белое кашне, и сказала в тон девушке:

— Сосиски и кефир!

За столиком напротив молодому человеку подали четыре ломтя арбуза и сдобную булку. Юлька смотрела, как он срезал под корку мякоть арбуза, накалывал на нож и отправлял в рот.

— Что там? — спросил Карнаухов, поворачивая голову в ту сторону, куда она смотрела.

Юлька пудрилась, следя поверх зеркала за Карнауховым.

Он был похож на военного, вышедшего погулять в штатском костюме и сразу как-то утратившего и выправку, и представительность, и даже рост. И стало вдруг ясно, что у Карнаухова простое, крестьянское, ничем не примечательное, бугристое лицо.

Юлька откинулась на спинку стула. Ее забавляло, что она сидит рядом с Карнауховым, да еще в кафе. И то, как неловко он чувствует себя здесь.

— Вам хочется кутить? Чтобы музыка и никаких постных лиц. А? — Она задорно засмеялась, бунтуя против почтительности, которую он ей внушал. — Да вы не пугайтесь. Здесь подают только кефир...

Появилась девушка, неся на тарелках дымящиеся сосиски.

Юлька разлила кефир в стаканы. Пошутили: кефир — не водка, много не выпьешь. У Карнаухова славно блестели крепкие зубы. Он сидел немного боком, разламывая вилкой сосиски. Юлька невольно вспомнила: когда кладет перед ним бумаги на подпись, он придавливает их тяжелым прессом, чтобы расписаться.

Карнаухов поднял от тарелки лицо.

— Спросить вас собирался. — Юлька встретилась с ним взглядом. — В Куваево-то отчего перебрались?

Юлька помедлила, ответила замкнуто:

— Так просто. Случайно.

Что ему за дело до судьбы какой-то Юльки, не налаживающейся почему-то вот уже сколько лет после войны!

— Личные дела?

Промелькнувшая вдруг мысль, что, может быть, у Карнаухова тоже бывали «личные дела», показалась Юльке забавной.

— Да, — сказала она громко. — Повидаться ехала. С Федором Барулиным. — И от собственных бойких слов вдруг притихла.

Карнаухов покраснел, насупившись, размял пальцами папиросу.

— Не хотите сказать, не надо.

Юлька усмехнулась.

— Ведь вот правду скажешь, тоже не подходит.

Он с любопытством посмотрел на нее, все еще не зная, всерьез она или шутит.

— Вот так, значит, — сказал он. — Ну и что же? Приехали...

И опять какая-то неуверенность в нем, что-то странное, чужое, некарнауховское.

— Ничего! — Юлька пожала плечами. — Повстречались.

Карнаухов закурил, не скрывая интереса, смотрел на Юльку. Столбик пепла на его папиросе нарастал и отваливался на пол.

Карнаухов сейчас был совсем не тот, каким она привыкла видеть его, и эта перемена была удивительна Юльке и почему-то волновала ее. Она смущалась под его взглядом и все время поправляла пучок на затылке.

— На фронте вы кем были? — спросил он вдруг, чего-то доискиваясь, стараясь понять.

— В столовой работала.

— Всю войну?

Юлька улынулась, покачав головой, и залпом допила кефир.

— Нет, где же! Когда война началась, я восьмой класс только еще окончила. Шестнадцати не было.— Она разглаживала скатерть на столе и, чувствуя, с каким интересом слушает Карнаухов, охотно рассказывала.— Мы со школой рыли противотанковый ров за городом. А немец вошел в Тарицу с другой стороны, с юга.

— Значит, всего пришлось повидать.

Помолчали, задумавшись.

— Плохо то, что не все уходили в тыл... Не о вас, конечно, речь. С вас что спросить, почти ребенком были...

— Не знаю. Ведь как где было. А то ведь и так было, что и обстановки не знали, и уйти не на чем, и куда идти — не понять.

Она отвернулась к окну, вглядываясь в то, что делалось на улице. Карнаухов тоже посмотрел в окно.

— Идет еще?

— Кажется, затихает. — Она напряженно скрестила на груди руки.— Кто не пережил этого сам, тому не понять, что люди пережили.

— Понять можно. Понять и посочувствовать. Но были и отрицательные факты со стороны жителей...

— Да, конечно.

Он снова был похож на самого себя — суше, собраннее, определеннее.

— У меня вот тетка, уж на что тихая, осторожная была, а не убереглась.

— Погибла?

Юлька кивнула утвердительно. Она задумчиво покачалась на стуле.

— У нас за городом пустырь был. Немцы его колючей проволокой обнесли. Там — пленные. В пилотках, в ботинках с обмотками. А зима, помните ведь, какая была. Вывесили объявление: за передачу военнопленным хлеба — смерть. Смотрим, тетя Варя собирается. Картошку в мундире, соль, хлеб — в узелок. Надела старое пальто, такое плюшевое. Уже сильно потертое было. И пошла к пустырю...

Ее перебила официантка:

— С вас девять восемьдесят,— и посмотрела на Юлькино разгоряченное лицо.

Карнаухов поспешно придавил папиросу о дно пепельницы и полез в карман за деньгами.

— Так и не вернулась больше,— сказала Юлька, когда девушка отошла.

— Да,— сказал Карнаухов,— много было скромных, безыменных героев.

— А уж когда нас освободили войска Западного фронта, тут я ушла в армию...

— А наша дивизия тоже на Западном была. Не исключено, что по соседству с вами были.

— Может быть, конечно.

Карнаухов спросил:

— Так вот, значит, и решились приехать? — И было видно, что он все время об этом думал и хочет что-то понять.

Кончились осенние дожди. Холодный ветер промел замерзшую землю — началась зима. Три дня падал легкий, мелкий снежок, запорошил деревья. Потом подморозило, и деревья окутал иней, как в сказке. Ветер сдул снег с деревьев, и только в развилках веток он лежал белыми гнездами.

В садике научной библиотеки на скамьях пухлый снег толщиной чуть ли не в полметра. Возле скамей выглядывают зеленые горла урн — в них тоже снег.

Прошли студенты — хлопают на ветру шапки-ушанки, тетрадки высовываются из-за лацканов пальто. На углу остановились преподаватели в высоких меховых шапках с обширными портфелями в руках.

Когда отворяется дверь ресторана «Москва», теплый воздух, рвущийся наружу, завихряется в белые клубы пара. Кто-то, выходя, поскользнулся на обледенелых ступеньках, удержался на ногах и пошел, что-то напевая.

Обычная уличная жизнь. Но Карнаухову, привыкшему смотреть на улицу в ветровое стекло машины, все интересно и как будто внове. Он идет по городу в черном драповом пальто с поднятым воротником, в котиковой ушанке, левая рука наглухо втиснута в карман.

Подморозило. Повсюду дымят трубы. В переулке из трубы двухэтажного ветхого домика валит черный сильный дым. На стиснутой с обеих сторон сугробами мостовой то вынырнет, то опять спрячется за сугробы, кувыркается, катит «Победа» цвета молодой травы.

Пятница — выходной на комбинате. День еще борется с сумерками. А кинотеатр «Арс» зажег свои рекламы, и ребячьи радостно валит в кино.

Над городом светло-сиреневое небо и яркий полумесяц. В свете фар встречной машины бешено кружится снежная крупа.

На вечерних освещенных улицах люднее, уличный говор настаивает Карнаухова.

Странное дело, никогда раньше его не тянуло на улицу, а сейчас вечерний город будоражит Карнаухова. Ему хочется затеряться в толпе и ходить, ходить, впитывая эту жизнь.

Но он продрог и пробивается сквозь клубы пара и встречную толпу в магазин обогреться. Люди озабоченно толпятся у прилавков. Мелькнуло светло-серое пальто. Нет, обозначался, не Юлия Сергеевна. У нее такое же.

Рядом, у автомата, прижав ухом телефонную трубку к плечу и прикрыв рот воротником бобрикового пальто, парень угрюмо бубнит:

— Выйди, тебе говорят. — И, помолчав, снова свое: — Не темни, тебе говорят. Выйди.

— Юля, здравствуй.

Так же тихо, скованно она отвечает:

— Здравствуй, Федя.

Он быстро проходит мимо. Он сам рекомендовал ее на это место, но и ему заметно, как не подходит Юлька к обстановке парткома.

Она сидит здесь, в приемной, за небольшим столом, в лиловом свитере. Стучит на машинке, медленно перепечатывает протоколы, подшивает. Часто звонит по телефону, вызывает к Карнаухову.

Прежнюю секретаршу, Варвару Алексеевну, в неизменном черном жакете, с жестким перманентом, хотя и недолюбливали за высокомерный тон, но принимали как нечто само собой разумеющееся, и теперь именно из-за нее трудно привыкать к новой секретарше. Очень уж неофициальный у нее вид.

Терпеливо и чуть смущенно проходит по приемной начальник отдела труда и зарплаты Назаров в облегающем, залоснившемся на лопатках

пиджаке, с толстой папкой, прижатой к бедру. Берясь за ручку дубовой двери, улыбается Юльке и скрывается в кабинете Карнаухова.

Из кабинета доносится то тише, то громче ровный голос Карнаухова. Бьют стенные часы. В коридоре управления зазвонили — конец рабочего дня.

Назаров, раскрасневшийся, выходит, бормоча что-то себе под нос. Нахмуренно опустив голову, стараясь не смотреть ей в лицо, проходит по приемной Федор.

— Домой идете? — спрашивает Карнаухов. Он уже в пальто, в меховой шапке.

Пока она собирала со стола и прятала бумаги, одевалась, он подждал ее в дверях, и это было так странно, ведь он всегда засиживался допоздна у себя в кабинете.

Прошли по длинному коридору управления, спустились по лестнице вниз. Вышли во двор комбината, и Карнаухов не сел в машину, а пошел вместе с Юлькой дальше, к проходной, по утопанному снегу. По сторонам аллейки, защищенной кустарником, намело высокие сугробы. Яблони стояли в снегу.

— Зима снежная, — сказала Юлька, не зная, о чем говорить.

На трамвайном кругу люди постукивали ногами. Человек в стеганом ватнике курил, пряча от ветра папиросу в руку. Мигала папироса, осыпались искорки, и это почему-то напомнило Юльке войну.

— Вам далеко? — спросил Карнаухов.

— Да нет, одну остановку всего, — мягко сказала Юлька, невольно отмечая про себя: он нисколько не стесняется того, что их видят вместе.

Не сговариваясь, они пошли пешком. Ветер крутил поземку, дул в лицо, и Юлька время от времени поворачивалась спиной к ветру и выжидала, пока он стихал. Потом они шли дальше, занятые тем, чтобы попасть в ногу, и смеялись, потому что это им не всегда удавалось.

— Вам не холодно?

— Да нет, — приподнято сказала она, чувствуя, что втягивается в какую-то игру между ними. — Нисколько.

Она подбила ватином свое летнее светлое пальто и пришила цигейковый воротник.

— Вот только нос. Нос, правда, мерзнет. — Она прикрыла варежкой лицо и подышала, согревая нос.

Их на минуту разъединили прохожие.

— Мне-то что? — сказала Юлька, идя снова с ним рядом. — Мне всего-то пятнадцать минут ходьбы до дома. А вот Маруся, моя хозяйка, вчера за сахаром простояла... Вот намерзлась...

Карнаухов сказал невнимательно:

— Запасы делают — очереди создают.

— Да нет же. Какие там запасы! Кому охота в такой мороз.

— И такие есть. Хотят жить для себя, не считаясь с трудностями.

Они остановились. Здесь, на углу, ей сворачивать на 6-ю просеку.

— Ну, мне сюда, — сказала Юлька. Ей показалось, что Карнаухов потянулся что-то сказать и остановился. — До свидания.

Она быстро пошла, размахивая сумочкой.

Через несколько дней Карнаухов заболел. Он поминутно звонил в партком, и Юлька едва успевала записывать его поручения.

Вечером она принесла ему почту домой. Он лежал на раскладушке небритый, серый, был неприветлив, все время натягивал одеяло со сбившейся простыней на одно плечо.



Большая комната была пуста. Стол со стопкой книг да два стула. В стенном шкафу, наверное, остальное имущество. На подоконнике, рядом с кипой газет, — грязные тарелки. Большое окно голо.

Он жил здесь три года, а казалось, въехал только вчера.

Юлька вошла сюда воинственно, как входила в его кабинет. Невнимание Карнаухова к своему устройству, к своим удобствам удивило и тронуло ее. Понури и робко сидела она на стуле.

Он курил, облокотившись на руку, и всякий раз, сунув папиросу в рот, придерживал рукой одеяло на плече.

— Что сказал врач? — спросила Юлька. — Какая сегодня температура?

Он пропустил ее вопрос мимо ушей. Его, по-видимому, тяготил ее приход, он был мрачен, расспрашивал, не глядя.

— Как сегодня в хлопкокрасильном? Без аварий? Сколько дали?

— Семьдесят пять тонн, кажется, или восемьдесят пять...

— Так сколько же? — нетерпеливо переспросил он.

Юлька пожалала плечами.

Карнаухов подсадовал, что свалился в постель.

— Не вовремя.

Юлька ответила резонно:

— Так всегда говорят. И всегда бывает не вовремя. Что ж делать! Надо вылежать, Александр Егорович! — Она редко обращалась к нему так, обычно обходилась: вы, вас, вам. — А как накурено у вас. Просто невозможно. Вы накройте лучше, а я открою фортку.

Он не ответил, погасил папиросу о блюде, лег на подушку, натянув до подбородка одеяло.

Юлька стояла под форточкой, ее обдавало холодным воздухом и мокрыми крупичками снега.

— Отойдите оттуда, — мрачно сказал он.

Она не ответила. Продолжала стоять, чувствуя на себе его взгляд и отчего-то волнуясь. Потом вернулась на прежнее место и только тогда увидела возле его постели накрытый газетой стул, а на нем телефон, блюдо, стакан с ложкой, какое-то лекарство. Одиночеством веяло от всего этого.

Он протянул ей пачку «Беломора». Юлька взяла и растерянно смяла папиросу. Потянулась прибраться на стуле и осеклась. Поняла: и здесь, как и в рабочем кабинете, когда она молча ждет, пока он придерживает пресом бумаги, чтобы расписаться, нельзя предлагать ему помощь.

## 13

В День Конституции ударил сильный мороз, под карнизами повисли сосульки, и галки, слетавшиеся каждое утро на купол текстильного института, куда-то попрятались.

Но оттого, что на улице было холодно, в маленькой комнате у Федора и Дуси вечером за праздничным столом казалось особенно уютно.

Дуся то и дело прибегала с кухни, где хозяйничала вместе с Марусей. На ней было новое шерстяное платье с плиссированной юбкой, которое очень шло ей. Она расставляла на столе тарелки с закуской и прислушивалась, о чем разговаривают между собой Федор и Леша Волков, и все время поглядывала на Федора.

Леша, в туго связанном галстуке, покорный этому праздничному излишеству, помогал Дусе накрывать стол.

Федор откупорил бутылки и сидел без дела, учащенно дымя папиросой. Рассуждали о хоккее, о видах команды «Спартак» на первенство в этом сезоне. Комбинатских дел, не сговариваясь, не касались. Сliš-

ком свежо было в памяти состоявшееся недавно общее партийное собрание, на котором Волкова объявили отсталым мастером.

— И чего дымит?.. — ворчала на Федора Дуся. — Ведь и курить-то не курит.

Наконец она в последний раз сходила на кухню и внесла на вытянутых руках, подальше от платья, кастрюлю с тушеным мясом.

Когда рассаживались у стола, появилась Маруся с замысловатыми, высоко взбитыми локонами.

Чокнулись.

— Ну, чтоб все были здоровы, — сказала Маруся.

Выпили и принялись за еду. Позвякивали вилками, хвалили принесенные Марусей соленые грибы и огурчики.

Леша за спиной у Дуси потянулся к Федору.

— Давай — за твой прибор! Все ж, как-никак, к концу подходишь.

Федор торопливо привстал, держась за рюмку.

Дусе казалось, что работа у Федора в последнее время не ладится, потому и настроение у него какое-то нехорошее... А Леша говорит: к концу подходит... От выпитого вина у нее приятно кружилась голова. Она потерлась щекой о плечо Федора, зажмурив глаза.

— С твоей башковитостью в технике, — покровительственно заговорил Федор, — если бы ты подучился после войны... А то вон — округтила...

Маруся засмеялась и погрозила ему пальцем.

Федор, спохватившись, от души добавил:

— Но ты и так всем еще покажешь.

Он был рад, что вытащил их с Марусей на праздник к себе. Леша сейчас был ему особенно приятен — не хнычет, не жалуется, доброжелателен, как всегда.

— Нет, уж теперь все, — сказал Леша. — Теперь уж мне нечего соваться — недостойн.

— Все наладится, — сказала Маруся и вздохнула. — Вот премию, правда, не дали.

Разбилось, упав на пол, блюдец.

— Ну вот! — воскликнула сердито Маруся. — Медведь-то на самом деле. Размахался!

— К счастью, чего там!

Дуся вскочила. Леша сконфуженно пригнулся, помогая ей собрать с пола осколки.

— Ну вот, Маруся, и все в порядке. Всего-то делов.

— Да ну, ладно, чего там, потом подметем. Давайте лучше споем, — предложил Федор.

После этого маленького происшествия все развеселились. Леша снял пиджак, развязал галстук и разлил водку по рюмкам.

Дуся затынула:

— Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат... — Она пела, закрыв глаза, откинувшись на спинку стула. В ушах у нее поблескивали маленькие сережки.

— Подтягивай, Маруся, — сказал Леша и тоже стал петь.

От фронтовой песни, от нежности к Дусе, у Федора занемло в груди. Взять и покаяться ей, снять с души грех. Никогда больше он не обидит Дусю. «Соловьи, соловьи...» Он пел, настраиваясь на какой-то возвышенный и торжественный лад...

— Ну, за дружбу, — тихо сказал Федор, взявшись за рюмку. Леша чокнулся с ним, но думал он о чем-то своем, и Федор, потускневший, посидел некоторое время молча, потом завозился, стал куда-то собираться.

— Чего это ты? — спросила Дуся.

Федор протиснулся из-за стола.

— Нет, нет, никуда не уйдешь. Вот он всегда так. Как выпьет — заводится,— говорила Дуся в коридоре у вешалки, держась за его пальто, и смеялась.

— Пусть идет,— сказал Леша,— пусть проветрится.

— И мы сейчас пойдем,— спохватилась Маруся.— Пора. А то наши ребята у соседки, проснутся да, чего доброго, испугаются на чужом-то месте.

Дуся засуетилась.

— Да нет же. Погодите. Успеете домой. Я сейчас его живо обратно приведу.

Она отпустила рукав Федора и, не переставая смеяться, побежала в комнату, достала из шкафа свое пальто. Маруся помогла ей надеть его — новое зимнее светло-синее пальто с серым каракулевым воротником.

Дуся догнала Федора уже на улице, в нескольких шагах от подъезда.

— Сами ушли, гостей бросили. На что это похоже!

— Ну чего ты. Ты не ходи. Я вернусь скоро.

Он наклонился поцеловать ее, и шапка у него сдвинулась на затылок. Дуся постояла, глядя ему вслед, постучала туфлей о туфлю и побежала к Марусе и Леше.

Заметно потеплело. Падал мелкий снежок. Он, наверно, падал уже давно, и все было бело и искрилось. И слышно было, как где-то неподалеку, должно быть за углом, дворник счищает метлой снег с тротуара.

Федор шел, разгоряченный мыслями.

Если б на него, как на Лешу, тумачи посыпались, как бы он выглядел? Махнул бы на все рукой, опустил? Или сжал зубы, чтобы работой доказать, чего он стоит? Он вот тоже, как и Леша, не за похвалу работает, но все же знает о себе: честолюбив, ему не безразлично его место в любом деле. Леша другой. Федор не смог бы назвать словами, какой же он, Леша, но его не собьешь, чего бы он там ни говорил. Леша работает так же серьезно, как раньше, на совесть.

«Ах, какой же парень!» — растроганно подумал Федор.

Было поздно, но город не собирался спать. Гармонист вел за собой по улицам стайку девушек. Заняв мостовую, с пением возвращались с вечеринки горластые студенты.

Федор машинально зашагал в такт их песни, и беспокойство, охватившее его, усиливалось.

На самом деле, ничего как будто не случилось. Человек не спился от неприятностей, не сломился. Все осталось по-прежнему. Никаких видимых потерь. Но кто ж знает, чего ему это стоило.

«Надо подумать обо всем,— говорил себе Федор, чувствуя себя бесполезно в этих непривычных ему размышлениях.— Обязательно надо подумать».

А сейчас ему хотелось идти и идти, приминая пухлый молоденький снег, и не думать ни о чем тягостном. Студенты свернули за угол, и теперь их песня, затихая, доносилась издалека.

Он тоже понимает, что Карнаухов не мед. Но без Карнаухова нельзя. Даже невозможно представить себе комбинат без Карнаухова.

В конце-то концов даже с этим делом Леша—не для себя же Карнаухов старается. Да, он требовательный, жесткий. Но он и себя не щадит — большой, не вылежав, выходит на работу.

И, думая так о нем, Федор чувствовал себя сродни Карнаухову, и ему хотелось сейчас поговорить с ним по душам, вспомнить войну.

Он пересек сквер. Гипсовая физкультурница, присыпанная снегом, готовилась метнуть диск.

Федор вышел на улицу Чехова и оказался теперь рядом с домом комбината. Он поднялся по лестнице, позвонил и ввалился через порог, не стряхнув с себя снега.

Человек, открывший ему дверь, отпрянул.

— Барулнн? Ты к кому?

— Коркешин, ты? — Федор узнал мастера. — И ты здесь живешь, значит, в этой квартире?

— Как видишь. — Коркешин был в нательной рубашке и прикрывал ладонью распахнутый ворот. «Люблю Маню» вытатуировано у него на руке.

— Карнаухов дома?

— Случилось что? Да чего ж беспокоить человека в такой поздний час! Ты мне передай, я ему утром все в точности доложу. — Он суетливо загоразивал Федору дорогу. — Да и отдыхает уже, должно быть. Чего ж беспокоить...

Федор добродушно отстранил Коркешина.

— Один раз можно. Это его дверь, что ли?

Он постучал. Ответили, нет ли, Федор не слышал. Он приоткрыл дверь и, приоткрыв, рад был бы захлопнуть ее.

В комнате у стола, напротив Карнаухова, сидела Юлька. На столе бутылка вина, консервы... Отступить было некуда, и Федор шагнул через порог.

— Ты ко мне? — спросил удивленно Карнаухов.

Юлька порывисто встала и тут же снова села.

— Федя!

— Кажется, я помешал...

В съехавшей на затылок шапке, весь в снегу, Федор в замешательстве переминался с ноги на ногу.

— Да нет. Отчего же, — сказал Карнаухов.

— Я тут шел мимо... На улицах народу полно. Гуляют... Вот надумал зайти...

Карнаухов сунул окурочок в блюдце и взял из пачки папиросу.

— Не удивительно, что народ допоздна сегодня гуляет. Праздник, во-первых. И, во-вторых, завтра воскресенье, не вставать рано...

— Да, — сказал Федор. — Удачно в этом году — День Конституции пришелся на субботу. Два дня свободных.

Помолчали с минуту.

— Понимаешь, — сказал Федор, — хотел о Леше Волкове с тобой поговорить.

— А что, собственно, говорить? Да и стоит ли сегодня, праздник ведь. Давай лучше выпьем.

Юлька с готовностью вскочила, чтобы достать третий стакан, но тут же смутилась, что ведет себя, как хозяйка.

— А где стакан взять? — спросила она.

Карнаухов пожал плечами.

— Два. Вроде нет больше.

Федор сел, снял шапку, поискал глазами, куда б определить ее, положил на пол.

Карнаухов проследил за Юлькой — она пошарила на подоконнике, вернулась ни с чем и принялась разливать вино в те два стакана, что стояли на столе. Пододвинула наполненный стакан Федору.

— Выпей, Федя.

Второй стакан с вином Карнаухов протянул Юльке.

— За что выпьем? — спросил Федор, глядя Юльке в глаза.

Юлька покраснела, замялась.

— Ну, давай за праздник, — сказал Федор.

Юлька отпила чуть-чуть. Федор, опрокинув залпом стакан, подумал зло: «А прикидывалась овечкой», развернул веселую обертку конфеты и громко сказал:

— Зря Волкова обидели,— и сам удивился тому, как неожиданно резко прозвучали его слова. И хоть по дороге сюда вовсе не думал защищать Лешу перед Карнауховым, он понял: высказал то, что точно весь вечер.

— Какие могут быть обиды? — сказал Карнаухов.— Напрасно беспокоишься. Только на пользу пошло всем, в том числе и Волкову. Лицом повернулись к новой технике.

Столбик пепла на папиросе у Карнаухова осыпался на темно-синий костюм. Он напряженно посмотрел на Федора.

— Ты, кажется, жил у него?

Федор не видел Юльки, но почувствовал на себе ее взгляд.

— Не заслужил комнаты на комбинате, вот и пришлось стеснять людей,— резко ответил он.

Но потому, что разговор перекинулся вдруг на комнату, на их с Дусей комнату, он смешался, испытывая мучительную неловкость перед Юлькой.

— Жил, пока не подыскал комнаты.

— Я тоже у них живу, — вставила Юлька. Ей казалось, Карнаухов и Федор спорят из-за нее, и она была взволнована этим и не могла вникнуть, о чем же они говорят.

На ее слова не обратили внимания. Посидели молча. Федор вертел в руках пустой стакан. Глупо! Глупее не придумаешь. Он сидит тут третьим за столом и пьет их вино. Он посмотрел на Юльку, скрестившую на груди руки, и Карнаухова, чиркавшего спичкой о придавленный мизинцем коробок. Надо было встать и уйти. Но он продолжал сидеть, хотя его распирало от злости. «На пользу пошло...» Все о пользе заботится и свою пользу тоже не забывает. Он чувствовал в эту минуту, что бесстыдно обманут. Считал всегда, что Карнаухов непогрешим... А еще берется других судить...

— Ты бы пальто снял, — сказала Юлька.

Он не пошевелился, ничего не ответил ей.

— Не вышло у нас с тобой разговора, — сказал он Карнаухову.

— Да, не вышло. — Карнаухов снова налил вино в стакан Федора.

— Ну что ж. — Федор отодвинул стакан. Лицо его было бледно. — Не буду мешать.

Он поднял с полу шапку. Юлька следила за ним грустно и взволнованно. Он хотел что-то еще сказать, но сдержался, помедлив, надел шапку и протиснулся кивком головы.

## 14

В сквере горсовета зажгли новогоднюю елку, и издалека светится пятиконечная звезда на ее макушке.

У высоченной елки, сверкающей огнями, гирляндами, веселыми игрушками, толпится народ.

Несмотря на поздний час, старики привели сюда внучат, примчались маленькие лыжники, на саночках привезли укутанных сонных малышей.

Юлька и Карнаухов тоже остановились у елки. Золотые рыбки, пестрые книжки, ведерки, ружья, хлопучки, морковки и, главное, огромный ватный дед-мороз, опирающийся на посох, приводят в восторг детвору.

— Мне бы платили, я бы тоже постоял за деда-мороза, — говорит кто-то из ремесленников, толпившихся здесь. Они дымят папиросами, постукивают, согреваясь, ботинками.

Юлька смеется, оглядываясь на них.

В нескольких шагах отсюда безлюдно, тихо. Усыпанный снегом обелиск «Жертвам революции». Тишина, снег, и веселая разноголосица, долетающая сюда от елки.

Карнаухов и Юлька то идут дальше по скверу, то останавливаются. На свету под фонарями мечутся снежинки. У Карнаухова глаза ошеломленные, счастливые.

Как же все это случилось с ним?

Вошла однажды в кабинет: «Я относительно работы...» Подмалеванные ресницы, и вся повадка какая-то непривычная. При чем тут работа в парткоме? Но вспомнил вдруг — фронтовичка. С первого раза почувствовал интерес к ней. Вот взяла и приехала повидать Барулина, бросила все в Москве. А он бы так мог?

Юлька смеется. В голубых глазах ее веселые искорки, пуховую козынку запылил снег.

Она скользит по накатанной ребятами ледяной дорожке, держась за Карнаухова.

Он чувствует себя так, точно это не он — Карнаухов Александр Егорович, а глупый, беспомощный Сашка, которому мать дает еще подзатыльники.

Надо бы присесть, призадуматься, разобраться во всем. Но нет у него привычки думать о своем, о личном. Нет и времени. И дни мчатся. По-прежнему он получает письма из Горького: «Здравствуй, Александр!» И спустя день-другой отвечает: «Александра, здравствуй!» Они с женой — тезки.

Иногда он звонит в Горький и справляется об отметках дочери — она первый год как пошла в школу. А жена беспокоится, что быт его не налажен. Но вот уже три года, как он переведен сюда, в Куваево, а она никак не расстанется с Горьким, где работает учительницей.

Правда, жена проводила у него свой отпуск. Он же обычно отдыхал в санатории и был доволен, когда ему отводили комнату в главном здании, хотя в маленьких флигелях санатория жить было удобнее. Но об удобстве он никогда не заботился. Лично ему ничего не было нужно.

По-прежнему он целиком был поглощен работой.

На комбинате привыкли идти к Карнаухову за последним словом по любому вопросу. В кабинете стоит длинный стол заседаний под зеленым сукном, и стулья с высокими спинками теснятся по стенам, и дощечка обращена к посетителям: «Не курить!» И Карнаухов, как всегда, кажется напористым, решительным, сильным.

Но теперь, разговаривая с кем-либо по делу, он ни с того ни с сего мог вдруг задуматься: что это за человек?

То понимание людей, которое у него было еще совсем недавно, исчезло, и в каждом ему мнится еще что-то незнакомое и очень важное...

## 15

Оживленно на улицах. Из магазина в магазин снуют люди с продуктовыми сумками — готовятся к встрече Нового года. Любят в Куваево праздники, как, впрочем, и повсюду.

У Маруси все готово: полы вымыты, фикусы перетерты, чисто и пахнет пирогами. Елка наряжена, и Генька весь день толчется возле нее, ожидая, когда зажгут лампочки, спрятанные в зеленых колючих иглах.

Вышла из своей комнаты Юлька.

— Ой, Юля! — Маруся восхищенно застыла. — Ой, как тебе хорошо! Какая ты красивая в этом платье!

Юлька охотно покрутилась, показывая себя.

Маруся заторопилась одеваться.

— Как на вешалке висит, — не огорчаясь, сказала она, надев крепдешиновое василькового цвета платье. — А до ребят я, знаешь, какая солидная была! Вот бы ты поглядела.

Она прошла в лодочках на высоких каблуках, быстро поправила скатерть, взбила подушки на диване — спокойная, проворная. И не утерпела, скинула лодочки, поставила у стены и привычно легко забегала в одних чулках. Ребята, переодетые в новые матроски, присмирели.

Все было готово, и Маруся блаженно развалилась на диване.

Наконец заскрипела дверь в сенях. Вернулся Леша — заходил в поселке к товарищам, поздравлял с наступающим Новым годом. Он простучал по половицам твердыми, задубевшими валенками.

— Милости просим, Алексей Иванович, — сказала Маруся.

Она помчалась на кухню. Вместе с Юлькой они быстро перетаскали все на стол в комнату. Было суматошно. Зажгли елку, и Генька запрывгал вокруг нее.

Леша переобувался, в то время как мимо него бегали Маруся и Юлька с тарелками.

— Вера-то Зотова сегодня отличилась — две нормы дала. Можно сказать, отметила Новый год...

На столе все было готово. Маруся надела стоявшие у стены лодочки, и пошли к столу. Чокнулись — проводили старый год. Генька обрадованно поковырял вилкой в тарелке, и не успели опомниться, как он засопел и сонно привалился к столу. Дима терпеливо ждал появления Нового года.

В репродукторе раздался последний, двенадцатый удар часов. Чокнулись.

— Вот и встретили Новый год, — сказал Леша. — Ну, будь здорова, Маруся.

Он выпил, встал и поцеловал одного и другого сына. Дима сонно и разочарованно жевал пирог. Маруся взяла на руки Геньку и понесла его на кровать.

Окна заледенели, и нельзя было разобрать, что делается на улице. Юлька и Леша, не сговариваясь, накинув пальто на плечи, вышли на крыльцо. Во всех домах поселка горел свет. За замерзшими окнами, казалось, мелькали люди. В том конце улицы, слышно было, играла гармонь. А слева стояли ярко освещенные, приблизившиеся, огромные корпуса комбината.

— Новый год начали, — сказал Леша о тех, кто работал сейчас у станка. И Юльке было приятно, что и Карнаухов сейчас там, с ними.

Она видела сбоку лицо Лешы. Ей казалось, что она давным-давно знает его. От его душевной расположенности к людям и ей становилось теплее.

Падал мелкий снежок — снежная зима стоит, — он падал на что-то темное, должно быть на забытый Марусей на веревке, выстиранный половик.

В крайнем доме поселка, у Козловой, поют хором, да так, что сквозь двойные рамы песня несется на улицу.

— Эй, баргузин, пошевеливай вал...

Прасковья Матвеевна поет с хмельком в голосе. Николай Арсентьевич поет серьезно, мягко и покачивает в такт головой.

Старшая дочка Козловой, вылитая мать, прямая, строгая, но с пухлыми губами, сидит рядом со своим курчавым женихом, держась с ним за руки, старательно выводит:

— ...плыть молодцу недалече...

От песни поднимается в груди что-то заветное, чувствуешь себя ближе к своей молодости.

— Который год, Паня, вместе отмечаем? — говорит Козлова.

— Восемнадцатый, чтоб не соврать, Фая.

Николай Арсентьевич, соскучившись по мужскому обществу, подсел к мужу Козловой, веселому, вспотевшему крепышу, и в праздничный шум влетается его тихий говор:

— Слышал, зять Никулиных на целину уехал и жену к себе требует?

А тот скинул пиджак, перебивает Николая Арсентьевича:

— Я б и сам поехал. Да моя вот от своей фабрики — никуда.

В разговор врывается патефон — «Светит месяц, светит ясный»... Жених дочери приналег и сдвинул стол.

Пока мужчины занялись разговором, а молодые отплясывали, не сводя глаз друг с дружки, Прасковья Матвеевна и Козлова пошли навещать Волковых.

Взявшись под руки, они шли мимо одноэтажных поселковых домов, гремящих музыкой и веселыми голосами, по только что выпавшему снегу.

За забором у соседей Волковых твякнула собака.

— Принимай гостей! — крикнула Прасковья Матвеевна. Она поднялась на крыльцо и расцеловалась с появившимся в дверях Лешей.

— С Новым годом вас, Алексей Иванович, — сказала Козлова, протянув ему руку. — С новым счастьем!

Маруся замешкалась, надевая второпях свои туфли-лодочки, и выбежала навстречу гостям, когда они уже снимали в кухне пальто, раскрасневшаяся от смущения.

— Пожалуйста, заходите, — говорила она, наскоро поцеловавшись с ними.

— Ох, и наследим мы тебе на полу, — сказала Козлова.

— Ну вот еще! О чем беспокоиться.

— Не беда. Год большой. Успеет Маруся убраться, — сказала Прасковья Матвеевна.

Леша разливал по стопкам водку.

— Уж все остыло... И пироги и мясо, — сокрушалась Маруся.

— Позднему гостю — кости, — сказала Козлова и вслед за Прасковьей Матвеевной поздоровалась с Юлькой и села к столу.

Дети спали. Их уложили в маленькой комнате, на кровати у Юльки.

— Ну, чтоб все были благополучны, — сказала Прасковья Матвеевна.

Чокнулись, выпили. Гости принялись оживленно обсуждать с Лешей новые нормы на прядильных машинах.

— Пока в новую колею не войдем, напряженно поработать придется, — говорил Леша.

— Ты, Леша, не беспокойся, — сказала Прасковья Матвеевна. — Коллектив подтянется, все силы приложит. Коллектив тебя уважает как заботливого мастера.

Маруся покраснела от удовольствия.

Прасковья Матвеевна потянулась со стопкой к Юльке.

— Допьем? Чтоб год полный был. Знакомое лицо у девушки, а не припомню никак, где работает.

— У нас, — сказала Маруся. — Это же Юля. В парткоме работает секретарем.

Юлька улыбнулась и кивнула, подтверждая.

— Ну, точно, точно. Как же я не вспомнила? — Прасковья Матвеевна вытерла уголки рта двумя пальцами и сказала, взглянув на Лешу: — А перед тобой коллектив в долгу. Виновен перед тобой.

В комнате стало так тихо вдруг, что слышно было, как под окном прошли парни с гармонью и громко пели вразнобой.

— Ты, тетя Паня, о чем? — нахмурившись, спросил Леша.



— Недоработка парткома в этом вопросе была,— сказала Козлова и покосилась на Юльку.

— Вот и надо было нам поправить дружно,— сказала Прасковья Матвеевна.

— Да заробели...

— Ну уж, и заробели,— рассердилась Прасковья Матвеевна.

— И заробеешь,— строго сказала Козлова.— Может, ошибаюсь в чем? Ведь Карнаухов знает, что говорит. Он, вроде, надежней тебя само-го. Должность такая, да и знает он что-то, чего ты не знаешь. Так неужели во вред делу пойдешь?..

— Дурная привычка — самим себе не доверять. Пора уж отходить от нее.

— Да ну, что об этом,— сказал Леша.— Дело уж, можно сказать, прошлое.

Юлька с тревожным выражением лица смотрела на говоривших, смутно улавливая в их словах отголоски уже слышанного однажды.

— Не в одном тебе, Леша, дело,— сказала Прасковья Матвеевна.— Несправедливость, знаешь, как коллектив портит. Нет, так нельзя вопросы решать, не пройдет. Мы это на партийной группе решили обсудить.

Леша возбужденно привстал, потом спохватился.

— Чай поспел, что ли? А то гости не пьют, не едят.

— Вот, девушка, какие дела,— сказала Прасковья Матвеевна, обернувшись к Юльке. Юлька улынулась приветливо и виновато, чувствуя неловкость перед этой пожилой женщиной и расположение к ней.

Четвертый час. На улицах оживленно, как днем. Взрослые люди бросают друг в дружку снежки. Забубенно отплясывает на ходу под гармонь вихрастый парень без шапки.

Расходятся по домам. Отшумели сборы, хлопоты, волнения.

Горит елка на сквере у горсовета, и звездочка на ее макушке светит далеко за городом. Свистят шины пронесшихся такси. Через мостовую родители ведут за руки выпавшегося в гостях, бодро шагающего маленького человечка.

Автобус подкатил к остановке у клуба комбината, высунулась голова кондуктора.

— Все садитесь! Последний автобус!

— Ой, сели, сели,— запрыгала Дуся. Федор помог ей подняться в автобус.

На заднем сиденье проснулся парень.

— Садитесь. Это — последний пятьдесят четвертого года. Сейчас доедет до конца — рассыплется.

Автобус дернулся, раскатился, хмельной какой-то, тормозит неадекватно. Три девушки стучаются головами, обсыпанными разноцветными кружочками конфетти.

Дуся смеется и держится за Федора. Вот и Новый год настал. Ну, чтоб все было хорошо. Чтоб войны не было. Чтоб Федя не хмурился, не отмалчивался. Чтоб комнату им дали в новом комбинатском доме. И чтоб ей при новых нормах на ткацких станках не ударить лицом в грязь.

Юльке открыл дверь Коркешин.

Первое время Коркешин терялся, не знал, как повести себя. Решил было, что целесообразнее не замечать Юльки, — так и действовал. Теперь же наворачивал.

— Добрый вечер, Юлия Сергеевна,— сказал непринужденно и скрылся за дверью.

Юлька вошла в комнату и увидела Карнаухова. Она увидела его бледное лицо, встретила взглядом с его потемневшими глазами и почувствовала, с каким мучительным нетерпением он ждал ее.

Карнаухов неуклюже одной рукой помог ей снять пальто.

Он взял ее задеревеневшую красную руку, поднес ко рту, подышал в ладонь и спрятал к себе под пиджак. И вторая Юлькина рука проделала тот же путь. Юлька чувствовала, как у него под рубашкой стучит сердце, и стояла, прижавшись к нему, покорно, не глядя ему в глаза.

Она сказала мягко:

— Ну вот, теперь, кажется, согрелась,— отняла руки и села возле стола.

Она сидела в своем лиловом свитере под свешивающейся с потолка на шнуре яркой лампочкой. Карнаухову был виден ее профиль и небрежно сколотый на затылке пучок русых волос, готовый вот-вот развалиться.

Он закурил, прошел по комнате и вдруг с пронзительным чувством нежности увидел ее тонкую шею, тесно схваченную у ключиц воротом свитера. Ему захотелось чего-то совсем необычного, праздничного. Он сам не знал чего.

Он сел возле Юльки на стул. Глаза его еще больше потемнели и ушли вглубь. Неужели это тот самый Карнаухов, которого она каждый день видит на работе? Карнаухов вдруг пододвинулся и с размаху бухнулся лицом ей в колени. У Юльки даже дыхание перехватило. Мелькнуло в голове: Сухарь Сухаревич. Так называет за глаза Карнаухова кое-кто в управлении. Вот посмотрели бы сейчас... Она тихо засмеялась и погладила его голову, лежащую у нее на коленях.

Карнаухов встал и молча вышел на кухню поставить чайник.

Он быстро вернулся.

— Скоро закипит. Тебе согреться надо.

Юлька перелистывала «Огонек».

— Ты сядь.

Он сел на прежнее место рядом с ней. В это время зазвонил телефон. Карнаухов снял трубку.

Речь шла, насколько поняла Юлька, о показателях работы комбината за первую декаду года. Прядильная фабрика недодавала по плану. Карнаухов был крайне недоволен.

Со смешанным чувством уважения и неприязни Юлька слушала, как он разговаривал. Ей казалось — на том конце провода бьется человек, порываясь объяснить ему что-то, а Карнаухов сухо и резко обрывает его, точно он один только болеет за дело. И как знакомы эти фразы Карнаухова, они как отлитые болванки: «имейте в виду...», «придется поставить вопрос...»

«Да какой же он человек на самом деле: тот, что был пять минут назад, или вот этот?» — беспокоило думала Юлька.

Карнаухов положил трубку и прошелся по комнате.

Юлька спросила:

— Это хлопкокрашенный не справляется? Да?

Он ничего не ответил ей.

— Будете «ставить вопрос», — помолчав, сказала она задетая, — не поступите, как с Лешей. С Волковым. — Карнаухов остановился, посмотрел на нее напряженно. Она сказала, волнуясь: — Если это правда, что человека ни за что так стукнули...

Карнаухов вытащил из кармана пачку «Беломора», но папиросу не взял, а бросил пачку на стол. Между бровей у него встала жесткая складка. Он побарабанил раздраженно пальцами по столу — какое ей дело до всего этого?

— Известно ли тебе, что Волков панибратство развел у себя на участке? С помощниками мастеров — «Ваня», «Миша» да на ты. И не надо забывать, что именно на его участке новая техника лежала мертвым грузом.

Юлька удрученно пригладила юбку на коленях.

— Вот, говорят, о вкусах не спорят, и верно.

Карнаухов не слушал, и она замолчала. Видно, ему не понять натуру Леши — вот и все.

— Я хотела сказать, что человек, на которого обрушатся такие неприятности, да еще несправедливо, может потерять в себя веру...

— Отвлеченно судишь. В отрыве от жизни.— Он ходил по комнате с потухшей папиросой во рту, комкая ее губами, переталкивая из угла в угол рта.— Чужие слова повторяешь...

Юлька вспыхнула. Оба неловко замолчали.

Карнаухов положил папиросу и с превосходством человека, ясно понимающего смысл явлений, сказал:

— Мелкие, второстепенные вопросы заслоняют от тебя главное, основное. С Волковым поступили именно так, как должны были поступить. Я уже говорил: на ошибках одного учится вся масса. И весь этот спор беспринципен. Но Барулин...— Он осекся, оттого что почувствовал, как неприятно ему произносить это имя.— Но когда непременно желаешь что-то оспорить, всегда найдутся какие-нибудь объективные доводы. Особенно если выше интересов партии ставишь свои личные отношения с человеком... А о Волкове что ж! Обычный эпизод, каких немало было и будет в жизни каждой парторганизации. Человек не уволен, работает. Исправит недочеты — учтем...— Он помолчал и добавил с силой, точно отстаивая перед Юлькой что-то заветное: — Волков — член партии. Он поймет: значит, так надо было. И давай кончим об этом.

Юлька с беспокойством слушала Карнаухова, подняв голову. Она вздохнула:

— Как ты просто судишь!

Карнаухов сказал сурово:

— Я знаю, что говорю.

— Я хотела сказать: может быть, если бы ты был внимательнее...

— Внимание, доверие, уважение! — Он вспылил. — Новая конъюнктура для демагогов! Меня три раза избирали на комбинате — значит, люди верят мне. Да что мы затеяли этот разговор? Кончим обо всем этом!

Он обеспокоенно наклонился к ней и через ее плечо заглянул в раскрытый на столе «Огонек».

— Вот, смотри-ка, снимки Москвы. Высотный дом на Смоленской площади. Узнаешь?

Юлька не ответила, сидела замкнуто, подперев щеку рукой, видя перед собой его высокий лоб, гладкие блестящие волосы, высоко срезанные виски. Вспомнила почему-то, как на собрании Карнаухов берет слово последним и называет демагогами людей, критиковавших за что-либо партком.

— Как же я тебя ждал,— заглядывая Юльке в лицо, заговорил Карнаухов. — А про чайник-то мы забыли!

— Я чаю не хочу. — Юлька встала. — До чего же у тебя накурено! — Прошла от стены к другой, такой же выцветшей. Дым, дым. Ничего, кроме дыма, в этой пустой холодной комнате.

— Ты сядь! — Он поймал ее руку и притянул к себе. Ему хотелось сказать что-нибудь такое, что сразу рассеяло бы осадок от их разговора.— Я вот не умею о звездах, о том о сем...

— Необязательно.

— Ну все же. А я вот не умею.— Он шутливо, но с искренним сожалением вздохнул.

Юлька села на стул, натянула к подбородку ворот свитера, перекинула ногу на ногу. Зачем она здесь сидит?

— Уехать бы... Сесть бы в поезд и уехать,— устало сказала она.

— Куда же?

— Куда-нибудь. Все равно куда. Ведь есть же где-нибудь такое место... Приедешь — и все тебе по душе.

— Ты сегодня что-то не в своей тарелке. И не жаль оставить Куваево?

— Куваево и без меня не пропадет.

— К чему ты это говоришь? — сурово спросил Карнаухов. — Болтаешь.

— Нет, я правда уеду.

Она вдруг с горечью охватила мысленно свою послевоенную жизнь: неустройство, нелепое замужество и наконец Федор. Это из-за него оказалась она здесь. В этой комнате.

— Ну, ладно, ладно. Не будем. — Карнаухов наклонился, заглядывая ей в глаза. — Ну, не будем больше. Никуда ты не уедешь.

Он прижался головой к ее голове. Юлька резко отстранилась. Чувство неприязни к себе и к нему неудержимо охватило ее.

— Не надо! Уеду я...

Он встал. Потерянно усмехнулся. Пусто посмотрел на нее и сказал сразу осевшим, хрипловатым голосом:

— Вот что — ты уходи. Слышишь? Совсем уходи!

Опустившись на стул, он сидел, закрыв лицо рукой, и слышал, как немного спустя хлопнула дверь внизу в подъезде.

## 17

Утро. Тихо-тихо, ничто не колыхнется. Тепло и слегка туманно. И стволы и ветки деревьев мохнаты от облепившего их снега. В такой день лучше видишь, как много деревьев появилось в городе.

По обе стороны подъезда горсовета матовые фонари, как вылепленные из снега. На боковой улице галки покрикивают, взмахивают крыльями, усаживаясь на деревьях, и снежок осыпается с веток на большие сугробы у края тротуара.

Проехали сани — на бидонах молока сидит дяденька в тулупе. Откуда ни возьмись, воробы слетелись на теплый навоз.

В это безмятежное утро жизнь Прасковьи Матвеевны перевернулась.

Все началось с того, что на прошлой неделе ее позвали в завком и предложили путевку в санаторий. И пришлось ей, как водится, с курортной картой обойти кабинеты поликлиники.

Ушник, глазник, невропатолог... Терапевт спросил, как и все остальные:

— На что жалуетесь?

Прасковья Матвеевна ответила:

— Ни на что.

А пока врач выслушивал ее, вспомнила: под грудью что-то давит...

Врач ощупал указанное ему Прасковьей Матвеевной место, помял живот и направил на рентген.

Когда она пришла за ответом к врачу, на столе у него лежал маленький листочек — направление в онкологический диспансер.

В приемной диспансера было сумрачно. На стенах плакаты: «Что нужно знать о раке» и «Боритесь с мухами, мухи — разносчики желудочных заболеваний».

Смотреть на стены не хотелось. Прасковья Матвеевна то и дело вздыхала. У нее было такое чувство, как будто она из этой темной приемной никогда больше не попадет на свет. Тоска и страх сдавили ей грудь. Ее удивляло, что люди еще спорят, чья раньше очередь к врачу.

Из кабинета врача вышла расстроенная женщина, молодая, с бледным приятным лицом. Она вздохнула и сказала негромко, ни на кого не глядя:

— Всех дел нам, видно, не переделать,— и вытерла глаза концом косынки.

Вызвали Прасковью Матвеевну. Она поднялась, глубоко вздохнула. Переступив порог, еще раз невольно вздохнула. Ей велели лечь на кушетку, и это было к лучшему — она чувствовала слабость в ногах.

Врач, черноволосый грузный человек в очках, с закатанными рукавами халата, и три молодые женщины, окружившие его, рассматривали рентгеновский снимок и переговаривались между собой непонятными словами. Да Прасковья Матвеевна и не хотела прислушиваться к их разговору. Сиротливо и обреченно ударяло сердце. Врач подсел к ней на кушетку. Он внимательно посмотрел на нее, встретился с ней взглядом сквозь толстые стекла очков.

— Ну-ну-ну! — сказал он. — Приказ: голов не вешать, а идти вперед.

Врач вдруг показался Прасковье Матвеевне всемогущим, она доверилась ему, и надежда шевельнулась в ней.

— Анна Владимировна, а ну-ка,— позвал врач одну из женщин и уступил ей место.

Все три молодые врачихи по очереди садились на кушетку возле Прасковьи Матвеевны. Врач говорил:

— Округлость чувствуете? Края найдите.

Они сильнее впивались пальцами в тело Прасковьи Матвеевны, и Прасковья Матвеевна терпеливо сносила боль и рассматривала побеленный потолок и лампу, свисающую на шнуре.

— Никогда не болела,— услужливо сказала она врачу, уже одевшись и ожидая возле его стола.

Он кончил писать, протянул бюллетень и, пригнув большую голову, глядя мимо Прасковьи Матвеевны, сказал:

— Ну, вот что. Возьмем вас к нам в клинику. Операцию делать вам будем. Вот только место освободится.

— Выходит, плохо дело,— сказала Прасковья Матвеевна.

Врач легко поднялся из-за стола.

— Уж обязательно и плохо! — И направился к умывальнику. — После резекции организм приспособляется... — Намыливая руки, он через плечо оглянулся на практиканток. Те заговорили разом, и голоса их показались Прасковье Матвеевне фальшивыми.

На улице она пришла в себя. Было много народу. Город очищали от снега. Скрипели полозья огромных саней, на которых везли снег. Свежий воздух возвращал Прасковье Матвеевне силы. У нее нигде не болело, и все, что произошло с ней, казалось ей дурным сном.

За длинную бессонную ночь надежда оставила Прасковью Матвеевну. Ни слова не говоря Николаю Арсентьевичу, она прослонялась все утро без дела по дому и, одевшись, ушла заблаговременно на комбинат. Ее бригада работала во вторую смену. Накануне она велела Нинке-ФЗО сходить с утра в диспансер, назваться ее дочерью и поговорить с врачом.

— Смотри, Нинка! — пригрозила она девчонке, строго предупредив, чтобы та ничего от нее не утаивала.

Было воскресенье, но диспансер, как и комбинат, работал.

Прасковья Матвеевна прошла по первому этажу прядильной фабрики. Везли на автокаре катушки пряжи. Пух метался по коридору.

Сейчас Нинка, наверное, слушает, что говорит грузный черноволодый доктор. Прасковье Матвеевне припомнились его глаза, странно увеличенные толстыми стеклами, и «приказ: голов не вешать, а идти вперед». Так хорошо знакомые слова из песни ее молодости. Вслед за тем она подумала, что он, должно быть, всем говорит так, и неясная обида на него и на всех людей шевельнулась в ней.

Из цеха в комнату мастера быстро прошла похудевшая Ольга Филиппова, контролер. Еще недавно в декрет уходила. «Как время-то катится», — сказала себе Прасковья Матвеевна и вдруг впервые охватила значение этих слов, так часто безобидно произносимых ею.

Прасковья Матвеевна вышла на улицу. Ветер напористо кинулся в лицо. Подняла воротник. В саду перед огромным корпусом прядильной — застекленные стенды с портретами передовиков.

Машинально отсчитала: один, два, три... Четвертый справа — ее портрет.

Вдалеке за полотном узкоколейки, за забором комбината, в небе видна высокая труба ТЭЦ, снабжающей комбинат паром.

Заслонив меховым воротником лицо, Прасковья Матвеевна медленно прошла вдоль прядильного корпуса. У бронзовой доски, где покоится прах Орлова, остановилась. Прасковья Матвеевна помнила: когда он умер, вводили вторую очередь комбината. Помнила похороны в осенний денек...

Потом она увидела на аллейке Нинку в шляпке и в новом пальто, которое та на работу не надевала.

— Ну что?

Нинка подняла к ней лицо с виновато вздернутым носом, испуганно, быстро заговорила:

— Сказали, как давеча вам... А больше, тетя Паня, ничего...

— Ну-ну, — сказала Прасковья Матвеевна и посмотрела на ее ярко-голубую фетровую шляпку, неловко сдвинутую на лоб. — Врешь ведь.

Нинка села на низкую загородку аллейки и всхлинула.

— Ну, чего ты? — спросила Прасковья Матвеевна. — Не реви. — Она обняла ее за голову и притянула к себе. — Ну-ну.

Нинка всхлинула громче и уткнулась лицом в пальто Прасковьи Матвеевны.

Прасковья Матвеевна посмотрела вдаль. Так же дымилась высокая труба ТЭЦ... Из забитого снегом репродуктора что-то объявил диктор. И голос Зары Долухановой залился: «Весна идет! Весна идет!»

— Ты Козловой держись, — сказала Прасковья Матвеевна. — Она тебе заместо матери родной...

Она взяла в руки Нинкину голову, наклонившись, поцеловала ее в мокрые губы и пошла. Мимо прядильной, мимо могилы Орлова, по аллее, защищенной от ветра деревьями и кустами.

Дальше через узкоколейку, мимо «комсомольского поста», где толпились люди у новой карикатуры.

В дверях проходной ее остановил мастер Коркешин.

— А что, Матвеевна, если я к тебе Тютюникову переведу?

— Больно надо! Браком чтоб завалила!

— А ты куда это?

— По бюллетеню гуляю.

Он покачал головой.

Грохнула за ней дверь проходной. И все как оборвалось. Все кончилось. Был ли, есть ли комбинат — не ее это теперь забота. Храбрись, Паня. Не хуже тебя люди были, тоже умирали.

Уже тянулись к смене рабочие. Прасковье Матвеевне непривычно и тяжело было идти навстречу потоку рабочих. Она молча здоровалась, стараясь не останавливаться, а кое-кому все же приходилось объяснять: прихворнула. И шла дальше своим путем. Ей никто сейчас не был нужен. Только вот та женщина, что вчера в диспансере так просто, терпеливо, достойно сказала: «Всех дел нам, видно, не переделать». Только она одна была сейчас близка Прасковье Матвеевне, как сестра родная.

Спуск вниз. Здесь выбитая ногами в снегу плотная дорожка, черная от шлака: посыпали, чтобы не скользко было идти. Павильон для ожидающих. Здесь трамвай делает круг. Люди на кругу прячутся от ветра в павильон. Как переменялась погода...

Дальше. Мимо поселка жилых домов, пошивочного ателье, мимо белого, в колоннах, комбинатского кинотеатра. Репродуктор над входом гремел танцевальной музыкой. Сколько музыки на улице!

Прасковье Матвеевне хотелось скорее попасть домой. Она свернула вправо, мимо кирпичного здания школы, желтенькой бани. Кончились дома комбината. «Остерегайтесь собаки!» Деревянные глухие заборы со щелочкой для писем, с дощечкой, предупреждающей о злой собаке, стояли надежно, дружно, словно взявшись за руки. Некоторые обвиты поверх колючей проволокой.

От кого защитились? Как-то не задумывалась раньше, а теперь Прасковье Матвеевне нелепостью показались эти ограждения от людей.

Прогудело... Заступает ее смена... Прасковья Матвеевна перешагнула через заваленную снегом канаву — напротив, за продуктовым магазином, снова начинался квартал больших корпусов.

Дверь в комнату была заперта — Николай Арсентьевич куда-то ушел. Прасковья Матвеевна приподнялась на носки и нащупала на притолоке оставленный ключ. Закрыла за собой дверь и навесила крючок. Ей хотелось плакать, но слез не было, и беззвучный стон сотрясал все тело.

— Ну, все, все, — сказала она, успокаивая себя.

Она попробовала было прилечь и откинула покрывало, но только, разувшись, села на постель, как со всех сторон ее обступила тишина и в груди громко заколотилось. Она нащупала ногами стоптанные войлочные туфли, надела их и, тяжело переваливаясь, громко охая, подошла к окну. Напротив ее дома обычно гудела лесопилка, и сколько раз Прасковья Матвеевна жаловалась: в цехе гудит — и дома не легче. А сейчас все вымерло. Воскресенье. А так хотелось услышать сейчас этот гул.

Из высокой трубы ТЭЦ тек дым. А недавно по вечерам в том месте огоньки горели на кранах — еще только строили там. Ей стало невмоготу дома, и она торопливо собиралась, охая и держась рукой под грудью.

Спускаясь по лестнице, она подумала, что знает, как умирали в прежнее время, — причащались, просили отпущения грехов. А вот как теперь умирают, не на войне, а дома, в постели, почти ничего не знает.

Перейдя на ту сторону через трамвайную линию, к остановке, она задержалась у большого полинявшего щита: «При переходе улицы будь внимателен», разглядывала картинки, изображающие опасные для нарушителей правил положения, и ее тронула эта забота.

В трамвае она села рядом с кондуктором, молоденькой девушкой с сильно нарумяненными щеками, в высокой меховой шапке и поверх нее в платочке, как в кокошнике. Из обрезанных пальцев перчаток выглядывали ее веселые ногти с самодельным маникюром.

На площадке трамвая стояли небольшой лом и лопата, пол в трамвае был очищен от обледелого снега, и Прасковью Матвеевну это тоже тронуло.

— Вам велят очищать? — вежливо спросила она.

— Почему это велят? Не обязаны! Для себя делаем. Ехать легче.

Прасковье Матвеевне показался грубым ответ девушки, и она отсела от нее. У горсовета она сошла. Вокруг засыпанного снегом фонтана на сквере бегала детвора, визжа и кидая друг в друга снежками.

Прасковья Матвеевна медленно шла и улавливала то, что никто из прохожих, очевидно, не слышал, — им не было до этого никакого дела, — в дребезжание трамвая, в визг ребятишек у фонтана вплетался далекий воскресный звон колокола. Он то пропадал в городском шуме, то снова возникал.

Прасковья Матвеевна пошла на звон колокола, и ей казалось, что вся эта жизнь с детскими колясками, с трамваями, с запахом проехавшей мимо машины оставляла ее. Ей хотелось крикнуть людям, что она уходит. Проститься. У входа в собор она раздала нищим старушкам всю мелочь, что была в карманах. Служба еще не начиналась. В соборе было сумрачно, просторно. Гудел колокол под сводом, мерцали свечи, пахло воском, и где-то за ее спиной позвякивали деньги. Прасковья Матвеевна оглянулась. За прилавком сидел маленький человек в очках, а рядом лежала горка тонких свечей. Впереди темная фигурка, укутанная в платок, встав на колени на каменный пол, ударила лбом.

Прасковья Матвеевна озиралась по сторонам. Ее поразило, что где-то рядом с ее жизнью существует этот чужой, забытый мир. И вдруг она увидела: в нише перед большой иконой стоял со старчески-молитвенным выражением лица Николай Арсентьевич и рассыпал по груди щепотью мелкие крестики. Она опешила. Ей хотелось тотчас незаметно уйти, но он уже увидел ее. Прасковья Матвеевна медленно пошла к выходу.

Николай Арсентьевич вышел за ней и надел свою старую ушанку. Благостное выражение стерлось с его лица, он посмотрел на Прасковью Матвеевну встревоженно.

Нищий, в короткой шинели, в шерстяном шлеме, протянул к ним руку. Николай Арсентьевич поспешно положил несколько монет в его ладонь.

Не закрывая ладони, тот проговорил чеканным голосом:

— Серебро — слезы... Уж лучше б медь... — И глаза его из-под грязного шлема цепко блеснули.

Прасковья Матвеевна дала ему рубль.

Когда он отошел, Николай Арсентьевич проговорил:

— Дума — за горами, а смерть-то — за плечами. — Щеки ему подурмянило морозом, и Николай Арсентьевич помоложавел.

— Издалека к смерти примериваешься, Арсентьич.

Они молча постояли на паперти, и, только отойдя немного, Николай Арсентьевич встревожился: как же так? Почему это Прасковья Матвеевна не в цехе?

Дуся мыла пол в коридоре, когда раздался звонок. Она разогнулась, бросила тряпку в ведро с водой и пошла открывать.

— Ой, мама! — Она отступила, поднесла руки ко лбу, убирая выбившиеся из-под платочка волосы, размазала грязь по лбу.

— Принимай! — сказала Прасковья Матвеевна и шагнула в коридор.

В галошах на босу ногу, с подоткнутой юбкой, Дуся на секунду замерла в смущении и тут же живо принялась отвязывать фартук.

— Да ты кончай свое дело.

— Вы раздевайтесь, пожалуйста, мама. Скоро Федя подойти должен. — Дуся, смущаясь и забегая вперед, подвела ее к двери в комнату.

— Здесь мы живем, — сказала она.



Прасковья Матвеевна окинула взглядом комнату.

Дуся торопливо водила тряпкой по полу в коридоре и приговаривала:

— Вот я сейчас...

Прасковья Матвеевна стояла в раскрытой двери комнаты и смотрела, как, подгоняемые Дусиной тряпкой, к порогу бежали темные струйки воды.

Наконец Дуся покончила с мытьем пола, убежала на кухню, ополоснула под краном руки и лицо и вернулась раздумывавшаяся. В ее отсутствие Прасковья Матвеевна еще раз оглядела комнату. Неказисто. Тесно. «Ну-ну. Хотят сами. Хотят по-своему. Им виднее, — терпеливо сказала себе. — Им жить».

Дуся возбужденно хлопала дверкой книжного шкафа, где на свободных полках у нее хранились посуда и продукты. Как назло, ничего хорошего, чем бы угостить свекровь, первый раз за все время навестившую их, не было. Смущаясь, она поставила на стол покупное варенье.

— Ты не суетись. Брось это. Ты сядь.

— Ну, что вы, — сказала Дуся и послушно села.

Прасковья Матвеевна разглядывала ее, как будто видела впервые, и Дусе неловко было под ее взглядом.

— Что же ты... — Прасковье Матвеевне хотелось сказать Дусе, что родить пора, но побоялась обидеть. Она подумала, что теперь уж не дожидаться ей. «Ну, все, все», — сказала она себе.

Дуся не поняла, что хотела сказать ей свекровь, но чувствовала, что ничего плохого, и волновалась, понимая, что теперь конец их размолвке.

Занять свекровь разговором она не умела, и Прасковья Матвеевна тоже не заботилась об этом.

— Тебе в ночь идти?

— Да.

Хлопнула входная дверь.

— Федя! — радостно, с облегчением сказала Дуся.

Федор открыл дверь в комнату и остановился, просияв.

— Ну, ты, мать, молодец! — Он растопырил руки, обнимая ее.

Дуся засмеялась и убежала на кухню.

— А, собственно, с чего ты не на работе? — весело спросил он.

— Бюллетень выдали, вот и гуляю.

Он спросил, что с ней.

— Да так, ерунда! — Она махнула рукой.

Дуся принесла сардельки с макаронами. Подала чай.

— Ну, чего ты не ешь? — обижался Федор на мать.

Мать показалась ему какой-то странной, не похожей на себя — но это лишь на мгновение. Ему было радостно, что она пришла, помирилась с ними.

— Ну, ладно, — сказала, подымаясь, Прасковья Матвеевна. — Дусе поспать надо перед работой. — И стала собираться, повязалась низко белым платком. Федор тоже оделся, пошел проводить ее.

На улице мать взяла Федора под руку. Стемнело. Ветер улегся. Поутих городской шум. Встречные машины выбрасывали длинные столбы света.

Федор сказал:

— Работы сейчас, мать, невпроворот. Прибор-то вот-вот сдаем.

— Федя! — Она поправила платок на лбу, подняла его повыше. —

Я, сынок, заболела.

— Что с тобой? — Он испуганно наклонился к ней.

Прасковья Матвеевна вздохнула.

— Ничего. Со всяким бывает.

Федор настоял, чтобы Прасковья Матвеевна села в стоявшее у тротуара свободное такси, и сам сел с ней рядом. Машина тронулась. Федор обнял мать, и она прижалась к нему. Навстречу летели огни фонарей, машин, семафоров. Проехали железнодорожный мост. Теперь с каждым рывком машины все ближе, все виднее корпуса комбината; огромные, залитые светом, они показались Прасковье Матвеевне праздничными.

Прасковья Матвеевна вспомнила, какой был мрак в войну, как мечтали, дожидаться б такого дня, когда снимут затемнение, и как наконец этот день настал... «И все человеку мало,— думала она.— Все еще чего-то хочется». И душившие ее весь день слезы поползли по щекам.

## 18

Карнаухова вызвали в райком к первому секретарю. Сколько раз он подъезжал сюда на машине, хлопал дверцей и входил в здание в состоянии приподнятости. Здесь больше, чем где-либо, он чувствовал, что нужен и что готов к любому заданию, которое поручат ему.

Он окунулся на минуту в деловой говорок коридора. С ним здоровались шутливо-почтительно:

— Привет меланжистам!

Он пожимал руки. У толстого человека в просторном хорошем пиджаке спросил:

— Что же это ты всюду ходишь, интригуешь против нас? Десять атмосфер не хочешь давать?

— А как же от вас отобьешься? — засмеялся директор ТЭЦ. — Да я вас знаю, вы свое все равно получите.

Секретарша с обычной приветливостью сказала:

— Пройдите.

Карнаухов никогда долго не задерживался в приемной.

Бесшумно ступая по ковровой дорожке к знакомой, обитой клеенкой двери, он знал: за дверью — рубеж. Он догадывался, для чего его вызвали. Это можно было понять даже по тону, каким говорила с ним сегодня по телефону секретарь райкома Анна Сергеевна. Карнаухов был встревожен, но по его бугристому лицу не сразу прочтешь, что он думает.

— Здравствуй, Анна Сергеевна, — непринужденно сказал он и удивился, что у нее такое же отчество, как у Юльки, как будто сотни раз до этого не называл его.

Анна Сергеевна протянула ему через стол руку. Белая вставочка на темном шерстяном платье придавала ее серьезному лицу милость.

— Присаживайся, Александр Егорович. — И, не взглянув на него, что-то записала себе на календаре. — Как хлопкокресильный?

Он сел и назвал процент выполнения плана, отметив про себя ее необычную с ним сухость. В груди неприятно засосало.

— Узкое место комбината. Пока не вытянете с оборудованием в цехе, всегда будут возможны срывы.

Анна Сергеевна спросила, как с новой техникой, выполнен ли приказ министра. Отвечая, Карнаухов видел: она не слушает. Не раз уже они разговаривали об этом, и Анна Сергеевна знала обо всем, что делается на комбинате. «Умная баба» — с удовольствием отмечал раньше Карнаухов про себя. А сейчас, сознавая это, настораживался, точно измерял ее силы в борьбе с ним.

Он откинулся на спинку стула.

— Автокары еще нужны... Помогите, Анна Сергеевна, через обком.

— Ну что ж, поможем.

Разговор не налаживался.

— Что я покажу тебе сейчас, — обрадованно сказала Анна Сергеевна и, нагнувшись, выдвинула нижний ящик стола. — Гляди-ка. — Она протя-

нула ему книгу в тисненном золотом переплете. — «Мир приключений». Первый том получила. А ты подписался? Что же ты? Для дочки удовольствия.

Карнаухов подержал книгу, вернул ей.

— Слушай, Александр Егорович, что-то нехорошо о тебе говорят.

Она сказала это, пряча книгу в стол.

«Вот оно», — подумал Карнаухов. Он видел, как трудно и неприятно говорить ей об этом.

— Говорят, у тебя с секретаршей ненормальные отношения. Что это ты голову потерял? Правда это?

Карнаухов глядел на карандаш, который она быстро вертела в пальцах.

— Чепуха. Бред, — наконец выговорил он.

— Значит, ничего и не было?

— Нет, конечно.

За стеклом по оконному карнизу ходили сизые голуби. Карнаухов смотрел на них, повернувшись вполборота к окну и обхватив рукой спинку стула.

— Так, значит, чепуха это? — сказала она с облегчением и тоже проследила за голубями. — Ну, так исчерпали?

Карнаухов пожал плечами.

— Ты извини, Александр Егорович. Длинные языки. Болтают.

Поговорили снова о комбинате.

Анна Сергеевна вышла из-за стола, проводила его к двери.

— С автокарами постараемся помочь. Так что ты не беспокойся, — и крепко пожала ему руку.

Карнаухов быстро шел по коридору, взволнованный, четкий и собранный. Требуйте с него работы, выполнения плана, пошлите куда угодно, если считаете нужным. А этого не трогайте, не касайтесь.

Он не искал Юльки, она свалилась в его жизнь, как стихийное бедствие. Оступился. Ну что ж, с кем не бывает. Раньше, правда, он так не рассуждал, но теперь кое-что в его понятиях сместилось. Главное, что покончено с этим.

Он мысленно сопоставлял свою жену и Юльку, и ему было приятно, что это сопоставление явно в пользу жены. С одной стороны — авторитетный человек, уважаемый педагог, член партии, с другой — Юлька с ее незадавшейся жизнью.

Он охотно вспоминал о том, как они с женой, познакомившись, сразу почувствовали, что нашли друг друга, — так много общего было у них. Это случилось в госпитале, где он лежал после ампутации руки и куда жена приходила читать раненым «Войну и мир».

Он ценил в жене то, что у нее свое дело. Это и ему прибавляло уверенности в себе. И вдруг Юлька... Ну, теперь покончено с этим.

Карнаухов думал о том вечере, когда она в последний раз была у него. Что ж все-таки произошло? Его вздумала поучать Юлька, человек, который всегда был, так сказать, на периферии жизни.

Он не сомневался: в том, что произошло у них с Юлькой, Волков — лишь повод. Просто они настолько разные, далекие друг другу люди, что Юльке никогда не понять Карнаухова, его устремлений, всей его жизни... Ну что ж, тем лучше, что покончено...

Но проходил день-другой, и он думал и тосковал о ней.

На работе, если он был занят, когда Юлька входила в кабинет, он строго и отчужденно говорил: «Обождите!»

Но дома он вздрагивал от каждого звонка в дверь и, замирая, ждал чего-то, хотя знал, что она не придет.

Она сидела здесь у стола, листала этот старый «Огонек», ходила по комнате, смотрела в окно. Да было ли это на самом деле? Ее небрежный, готовый вот-вот рассыпаться пучок, ее походка, скользящая, носками внутрь, ее лицо, покатые плечи и губы, твердые, холодные губы, неотступно стояли перед ним.

Раньше он жил, не замечая своего одиночества. Теперь одинокие вечера в комнате пугали его. Он задерживался на комбинате, колесил по улицам. У себя в комнате, сидя у стола, листал старый «Огонек».

Он перестал отвечать на письма жены. Несколько раз пытался написать ей, но ничего не получалось. Как же так? Не задумывался об этом раньше, но всегда считал: они близкие люди, семья. А сейчас точно наткнулся на что-то жесткое, чужое в ней.

Под утро он просыпался и, лежа без сна, ждал рассвета и слышал наконец, как на соседней улице звенел первый трамвай и дворники ударяли скребками по заледенелому снегу. Мир вдруг опустел, и огромная, неизвестная прежде Карнаухову пустота ошеломяла и давила его.

Он всегда напряженно работал. Жил с сознанием — ты нужен! Ты — на виду! Ты — винтик великого механизма. Одна мера у него в жизни, одно честолюбие, один пафос — нужен!

«Чепуха, бред», — смело сказал он в райкоме. Он не сомневался: от Юльки никто ни о чем не узнает. Никто не сможет уличить его. Он произнес всего два слова: «Чепуха, бред» — и отрезал себя от того, чему принадлежал. Ведь он смотрел в глаза секретарю райкома и лгал. Он солгал партии.

Прошла неделя, и Карнаухов снова появился в райкоме, потускневший, измученный тревогой.

Анна Сергеевна обрадовалась ему.

— Объясни ты мне, Александр Егорович, как это у чехов капля воды заменяет челнок, — накинулась она на Карнаухова, протягивая ему газету. — Вот, оказывается, у кого нашим текстильщикам поучиться надо. А? Какая же это могучая сила — опыт стран социалистического лагеря!

Карнаухов сел и положил на стол газету.

— Анна Сергеевна, прошлый раз ты спрашивала, какие у меня отношения с техническим секретарем парткома...

— Да нет, Карнаухов, это товарищи с комбината болтали безответственно. Длинные языки. Извини меня.

Карнаухов взял из пепельницы обгоревшую спичку, переломил ее, помедлил и коротко рассказал обо всем.

Он не каялся, и Анна Сергеевна не укоряла его за неискренность в прошлый раз. Она встревоженно и с интересом взглянула на Карнаухова, приготовясь выслушать его подробнее. Но Карнаухов замолчал.

— Но теперь с этим покончено? Ведь так надо понимать?

Карнаухов хотел объяснить ей, что сам не знает, как все это с ним случилось... И потом этот страшный гнет на рассвете. Испытывала ли она что-нибудь подобное?..

Он встретился с ясным взглядом Анны Сергеевны и не смог заговорить.

Карнаухов продолжал молчать с каменным выражением лица.

— У тебя ведь семья, дочь, — тихо, взволнованно сказала Анна Сергеевна. — Твой пост... — Она смутилась и не стала продолжать. — Да ты ведь сам все понимаешь...

Прощаясь, она протянула Карнаухову руку, расстроено проводила его глазами до двери.

Карнаухов спускался вниз и, останавливаясь на лестничной площадке, видел в окно заваленные снегом крыши, и на душе у него становилось спокойнее.

В конструкторской группе появился не заглядывающий сюда обычно Коркешин. Он прошел к столу Федора.

— Я минутку у тебя отниму, — и сел, явно чем-то озабоченный. Сцепил пальцы и сказал подчеркнуто: — Жена у Карнаухова, Александра Леонтьевна, — прекрасная, порядочная женщина.

Федор посмотрел на него, ничего не понимая.

— Она его к себе прямо из госпиталя взяла. Она его в ванне сама моет...

— Тыфу ты! Ну и что?

— Я к тому говорю: она, когда приезжает сюда, за ним, одноруким, как за малым ребенком ходит. Член партии, учительница, достойный товарищ...

— Ну и что? Ко мне-то ты чего с этим?

Федор все время не мог ухватить в памяти что-то связанное с Коркешинным.

— Ты же член парткома. И знаю, Барулин, тебя мальчишкой...

— Ну и что?

Коркешин поправлял ремешок часов на руке. Он поднял глаза и, подавшись к Федору, шепотом сказал:

— На кого променял? Поинтересуйся?

Федор вспомнил наконец — ведь это Коркешин открыл ему тогда дверь и суетился, не пуская к Карнаухову...

— На проходимку, вот на кого!

Федор стукнул кулаком по столу.

— Иди ты, знаешь, куда!

Коркешин попятился и скрылся за дверью.

Федор не мог успокоиться.

После того как он застал Юльку у Карнаухова, его не раз подмывало подойти к ее столу в приемной парткома, сказать ей: «Утешилась?» — и добавить кое-что похлестче. Но сдерживался — ему-то что? Зато она не будет больше ждать встречи с ним, пялить издали глаза, в общем, не будет его искушать. Все ж он клеймил ее: «Бабье. Лишь бы к кому-нибудь пристроиться».

А сейчас Коркешин, обругавший Юльку, нашептывающий какую-то грязь, вывел его из себя. Ну и гад! То спешил угождать Карнаухову, а теперь... На комбинате давно уже работала комиссия райкома партии, но в последние дни вдруг пошли разговоры, что она собирает какие-то материалы на Карнаухова. Вот уже и Коркешин засуетился.

Когда прозвенело в коридоре управления, Федор свернул чертеж, положил на шкаф и пошел к матери. Со дня на день ее должны были положить в больницу, и теперь каждый раз после работы он шел к ней.

К его приходу мать ставила на стол дымящийся пирог.

— Зачем ты возишься? — сердился Федор.

Она улыбалась.

— Времени пустого много.

Мать была другой. Не такая быстрая, порывистая, как раньше, — сосредоточенная, тихая. Вокруг глаз у нее легли темные круги.

Николай Арсентьевич старательно вздувал на кухне самовар, вносил его, и самовар приятно гудел на столе.

Мать подтрунивала над Николаем Арсентьевичем:

— Смотрите-ка — молодец, здоровый мужчина. А душой ослабел — к богу пристраивается. Богомолец!

Он не обижался. С тех пор как стало известно, что Прасковья Матвеевна больна, Николай Арсентьевич был полон забот о ней и легко сносил ее колкости.

Федор видел: мать хоть и воюет со стариком, но дорожит его теплотой, душевностью.

Часто приходила соседка Нина Ивановна, Козлова, Нинка-ФЗО или кто-либо другой из бригады Прасковьи Матвеевны. В комнате шумно, наперебой говорили о комбинате, точно стараясь что-то заглушить шумом голосов.

Говорили и о Карнаукове, о комиссии райкома. Люди понимали: он лишился доверия из-за неблагоприятного поведения, из-за связи с секретаршей.

— Ишь ты, какой умник, хотел рыбу ловить и хвост не намочить, — сказал кто-то.

Прасковья Матвеевна оборвала:

— А мы-то чего глядели? Ведь мы его растили.

Для нее он был молодым членом партии, которого растили люди ее поколения и отвечали за него.

Заступничество матери задевало Федора. Кто это его растил? Таким точно, какой он есть, Карнаухов появился на комбинате.

Раньше Карнаухов в его глазах стоял на недостижимой высоте. Но с тех пор как он увидел Карнаухова с Юлькой, он думал о нем с неприязнью, недоверием... Но он не захотел перечить матери и заговорил о другом.

Иногда же в комнате воцарялось молчание, и у всех молча сидевших людей было такое чувство, точно Прасковья Матвеевна должна уехать в какое-то тяжелое путешествие, и нужно удержать ее, и никто не знает, как это сделать, и чувствует свою вину перед ней. В такие минуты Козлова казалась еще более, чем обычно, прямой в плечах. Лицо Николая Арсеньевича светилось добротой и сочувствием. Слышно было, как громко дышит Нина Ивановна.

Прасковью Матвеевну выдавали глаза с затаенной в них мукой. Она первая прерывала молчание:

— Пирог что зря стынет? Давайте чай пить.

В эти дни Федор возвращался домой длинным, окольным путем, по пустырям, чтобы подольше побыть одному. По вечерам сырой резкий ветер пахнул пробуждающейся под снегом жизнью. Уходящий из города по слабому мартовскому снегу наезженный полозьями санный путь пропал, петляя, недалеко. Федор думал о матери, о ее простой, без претензий жизни. Он привык брать все женское, не задумываясь, — преданность матери, привязанность Дуси, пылкость Юльки. Каким же маленьким чувствовал он себя сейчас рядом с матерью! Ему хотелось плакать от раскаяния, от жалости к ней. Только бы она была жива.

Он был тяжелодум. Мысли подолгу отстаивались, вызревали в его голове. А сейчас он находился в таком душевном напряжении, что, казалось, прожил целые годы за эти дни.

Он еще раз увидел Юльку в коридоре управления. На комбинате она больше не работала, ее уволили — ведь она занимала фиктивную должность нормировщицы, и Федор, увидев ее снова здесь, от неожиданности растерялся и отвернулся к вывешенной на стенде газете и, будто читая, краем глаза наблюдал за Юлькой. Она шла, не замечая его, задумчиво понурив голову, своей плавной, скользкой походкой, и с каждым шагом, приближающим ее к нему, Федор ощущал толчки в сердце.

Не дойдя до него, Юлька исчезла в дверях отдела кадров.

Федор шагнул за газетный стенд и, стоя в своем укрытии, ждал, когда она выйдет, и чувствовал, как дрожит пол над отделочным цехом и доносится снизу сладковатый запах крахмала, и ясно понимал, что все это время его не переставало тянуть к Юльке, что он старался и не мог позабыть о ней.

Юлька появилась в дверях.

Она медленно прошла мимо, и он увидел совсем близко ее осунувшееся, грустное, но все еще красивое лицо, хотя и не такое молодое, каким оно было когда-то. Ведь никто из окружающих ее теперь людей не знал, какие у нее были пышные, коротко подстриженные волосы и сияющие, счастливые, совсем молодые глаза. А он знал. Он один. Может быть, ее судьба потому и не устраивается, что ее юные годы прошли на войне. И потому, что на войне она полюбила его, Федора. А он не в состоянии теперь ничем помочь ей, ничего изменить в ее жизни, потому что его собственная жизнь пошла другим путем и он никогда не смог бы бросить Дусю.

## 20

Комиссия райкома заканчивала свою деятельность на комбинате.

Карнаухов был уверен, что за работу парткома ему не придется краснеть. И все же он нервничал, иногда против воли думал: если бы он тогда в райкоме сказал Анне Сергеевне, что с Юлькой покончено навсегда, наверное, не было бы никаких последствий. Но он не стал этого делать. Не смог.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь. Но ни с кем у него не было дружеских отношений. Раньше он даже находил в этом удовлетворение, особенно при разборе какого-либо дела, — он был вне личных отношений, вне симпатий и антипатий. Единственный человек, с которым он мог бы поделиться, был член парткома Лобанов, экономист с ткацкой фабрики.

Лобанов, как никто, любил Карнаухова. Любил его за темперамент, за силу, за то, что Карнаухов воевал, в то время как он, Лобанов, пользовался броней. Любил его, наконец, за то, что он оценил его, Сергея Петровича Лобанова, скромного работника, и сам выдвинул его в партком.

Карнаухов знал: если бы они с Лобановым посидели и он рассказал бы ему о Юльке, тот все понял бы. Но Лобанов, встречаясь с ним, был расстроен, не смотрел в глаза и избегал оставаться наедине.

Но неожиданно Лобанов сам явился в кабинет к Карнаухову.

— Мне надо поговорить с тобой, Александр Егорович...

Он был бледен, встревожен, и решительный тон так мало шел ему.

— Это ведь потеря своего лица, лица коммуниста...

Карнаухов побледнел, брови его сошлись на переносице. Лобанов хотел продолжать, но зашулся и протянул Карнаухову вчетверо сложенный листок.

Карнаухов развернул и узнал аккуратные круглые буквы. Жена писала о том, что он всегда был прекрасным мужем и отцом и они горячо любили друг друга и жили «душа в душу»...

Он остановился и перевел дух. Он изумился заключенной в письме неправде, или ханжеству, или убогому представлению о любви... Ведь у них с женой даже не было потребности жить вместе, и она так и не решилась уехать с ним из родного города, оторваться от привычной обстановки, от своей школы. Но и на этот счет имелись в письме рассуждения. Ей говорили, писала она, когда жена и муж подолгу живут в разлуке, их семья под угрозой. Но она-то считала: ее муж не такой, как все, его не коснется пошлость. В том, что теперь произошло, она целиком винила Юльку. Она называла ее «эта особа», «эта опутавшая его особа». В заключение жена обращалась в партком с просьбой вернуть ребенку отца.

Аккуратно выписанные буквы и гладкий слог письма глубоко возмутили Карнаухова.

Он взглянул на сидящего перед ним Лобанова. На добром лице Лобанова было написано, как он ошеломлен, запутан. Он встал и принялся ходить вдоль длинного стола заседаний, задевая за стулья.

«Чего он так вырядился?» — нервно подумал Карнаухов. На Лобанове был темно-синий костюм, который он надевал лишь на вечера в праздники.

Лобанов начал, путаясь, робея, потом немного успокоился, окреп и наконец заговорил внушительно, громко, будто перед ним был не один Карнаухов, а целая аудитория.

Лобанов говорил о том, что он пренебрег своим гражданским и семейным долгом, забыл о коммунистической морали... Эти привычные формулы глушили в Карнаухове готовое подняться возмущение. Может быть, он должен пройти через это. Может быть, так надо. Такие же обвинения и он не раз бросал другим. И теперь должен был пройти через это сам.

Но он не выдержал.

— Фальшь это, Сергей Петрович. Пойми же, дорогой, фальшь. — Он ткнул пальцем в лежащий перед ним листок и, торопясь, сбивчиво, горячо заговорил о том, что понял сейчас, читая письмо жены.

Лобанов холодно перебил:

— Тебе крепко задуматься надо. Ведь что ж получается? Две дисциплины...

Карнаухов тихо, возбужденно барабанил пальцами по стеклу. То, что сейчас происходило здесь, казалось недоразумением.

— Сергей Петрович! — проговорил он, тяжело дыша. — Да что ты знаешь, чтоб так судить!

Лицо и шея Лобанова покраснели, он просунул палец за воротничок и неловко потер шею, обдумывая, что сказать.

— Я знаю одно...

— Какого черта! — крикнул Карнаухов и задохнулся от волнения. С грохотом отодвигая тяжелое кресло, он встал, быстро, не глядя, собирал одной рукой бумагу на столе и уже сдержанно, сдавленным от волнения голосом говорил: — Да прекрати ж ты в конце концов. Какого еще черта тебя слушать!

## 21

Юлька по-прежнему жила у Волковых, тратя выплаченное ей выходное пособие.

Леша был с ней подчеркнута обходителен, давая Юльке понять, что считает ее жертвой одиночества и притязаний Карнаухова. Маруся, конечно, полностью была согласна с ним. Она осторожно, на цыпочках, двигалась, будто в доме тяжелобольной, шикала на детей. Заглядывала в комнату:

— Юля, чайник поспел. Одной пить — безо всякой охоты.

В кухне за чаем она, как умела, занимала Юльку разговором:

— Знаешь, сколько возни с ними? — говорила она о детях. — Из роддома приедешь, как их жалеешь, как жалеешь! Чуть заплачет, так бы и не отходила. Беспокойно.

На шкафу поблескивал самовар, полуприкрытый салфеткой. По вечерам что-то шелкало, словно рассыхался шкаф или старая посудная горка. Сонный Генька, занятый любимым делом, расставлял на клеенке шахматы.

Юлька думала о том, что у нее нет детей, нет забот о них, может быть, поэтому ее жизнь так неустойчива и она не стремится к порядку. Но бытовые невзгоды не угнетали ее, она легко их переносила и неопределенность своего положения также.

Рано утром, когда гудело на комбинате, Юлька просыпалась, слышала, как поднимается Леша, и ее тянуло в большой бодрый поток людей, спешивших к проходной. Но гудок теперь не имел к ней никакого отно-



шения. Она оставалась дома и могла сколько угодно думать о том, как жить дальше, или предаваться воспоминаниям. Она часто вспоминала о фронте. Все плохое, все невзгоды забылись, а воспоминания о том, как спали на столах или как в стужу в лесу снегом заправляли котлы, трогали ее до глубины души.

Однажды, когда она лежала на кровати, укрывшись пальто, кто-то вошедший с улицы спросил знакомым голосом про нее. Юльке показалось, что она ослышалась. Она сбросила пальто и села на кровати.

Распахнулась дверь, и в надвинутой на брови котиковой ушанке, с поднятым воротником пальто — левая рука втиснута в карман — на пороге встал Карнаухов. Из-за его спины выглянуло встревоженное, любопытствующее лицо Маруси, и дверь снова закрылась.

— Здравствуй! — Он никогда здесь не был и быстрым взглядом окинул комнату: этажерка, на стене платя под кисейной занавеской, в кадке на полу фикус...

Юлька снова легла, прикрывшись пальто, зябко поджав колени. Хлопнула дверь в кухне. Должно быть, Маруся куда-то вышла. Они одни остались в доме.

— Дело в том... — сказал Карнаухов. Шапка, и поднятый воротник, и плечи его пальто были припорошены снегом, и казалось, он добирался сюда издалека. — ...в конторе горстроя есть место нормировщицы.

Юлька лежала на подушке, подсунув под щеку ладонь. С розовой ситцевой наволочки на Карнаухова смотрело ее побледневшее грустное лицо.

Он сел на единственный стул, не снимая шапки, не опустив воротника пальто.

— Я считаю, тебе следует обратиться в контору.

— Зачем?

Стукнула дверь, послышались тяжелые шаги, и вслед за тем загромыхали о пол поленья — Маруся вернулась с дровами.

Юлька приподнялась на локте, волосы на затылке упали на спину. Она поднесла руки к затылку, собирая в пучок волосы.

Карнаухов следил за знакомым движением ее рук, видел ее тонкую шею, которую то закрывали, то снова открывали двигавшиеся руки, и сердце у него часто и сильно стучало.

— Непонятно — зачем? — сдержанно сказал он и отвел рукой шершавый лист фикуса, уткнувшийся ему в лицо. — Ты что же, не собираешься работать?

Юлька пожала плечами.

— Не знаю.

— Кто же знает? Нельзя ж без работы.

— Что вы-то переживаете, волнуетесь? Я сама решу.

Его покорило это «вы». Он пошарил в карманах, достал пачку «Беломора», но закуривать не стал.

— Что ж дальше собираешься делать?

— Дальше? — Она села, свесив ноги в чулках, зябко кутаясь в пальто. — Дальше — некуда. Достукалась.

— Глупости! Надо работать. Нельзя опускаться, — сказал Карнаухов.

Юлька никогда не видела у него таких усталых глаз.

За перегородкой Маруся зашептала вернувшемуся из школы Диме:

— Валенки очисти! Ох, наказание!

Юлька почему-то сейчас вспомнила, как в первый раз увидела Карнаухова, когда приходила насчет работы. А потом вдруг потянулась к нему... Из-за одиночества его или потому, что поняла: он живет не для себя, не думает о себе. Или еще почему-то.

— Как ты живешь? — спросила она вдруг.

Карнаухов едва заметно усмехнулся и снова старательно отвел рукой мешавший ему лист фикуса.

— Нормально, — холодно сказал он.

Оба с минуту молчали. Юлька смотрела в окно не то задумчиво, не то безучастно.

— Так как же? — терпеливо, настойчиво спросил Карнаухов. — Сходишь в горстрой?

Юлька вспыхнула:

— Да что обо мне! Ты лучше думай, как себя спасти, покаяться!

Он поморщился. Зажег спичку, прижимая коробок к колену. Молча выкурил папиросу, ни разу не повстречавшись с Юлькой взглядом. Петом встал — такой же прямой, с поднятым воротником драпового пальто, в ушанке, низко надвинутой на брови, каким вошел сюда. Только снег на шапке и на пальто давно растаял.

— До свидания!

Она вдруг представила себе, как по утрам он долго, терпеливо возится со шнурками ботинок, завязывая их одной рукой.

— До свидания, — сказала она.

Он шел по поселковой улице с засунутой в карман пальто рукой. А кое-где из окон следили за ним любопытные глаза — впервые его увидели здесь и недоумевали: белым днем, без стыда, Карнаухов возвращается от не е.

## 22

В тот день, когда на заседании парткома комиссия должна была сообщить об итогах проверки, Карнаухов встал, как всегда, в половине восьмого, оделся и курил у окна, держась рукой за подоконник.

Хотя вопрос касался работы парткома, но Карнаухов знал, что обсуждению подвергнется его личное поведение.

Он сел к столу, потом встал, ходил по комнате. «С девятнадцати лет я состою членом партии...» И эти слова, обращенные мысленно к тем, кто будет судить его сегодня, волновали Карнаухова до глубины души. Дальше он не мог сдвинуться.

Когда его принимали на заводе в партию, старый клепальщик дядя Устинов сказал: «Саша Карнаухов не уронит чести. Можно не сомневаться...»

Нет, он не ронял ни разу. Никогда не искал ни покоя, ни побряжек для себя. Шел туда, куда посылала партия. И тянул что было сил.

Двадцать лет прошло, как один большой напряженный рабочий день.

Осенью сорок первого завод, на котором он был секретарем парт-организации, эвакуировался из Москвы. А он сдал дела своему заместителю и ушел в ополчение — оборонять Москву.

Должен был уехать с заводом, но не смог...

Карнаухов никогда не ставил себе этого в заслугу. Само собой разумелось: если война — значит, он на фронте. Но сейчас он хватался за все. В том, что тогда, в сорок первом, он не мог поступить иначе, была кровная связь его с тем, от чего его, быть может, захотят оторвать. Нет, его не так просто списать. С ним так нельзя.

Но сердце ныло, было похоже на то, что его захватили в горсть и мнут. Карнаухов ходил по комнате, готовился: «С девятнадцати лет я состою членом партии и ни разу...» Дальше не шло.

Он вспоминал Лобанова. Его натянутую, неестественную позу, стремление быть официальным и при этом неожиданную развязность, в которой тот даже не отдавал себе отчета.

Потом он снова думал о том, что Юлька была на фиктивной должности, и об этом теперь говорят на комбинате, а также о том, что у нее просроченный комсомольский стаж. И что эти факты, так резко направленные против него, на самом деле несколько не проливают свет на случившееся. И неужели никому, вот так же как Лобанову, в голову не приходит, что это не пошлая связь? От предчувствия несправедливости в душе у Карнаухова поднималась гнетущая обида. Больной, он, не вылежав, выходил на работу. Когда умер его отец, он не поехал хоронить его — не мог оставить комбинат на несколько дней по личным нуждам.

О чем бы он ни думал, перед ним все время назойливо возникало лицо Федора Барулина, и Карнаухову было особенно тяжело и неприятно, что Барулин тоже будет судить его. С тех пор как Барулин застал у него Юльку, Карнаухов чувствовал его затаенную враждебность, настороженность по отношению к себе и приписывал это ревности. Он и сам избегал лишней раз разговаривать с ним — ему неприятно было видеть человека, из-за которого Юлька оказалась в Куваеве.

А сегодня Барулин под видом принципиальности может сколько угодно давать волю затаенным страстям.

Карнаухов делал усилие, чтобы думать о чем-нибудь другом. И он вспомнил почему-то, как учеником шестого класса был избран делегатом на районную пионерскую конференцию и в первый же день наелся в буфете рыбы и потом валялся дома в жару с обмотанным материнским шерстяным платком животом и безутешно плакал оттого, что без него заседают конференция.

Когда он снова очутился у окна, солнце заливало улицу. Он заметил, что снег отступил с мостовой и лежал на сквере, почерневший. Мимо мчались машины, катя перед собой по сухому асфальту свои огромные тени.

Карнаухов вспомнил: надо успеть до работы побриться — и обрадовался, что есть занятие.

С утра в этот день Федор не пошел на работу — перевозил мать из больницы домой после операции. Вместе с Николаем Арсентьевичем они ввели мать в комнату, поддерживая ее под руки, помогли ей снять пальто и платок. И мать, похудевшая, сильно изменившаяся, осторожно, неуверенно прошла по выстиранным половикам — Дуся и соседка Нина Ивановна два дня прибирались, готовились к ее возвращению.

Прасковья Матвеевна молча постояла у окна — черные ветки куста скреблись о стекло, гудела лесопилка, а по залитому солнцем небу вдалеке тек дым из высокой трубы ТЭЦ.

Потом она, обернувшись, молча обвела взглядом стены в комнате — скорбящую Аленушку в ореховой рамочке, старые часы в поеденном кое-где древоточцем футляре, — точно посторонняя всему этому.

Николай Арсентьевич вытер лицо платком и снял шапку.

Прасковья Матвеевна переставила на буфете чашки, потрогала салфетку, связанную ею самой когда-то очень давно.

Федор тихо сказал:

— Ты ляг, мать, а то развевалась чего-то.

Мать послушно отошла от буфета. Она осторожно, с опаской усаживалась на постель, держась за шею нагнувшегося над ней Федора.

— На что я тебе, Арсентьич, сдалась — хвороба?

Николай Арсентьевич, расшнуровавший на ней полуботинки, присев у кровати на корточки, поднял голову в разлохмаченном венчике пушистых волос, улынулся.

— Сам не знаю, чего я прилип к тебе, как слепой к тесту.

Пришел Леша. Осторожно подержал руку Прасковьи Матвеевны, тихо приговаривая: «тетя Паня, тетя Паня» и «с благополучным вас возвращением».

— Сядь, Леша, сядь, дорогой.

Он пододвинул к ее кровати стул, уперся ладонями в колени, плечи его остро приподнялись. Разговор сразу не налаживался. Леша хмурился, точно винясь перед больным человеком в своем здоровье и благополучии.

— Что смотришь так? Страшная стала?

— Да ну, что вы придумываете, тетя Паня.

Прасковья Матвеевна нащупала ключицы у шеи.

— И правда, как крючья торчат, хоть хомуты вешай.

— Чего ж тут удивляться? — озабоченно вставил Николай Арсентьевич. — Человек, можно сказать, из-под святых встал.

— Да ну, ладно. Об чем заладил. Ты, Леша, лучше расскажи, что нового.

Леша заговорил о цехе. Прасковья Матвеевна приподнялась на локте, оживилась, точно ей, как воздуху, не хватало самих слов: бобина, пряжа, веретена. Она смеялась, держась рукой под грудью, и спрашивала обо всех.

Федор, молча сидевший на постели у матери, смотрел на нее.

Он провел рукой по одеялу, и мать оказалась ему непривычно маленькой, и у него больно защемило в груди.

— Тебя, Леша, народ в цеху ценит за твою старательность. — С тех пор как у Леша произошли неприятности, мать всякий раз старалась свернуть об этом.

Леша покраснел — не мог скрыть удовольствия.

Федор подумал, что мать и Леша чем-то очень похожи, вроде Леша, а не он, ее сын.

— Сегодня у Карнаухова трудный день — вечером комиссия доложит об итогах проверки, — грубовато сказал Федор. Он сам нервничал перед предстоящим заседанием.

Мать посмотрела на него.

— А вы что же? Если б вы его раньше ругали, калили по заслугам. А раз вы ему в рот смотрели да согласно кивали, тут человеку недолго ошибиться. Не устоит, какой бы умный ни был.

Николай Арсентьевич не понимал, о чем говорят, он был в стороне от дел и слабо помнил, кто такой Карнаухов, но все ж таки он вставил:

— Спорщик в любом деле дорожке потакалы.

Федор подумал, что мать ведь сама сердилась на Карнаухова за Лешу, а теперь вот чего-то расстраивается...

Николай Арсентьевич сел у покрытого белой скатертью стола, почесал в ухе — к вестям, что ли? — вздохнул обыденно, разгладил образовавшуюся в спешке от утюга складку на скатерти и прислушался, о чем говорит Прасковья Матвеевна. Он любил ее слушать. И ему было уютно оттого, что она дома и олять разглагольствует, поучает всех.

— На таком посту человек, а споткнулся, — с огорчением сказала она.

Федор слушал мать и с детским страхом в душе чувствовал, что ее жизнь, такая щедрая, самоотверженная, полнокровная, пошла на убыль.

— Обо всем ты, мать, думаешь. А я вот не успеваю, — раскаянно сказал он.

— Где уж тебе, — со значением сказала мать, — у тебя дела поважнее.

Все улыбнулись, услышав, как она по-прежнему задирается.

Федор возбужденно провел рукой по голове. Николай Арсентьевич изучал какой-то листок, держа его на вытянутой руке.

— В два часа, значит, манная каша.

Прасковья Матвеевна возразила:

— Разве это еда для рабочего человека?

— Не еда, — поддержал Леша.

— Что ж поделаешь, — примиренно сказал Николай Арсентьевич. — Теперь воздержаться сколько-то придется. Ведь на поправку только еще пошла...

— Ты меня, что ли, вымолил? — спросила Прасковья Матвеевна.

Федор и Леша засмеялись. Николай Арсентьевич подумал, что Прасковья Матвеевна, пока жива, спуску ему не даст, и повеселев, командовал:

— Расходись, ребята. Для начала человеку покой нужен.

## 23

Юлька давно пришла к подъезду дома, где жил Карнаухов. Еще светило солнце. На подсохшем тротуаре, исчерченном мелом, девочки играли в классы. У одной из них на голове была фетровая красная шляпа с зубчатыми краями. Юлька подумала: точно такие зубчики мама вырезает у бумажных салфеток на полки в кухне. Другая девочка, поменьше ростом, в косыночке, прыгала азартно на одной ноге, ловко подталкивала камушек, и из-под пальто у нее спускалось синее трико на ослабшей резинке.

Юлька наблюдала за девочками — вот уже подросло новое поколение, а она сама, казалось ей, еще не жила.

Потом девочки заспорили, и та, что в красной шляпе, дернула другую за рукав, и девчонка отбежала, высунула от обиды язык и, покрыв животом, подтянула сползшее трико.

Они снова прыгали и ссорились, пока из окна их не позвали домой. Тротуар опустел. Ручейки еще бежали, а солнце спряталось, и Юлька поглядывала в конец улицы. Откуда должен был показаться Карнаухов, и думала о том, как быстро идет время, и скоро Лидия Родионовна придет опять на семинар работников системы ВОС.

Стало сумрачно, как перед дождем, темнел сквер справа от дома. Двое парней остановились у ворот, к ним подошел третий, потом еще один вышел со двора и тоже присоединился к ним. Они курили, сплевывали, громко разговаривали и посматривали на Юльку. Карнаухов все не шел.

Юлька подумала о Волковых, и ей стало грустно от предстоящей разлуки. Так же будет Леша выходить с папиросой на крыльцо, с которого хорошо видны корпуса комбината. И Маруся будет все так же весь день напролет хлопотать. А где в это время будет Юлька, что будет с ней?

Подул сырой ветер, и Юлька сразу продрогла. Она быстро ходила взад-вперед мимо подъезда. Всякий раз, когда она шла в обратную сторону до последней водосточной трубы дома, ей казалось — вот сейчас обернется и увидит Карнаухова, узнает о решении комиссии и пойдет своей дорогой к Марусе и Леше. Но Карнаухов не шел. Юлька терпеливо ждала и поглядывала время от времени на темное окно карнауховской комнаты.

Прогудело на Большой мануфактуре. Парни разошлись. Кошка выглянула из парадного, осторожно понюхала воздух и метнулась в подворотню.

Сколотый черно-белыми ломтями слежавшийся снег был свален в палисаднике. У ворот стояла лужа воды, и Юльке приходилось с усилием переступать через нее, когда она шла в одну сторону, и еще раз, когда возвращалась.

Так шло время. Юльке вспоминалось, как она приехала в Куваево и вот так же поздно вечером ждала Федора. И ей тогда казалось, что без него нет для нее жизни. Как давно это было!

Пошел снег. Все снег да снег — такая уж зима задалась. Сначала мелкий и быстрый, он утих на минуту и погом повалил большими мокрыми хлопьями. Наверно, в последний раз в этом году. Снег шлепался на мостовую, на разрисованный мелом тротуар, таял в большой луже у ворот. Мокрые хлопья залепляли лицо. Юлька спряталась в подъезд, но там было темно, и она снова вышла на улицу и стояла спиной к ветру, уткнувшись лицом в цигейковый воротник.

Напротив из ворот вышла на дежурство женщина-дворник, заложив руки за белый фартук. Милиционер, прохаживающийся здесь же, на посту у сберкассы, остановился и завел с ней привычный ночной разговор, уставясь на ее большие валенки в галошах.

Начиналась ночь, и улицы были пустынные, когда Карнаухов возвращался с заседания парткома. Затормозивший на повороте трамвай пронзительно звонил, вызывая уснувшую стрелочницу. Быстро падал мелкий сырой снег, проезжавшая изредка машина тянула за собой шинный след по присыпанной снегом мостовой.

Сырой, пробирающий насквозь ветер дул навстречу. Вскоре снег начал валить мокрыми хлопьями. Карнаухов поднял воротник пальто.

Он не мог прийти в себя от пережитого. Ему необходимо было понять, что же произошло.

Обгоняя его, шли гурьбой, негромко разговаривая, рабочие со смены, отпечатывая подошвы на слабом снегу. Карнаухов машинально ступал в их следы, и что-то давнее припоминалось ему.

Когда провели радио у них в деревне, он был еще мальчишкой; заслышав звуки «Интернационала», вскакивал и, если был без пионерского галстука, поспешно завязывал его и стоял все время, пока длился гимн, держа салют. А когда садился, на душе было светло, чисто и музественно и хотелось отдать жизнь за угнетенных.

Позднее к нему не приходило такое чувство. Но он знал о себе: если надо, он жизни не пожалеет. И работал, не жалея сил. Мог ли он думать, что его осудят сегодня за работу...

Когда он вошел в свой кабинет и увидел Лобанова с усталым лицом, все в том же нарядном костюме, и нахмуренного Федора Барулина, и оказавшегося почему-то здесь Коркешина, тяжелое предчувствие снова славилло сердце. Он сел со всеми вместе за длинный стол, на него старались не смотреть, но все же косились в его сторону и, если встречались с ним глазами, старательно кивали ему.

Слушая сообщение инструктора райкома, возглавлявшего комиссию, Карнаухов чертил квадратик на листе бумаги, а отрываясь от своего занятия, видел дощечку «Не курить!», свое пустовавшее черное кожаное кресло с залоснившимся правым подлокотником и над ним убегающий вверх по стене синий шнур звонка. Он видел, что сидевший наискосок от него Коркешин не может унять возбуждение; брови его неподкупно приподняты, веки опущены, хребетника художавого носа напряженно выделилась. И Карнаухов ждал... Он ждал, когда инструктор кончит говорить о делах парткома и перейдет к вопросу о личном поведении Карнаухова. Хотя он внутренне не мог согласиться с обвинениями, которые вот-вот посыплются на него, но он понимал, что своими отношениями с Юлькой не мог не навлечь на себя неприятностей. Будь на его месте кто-нибудь другой, он бы и сам со всей строгостью осудил его. Ведь вот и Лобанов... Чего ж ждать от остальных?

Карнаухов хорошо знал этого инструктора Бабица, очень высокого, худого, в очках. Он не был красноречив, к тому же плохо выговаривал

букву «л», и от этого иногда вдруг казался нерешительным, мягким, но он, как считал Карнаухов, достаточно понаторел на работе в райкоме. Карнаухов легко разгадывал нехитрое построение его выступления. Вот: наглядная агитация в цехах устарела. Зато тут же отмечает — добились решительного перелома в борьбе с браком. Карнаухов машинально подсчитывал: плюс, минус, плюс. Получалось неплохо. Но ведь не с этой стороны он ждал удара.

Карнаухов всегда в той или иной степени мог предвидеть ход собрания, но сегодня все перевернулось.

Бабич заговорил о приказе министра по поводу плохого освоения новой техники на комбинате и коснулся мер, принятых парткомом еще осенью.

Опять прозвучало осточертевшее Карнаухову имя Волкова. Ему показалась грубой демагогией такая постановка вопроса. Не для того ли, чтобы очернить Карнаухова, создать определенный фон и затем перейти к Юльке, Бабич обвинял его в формальном, бездушном отношении к людям?

Когда, заканчивая свое выступление, Бабич предложил собравшимся продолжить разговор, начатый коммунистами цеха, и приподнял в руке протокол партгруппы прядильщиков, за столом заседаний все оживились. У Карнаухова мелькнуло: ловкий Бабич, знает, как подогреть, раскатать людей.

Все, что было дальше, смешалось в представлении Карнаухова, и ему трудно было восстановить все по порядку. Впечатления сливались во что-то одно, тяжелое, громадное.

Выступавшие говорили о том, что Карнаухов подменял собой всю партийную организацию и неправильно пользовался своим авторитетом, что он решал вопросы как будто с заботой о деле и, возможно, сам в это верил, но иногда получалось совсем наоборот. Ведь правда заключалась в том, что главк виновен в неиспользовании новой техники: на толстой нитке легче плести план. Но за такую чреватую неприятностями правду надо было побороться.

Карнаухов вдруг увидел растерянное лицо Лобанова и понял, что и для него заседание пошло по непредвиденному руслу. В этот момент вскочил на ноги Коркешин, бодрый, точно умытый, и громко, с сознанием важности своего места в разбираемом деле сказал:

— Разрешите дополнить? Я сосед товарища Карнаухова по квартире. Жена товарища Карнаухова — достойный товарищ, член партии. Она когда приезжает к нему, — он быстро, бесстрашно взглянул на Карнаухова, — она в ванне его моет. Ну, прямо как дитя. Я к тому говорю, чтоб обратить внимание, на кого человек променял свою верную подругу! А променял он ее, между прочим, на проходимку!

Это было то самое, к чему готовился, чего так нервно ждал Карнаухов. Но Коркешина выслушали и снова заговорили о работе парткома.

— За всех нас думал Карнаухов, а мы мирились с этим, нас это даже устраивало... — Карнаухов и сейчас видел взволнованное лицо Федора Барулина, такое ненавистное ему в последнее время, слышал его горячие слова: — Не один Карнаухов несет ответственность. Я говорю о себе...

После Барулина люди заговорили так, точно их прорвало, точно они только и ждали этого часа. И тогда вот он услышал о себе: это он, оказывается, порождал равнодушие и по его вине люди отучались думать, верить в себя.

Карнаухов возвращался по ночному городу, взбудораженный, измученный. Он напрягал мозг, чтобы собраться с мыслями, понять, что произошло. К горькому чувству обиды примешивалось смятение: люди,

о которых он имел достаточно четкое представление, оказались сегодня совсем другими. Может быть, что-то произошло, изменилось, чего-то он не понимает.

Он подумал, что ему предстоит еще говорить о своих отношениях с Юлькой — несколько человек не успели высказаться, и заседание парткома перенесли на следующий день. Что он скажет? Порвал с ней, осознав... Или признает, что оступился, и попросит дать ему возможность искупить свой проступок? Противно. А бывало так, что он и сам добивался таких признаний от других.

Откуда-то издалека выплыли на секунду белесые косички дочери и не заполнили ноющей пустоты в душе. Нет, в рухнувшую семью он больше не вернется.

Он страшно устал, хотелось одного — добраться домой. Его обдало вдруг жилым, человеческим запахом: возле булочной разгружали машину и дымящиеся лотки с хлебом пронесли над тротуаром.

Карнаухов медленно прошел мимо. Еще некоторое время ему вслед доносился в сыром воздухе запах теплого хлеба, и Карнаухов глубоко вдыхал его.

Он свернул за угол и вздрогнул, увидев Юльку. Она была видна издалека в своем светлом пальто с цигейковым воротником. Она стояла возле его подъезда. Подойдя ближе, он поздоровался. Юлька ответила:

— Здравствуй!

Спрятав руки в рукава пальто, продрогшая, съезжившаяся, она тревожно смотрела на него. Поднятый воротник заслонял лицо Карнаухова.

— Пойдем,— сказал он.

Поднимаясь по лестнице, он слышал, как за ним, шаг за шагом, тихо шла Юлька.

В комнате Карнаухов сбросил пальто прямо на раскладушку и достал папиросу — он страшно давно не курил. Он поднес к лицу спичку, у него дрожала рука.

Юлька в нерешительности остановилась у двери. Карнаухов молча посмотрел на нее и отошел к окну. Юлька опустила на стул, не снимая намокшего пальто.

Стоя у окна, Карнаухов жадно затягивался дымом и смотрел на освещенную фонарями улицу.

— На всю ночь заладил,— сказал он.

— Да, наверно,— волнуясь, сказала Юлька.— Вроде уже и весна близко, а все снег.— Ей хотелось спросить о решении комиссии, но не хватило духу. Она со щемящим чувством смотрела на Карнаухова, изнуренно прижавшегося к окну, и вдруг поняла, что этот трудный, заблудившийся и верный человек — ее судьба. От волнения Юлька закрыла лицо неслушающимися, загрубевшими на холоде руками.

Карнаухов не оборачивался от окна. Напротив на тротуаре милиционер беседовал с дворником. Карнаухов слышал, как Юлька, вздыхая, снимала пальто.





---

ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

## ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ СТИХОВ

### ПОЭЗИЯ

И критики и мастера  
Порифмовать отменно  
Толкут, как мак тот мошкара,  
Все то же, неизменно.

Чтоб озарять сердца до дна,  
Все чувства возвышая,  
Какой сегодня быть должна  
Поэзия большая?

Друзья! Легко бересту драть,  
Но слово — не береста,  
Ведь если в суть вещей вникать,  
То дело очень просто.

Течь ей, поэзии, рекой,  
Бить родником под ивой,  
Быть, как невесте в праздник свой,  
Нарядной и стыдливой.

В кругу подруг красой блистать  
Веселой, златокудрой,  
Со стариками рассуждать,  
Все взвешивая мудро.

Иметь размах орлиных крыл,  
Чтоб взмыть над горной кручей,  
И горло соловья, чтоб пыл  
Не иссякал певучий.

Не знать преград нигде, ни в чем,  
Всегда вперед стремиться,  
Быть на работе силачом,  
Без усталости трудиться.

Открыто всем смотреть в глаза  
И не желать иного,  
Чтоб, словно детская слеза,  
Правдивым было слово.

Ясны поэзии пути,  
Дорожки, перекрестки,  
А как на них ее найти —  
Вот тут-то и загвоздка.

*Перевел с белорусского Н. Рыленков.*

\* \* \*

Мой край озерный, край зеленый,  
Край медных сосен вековых,  
Каким ты взял меня полоном,  
Что ты всегда в глазах моих?

Иль тем, как ветры твои пели  
В твоих полях в мой первый день,  
Иль, может быть, над колыбелью  
Смолистым духом желтых стен?

Да нет, сроднился я с тобою  
Краюхой хлеба и водой,  
Сумой пастушьей, и трубою,  
И в поле первой бороздой.

Рассветом робкого свиданья,  
Весенней трелью соловья,  
Своей тоской, своим страданьем,  
Всем тем, чем жил с тобою я.

Сроднили нас и вечер звонкий,  
В лугах искристая роса,  
И взгляд приземистой хатенки,  
И материнская слеза.

Мой край озерный, край зеленый,  
Комбайнов гул и проводов,  
Хожу я радостный сегодня  
Среди твоих полей, лесов.

Мне все здесь близко и любимо,  
Мне дорог каждый кустик твой.  
Как сын и мать неотделимы,  
Так неразлучен я с тобой.

*Перевел с белорусского М. Василевский.*



---

МАРК МАКСИМОВ

★

## РАЗВЕДЧИЦА

*«И старый мир, как пес безродный...»*

А. Блок. «Двенадцать».

Ее сородичи, пожалуй,  
недаром выли на луну...

В полет готова небывалый,  
чтоб звезд обнюхать новизну,  
она зажмурилась от света  
еще невидимых лучей.

И вот ей подана ракета.  
И, по секрету от врачей  
в кабину сунув полбаранки  
и не стыдясь прощальных слез,  
исцеловали лаборантки  
ее собачий мокрый нос.

Ее к ракете приучали.  
Но глянули из корабля  
глаза в такой земной печали,  
какой не ведала Земля.

Потом хозяин кнопку тронул,  
закрылся люк, и свет погас,  
и стало двести миллионов  
хозяев у нее в тот час...

По вечному проходит мраку  
людского гения свеча,  
и сторожит ее собака,  
на звезды встречные рыча.

И о Земле с тоской упрямой  
стучит сердечко в млечной мгле,

и той тоски кардиограмму  
приборы пишут на Земле.  
И все тревожней стрелка скачет,  
и обрывается строка...

Но о разведчиках не плачут.  
Я сам готов за облака.

Друзья полет ее свободный  
благословляли в бликах звезд...  
А старый мир, как пес безродный,  
следил за ней, поджавши хвост.



---

ТАИР ЖАРОКОВ

★

## СТЕПЬ МОЯ

Степь моя!  
На тыщи верст вокруг  
Травы тянут свои стебли ввысь.  
Словно — пальцы в пальцы — сотни рук,  
Корни их в земле переплелись.

Ветерок тебя затронет лишь,  
Где растут татарник и чебрец,  
Всеми травами ты задрожешь,  
Как от шпоры кровный жеребец.

Реет беркут, падая с высот,  
Белых, как рубаха на спине.  
Стрелолист, ярутка и осот  
Стелются еще по целине...

Это было, это было встарь.  
А теперь и солнечный восход,  
Будто всадник на седле, привстав,  
Смотрит на тебя — не узнает!

И уже в пространствах голубых  
Гром мотора слышу — не подков.  
Черные и русые чубы  
Возле полотняных городков.

Сколько рек несет свой вечный ток  
В океан... Так и в степи моей  
Разливается людской поток  
С русских и украинских полей.

Молодость,  
вступай в свои права,  
В целину пуская что ни год  
Корни...  
А без корня и трава  
На степном просторе не растет.

*Перевел с казахского Александр Корень.*

---

С. БОНДАРИН

★

## МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

*Из рассказов военных лет*

### 1. У ТРЕХ КОЛОДЦЕВ

**В** годы моего детства среди одесских мальчиков почитались не только стрелки, рыболовы и чемпионы французской борьбы — мои сверстники собирали гербарии и коллекционировали бабочек. Вот почему на даче у Куяльницкого лимана, под Жаваховой горой, в моем углу рядом с самодельным карабином поразительной правдоподобности стояли и совсем настоящие сачки для ловли бабочек.

Не одна рама, сокровищница сказочной красоты, была уже заполнена лучшими образцами бабочек — всецветный и гармонический, яркий и мягкий калейдоскоп. Суставчатое, хрупкое строение тельца, похожего или на узкую серьгу, или на бусинки, нанизанные на нитку, пыльно-бархатистое крылышко! Ныне забыты чувства охотников на бабочек. Мне же памятен этот робкий, осторожный восторг перед невиданными узорами, нежное восхищение добычей... О, я понимал толк в этом деле!

Но так и не удалось мне в те времена изловить редкостный вид бабочки — «осенний лотос». Эта диковина, эта прелесть иногда появлялась в наших местах. Ранней осенью, случалось, ее приносило то ли на шаландах рыбаков, то ли в цыганских кибитках из знойной Румынии, с дунайских плавней. Она любит сырые, но жаркие места. Я слышал рассказы о ней, видел ее изображение в дорогих великолепных альбомах. Часами блуждая среди трав и зарослей кустарников сухой приморской степи, я искал «осенний лотос».

Вот почему навеки запомнились мне эти степные лиманные места, солоноватость и пряность их запахов, здешние птицы и насекомые, псвисты и шорохи, ощущение мира, блаженной осенней теплоты, незамысловатого, богом данного счастья.

Все это помнилось мне и тогда, в сентябре 1941 года.

Командный пункт батальона находился в яме, прикрытой росшим на ее краю кустом. Здесь я вспомнил прошлое, здесь мы разговорились с приехавшим в батальон командиром полка.

Сентябрь шел к концу. Второй месяц полк Осипова удерживал важные позиции на краю правого фланга обороны, за Жаваховой горой, на перешейке между лиманом и морем, и в осажденном городе уже были хорошо известны Первый полк морской пехоты и его командир, полковник Осипов.

Утром, вставая ото сна, люди прежде всего спрашивали у соседей, что нового случилось за ночь, в полдень становилось известно все, что утром произошло на позициях.

На улицах трамваи задерживались перед артиллерией, с громом проходящей по гладкой мостовой, толпы пешеходов накапливались

на панели, глаза на отряды морской пехоты, только что высадившиеся в порту. У прилавков булочных шумели женщины с корзинками и хлебными талонами в руках. С окраинных огородов и баштанов свозили на рынок помидоры, баклажаны, арбузы. Большефонтанские рыбаки выкладывали на непросыхающие рундуки Привоза свежий улов.

Из низинных районов города, где рыли артезианские колодцы, тяжело тащились старухи и дети с ведрами воды — кто в руках, кто на самодельных коромыслах. Источники питьевой воды на Днестре были у противника. А лето стояло жаркое. Дым и пыль заволакивали город и окраины.

Я прибыл в Одессу вместе с пополнением для морской пехоты и с моряками же добрался до полка Осипова, к Трех колодцам.

В яме, где мы притаились, слегка привстань — и увидишь по одну сторону туманно-синий горизонт моря с низкими силуэтами боевых кораблей, вышедших на огневую позицию, по другую — безлюдный простор степи, уже принимающей окраску осени.

Острое, томительное чувство испытывал я, обозревая однообразную желтизну кукурузных полей, далеко по всей степи колеблемую волнами нагретого за день воздуха.

Эта знакомая мирная теплынь, кажется, больше всего и взволновала меня. Шелестел куст, иногда что-то жужжало.

Осторожно раздвинув ветки, я рассматривал в бинокль развалины какого-то кирпичного строения вблизи железнодорожной насыпи. Там, в полутора-двух километрах, был противник. Кое-где глаз усматривал печальные приметы фронта: мертвое тело гитлеровского солдата, прижавшее собой кукурузные стебли, полуобглоданный труп лошади, гребенку окопа — иногда с рожками стереотрубы.

Бои на этом участке становились ожесточеннее день ото дня.

— Вот смотрите, только осторожно, — говорил полковник, отведя ветви куста. — Видите колодцы?

Да, в узкой балочке-ложбинке, открытой в нашу сторону и невидимой со стороны противника, я увидел три колодца. И я узнал их. Три мирных, обыкновенных колодца, кругло сложенных из потемневшего от времени пористого известняка, с нехитрыми приспособлениями для запуска ведра, с деревянными желобами-корытами для скотины.

Разжиженная грязь вокруг колодцев тускло поблескивала. К воде слетались воробьи, в грязи рылись куры, и три или четыре бойца, должно быть только что раненные, перевязывали друг другу раны и наполняли водой фляги.

На внутреннем склоне ложбины расположились автоматчики; можно было угадать замаскированные огневые точки. Это и был передний край знаменитой «позиции у Трех колодцев», за обладание которыми нарастали бои.

— Они положат здесь еще не один батальон, — говорил мне Осипов, внимательно осматривая местность. — Я им тут приготовил прием. Тут у меня лучшие взводы, лучшие минеры. Вот поговорите со старшим лейтенантом, и вы не пожалеете, что потрудились сюда приехать. Вы, кстати, как ехали?

— Ну как? Так же, вероятно, как ездили до войны на лиман принимать ванны.

И в самом деле, до позиций Первого полка добраться было не трудно: сначала трамваем до базарчика, потом по вполне безлюдным кварталам до рубежа, просматриваемого противником, а дальше... дальше по способности.

Круглые черные глаза полковника взглянули на меня испытующе-пронзительно. Но, поняв шутку, Осипов улыбнулся; разгладились тоненькие морщинки в углах рта. Он сдвинул пилотку с загорелого лба,

отстегнул крючок на ворота гимнастерки, перетянутой ремнями портупей. Несмотря на теплый день, из-под ворота выглядывал свитер.

— Ничего, — простуженным голосом сказал полковник. — Уверяю вас, что после войны тут только и начнется настоящее освоение. Тут же золотые места! Чувствуете, какой воздух? Небось вам и не приходилось дышать таким воздухом... Но им... — Осипов кивнул в сторону противника. — Им недолго дышать этим воздухом, их сожгут солнце и морячки. Они уже сейчас задыхаются без воды, мечутся туда-сюда, а мы их тут и бьем.

— Даем жару, — незамысловато подтвердил старший лейтенант, командир батальона.

— Видите, притихли, — продолжал Осипов. — Обескровлены. Сегодня и завтра будет тихо. Вот какое словечко теперь завелось: «обескровлены»... Ну, а в городе с водой легче?

Я рассказал, как обстоит с водой в городе. Копают. Сверлят. Уже много колодцев дает воду, но все еще трудно, все еще население получает по полведра.

— По талонам?

— По талонам.

Осипов помолчал.

Три человека, сведенные войной, тесно сидели в ямке, дыша друг другу в лицо. Противно квакнула, разорвавшись, мина, за нею — вторая. Я хотел было опять раздвинуть куст, но старший лейтенант остановил меня.

— Подождите. Не надо. Может, заметили шевеление! — И комбат насторожился, стараясь по звуку полета мин определить, откуда бьют. Задрезжал телефон, и только теперь я увидел в глубине ямы блиндажик. Из него послышался женский голос, голос телефонистки:

— Товарищ старший лейтенант, стреляют из минометов за кирпичной будкой, из-под насыпи. У них там новая батарейка. Ответить?

— Нет, пока не отвечать. Продолжать наблюдения, — приказал комбат, а командир полка, отдавая теплом дыхания мое ухо, сказал:

— На ночь выдвинете охранение на линию сорговых посадок. Хорошо следите за их балочкой в районе второй роты. Смотрите мне! — И Осипов вернулся к нашему с ним разговору. — Сегодня будет тихо. И слава богу, потому что меня вызывают в штаб к микрофону. Должен выступить.

— Как так выступить? — не сразу понял я Осипова. — Куда выступить?

— Переключка городов: Одесса и Ленинград. А потом буду говорить с семьей. Дочь и жена. Только не знаю, что им сказать. Что бы сказали вы на моем месте? Ваша семья где?

Я сказал Осипову, где моя семья. В это время моя семья была далеко — на Каме.

— А моя — на Волге, в Горьком, — продолжал Осипов. — Хороший город. Знаменитый. Но вы не представляете себе, как дочь скучает по Одессе! Как плакала-рыдала, когда эвакуировалась. Эх, впрочем, сколько народу плакало!.. И теперь все пишет: папа, когда мы будем дома? Папа, не отдавай нашу квартиру! — Полковник ухмыльнулся. — Квартиру!.. Мы город защищаем. Да какой город! Пока семья не уехала в эвакуацию, у нас с дочкой игра шла: что будет в Одессе после войны? Она говорит: «На улицах розы», а я должен возразить, придумать что-нибудь получше, например: «Не розы, а фруктовые деревья. Идешь, а мандаринка — стук! — прямо по голове, срывай и ешь». — «Ой, папочка, как хорошо! И мандаринки и абрикосы. Я больше люблю абрикосы. Ну хорошо, это на улицах. А что, папочка, на море, на Ланжероне? — И сама



себе отвечает: — А вот что. Все в лодочках под парусом. Парус поворачивает, лодка накренилась, за лодкой—волна, люди поют... Правильно?»— «Правильно, — отвечаю, — ты переиграла меня. Лучшего я не придумаю. Под парусом так под парусом». — «Нет, папочка, придумай дальше!» И я все-таки придумаваю. Например: «Все прохожие добрые, красивые, в трамвае не толкаются». Дочь смеется: «Правильно! И летом все в белом, юбочки, аккуратно выглаженные...»

Полковник, увлекшись, и сам смеялся. Сурово-загорелое лицо помолодело, глаза весело, живо заблестели.

Многих встречаешь во время войны, многое узнаешь. Но самое лучшее и незабываемое — те встречи, хотя бы и короткие, при которых вдруг приоткрывается сердце человеческое, объясняя все: и великое народное долготерпение, и страсти, казалось бы, бесстрастной души, и бесстрашие, казалось бы, робкого человека, и нечувствительность к убийству, и жадное чувство жизни, и страх, и скуку, и безотрадную жестокость настоящего, и мечты о будущем.

— Сколько вашей девочке? — спросил я.

— Девочке? Как — девочке? Она у меня уже студентка.

— Да вы говорите о ней, как о ребенке!

Осипов засмеялся.

— Она медик. Но она у меня хрупенькая, маленькая — и правда, что девочка. Котенок. Нина зовут ее. Ниночка. Как мать. А тут, — Осипов снова улыбнулся, — а тут есть еще одна Нина, и тезка ее и сверстница. Нина Анилова. Телефонистка-героиня. Не встречали? Вон там, в блиндажике. Наша в каждом письме спрашивает о ней, завидует. Контр-адмирал Жуков не разрешил нашей оставаться. Куда, говорит, такая щуплая, какая из нее санитарка? Пусть подрастет, тогда больше пригодится... Вот видите ту дальнюю посадку? — спросил полковник, возвращаясь вдруг от мечтаний к действительности. — На днях батальон Шестакова — вот этого самого, — Осипов кивнул в сторону комбата, — прижал фашистов к лиману за этой посадкой, уничтожил два эскадрона в пух и прах, остатки взял в плен. В атаку ходили все, даже телефонистки... Скоро опять устроим им кордебалет... У нас уже все обдумано. Не пить им из наших колодцев! У-у, мерзопакостники!..

Отведя душу, Осипов затих. Вздохнул лейтенант Шестаков. Осипов, поворачиваясь, прижал меня плечом.

— Ну, товарищ корреспондент, посмотрелись? Будем теперь пробираться. Опаздываю. Так и скажу дочурке: я живу хорошо, и вы живите — не тужите. Скоро будем дома... Минуточку!

Зачем-то Осипов всунулся в блиндаж. Старший лейтенант Шестаков заговорил вполголоса:

— Он не только будет выступать по радио из осажденной Одессы. Ему сегодня вручают орден Красного Знамени. Вызван членом Военного Совета. Но зачем все-таки он не бережет себя? Все ходит, ездит, прыгает... Птичка, что ли?

И вдруг — я не сразу сообразил, что случилось, — косясь на землянку, молодой офицер старательно продекламировал:

Пусть сыплют ядра надо мной,  
Пускай мы ранами покрыты,  
Но этот пост сторожевой,  
Мы не оставим без защиты.  
Стоим!.. И прах родной земли  
Мы обагрим своею кровью!  
К своим мы пушкам приросли, —  
Мы крепки к Родине любовью!..

— Знаете этот стих? Не знаете. Военком товарищ Митраков научил меня. Говорит, что это песня защитников Одессы в войну тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года — артиллеристов батареи штабс-капитана Щеголева. Почти сто лет тому назад. Слыхали? Нравится мне этот стих...

Шестаков замолк и замер, не сводя зачарованных глаз с куста. Я посмотрел туда же — и у меня мгновенно свело дыхание: на ветке сидела большая, в пол-ладони, бледно-бирюзовая, почти голубая бабочка с золотистой головкой. Она трепетно то сжимала, то разжимала прозрачные крылышки с непрозрачной золотистой полоской по краю, поводила усиками. Я узнал ее. Передо мной была бабочка «сенний лотос». Я дернулся, потянулся к чуду, но Шестаков успел схватить меня за плечо.

Бабочка судорожно повела крылышками и вспорхнула...

— Красивая, что и говорить, — сказал Шестаков. — Как яблоневый цвет. Лучше! Но вы... того... Что это вы?

Полковник выползал из землянки, поправляя на голове пилотку.

— Ну, пошли. Прижимайтесь, прижимайтесь хорошенько! Это не стыдно, — сказал он. — А эти колодцы запомните. Может, когда-нибудь опять будете здесь.

Я все еще думал о бабочке. И, может быть, только сейчас я постиг вполне, совершенно понял и красоту бабочки и чувства, влекущие к ней и мальчика и солдата.

— Чудно, ей-богу! — воскликнул Шестаков. — Такая бабочка — не забыть!

Старший лейтенант провожал нас вдоль по балочке к тому месту, где ждала нас замаскированная машина Осипова.

Начинало смеркаться. В сильно посиневшей дали моря вспыхивали зарницы. Кораблей уже было не разглядеть, и едва слышался гул далекой канонады.

Свободно озираясь, мы расправляли кости после незатейливого сидения в ямке — вблизи Трех колодцев, памятных мне с детства.

## 2. БЕРЕГ ВЫСАДКИ

С палубы долго был виден мрачный, синий и горбатый силуэт холма Мысхако (по-здешнему — Колдун) у входа в бухту. Корабли умышленно держали в сторону от него, не желая обнаружить свой истинный курс. Когда же по-вечернему посвежело и высокие, но все более тускнеющие берега совсем поглотились сумраком, а в неоглядном небе блеснула звезда, корабли повернули ко входу в бухту.

Бригадой морской пехоты командовал полковник, имя которого среди моряков было популярно со времени обороны Севастополя. За людьми его комплекции, этакими толстоногими крепышами, устанавливается репутация людей веселых, общительных, и, вероятно, поэтому сосредоточенная молчаливость полковника удивила военного корреспондента Баркова. Люди вокруг оказались все новые, незнакомые, а в командире десанта Барков видел как бы хозяина, задающего тон, и его неприветливость смущала. Заместитель комбрига по политической части, батальонный комиссар, казался Баркову человеком более доступным и симпатичным.

Уединенный разговор между полковником и батальонным комиссаром только что закончился, комбриг продолжал курить в углу каюты, прислушиваясь к гулу общего разговора и поглядывая из своего угла на ожесточенную игру в домино по-морскому. В игре принял участие и Барков.

Все за столом были одеты по-походному, готовые к высадке каждую минуту.

Игра иногда прерывалась — в каюту входили и, открывая дверь, автоматически выключали свет, причем казалось, что свет задувается ветром. Свежим ветром обносило всю каюту. Дверь снова захлопывалась. Снова становилось светло и шумно от голосов.

— Ну, что там? — спрашивал кто-нибудь из игроков. — Говорите, ничего... Так. Рублю концы.

Следовал звучный удар костяшкой, смешок и новая прибаутка:

— Видно, что академию козлогонов вы, товарищ корреспондент, не кончали... Ну, ну, что же вы?..

— Ах, я... Что же... Садиться на своего? Нет, нет, постараюсь не сплеховать. — Барков с нарочитой азартностью ударял по столу: игра его не увлекала.

— Товарищ полковник, — обратился Барков к комбригу, — может, сядете вместо меня?

— Нет уж, покорнейше благодарю.

— А ты что все думаешь? — сказал тогда полковнику батальонный комиссар, перенимая камни домино. — Давайте одну сгоняю... Думать уже не о чем, а если чего и не додумали, скоро узнаем на месте... А вы, — обратился батальонный комиссар к Баркову, — вы как предполагаете действовать?

Барков замаялся, не сразу найдя ответ. В самом деле, как он собирается действовать? Что делать ему после высадки на берег? Оказывается, он об этом еще как следует не подумал.

Растерявшись, он потянулся к кобуре. Кобура с пистолетом была на месте. Никогда еще за время войны Барков не прибежал к оружию, в десантной операции участвовал впервые.

Среди всех видов военных операций высадка морского десанта — едва ли не самая сложная и дерзкая. Это действие от начала и до конца проникнуто драматическим напряжением. В нем есть удаля, риск, оно полно мускульной силы, тревоги и обаяния мужественности.

В таком же духе чувствовал происходящее Барков. О человеке, ушедшем с десантом, он и сам думал примерно так же, как думают о смельчаке, который бросается в чужой горящий дом для спасения других.

И вот теперь он шел с десантом.

Видимо, успев подметить растерянность Баркова, батальонный комиссар сказал ему дружески через плечо:

— Вы держитесь поближе к полковнику и ко мне, не отставайте от нас, — и неторопливым испытанным жестом победителя приставил камни с обоих концов дорожки домино.

Барков поспешил на палубу.

К полночи вывездило. Отряд уже вошел в бухту. По берегам то там, то здесь вспыхивали беззвучные зарницы далеких пушечных выстрелов. Иногда, как бы раздумывая, лениво и невысоко поднимались ракеты.

На палубе только и было разговоров, что о Станичке.

Слово это — Станичка — приобрело особенное значение за последние два-три дня, после того как на ее берег высадился первый небольшой отряд десантников, выполняя часть плана общего штурма Новороссийска.

Бойцы немногочисленного десанта третьи сутки выдерживали неравную борьбу, защищая захваченный ими плацдарм.

Говорили: Станичка — и тогда за береговой крутизной представлялся невысокий берег и домики-мазанки, заволоченные пылью и дымом бомбежки, прижавшиеся к земле бойцы морской пехоты... Как они выдерживают такую борьбу третьи сутки? Это трудно поддавалось пониманию.

Бригада шла на помощь — успех высадки зависел от того, удержан плацдарм или нет.

После поворота в бухту волна шибко ударяла в борт корабля. Кто-то невдалеке от Баркова заботливо сказал:

— Не спите, друзья, скоро высадка.

Послышались голоса полковника и батальонного комиссара. Видимо, козла оставили недоигранным.

— Так ты считаешь, берег у рыбзавода свободен? — спросил комиссар.

— Посмотрим, — хмуро ответил полковник. — Сам говоришь, сейчас все увидим. Гляди! — вдруг вскрикнул он. — Это там, в районе рыбзавода. Гляди, гляди, — повторял он, и его голос звучал по-детски радостно, даже восхищенно, как будто он увидел не огни сражения, а блеск веселого праздника.

Слева по борту блестели мгновенные искорки выстрелов. По всему видно было, что в районе плацдарма шел бой, а это значило, что причалы у рыбзавода доступны.

На обоих берегах бухты вспыхнули сигнальные огни, и десантные корабли пошли по этим огням, как по створам.

Уже толпились, стуча башмаками, бойцы, назначенные для первого броска.

С полуюта, где боцманская команда заводила десантные трапы, слышался быстрый говор, с мостика — голос командира корабля.

В борт равномерно плюхала волна, и вдруг — сразу трудно было даже понять, в чем дело, — Барков увидел вокруг себя ярко освещенные лица: вражеский прожектор осветил корабль. Луч искрился и ослеплял. Белые лица у людей были внимательные, серьезные. Луч светил и светил, точно любуясь чужой пойманной жизнью. На сердце у Баркова усилилась тревога и нарастало чувство неловкости от неопределенности его положения среди бойцов.

У самого борта взметнулся столб водѣи и тяжело обрушился на палубу, охлестнув Баркова. Люди продолжали стоять на местах, щурясь от света, строгие, внимательные, и вдруг рядом что-то страшно треснуло, будто сорвали с петли дверь, — грянула носовая пушка.

Десантные корабли приближались к берегу самым тихим ходом. И гордое, и величавое было это движение кораблей. Катера сопровождения один за другим подходили к борту, снимая десантников, спешили к берегу и снова возвращались.

Прожектор потух; при белом свете ракет Барков видел очертания берега.

— Мыс Любви, — сказали рядом с Барковым.

— Мы туда? — спросил другой голос.

— Нет, мы, наверно, к котлованам рыбзавода...

Совсем близко был берег, о котором никто не мог думать без волнения.

Катера подходили к судам с левого борта, прикрывающего от огня противника. Полковник, командир бригады, батальонный комиссар и офицеры штаба спрыгнули на катер. Опять кто-то рядом сказал:

— Скорей бы до берега. Там прикрывает круча.

Барков успел спрыгнуть за комбригом.

Катер отвалил.

Вспыхивало, грохотало, свистело всюду.

После прыжка с палубы корабля на катер Барков чувствовал облегчение, и теперь он снова торопился прыгнуть за другими с узкого носа катера на берег.

Берег под ногами Баркова был скользкий. Небольшая волна взмывала, пенилась и уходила, за волною катилась по гальке пустая консервная банка и — наполовину в воде, наполовину на берегу — слегка

покачивалось большое тело в матросской тельняшке. Разгорелась ракета, бритая голова осветилась голубым светом. Набегающие волны шевелили раскинутые врозь руки, как будто сам моряк, чему-то удивляясь, разводил ими.

Барков оцепенел, а мимо него, не обращая внимания на прибитое морем тело, беглым шагом проходили взводы морских пехотинцев в касках, с автоматами на изготовку.

Когда Барков спохватился, никого из эшелона уже не было на берегу. Ушли полковник и батальонный комиссар.

Должно быть, близилось утро. Сырым было все: песок, глина, воротник ватника. Даже звездочка, еще мерцающая в туманно-светляющем небе, казалась мокрой: она тоже затягивалась туманом.

Куда идти? Где все те люди с корабля, с которыми он играл в домино и ел за одним столом?

У ног Баркова слабо плескала волна, вокруг было безлюдно, звездочку совсем затянуло. Опять что-то прогремело, звук был совсем домашний. Так гремит крышка большого чайника. Что же это? Откуда? Барков оглянулся — рядом стояла женщина, присматриваясь к нему, а у нее в руках раскачивался большой круглый чайник, из тех, с какими пассажиры торопливо бегут за кипятком по вокзальной платформе.

В тумане рассвета угадывалось, что женщина улыбается, постукивая о чайник крышкой; и она спросила:

— Вы, товарищ, наверно, с десанта?

— Эге! — удивленно-радостно отвечал Барков.

Пригнувшись, женщина с кем-то заговорила, и Барков рассмотрел ребенка, девочку, которая опять, забавляясь, ударила о чайник крышкой. Детский голосок твердил все одно и то же:

— А маленький плакал... А маленький там плакал...

— И маленький плакал, и маменька плакала, — согласилась женщина. — А мы, и маленькие и большие, мы плакать не будем. Мы достанем кипяточку... Думали достать на кораблях кипяточку! — Женщина опять обратилась к Баркову: — Думали достать кипяточку, а корабли уже ушли.

— Да, ушли, — сказал Барков. — Корабли ушли.

— Ну, ничего, наверно, будут опять, — примиренно сказала женщина.

— Еще должен быть второй эшелон, — подтвердил Барков. — Но вы откуда же?

— Тут недалеко, из котлована. Прежде там были ямы, солили рыбу, теперь там мы. Ждем эвакуации. Мы из Станички.

— Много вас? — спросил Барков.

— Много. А все больше старики и женщины с детьми. Мужья воюют. И женщина опять пригнулась к девочке.

— Пойдем, пойдем, доченька! Скоро и наш батька приедет.

Барков уже не видел ее, и только крышка чайника постукивала тише и тише. А у берега все каталась жестяная банка. Далеко где-то гремела канонада.

Обложенное черной морской травой, большое тело в полосатой тельняшке покачивалось в воде, шевелилось, как будто мертвому моряку стало зябко и беспокоино.

Барков отвернулся и быстро пошел вдогонку за женщиной, на затихающий стук — приятное, домашнее погромыхивание чайника.

С большой ясностью видел теперь Барков всю картину происходящего. Он последовательно представил себе пригородный поселок и его обитателей до того часа, когда морской десант вытеснил из поселка немцев, и потом поспешные сборы настрадавшихся людей для эвакуации на Большую землю.

Баркову рисовался табор беженцев, сбившихся в солильных ямах. Несомненно, там была не одна мать с ребенком; не только эта женщина ждала кораблей и с ними мужа. «Какая, однако, она спокойная и добрая!» Это наблюдение поразило Баркова больше всего.

И с такой же ясностью, с какой рисовалась ему толпа в ямах, он представил себе значение всего творимого сейчас в битве за освобождение Новороссийска. Спокойно и радостно стало Баркову от сознания, что он тоже одним из первых ступил на этот берег.

Он торопился догнать женщину, чтобы за нею пройти в котлованы: ему хотелось встретиться с людьми из Станички, людьми новыми, нуждающимися в ободрении.

### 3. ТАМБОВСКИЕ ЗЕМЛЯКИ

Две прошлые ночи из-за сильного наката на берегу Малой земли высадка не удалась, и караван возвращался обратно на Геленджикский рейд.

Скопилось много людей и военных грузов.

Суда каравана готовились отчалить в третий раз.

Третий раз мы с лейтенантом Крутением устраивались на судах каравана; сегодня нам удалось устроиться на спаренных мотоботах, транспортирующих танки.

Горячая машина, свирепо урча, взошла на помост, соединяющий мотоботы, вздрогнула и встала. Хобот пушки смотрел прямо по носу. Мотоботы-близнецы сразу заметно осели. Пушка, поворачиваясь, принялась строго рассматривать, что же делается вокруг.

Боец-азербайджанец с небритой седеющей бородой погнал ишаков. Он что-то мычал про себя, равнодушно взмахивал палкой; его, видимо, не удивляли ни ишаки, ни то, что вдруг он оказался у домашнего дела. Звонко стуча копытцами, животные шли легким шагом. Пушка следила за ними.

— Заводи боевых друзей, — с прямодушной ласковостью сказал один из бойцов. — Их там, как воздуха, ждут.

— Эх, конница... кавалерия Малой земли! — сказал другой.

Но старшина мотоботов заметил неодобрительно:

— Характеры! Непременно шумят — и где же? На самом траверзе Дооба...

— Наверно, знают, где замыкают их круг, — как бы в оправдание поведения ишаков, сказал еще кто-то. — Давай, давай их сюда.

И матросы, подхватывая животных под зад, весело вталкивали их в табунчик.

Сходни раскачивались. Старый и плешивый ишак, с симпатичным черным ободком вокруг глаз, поднял голову, подобрал верхнюю губу и засрал.

— Чего ты? Рано! — опять сказал кто-то.

Вокруг громыхнул смех. Загорелые, сильные, в крепких скрипучих ремнях, почти каждый с орденом, бойцы расселись, как привелось: на железных ящиках с боеприпасом, на бутылках с зажигательной смесью, под брюхом танка, разостлав шинель...

Солнце за морем приближалось к закату.

Мотоботы застучали моторами. Выравниваясь и выстраиваясь на ходу, как птицы на перелете, суда каравана выходили в море. Здесь цепочки мотоботов брались на буксир более крутыми кораблями.

Тихий полурыбачий-полукурортный горбодок, казалось отсюда, с рейда, еще хранит безмятежность прежних десятилетий. Но впечатление это было неверно.

На рейде, знали мы, плавают еще немало невыловленных мин. Время от времени они взрывались, наплывая на берег.

На крыльях пенистых бурунов промчались торпедные катера — наше охранение в море.

С покатою равнины аэродрома, подняв пыль, взлетели один за другим и проревели над нами «ИЛы» и «кобры» — охранение в воздухе.

В сиреновом свете заката, осенившем море, тяжело синел вдали длинный горбатый холм. Это и был холм Мысхако, по-здешнему — Колдун. За ним пролегла оранжевая полоса; холм стал четче, ближе и еще тяжелее.

Спокойное море с каждой минутой теряло цвета, темнело, а на потускневшем небе кое-где зарозовели перышки облаков.

Было несомненно, что на этот раз море не помешает нам — мы высадимся, если только не помешает что-нибудь другое.

Перед нами открылась сумрачная просторная бухта; ее высокие берега, уходящие к Новороссийску, смыкались уже где-то там, в незримой стороне, откуда шла ночь.

Было тихо; только под железной плоской грудью буксируемого суденышка текла вода; потом затих и этот неторопливый звук...

К берегу пошла своим ходом первая пара мотоботов, и вот теперь-то, покуда, отдав буксир, мы ждали очереди, мой спутник лейтенант Крутень разговорился.

Он сидел передо мной, стараясь не тревожить раненую и не вполне залеченную ногу. Уже совсем стемнело, но мне не нужно было видеть его, чтобы знать, как сейчас заходили скулы на его худом загорелом лице, забились жилочка у виска. С его внезапной нервной пылкостью за эти дни я свыкся. Но сейчас он заговорил особенно горячо.

Обе эти ночи, когда мы безрезультатно выходили в море для высадки на Малой земле, лейтенант говорил мне, что и на войне нельзя терять душевности, но при этом все как-то не договаривал, не досказывал своей мысли, а я подзадоривал его и возражал: о какой, дескать, душевности может идти речь на войне? «Душевность,—говорил я,—что это за слово? Даже само слово это непонятно, странно, будто из старины взято... В наши дни молодежь такого слова и не слышит. Очень странно,—говорил я, побуждая лейтенанта на полную откровенность,—очень странно, что вы, молодой человек, говорите о какой-то душевности. Что это — душевность?»

И вот, решив, должно быть, со мной рассчитаться, Крутень в третий раз заговорил об этом.

— ...Может, это не совсем обыкновенное слово,—говорил Крутень.—Верно, что оно странное слово — душевность. А вот что скажу вам окончательно. Доказчик-рассказчик из меня плохой. Фактов приводить я не умею. Но такого, как у нас на Малой земле, не найдешь нигде. Вы только слушайте. Я высаживался с первым эшелоном. Видел всё. А когда я был ранен, мой комбат Прядкин — теперь он начальник штаба бригады—подполз ко мне. «Что тебе надо, Крутень?» Что я мог ему сказать? Что мне тогда было нужно? Вокруг от бомбежки стоит такое, что и здоровый, не только раненый, не чувствует себя человеком. «Кому передать твоё оружие?» Я попросил передать оружие моему лучшему другу лейтенанту Горелову. «Передадим,—обещает Прядкин.—Что тебе еще надо? Возьми, друг, мои ватные штаны, у меня под ними другие». Дело в том, что я был ранен в ноги, хирург осмотрел меня здесь же, в канавке, и успел штаны на мне порезать. Вот почему комбат дает мне свои целые.

А вы знаете, какой он рослый человек — Прядкин? На что мне те штаны? «Ну, если не наденешь, то положи их себе под голову на носилки, будет мягче,— говорит Прядкин.— Возьми, Крутень, возьми, друг, сейчас больше нет ничего...» Лежит — и уже снимает с себя...

Крутень от этих воспоминаний расстроился, осекся; помолчал и, прежде чем вернуться к рассказу, покашлял.

— Но дело даже не в этом! — продолжал Крутень.— Важно, когда факт не сам по себе, а такой факт, что западает в душу... И вот судите: как я могу уйти от этих людей?! То, что бои идут без меня, высаживает из меня душу. А когда бригада вступит в Новороссийск, что я буду тогда делать? Тоска ела меня в госпитале, а теперь отказывают в назначении обратно в бригаду, хотят съесть совсем... Нет, Прядкин этого не допустит! Не может быть, чтобы он оставил это дело так, без внимания... Мы же сверх всего земляки, оба тамбовские. Тамбовщина — наша земля...

— И за этим вы на Малую землю? — спросил я.

— А как же, за этим... Что сделать с собой, если после всего бригада воюет без меня? Мне Прядкин так и сказал: «Поправляйся — ждем тебя, Крутень!»

Вот и весь разговор о душевности. За душевностью возвращался с незалеченной ногой тамбовский земляк лейтенант Крутень на огненный Мысхако.

Застучал мотор мотобота, мы тронулись к берегу, и тотчас же ишак, стоявший перед нами, зашелся безудержным диким криком, за ним еще один, за этими — на других мотоботах, и по всему рейду понесся тоскливый животный крик.

— Дурашка! Чего же это ты? — ласково сказал лейтенант Крутень, трогая ишака своим посошком.

Так, опираясь на посошок, он и прыгнул в воду, когда мотоботы-близнецы, подавая танк, с ходу вынеслись на прибрежную отмель.

---

#### 4. РОМАНС О МОТОБОТЕ

Историю дивизиона мотоботов рассказать нетрудно.

Жизнь этих суденышек, похожих на понтонную лодку и одновременно на железный ковш с отломанной ручкой, началась на Волге. Там строили мотоботы для речных десантных операций. Они участвовали в обороне Сталинграда. После трудной, но победоносной зимы, в феврале 1943 года, мотоботы прибыли с Волги на Черное море и тотчас же были направлены сюда, в Геленджикскую базу.

С тех пор как мотоботы вступили в дело, уже ничто не могло помешать еженощным суровым свиданиям моряков с берегом Малой земли.

Механик дивизиона Дмитриев показал мне свои лаконичные записки. Эту тетрадь он называет «Журналом боевых повреждений», хотя здесь можно прочесть не столько о повреждениях судов, сколько о самоотверженной работе людей.

Например, он пишет:

«Весенние штормы воротят на берегу изрядные горки. Вчера и сегодня волной выбросило на берег по мотоботу. Стаскиваем. В шлюпочке два человека — с их помощью заводим конец. Страшно смотреть, как подхватывает шлюпочку и несет вместе с галькой, а потом бросает на отмель. На передовой отдых по сравнению с этой работой. Днем не подойти — всегда ночью, а мотобот — раз он уже сел — сидит плотненько, стащить нелегко. Немецкие «фонари» развешаны — светло, как днем. Светло



и весело. Светло, хоть читай, а самолета не видно. Но уже свистит. Тут и там плюхаются бомбы. Накат заливают моторы, матросы прикрывают их собою или своими ватными фуфайками. Хрупкие фарфоровые свечи то и дело лопаются, а в шторм без мотора — верная гибель...»

Дальше:

«Носов снял оба мотобота. И суда и люди пришли в Геленджик, покрытые наледью, скользкие, как стекло. Пришли все, кроме Носова: на переходе его мотобот задавило волной...»

Среди мартовских записей есть такая:

«На «девятке» согнуло вал. Черт знает, что такое! Там, где их строили, наверно думали, что мы будем перевозить курортников, а не бойцов на Малую землю. А время не ждет, нужно выходить на операцию. Водолаза нет. Куниковец Царев обращается: «Товарищ механик, разрешите раздеться». Отвечаю мрачно: «Раздевайтесь». Закончил работу — весь синий, но хотя бы кашлянул. Куниковцы работают у нас вот уже несколько дней, их отвели на отдых».

Дальше уже в апреле:

«При выгрузке прямое попадание в «девятку». Разворотило левый борт, загорелись банки, поелы<sup>1</sup>. Там зажигательная смесь. Матросы со старшиной мотобота скинули шинели, давят ими пламя. В моториста Марченко всадило восемь осколков. Сгоряча парень продолжал работать. Но первым в этом деле опять-таки был куниковец Царев. Он уже старшина мотобота. Молодец! Ничего не скажешь — скоро вернет все, ай да Шурка-истребитель!»

Скажу от себя, что еще до того, как я прибыл в соединение мотоботов, доходили до меня рассказы о лихости некоего Шурки-истребителя, недавнего летчика, офицера истребительной авиации Александра Царева, сейчас штрафника. Эта его кличка Шурка-истребитель звучит сейчас как-то особенно дерзко, даже двусмысленно. Мне очень хотелось познакомиться с Царевым, заново зарабатывающим уважение товарищей и утерянное офицерское звание. О том, что он уже произведен в старшины, я не знал. Я еще не знал многого, когда, прибыв в дивизион, услышал от сигнальщика Швачко такие слова:

— Присмотритесь — привыкнете. А нас все это давно уже не смущает. Он стреляет по нас отовсюду, сверху приколачивает бомбами, но все равно счет в нашу пользу.

— Да как же это так? — неуверенно возражал я. — Ведь вам нечем отвечать. Какое оружие на мотоботах? Ручной пулеметик, и все.

Тут Швачко обиделся.

— Как же нам нечем отвечать? Присмотритесь! Бывают красивейшие моменты жизни! Сколько снарядов он успевает истратить на мотобот, пока причаливаем? Ну, двадцать, а мы дошли, вскочили на берег и сразу вываливаем тонны боезапаса. Есть тут в дивизионе один старшина. Вчера его бросило взрывом — только ноги мелькнули. И ничего — выплыл, влез опять в мотобот и кричит: «Разгружай, живее! Матросы, мы не романсы поем! Не будет снарядов — не будет славы Малой земле! Сегодня выбросить не меньше тридцати тонн!» И действительно, — деловито заключает Швачко, — они свой груз выгрузили и успели еще два раза к сейнерам подойти, сняли еще двадцать тонн, если не больше... Да вот он стоит — номер девятый.

— Опять «девятка»? — встрепенулся я. — Так на «девятке» же, кажется, Царев?

— Он и есть. А что вас удивляет?

— Да уж ничего не удивляет.

<sup>1</sup> Деревянный настил на днище.

— Он и есть,— деловито и торжественно подтверждает Швачко.— Именно он,— Шурка-истребитель.

— Так это его вчера трягнуло?

— Трягнуло. А он опять вылез и кричит: «Не может моряк делать дело наполовину. Подавай чопы, забивай чопы! Разгружай, матросы, дальше!» Понимаете, чем с грузом обратно, так уж лучше погибнуть тут же... Так вот и вникайте, в чью пользу счет. Раз матрос взялся за дело — на половине не оставит... Это вам не романы!..

Вот что, оказывается, случилось вчера с Александром Царевым, недавним летчиком, сейчас старшиной мотобота номер девять.

И вот — пожалуйста! Вот и сейчас вместе с сердитым механиком Дмитриевым и командой своего мотобота Царев недалеко от нас, у пирсов Геленджика, занимается ремонтом своего корабля — шестнадцать пробоин, все временно заткнуты чопами. Сегодня в ночь опять идти на Малую землю.

Сам Александр Царев, сильный, с большим кадыком и зычным голосом, заметнее всех, кто его окружает. Он действует, закатав рукава, надвинув на лоб старшинскую кашитанку; торопится заделать повреждения, историю которых запишет Дмитриев.

Царев, покрикивая, стругает и обрезает чопы острым и крепким ножом с ручкой, затейливо выложенной цветной пластмассой и костью. Подобные ножи завели у себя в отряде куниковские бойцы — несравненные мастера ночных рукопашных боев. Этим же ножом Царев и приколачивает чопы, помогая своим сигнальщикам и мотористам. Работа идет быстро и взволнованно, как будто в автомобильной гонке приключилась досадная задержка и гонщики меняют лопнувший по дороге скат.

Вечером, с чопами в борту, мотобот Царева снова отойдет к берегу Малой земли, не отставая от неударжимой стайки своих товарищей.

Ударит в скулу мотобота волна. Потянет свежим ветерком. Тревожно упадет на воду луч вражеского прожектора.

— Давай, давай! — прикрикнет Царев и повторит свою излюбленную прибаутку: — Не романы поем!

В большом музее Отечественной войны найдет себе место и мотобот.

Над плоскодонным судном — не то железная лодка, не то гигантский ковш, — над судном, вознесенным на помосте, как петровский ботик, как тачанка времен гражданской войны, возможно, будут написаны слова Александра Царева, вернувшего себе полностью добрую славу и честь в дни борьбы за Малую землю:

«Не было бы нас, не было бы славы Малой земли».



---

В. ФИРСОВ

★

## АВГУСТ

Жарко.  
Коршун парит в поднебесье  
Над бескрайними волнами ржи.  
И идет беспокойная песня,  
Без тропинки идет,  
Без межи.  
Задевает колосья литые,  
Бьется в мареве жаркой волной.  
А слова — бесконечно простые,  
А мотив — бесконечно родной...

Плавно коршун парит в поднебесье.  
И жара — словно солнце во ржи.  
Но идет беспокойная песня,  
Без тропинки идет,  
Без межи.



---

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

## ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

*Из зарубежных впечатлений \**

**М**ысли мои об искусстве были прерваны маленьким, сухоньким старичком, который подошел ко мне и вежливо поздоровался.

— Я позавчера присутствовал на вашей лекции в Палаццо Парте Гвельфе,— сказал он на ломаном французском языке.— Мне было очень интересно. И сейчас мне хочется поблагодарить и приветствовать вас и, если разрешите, показать достопримечательности нашего города. Это моя специальность. Денег я с вас не возьму.

Я был тронут и в то же время несколько раздосадован — мне вовсе не хотелось знакомиться сейчас с достопримечательностями города. Но отказать было неловко.

С профессиональной бойкостью, засыпая меня именами и годами, старик стал водить меня от статуи к статуе, отнюдь не избегая в своем рассказе пикантных подробностей, касающихся их авторов. Сразу стало скучно.

Обошли всю площадь. Старик ринулся было в открытые двери Палаццо Веккио, но я вовремя удержал его за локоть.

— А не выпить ли нам по стаканчику винца?

Старик даже не попытался сопротивляться.

— Только не здесь, только не здесь...— сразу как-то оживился он.— С нас здесь шкуру спустят. Я знаю где.

Он повлек меня куда-то, и через несколько минут мы оказались на площади у Сан-Лоренцо. За столиком, который мы заняли в узенькой, похожей на щель, траттории, зажатой между двумя лавчонками, торгующими сандалиями, сразу же появилось сначала два, потом четыре, а потом бог его знает сколько человек. Пришлось сдвинуть несколько столиков.

Старик не умолкал ни на секунду.

— Знакомьтесь. Это мой друг, замечательный русский писатель. Скритторе советико. Ты читал его книги? Нет? И тебе не стыдно? Обязательно прочти, обязательно. Ну разве так можно?

Старик, как потом выяснилось, не прочел ни одной строчки из наших писателей — ни старых, ни новых, но сейчас он говорил с такой убежденностью и азартом, что на первых порах я даже поверил. Поверили и устыдились своей неосведомленности и остальные — вытащили блокноты, и начались обмен адресами и запись русских книг, которые надо прочесть.

Почти сразу, как и везде в Италии, разговор с литературы перескочил на что-то другое. На что, я никак не мог уловить, так как ничего не понимал, а собеседники мои, с милой итальянской непосредственностью, увлекшись спором, совсем забыли обо мне. Только стакан мой не забы-

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

вали наполнять, и время от времени кто-нибудь хлопал меня по плечу и весело подмигивал:

— Каро! Каро руссо!

И опять мне было легко и весело. Я сидел, чуть хмельной, смотрел сквозь открытую дверь на ободранный фасад Сан-Лоренцо (у папы не хватало денег, и так эта церковь и стоит четыреста лет без фасада), и все как-то не верилось, что я сижу вот здесь, а если захочу, встану, пересечу залитую солнцем площадь и окажусь перед мраморной мадонной с младенцем, который, оседлав колено матери, повернулся и тянется к ее груди. Сон или не сон?

Все вдруг как-то хором встали и заторопились. Встал и я. Но это было еще не все. Собеседники мои, в основном владельцы крохотных лавчонок, которыми впритирку друг к другу окружена площадь Сан-Лоренцо, заявили, что у каждого из них я должен что-нибудь купить.

— Не бойтесь, они сделают скидку, — успокоил меня, заговорщицки подмигивая, мой старик. — Для русского обязательно...

Я мерил туфли, сандалии, пиджаки, брюки, плащи. Вокруг меня кипели страсти. Чьи-то руки натягивали, застегивали и обдергивали на мне пиджаки, потом срывали, бросали на прилавок, натягивали другие. Меня заставляли приседать, наклоняться, вытягивать руки, крутиться на одном месте, а они, мои новые друзья, толкаясь и ни на минуту не умолкая, отходили на несколько шагов, наклоняли головы, шурились, подносили к глазу кулак, как это делают, рассматривая картину, и с азартом плевались или хором кричали: «Манифико!» («Великолепно!»).

Ни одну из покупок, даже самых мелких, взять в руки мне не позволили.

Вечером я обнаружил их все аккуратно сложенными на кровати в моем номере.

Кончилось все тем, что мы опять хлопали друг друга по плечам и спинам и долго трясали друг другу руки. Слегка подвыпивший и возбужденный старик старался затянуть меня к себе домой — «совсем близко отсюда, три квартала, а какая внучка у меня...», — но, что поделаешь, моя «увольнительная» кончилась, пора было приступать к работе.

Все это происходило в страстную субботу, день, когда во Флоренцию съезжаются тысячи туристов, специально чтобы присутствовать на «Скоппио дель Карро» («Сожжение колесницы»), традиционном пасхальном празднестве.

Еще днем, проходя мимо Дуомо, купол и кампанилла которого господствуют над всем городом и запечатлены на тысячах открыток, мы видели, как снимают троллейбусные провода и воздвигают деревянные трибуны у входа в собор.

Вечером мы сидели на одной из них. Попасть туда оказалось делом нелегким. Все прилегающие к площади улицы на протяжении нескольких кварталов забиты были плотной, плечо к плечу, кричащей, веселящейся, мерно раскачивающейся толпой.

— Берегите карманы и часы, — шепнул мне Джорджо, один из наших флорентийских друзей, очень славный парень, русский по происхождению. — Сегодня во Флоренцию съехались все воруы Италии. А они свое дело знают.

Не менее получаса пробивались мы сквозь сплошную массу людей. Протиснулись, размахивая пригласительными билетами, сквозь два кордона полиции и один солдатский, взобрались на заполненную до предела трибуну и устроились в одном из последних рядов у подножия башни Джотто.

Перед нами была оцепленная солдатами площадь с черно-зелено-белым Баптистерием — гордостью Флоренции — посредине. «Мой милый Сан-Джованни», — прозвал эту крестильную церковь, древнейшую в городе, Данте. Тончайшие рельефы Пизано и Гиберти украшают ее бронзовые двери. Сейчас они были раскрыты, и перед центральным входом возвышалось какое-то странное сооружение, нечто среднее между повозкой и храмом, которое и было центром сегодняшнего праздника. От него внутрь собора тянулась по воздуху проволока, и по ней ровно в полночь должен был пролететь механический голубь, зажечь ракеты, вставленные со всех сторон в «карро», и вернуться обратно. Если голубиное путешествие пройдет благополучно, это — хорошее предзнаменование, если нет — жди каких-нибудь неприятностей.

Как выполнил свою миссию наш голубь, я так и не понял. Увидеть его нам не удалось. Мы только услышали крики: «Коломбо! Коломбо!» («Голубь! Голубы!») — и увидели, как застреляла во все стороны нелепая «карро». Стреляла она недолго и довольно вяло, а потом вдруг вспыхнула. Стоявшие вокруг пожарные бросились тушить. Толпа была в восторге. Тщетно пытались солдаты, взявшись за руки, удержать ее — она прорвалась, захлестнула площадь и с чисто итальянской экспансивностью стала помогать пожарным тушить пылающую «карро» под мощный гул пасхальных колоколов.

Напрасно пытался я узнать потом, насколько удачно справился голубь со своей задачей и что нас ждет — счастье или горе, никого это уже не интересовало. «Скоппио дель Карро», весь этот, в общем, довольно бедный фейерверк, был просто предлогом, чтобы собраться на площади, потолкаться, пошутить, завести новые знакомства. Религиозного в этом не было ничего. И это напомнило мне русскую заутреню, где тоже в толпе много молодежи, пришедшей просто так — развлечься и повеселиться в теплую апрельскую ночь.

Впрочем, не надо преуменьшать. Веселье весельем — итальянцы народ веселый, — но религия религией. В Италии церковь еще очень сильна не только на сельскохозяйственном юге, но и на промышленном севере. Крохотное государство Ватикан, занимающее площадь в сорок четыре гектара и охраняемое двумя сотнями крепких молодцов, одетых в шлемы и панцири времен Юлия II, во много раз сильнее и влиятельнее иного государства, вооруженного пушками и танками. Небольшие мраморные и бронзовые таблички у роскошных подъездов с надписью «Банко ди Санто-Спирито» («Банк святого духа»), которые мы видели во всех городах, говорят об этом с достаточной убедительностью. Газеты, журналы, радио, кино (папа понял всю силу их воздействия) — все брошено на то, чтобы удержать свою власть в мире, далеко не таком покорном, как когда-то. Содействует этому и партия крупного капитала — христианско-демократическая, которая и сейчас осталась у власти.

На улицах итальянских городов, особенно Рима, поражает обилие служителей церкви. Особенно монахов. В черных, коричневых, белых сутанах, подпоясанные широкими поясами или простой веревкой, в ботинках или сандалиях на босу ногу, молодые и старые, толстые и поджарые — все эти францисканцы, доминиканцы, иезуиты, паулины, бенедиктинцы, картезианцы, бернардинцы, кармелиты, цистерцианцы, камальдулы, марианы, премонстранты, госпитальеры св. Антония и св. Иоанна, августинские братья, минимы, капуцины, реколлекты (а всего в Италии свыше восьмидесяти орденов), все эти монахи всех цветов кожи (я видел среди них много негров, китайцев и японцев) — заполняют улицы, трамваи, автобусы, правят машинами, несутся стремглав на мотороллерах. Особенно забавно, когда на таком мотороллере восседает монашенка. В громадном, похожем на парус, накрахмаленном головном уборе,

она лихо обгоняет мужчин и так же лихо тормозит на перекрестках, упершись ногами в землю. В здоровом теле здоровый дух — так, что ли?

Кстати, о спорте. Он тоже взят папой на вооружение.

Как-то, улучив свободную минуту, мы отправились посмотреть Foro Olimpico, в прошлом Foro Муссолини, грандиозный спортивный комплекс, сооруженный для предполагавшейся в Риме, но не состоявшейся из-за войны олимпиады. О нем еще будет речь впереди, сейчас же — не о нем, а о некоем молодом пловце. Мы невольно залюбовались им, глядя, как он четко и красиво прыгал с вышки в воду. Ласточкой, сальто, со стойки на руках, стройный, хорошо сложенный, мускулистый, он врезался в воду бассейна, почти не подымая брызг. Один раз мы даже зааплодировали, и он, вылезая из бассейна, улыбнулся и, слегка смутившись, поклонился нам.

Потом мы зашли в ресторанчик перекусить. Через несколько минут быстрым, легким шагом зашел в ресторан и наш прыгун. На нем была светлая коротенькая замшевая курточка, в руках спортивный чемоданчик. Не знаю почему — может, потому, что мы ему похлопали, — он подсел к нам, заказал ризотту. У него было очень приятное, открытое, интеллигентное лицо с высоким лбом, живыми глазами и тонкими ироническими губами. Он прекрасно, почти без всякого акцента, говорил по-французски, что итальянцам далеко не всегда дается. Вообще впечатление производил он очень приятное — вежливый, сдержанный, внимательный. Каково же было мое удивление, когда из дальнейшего разговора выяснилось, что он принадлежит к ордену иезуитов.

Я не верил своим глазам. Вот этот вот молодой, здоровый, красивый парень — иезуит? Я задал несколько вопросов, но он, очевидно узнав, что я русский (так, во всяком случае, мне кажется), от ответа уклонился.

— У нас настолько различное с вами мировоззрение, — мягко улыбаясь, сказал он, — что за те пятнадцать — двадцать минут, которые мы проведем вместе за этим столиком, вряд ли нам удастся до чего-нибудь договориться. Давайте лучше поговорим о спорте.

Оказалось, что, кроме плавания и прыжков в воду, он занимается еще гроблей, гимнастикой, а зимой лыжным спортом. Собирался выступать даже в Кортино д'Ампеццо, но не добился нужных результатов. Незаметно я перевел разговор на литературу, не сообщив ему, правда, своей профессии, и был поражен, узнав, что он неплохо знает Толстого, Тургенева. Достоевского — то, что было переведено на итальянский язык; читал Блока, много слышал о Есенине, но, к сожалению, мало его знает. Из советской прозы читал Эренбурга (на французском языке, старые его вещи), первые две части «Тихого Дона», который ему не очень понравился («Дело, очевидно, в переводе», — деликатно сказал он), и «Волоколамское шоссе» Бека.

Вопросов он почти не задавал, спрашивал преимущественно я. Но перед тем, как расстаться, он все-таки спросил меня, правда ли, что где-то под Москвой есть монастырь и духовная семинария. Я сказал, что правда, и не только под Москвой, но, например, и в Киеве есть монастырь, даже, кажется, два — мужской и женский, — и духовная семинария.

— Очень интересно, — сказал он, вставая и протягивая мне руку. — Если у вас будет свободное время и желание, я к вашим услугам. Вот мой телефон. Был бы рад с вами поговорить не только на спортивные и литературные темы. Думаю, что они нашлись бы...

Мы пожали друг другу руки — ладонь у него была жесткая, мозолистая, очевидно от весел и турника, — и, взяв свой чемоданчик, он тем же быстрым, спортивным шагом направился к двери.

Это был первый и пока последний иезуит, с которым мне пришлось разговаривать.

Так вот они, оказывается, какие, члены этого важнейшего и страшнейшего католического ордена, учрежденного более четырех столетий тому назад Игнатием Лойолой, призвавшим их на борьбу против «адских чудовищ и порождений сатаны», на служение богу, на свершение подвигов, «ad maiorem Dei gloriam» («к вящей славе божьей»). Вот, значит, они какие, члены «общества Иисуса», воля, сила и совесть которых переданы в руки их генерала, «черного папы», на которого они должны смотреть, «как на самого Христа, должны повиноваться ему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях, как палка, которая повинуется всякому движению, как шар из воска, который можно видоизменять, растягивать во всех направлениях».

Четыреста двадцать четыре года существует этот орден, возведший в добродетель взаимный шпионаж, лицемерие, подозрительность, ханжество, подобострастие к старшим, разрешающий своим членам все — донос, клятвopеступление, лжесвидетельство, — все, вплоть до «смертного греха», если прикажет старший.

Иезуит отрекается от всего — от своих родителей, от собственных мыслей, желаний, воли, отрекается от имущества, отрекается от родины. Беспрекословное подчинение начальству. Ни одного письма без его разрешения. Ни одного сочинения без иезуитской цензуры. Все помыслы и искушения должны быть раскрыты перед духовником. Обо всем подмеченном у собрата по ордену немедленно докладывать начальству. Во всем суровое обезличение. Все индивидуальные стремления и силы подчинены интересам целого. Цель оправдывает средства.

Так гласят правила ордена, которые не помешали, а может, именно и помогли ему сосредоточить в своих руках несметные богатства и основать во всех странах банкирские конторы и торговые дома.

Четыреста двадцать четыре года существует этот орден, миссионеры которого проникли во все страны света. Его поддерживали и возвеличивали папы, потом запрещали и разгоняли, снова разрешали, опять поддерживали. Сотни учебных коллегий во всех странах развращали молодые головы и сердца юношей, развивая в них честолюбие и тщеславие, убивая товарищескую солидарность взаимными доносами и слежкой, превращая их в жестокое, немое орудие. И все это сохранилось до сих пор. Около двадцати восьми тысяч иезуитов рассеяно сейчас по всем концам света. В Европе, Азии, Африке — всюду расставлены их сети лжи, обмана и лютой ненависти ко всему передовому, прогрессивному, свободомыслящему. Трудно поверить, но это так...

Я глядел из окна ресторана на быстро удаляющуюся высокую и такую ладную фигуру только что сидевшего здесь пловца и задавал себе вопрос: неужели и он, этот двадцатитрехлетний, так мило улыбавшийся молодой человек в замшевой курточке, а вовсе не в черной сутане (потом я узнал, что иезуитам разрешается ходить в любом одеянии и даже, если хотят, не посещать богослужения), неужели и он труп, палка, восковой шар? Страшно подумать. А если да, то что его толкнуло на это? И много ли таких, как он? Откуда они берутся? И кто он сам? К какой из степеней ордена относится? Выжидающих (*indifferentes*), испытываемых (*novitii*) или уже схоластиков, давших обет бедности, целомудрия и послушания? Кoadьютором он еще не может быть, ему нет тридцати лет, тем более профессором — тем, кто достиг высшей степени посвящения и дал, кроме обычных трех монашеских обетов, еще и четвертый — особого повиновения папе.

У меня был его телефон. Я мог ему позвонить. И тогда, возможно, я многое узнал бы. А если и не многое, то хотя бы кое-что. Но я не позвонил — на следующий день я уехал в Неаполь.



Неаполь, Помпея, Капри... Это была уже увеселительная поездка. В награду, так сказать, за труды.

Поехали мы туда вместе с Юрием Крайским. Познакомились мы с ним за день до этого в римском отделении общества «Италия — СССР». Высокий, сутуловатый, в очках, спокойный и уравновешенный, он мне сразу очень понравился. Русский по происхождению, он попал в Италию еще ребенком, потом объездил полсвета, жил некоторое время в Бразилии, затем вернулся назад, в Италию. Член Итальянской компартии и общества «Италия—СССР», журналист, пишет по вопросам театра, кино. Когда ему предложили поддержать мне компанию для поездки в Неаполь (академик и переводчик уехали в Советский Союз, я остался один), он охотно согласился. И я был очень рад его обществу, нам не скучно было друг с другом.

Выехали мы после полудня. За час сорок пять минут, покрыв без остановок расстояние в двести двадцать километров, пятивагонный электропоезд «рапидо» доставил нас в Неаполь. Поезда в Италии ходят быстро и хорошо. Для меня даже слишком быстро. Почти всю дорогу я метался от окна к окну, пытаюсь сфотографировать живописно громоздившиеся по уступам скал городишки и селения, но ничего путного из этого не получилось. На обратном пути я уже и не пытался.

В три мы были в Неаполе. Кто не мечтал побывать в этом городе песен, синего моря и жаркого солнца, городе рыбаков, торгующих на набережной «фрутти ди маре» — плодами моря: всевозможными креветками, каракатицами и прочей морской живностью, городе знаменитого «дольче фарниенте» («блаженного ничегонеделания»), — уже давно, к сожалению, не блаженного: в Италии сейчас более двух миллионов безработных, — в городе шумном, веселом, крикливом, удивительно грязном и неправдоподобно красивом? В нем бы ножить, погулять, потолкаться по рынкам, познакомиться с героями фильмов Эдуардо де Филиппо. Но в нашем распоряжении два дня, всего лишь два дня. А тут еще Помпея, Капри... О Сорренто и не мечтай.

Первый день, вернее полдня, мы просто бродили по городу. Прошли сначала по центру, потом попали на грязные, пыльные окраины, после которых пришлось немедленно прибегнуть к услугам чистильщика башмаков. Занятие это мне очень понравилось — сидишь на величественном золоченом троне с львиноголовыми подлокотниками и слушаешь неаполитанского «айсора» — очередную историю о делах местного синдика, фашиствующего градоначальника Лауро, или захватывающий рассказ о таинственном убийстве на Виа Карачиоло. Потом, усевшись в маленький дребезжащий трамвайчик, мы поехали на эту самую Виа Карачиоло. Широкая, с тенистым бульваром, залитая огнями, она плавно изгибается вдоль залива. За нею Ривьера ди Чиана — бесчисленные отели, один роскошнее и дороже другого, мигающие рекламы (в Риме это запрещено, как у нас гудки, чтобы не раздражать), залитые светом витрины, вереницы лимузинов, молча застывших у мраморных подъездов. Все это производит сильное впечатление. Богатство, роскошь, красота... От витрин оторваться невозможно. Сделаны они с таким вкусом и умением, что просто обидно за художников, которые этим занимаются.

Витрины не загромождены товаром, но вещи на них разложены и преподнесены так, что тут же, немедленно, хочется войти и купить. Остнавливают обычно только маленькие этикетки, прикрепленные к этим вещам: на них столько нулей, что ноги сами несут тебя от этой витрины.

Реклама. Броская, лаконичная, остроумная, запоминающаяся. На дорогах, на крышах, на стенах. Покрышки Пирелли, кондитерские изделия Мотто, Чинзано (настойки, ликеры), пишущие машинки Olivetti, и везде, от предгорий Альп до скалистых берегов крохотной Пантелле-

рии: «Шелл! Шелл!» — ярко-желтый призыв заправить машину американским бензином. И все это кричит, мигает, требует себя запомнить и — запоминается. Надоедает, раздражает, но запоминается. И в этом есть логика. Конкуренция. Покупайте у Мотто, а не у такого-то, покупайте у Пирелли, а не там-то... Ясно и просто.

Но бог с ней, с рекламой. Это не самое интересное, не самое характерное для Италии.

Когда я вернулся домой, не было человека, который не спросил бы меня: «Ну как там, в Италии, поют?» И я вынужден был отвечать: «Нет, не слышал».

Да, как это ни странно, но Италия не поет. Даже Неаполь — город, родивший неаполитанскую песенку. Не знаю, может, мне просто не повезло, но я не слышал песен. Впрочем, вру. Один раз слышал. Даже два раза, и оба в Неаполе. Но от песен этих мне стало только грустно.

Мы возвращались — я, Крайский и Паоло Риччи, художник, о котором я уже говорил, — поздно вечером после длительного блуждания по тупичкам и закоулкам «Куорпо е'Наполи». Усталые и голодные, вышли на какую-то площадь. На противоположной ее стороне виднелась толпа. Доносились звуки гитары.

— О! Это интересно, — оживился Риччи. — Это теперь не часто увидишь.

Мы подошли. В небольшом кругу людей стояли трое. Невеселые, бледные, потрепанные. Один, высокий, в черном свитере, пел, держа перед собой микрофон. Другой играл на гитаре. Третий сидел на ящике и курил. Зрители молча, не улыбаясь, слушали.

Пел человек в свитере неплохо, скорее говорил под музыку, хриплым, но приятным голосом. Когда он кончил, раздалось жидкие хлопки. Певец непринужденно раскланялся и, взяв кружку, пошел по кругу. Зрители бросали в нее монеты вяло и неохотно. Тогда с натужно-бодрым видом, потряхивая кружкой, он сказал:

— Если соберем еще столько же, Пьетро нам станцует. Правда, Пьетро? А он умеет это делать, поверьте мне.

И опять пошел по кругу. В кружку упало еще несколько монет. Их было совсем мало, но Пьетро встал — невысокий, рыхлый, очень бледный — и, так же не улыбаясь, как и зрители, затанцевал. Это был странный, очень пластичный и неприятный танец. Пьетро изображал женщину — вилял бедрами, изгибался, делал волнообразные движения руками. И от всего этого — от молчаливой публики, от микрофона в руках певца, от его песни и от женоподобного рыхлого танцора — стало как-то тяжело и грустно.

А потом, когда мы зашли в кафе, нас услаждал там пением — и тоже под гитару — еще один певец. У этого не было ни голоса, ни слуха, и, хотя он пытался петь бодрые и веселые песенки, нам стало еще тоскливее. А может быть, мы просто устали...

Но не все неаполитанцы такие. Утром того же дня нам встретился настоящий неаполитанец, такой, какими мы себе их и представляем. Звали его очень звучно — Данте-Буонаротто. Он подошел к нам, когда мы, спугнутые толпами нахлынувших туристов, распрощались с Помпеей и шли к вокзалу. Спортивного вида, лет двадцати с небольшим, очень смуглый, в накинутом на плечи пиджаке, в расстегнутой рубашке и с маленьким золотым крестиком, поблескивающим на крепкой загорелой шее, он с очаровательной бесцеремонностью взял меня за локоть, отвел в сторону и из-под полы пиджака показал какой-то альбомчик-гармошку.

— Две тысячи лир...

В альбомчике оказались фотографии помпейских фресок, которые обычно не входят в путеводители.

За пять минут, которые мы шли к вокзалу, цена сбавилась до семисот, потом до пятисот лир.

— Подумайте, вы нигде этого не достанете, — с обезоруживающей убедительностью говорил он, не выпуская мой локоть, — ни в Риме, ни в Париже, ни в Нью-Йорке. Только здесь. И всего за пятьсот лир. А что такое пятьсот лир? Даже пообедать прилично нельзя...

Когда дело дошло до трехсот лир, мы сдались. Но не сдался он. Из кармана его появился крохотный брелок для часов, в высшей степени непристойный.

— Две тысячи лир...

Брелок был очень изящен, ничего не скажешь, непонятно было только, что с ним делать, — не носить же. Мы наотрез отказались. Данте вздохнул, сплюнул, сунул брелок в карман и тут же спросил:

— Вы в Неаполь?

— Да.

— Торопитесь?

— Торопимся.

— Тогда я вас отвезу. Поезд будет только через сорок минут. Вон моя машина.

В трех шагах от нас стоял «фиат». Его «фиат». Он его купил месяц тому назад. Машина подержанная, но, в общем, приличная. На одних альбомчиках и брелоках не проживешь. Приходится соперничать с поездом. За пять-шесть туристских месяцев можно подработать на зиму. А с альбомчиками дело дрянь. Туристы, правда, охотно их покупают, но за это преследуют. Недавно шестерых арестовали. Он сам чудом уцелел, выкрутился. Судили. Долго судили. Адвокат был хороший. Очень убедительно доказывал, что за торговлю фотографиями произведений искусства (а это же настоящее искусство, а не порнографические открытки) судить нельзя. И все-таки засудили. По шесть лет дали. Очень уж там, на суде, кипятился и возмущался один поп. Потом сам сел. За растление малолетних. Такие-то дела...

Он лихо вел машину, одной рукой придерживая руль, другой отчаянно жестикулируя, ни на секунду не умолкал, время от времени весело переругивался с шоферами обгоняемых им машин. Держался он просто, естественно, ничуть не заискивая и не подлаживаясь, с достоинством человека, честно зарабатывающего себе на хлеб. Узнав, что я русский, он стрельнул в меня веселым взглядом, хлопнул по плечу, сказал по-русски «привет!» и опять заговорил о своем: о машине, бензине, туристах — презрения к которым, несмотря на наше присутствие, нисколько не скрывал, — о зароботке, семье, дороговизне.

У станции канатной дороги, ведущей на Везувий, притормозил.

— Подыметесь?

— Времени нет.

— Нет так нет. Заедем тогда в музей.

Сказано это было с такой определенностью, что мы даже не пытались сопротивляться.

Музей оказался при фабрике, изготавливающей сувениры — очень милые маленькие копии помпейских и римских статуэток, камей, гемм, всякой старинной утвари. Тут же, на твоих глазах, они делаются и тут же продаются. Мы походили-походили, ничего не купили и вернулись в машину. Проходя мимо какой-то женщины у входа, наш Данте построил кислую физиономию и развел руками. Потом мы узнали, что он получает проценты с каждой вещи, проданной пассажирам, которых он привез.

— Ну что ж, на сотню лир меньше, не пропаду! — Он беспечно махнул рукой и погнался машину дальше.

Расстались мы друзьями.

— Приезжайте еще, — сказал он на прощание. — Я покажу вам такие места в Неаполе, в которых никто не бывает, даже ваш хваленый художник не был. О, я знаю Неаполь! И Сорренто, и Капри... И не на катере мы туда поедem, а под парусом. С Джованнинно поедem, не пожалеете. — Он протянул свою широкую ладонь с тоненькой золотой цепочкой на запястье: неаполитанцы любят украшения. — Жаль, поздно я к вам подошел. В Помпее есть такие местечки... Э-э...

Он махнул перед лицом рукой и побежал к машине.

Недавно, в четвертый или пятый раз, я смотрел один из обаятельнейших итальянских фильмов (кстати, в Италии многие критики со мной не согласятся, считая его сентиментальным): «Два гроша надежды». И опять увидел этот жест, услышал это «э-э...», знаменитое неаполитанское «э-э...» — философически-скептическое междометие, в зависимости от интонации обозначающее все на свете. И сразу же вспомнился наш предприимчивый продавец альбомчиков, наш неунывающий Данте-Буонаротто. Он чем-то даже похож на героя картины: такой же крупный, такой же у него притаившийся смех в глазах, такая же походка — быстрым шагом, размахивая руками, — такой же крестик на шее. Когда я спросил его, верит ли он в бога, — «э-э...» ответил он и махнул рукой. Я понял, что это значило: «Ну что вы меня спрашиваете? Разве я об этом думаю? И что изменится от того, есть бог или нет? Важно, чтоб тут было, в кармане... А крестик? Пусть висит, он не мешает. Может, бог все-таки есть...»

Э-э...

---

Я не знаю, что подразумевал наш Данте, загадочно намекая на какие-то местечки в Помпее, но, при всей моей симпатии к нему, я не очень огорчен, что его с нами не было.

Поехали мы туда первым поездом, чтобы избежать туристов. Помпея требует пустоты, безлюдья. На улицах ее не хочется разговаривать, не хочется слышать человеческую речь. Как нигде в другом месте, здесь хочется молчать.

Длинные прямые улицы. По сторонам — полуразвалившиеся стены. Мостовая из крупных камней, остатки лавы. Еще видны колеи от колес, следы подков. Пробивается молоденькая травка. Кипарисы, дикий виноград. А вверху утреннее, но уже жаркое небо и Везувий, молчаливый, притаившийся и такой мирный-мирный — два года как он не дымит.

В руках у нас путеводители, но мы не заглядываем в них. Сейчас не хочется знать никаких деталей, никаких названий, дат. Мы знаем только, что две тысячи лет назад здесь была жизнь. Вот здесь вот, в этом замкнутом дворике с изящной колоннадой, именуемом перистилем, сидел какой-нибудь патриций, возможно даже и сам Цицерон (здесь есть и его вилла), и рабы подносили ему вино со льдом, а в этой вот комнате, стены которой украшены фресками, изображающими сатиров и силенов, шел пир горой, а где-то там, на арене амфитеатра, сражались гладиаторы. И вдруг всего этого не стало. Потоки лавы, пепел, смерть.

Трагедия, длившаяся около полутора суток, похоронила не менее двух тысяч человек. Но только благодаря ей, благодаря семиметровому слою пепла, полтора тысячелетия скрывавшему от глаз результаты этой трагедии, мы знаем теперь, как жили когда-то патриции, рабы, гладиаторы, ремесленники, лавочники, воины. Именно, как жили. В каких домах, на каких улицах, из какой посуды ели и пили, как выпекали хлеб, выжимали оливки и виноград. Помпея, Геркуланум и Стабия — только эти три города могут рассказать нам во всех подробностях о жизни, привычках, обычаях тех, кто жил за девятнадцать столетий до нас. Мгновенная смерть сохранила их для истории.

Маленькая девочка, лет десяти, тоненькая, хрупкая, в светленьком платьице, с глиняным кувшином в руках, деловито пересекла дворик и скрылась в атриуме. И почти сразу же вернулась. Послила цветы, какие-то очень нежные розовые цветы вокруг пустого сейчас бассейна, что-то поправила, подстригла ножницами и так же деловито, даже не взглянув на нас, ушла.

На какое-то мгновение нам, ей-богу же, показалось, что на ногах у нас ременные сандалии и сами мы завернуты в тоги, а голоса, доносящиеся откуда-то снаружи, — это голоса носильщиков, которые доставили нас сюда.

Нет, то были не носильщики. То были туристы. Прибыла первая партия автобусов.

Апрель — это еще не туристский сезон. Начинается он позже, в мае. Разгар — июнь, июль, август. Это — время американцев. Сейчас же, в апреле, больше всего почему-то немцев из Федеративной Республики Германии. Есть и французы и англичане, но больше всего немцев.

Не знаю, что происходит здесь летом, но сейчас, при виде этого потока людей, нам сразу же, немедленно, захотелось бежать из Помпей. Точно плотина прорвалась. С обязательными фотоаппаратами, все как один в громадных черных очках, лишаящих лица какого-либо выражения, шумные, крикливые, вездесущие, они как-то сразу заполонили весь дворик, все его закоулки. И тут же начали сниматься — по двое, по трое, группами.

Мы обратились в бегство. Мы не заходили уже ни в Форум, ни в театры, ни в цирк — мы бежали. Помпея кончилась, начался музей.

Я не буду подробно рассказывать о нашей поездке на Капри. Мы пробыли там всего несколько часов. Сели на таратайку того самого Винченце Вердолива, чья жена приняла меня за еттаторе, и не торопясь, трусцой, объехали весь остров.

Этот островок — один из самых фешенебельных теперь уголков отдыха на земном шаре. Он похож на Крым. Такие же, как в каком-нибудь Гурзуфе, крутые, взбирающиеся в гору улочки, и сложенные из рваного камня стены, увитые глицинией, и кипарисы, и кокетливо белеющие среди густой и сухой зеленой зелени виллы и дачи. И такое же солнце, такое же синее-синее, сливающееся с небом море.

Когда мы торговались с Винченце на шумной набережной Марино-Гранде, «главного порта» острова, он, чтобы отбить нас от других извозчиков, соблазнял нас бесчисленным количеством чудеснейших мест, которые он нам покажет, и всего за каких-нибудь полтора-два часа.

— Все увидите. И Капри, и Анакапри, и Лазурный грот, и дачу Горького, все...

Последнее нас особенно тронуло (ведь он не знал, что мы русские), поэтому, отвергнув все другие предложения, мы взгромоздились на его таратайку.

Ни в Лазурный грот, ни на дачу Горького (она, оказывается, заколочена, в ней никто не живет) мы так и не попали. Зато мы видели ссору двух каприянок (так, что ли, они называются?), которые, вцепившись одна другой в волосы, лупили друг друга снятыми с ноги туфлями; видели и деревенскую свадьбу, где невесту осыпали пригоршнями конфет, но, главное, мы познакомились с Винченце.

Подхлестывая больше по привычке, чем по надобности, кнутом свою жалкую, лениво перебирающую ногами кобыленку, время от времени поворачиваясь в нашу сторону, он неторопливо — так же, как мы ехали, — рассказывал нам о жите-бытье.

— Вот так вот и езжу. Вверх и вниз, с горы да на гору. И так всю жизнь. Впереди хвост, сзади пассажир. А иногда один только хвост, а сзади никого... Было нас когда-то много, а теперь семь человек осталось. Автобусы... А что за интерес на автобусе? Что увидишь? Вот мы с вами едем, а захотим — остановимся, выйдем, посидим, посмотрим на море, вы что-нибудь снимаете. А там? Три минуты — и Капри, еще три минуты — Анакапри. Завалятся в ресторан и пьют. «Ах, как красиво, ах, как красиво!», а из ресторана ни на шаг. Выскочат на минутку, купят сувениры — и назад. Тьфу!..

Видно, автобусы крепко насолили нашему Винченце. К тому же и «овес подорожал» — вечная жалоба всех извозчиков мира.

— А Горького вы возили когда-нибудь, синьор Винченце?

— А как же! Очень часто. И его, и жену его — красивая такая была, артистка, кажется, — и сыпишку. Всех возил.

— А Ленина не возили? Он тоже тут жил.

— И Ленина возил, — без запинки ответил Винченце.

И то и другое было, конечно, чистойшей фантазией — вряд ли он занимался своим ремеслом раньше десятилетнего возраста. Мы с Крайским только перемигнулись: старику просто хотелось доставить нам удовольствие, а заодно и повесить себе цену в наших глазах.

— Тут вообще много русских было. И школа у них здесь партийная была. Вон там вот, видите, среди зелени? Там теперь ресторан. Вообще хороший народ, не скупой...

Мы поняли намек и, прощаясь со стариком, постарались поддержать в нем его мнение о натуре русского человека.

Поговорив о русских, Винченце опять вернулся к своей излюбленной теме: и гудят эти чертовы автобусы непрестанно, и разъехаться с ними на улицах невозможно, и воняют немилосердно.

— Ну что это за воздух? Разве такой раньше был? Как вино был — пьешь и не пьянеешь. А теперь? Вон прется сатана, кур только давит...

Громадный, желтый, тупорылый автобус, подымая тучи пыли, пронесся мимо нас, и старик долгие после этого отплевывался, вытирал шею и лицо платком, потом показал нам его — совсем черный, как будто в этом виноват был только автобус.

Вообще старик всю дорогу ворчал и чем-то возмущался. После автобусов — ресторанами, туристами, своим хозяином, падением нравов, погодой. И все вдруг переменялось, когда мы сказали, что хотели бы посетить его дом и приветствовать его семью.

Он сразу как-то просветлел и весело прищелкнул бичом.

Домик у него оказался небольшой, на косогоре, окруженный такими же прилепившимися друг к другу домиками. От входа к улице террасами спускается садик — в основном подпорные стенки и каменные ступеньки. Полощется на ветру белье, торчат из земли круглые, как блины, кактусы. Несколько деревьев — то ли оливы, то ли миндаль. И тут же куча детворы. Посмотрели на нас мельком и опять погрузились в свои заботы — что-то мастерить из старого безногого стула. Потом появились черноглазые растрепанные девицы всех возрастов, очень тоненькие и смущающиеся, за ними какие-то парни. Я так и не понял, кто из них сыновья и дочери, а кто зятья и невестки; но, когда собрал всех, для того чтобы сфотографировать, их оказалось так много, что пришлось разбить на две партии.

Как и всегда перед съемкой, началась легкая суматоха. Стали переодеваться, вынимать что-то из сундуков, причесываться, вставлять в волосы цветы. Я тайком снял эту сутолоку и уверен, что, не испортись, как назло, в этот день мой аппарат, все получилось бы очень весело и хорошо. Но он и испортился-то, я уверен, потому, что все эти славные, живые,

улыбающиеся лица, увидев перед собой объектив, стали такими вдруг скучными и тусклыми.

К слову, почему все так любят сниматься? И без особой даже надежды получить карточку. В Неаполе, например, к нам пристал какой-то парень. Он силком забрал у Крайского чемоданчик, который тот с собой носил, и несколько часов таскал его вслед за нами. И все это для того, чтоб попасть ко мне на пленку. Каждый раз, когда я что-нибудь фотографировал, он спрашивал разрешения, становился где-нибудь вдали и подымал руку со сжатым кулаком. Кажется, у меня нет ни одного неаполитанского снимка, где то ли на фоне церкви, то ли просто в уличной толпе не маячила бы его тшедушная фигурка с рот-фронтским приветствием. И в этом сжатом кулаке было что-то очень трогательное — парню хотелось отблагодарить меня, доставить мне удовольствие.

Мы недолго пробыли в гостях у Вердолива — через час должен был отойти наш катер, — но все-таки успели посмотреть фотографии всех родственников, развешанные по стенкам и заключенные в альбом, и, конечно же, попробовать каприйского вина.

Старик был весел и горд. От его дурного настроения и воркотни не осталось и следа. Даже инцидент со старухой, которая отказалась фотографироваться, не очень огорчил его.

— Ну что с ней поделаешь! Такая она уж у меня. Не переделаешь.

Мне жаль, что не получились карточки, но память о нашей прогулке на тряской таратайке я сохранил и без нее: плоский колючий кактус, вырванный мной из каприйской земли и брошенный в чемодан, мирно растет у меня теперь на окне.

Кто-то из наших писателей, побывав в Италии, писал потом в газете о прелести коллективных поездок. Стоишь, например, над Флоренцией, на Пьяццале Микеланджело, а вокруг тебя русская речь. Как приятно...

Не знаю, может, это и так. Но я тоже стоял на Пьяццале Микеланджело, и вокруг меня была только итальянская речь — и меня это нисколько не огорчало, хотя я тоже люблю русский язык.

И все же, когда со мной в Неаполь поехал Крайский, я этому обрадовался. Обрадовался именно потому, что рядом со мной оказался русский. Правда, не только русский, а одновременно и итальянец. Русский по происхождению, по какому-то чисто русскому образу мышления, итальянец — по месту и образу жизни, по воспитанию, а в чем-то даже трудно уловимом и по духу.

Мы много с ним говорили. И в поезде, и, надев от солнца газетные колпаки, на пароходике, и блуждая по ночному Неаполю, и потом в гостинице, растянувшись усталые на кроватях, докуривая последние перед сном папиросы.

Мне интересно было его слушать, ему — меня. Мы оба коммунисты, и на основное, на главное, взгляды у нас одинаковые. Но мы живем в разных странах, окружены разными людьми, подчиняемся разным законам, и что-то нам нужно было разъяснить друг другу.

Кое-что я все-таки знаю об Италии. Немного знаю — к сожалению, гораздо меньше, чем хотелось бы, — литературу, чуть побольше искусство, имею какое-то представление об истории страны. Но народа — его мыслей, надежд, интересов, его жизни, его души — я не знаю. Крайский, возможно, в несколько лучшем положении, чем я, — как активный член общества «Италия—СССР», он внимательно следит за нашей литературой, читает газеты, журналы. Но в России он, в сущности, не жил и народа ее тоже не знает. Поэтому и у него и у меня вопросов было столько, что, пробыв вместе три дня, мы и половины их друг другу не задали.

Он любит русских, тянется к ним, любит нашу страну, радуется каждому нашему успеху и потому с особой болезненностью реагирует на то, что считает нашими ошибками. Между прочим, эта черта свойственна не только ему одному. Она свойственна многим коммунистам (и литераторам и нелитераторам), с которыми я встречался, да и не только им, а всем, кто симпатизирует нам, хотя и не во всем соглашается с нами.

Мы много и горячо спорили с одним вспыльчивым, экспансивным миланским литератором-социалистом. Далеко не во всем нам удалось убедить друг друга. Но последняя его фраза, заключившая наш спор, на мой взгляд, очень характерна.

— Вы делаете большое дело, — сказал он. — Не все мне в нем понятно, многое просто чуждо. Но учтите одно: нет дня, чтобы мы о вас не говорили. Честное слово! И когда мы думаем, что вы делаете ошибки, нам тяжело и больно. Но, так или иначе, жить без вас мы не можем. Учтите это.

И это действительно так. Интерес к нашей стране огромный. Наши газеты, журналы читают очень внимательно. О статьях, о корреспонденциях с мест (особенно если они подписаны известными итальянцами именами), о самой манере подачи материала много говорят, спорят, критикуют, и, нужно сказать, иногда довольно метко.

В Турине у меня произошел любопытный разговор в редакции местного издания газеты «Унита».

Показав нам редакцию и типографию, заместитель редактора, молодой, хитроглазый и, как я из дальнейшего разговора понял, весьма колкий Джанни Рокка, пригласил нас в свой кабинет и, присев на край стола, сказал, как обычно в таких случаях бывает, что, если есть какие-нибудь вопросы, он с удовольствием ответит.

Я задал обычный вопрос: как и где они берут международную информацию? Рокка хитро взглянул на меня и ответил:

— Юнайтед Пресс, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс...

— Наши газеты?

— Нет.

— Почему?

— У нас нет времени ждать. Мы окружены буржуазными газетами. Если мы хоть на час опоздаем с каким-либо сообщением, нас не станут покупать. А вас, к сожалению, в излишней оперативности никак не обвинишь. У нас особый читатель, нелегкий. Если экспресс Рим — Париж сошел с рельсов, он хочет знать все подробности. И сколько убитых, и сколько раненых, и чтобы очевидец все сам рассказал, и чтобы фотография разбитых вагонов и паровоза была. А у вас, — он опять лукаво взглянул на меня, — у вас ведь, судя по вашим газетам, даже стихийных бедствий не бывает, я не говорю уже о железнодорожных катастрофах.

Он внимательно выслушал мои возражения, сводившиеся в основном к тому, что мы против дешевых сенсаций, против шекотания нервов, что в задачи газеты входит не только сообщение о тех или иных событиях, но и вмешательство в некоторые из них. Я говорил о большой и нелегкой работе отделов писем, куда за советом и помощью обращаются тысячи читателей. Он все это терпеливо выслушал и сказал:

— Все это очень хорошо, не спорю, и этому мы у вас учимся — активному вмешательству газеты в жизнь. Но ведь мы говорили о другом, мы говорили об информации. И тут мы с вами не в одинаковом положении. И кто в более трудном — не знаю. Если я не буду писать о катастрофах и убийствах, или, по вашему выражению, шекотать нервы, у меня упадет тираж, а у какого-нибудь «Джорно» повысится. У вас тираж не упадет, но, наверно, появится то, что во всех странах заменяет отсутствующую информацию, — появятся слухи. А с ними нелегко бороться. Кроме того, вы чудовищно многословны, — продолжал он. — Выходите вы на че-



тырех, максимум шести—восьми полосах — по сравнению с нашими, особенно богатыми буржуазными, газетами это очень мало,—а сколько лишних слов у вас. Читая ваши подвалы, пока доберешься до основной мысли, надо прорваться сначала сквозь дремучий лес общих фраз. Очень уж вы неэкономны. И это, на мой взгляд, один из основных ваших грехов. Второй — чрезмерная скупость информации и непозволительное запаздывание ее. Не слишком ли долго вы обдумываете каждый идущий в газету материал? Оперативность в газетном деле — всё. Вчера в шесть часов вечера произошло какое-то событие — выступил Хрущев или Эйзенхауэр, где-то состоялась демонстрация или, наоборот, ее разогнали, — в шесть утра рабочий должен уже об этом прочесть, и не только сообщение, а и нашу оценку самого события. Опаздывать я не имею права ни на час, ни на минуту. Прогонят...

Увы, как прав во многом Рокка! Как скучны подчас наши газеты, как неповоротливы, неоперативны. Как поздно они приходят — иной раз у нас, в Киеве, приносят их в час, и в два, а то и вечером. А в Риме в четыре утра уже открыты все киоски, покупай что хочешь, от официального «Мессаджера» до «Унита» и «Аванти».

И все это Рокка говорил вовсе не потому, что он хотел похвастаться, — нет, просто ему, как коммунисту и газетчику, хотелось бы, чтоб наши газеты были для них во всем примером. В этом он был таким же, как многие другие передовые итальянцы, иногда и некоммунисты.

— Едь мы хотим у вас учиться, — говорят они. — Хотим. Но не всегда получается. И не всегда по нашей вине.

Верно и это. Мы недооцениваем тягу рядового итальянца к нам. Недооцениваем то влияние, которое оказывает на итальянца наша культура, искусство, литература, кино. Нам жаловались на то, что в Италии не знают советских фильмов. Почему? А потому, что в Италии существует кинематографическая цензура. Она против наших фильмов. Но, оказывается, ее легко обойти, несколько не уклоняясь от строгой легальности. Как? «Присылайте фильмы на узкой пленке. Они не считаются коммерческими, их можно показывать в любом рабочем клубе». Почему же мы их не посылаем? Не посылаем, и всё...

В городе Фаэнца есть крупнейший в мире музей керамики. Это очень интересный музей. В нем представлены художественные изделия — вазы, посуда, скульптура — из фарфора, фаянса и прочих видов керамики. Представлены все страны мира. Нет только Советского Союза. Почему? Дирекция музея неоднократно обращалась к нам, в Академию наук, Академию художеств, Эрмитаж. Ответа не последовало. Почему? А кто его знает почему...

Так было год тому назад, в апреле 1957 года. Хочется верить, что за год кое-что изменилось. В Советском Союзе организовано теперь общество «Италия — СССР». Будем же надеяться, что с появлением его эти, назовем их мягко, досадные шероховатости исчезнут.

Итак, Неаполь, Помпея, Капри уже позади... За широкими окнами нашего «рапидо» проносятся селения и городишки с обязательными башнями и колокольнями, с пиниями и кипарисами, с прижавшимися друг к другу среди скал домишками. Путешествие мое приближается к концу. Завтра в это время я буду уже в самолете, по пути в Париж.

До Рима еще час с небольшим, и я стараюсь использовать эти последние спокойные минуты, чтобы расспросить Крайского о том, что по настоящему не успел узнать за эти три недели.

Как живут рабочие — вот что меня интересует.

Собственно говоря, только во Флоренции и Ивреа мне удалось столкнуться с рабочими. Именно столкнуться, не больше, так как на заводе Га-

лилео го Флоренции мне удалось поговорить с ними не более получаса, во время обеденного перерыва, а на фабрике пишущих машинок Оливетти я видел их стоящими за станками, и даже так поговорить с ними мне не удалось.

Фабрика Оливетти — интересное явление. Ее всегда приводят в пример, когда хотят доказать, что в капиталистическом мире рабочим может житья очень хорошо.

Внешне все действительно производит большое впечатление. Фабрика находится в пятидесяти пяти километрах от Турина, в небольшом городишке Ивреа. Архитектура здания выдержана в самом что ни на есть ультрасовременном стиле. Светло, удобно, рационально распланировано, красиво — и вокруг здания (подстриженные газоны, цветники), и в цехах (где все время слышны звуки тихой, приятной музыки), и в просторном, удобном конструкторском бюро, и в рабочей столовой, где максимум за двадцать минут рабочий может недорого и довольно сытно пообедать. Тут же рабочий поселок — большие и маленькие очень уютные домики, квартиры в рассрочку. Есть и медицинское обслуживание. Рабочие получают оплачиваемые отпуска. Средний заработок — пятьдесят тысяч лир в месяц, вообще же в Италии — тридцать—сорок тысяч. Рабочий день — семь часов. Два дня в неделю выходные — суббота и воскресенье.

— Что? Поражен? — улыбнулся Крайский. — А Оливетти на это и бьет. Он незаурядная фигура. И дело знает. Собирается на выборах выставлять свою кандидатуру. В парламент попадет, уверяю тебя. Кроме того, он любитель искусств, знаток архитектуры. Ты сам архитектор, понимаешь — построено все толково. Есть у него и собственное издательство. Выпускает книги по искусству. Привлек хороших специалистов, издает специальный архитектурный журнал. В общем, дело поставлено на широкую ногу, да и реклама незаурядная. Но ведь все это уже давно знакомо... И Фордом в свое время кое-кто восхищался. Ах-ах, вот это да!.. Сам старик ходит по цехам, ручки рабочим жмет. «Привет, Джон! Привет, Боб! Как там твоя жена, поправилась уже?» Но дело ведь не в журнальной рекламе, не в мелодиях вальса, даже не в квартирах в рассрочку и оплачиваемом отпуске. Все это очень хорошо. Важно другое — важно то, что от этого больше всего выгадывает все-таки сам Оливетти, хотя он и пытается изобразить себя отцом рабочих. Даже слово такое придумано: «патернализм» — отцовство...

Как мне позднее рассказали, этот новейший вид патриархальности допускает слезку «котцов» за «детьми», за их убеждениями и даже за их домашней жизнью...

Жаль, что у меня просто не хватило времени поподробнее разузнать об Оливетти, о его системе производства и способах увеличения прибылей. Конечно же, это один из «культурных» способов усиленной эксплуатации рабочих посредством повышения интенсивности труда. Но, так или иначе, явление это в плане новейшей капиталистической демагогии весьма любопытное. Эта фабрика — нечто вроде маленького государства в государстве. Существует даже собственное «движение», возглавляемое Оливетти, — «Общность». Партия эта, если ее можно так назвать, выдвигает своих кандидатов на выборах, и во многих местах близ Ивреа одерживает даже победу. На последних выборах ей удалось провести в парламент нескольких своих членов и, как я узнал позже, в их числе самого Оливетти. Объясняется это, в частности, тем, что Оливетти организовал в этой довольно бедной сельскохозяйственной провинции большое количество поддерживаемых им артелей, изготовляющих футляры для машинок и прочую нужную для производства мелочь. В сущности, это нечто вроде зачаточной мануфактуры, домашней промышленности, которой окружает себя современнейшее капиталистическое предприятие, не упуская возможности извлечь прибыль отовсюду, где можно. Но все это создает

Оливетти определенную популярность. А деньги? Прибыль? Что ж, в Италии он монополист. Монополистом был уже его отец. Даже Ремингтон не в силах с ним конкурировать. У Ремингтона портативная пишущая машинка стоит семьдесят пять тысяч лир, а у Оливетти — от тридцати восьми до шестидесяти тысяч. Да еще в рассрочку.

За окнами, обгоняя нас, то есть со скоростью не менее ста тридцати километров в час, пронесся маленький, последнего выпуска «фиат».

— Хорошая машина, — сказал Крайский. — Экономная, недорогая. Ты не был в Турине на заводе Фиат? Жаль. Оливетти все-таки остров, вернее островок, а Фиат, Монтекатини, Ансальдо, Бреда — автомобили, химикалии, суда, электровозы — это океан, бушующий океан. Там журнальчиков уже не издают и по пятьдесят тысяч рабочим не платят. Дело крепко завинчено. Если ты коммунист — к чертовой матери! Или — или. Или работа, или билет ИКП. А если ты все же нужен, тебя засекречивают, лишая права общения с другими. А коммунистов у нас в стране все-таки два с лишним миллиона. И еще одна цифра, которую нельзя забывать, — два миллиона безработных. Вон они, видишь?

Я глянул в окно. Мы проезжали мимо древних полуразрушенных акведуков. У подножия их лепился целый город крохотных лачужек — из фанеры, досок, проржавленного кровельного железа. Пыль, грязь, ни одного деревца. Здесь жили безработные, городская беднота.

Поезд стал сбавлять ход. На смену хибаркам появились громадные, похожие, как близнецы, массивы многоквартирных домов. Окраина Рима. Еще несколько минут — и вокзал...

Я давно уже нишу случая сказать несколько слов о Римском вокзале. А зацепившись за него, и вообще о современной архитектуре Запада. Наконец этот случай подвернулся, расскажу об архитектуре.

Крайский пошел куда-то звонить, а я стал прогуливаться взад и вперед по вестибюлю. К слову сказать, французы остроумно называют вокзальные вестибюли «salles des pas perdus» — «залы потерянных шагов», как в свое время был назван огромный зал в Palais de Justice, здании судебных учреждений, где часами прогуливались, ожидая вызова.

Итак, о Римском вокзале. О нем стоит поговорить.

Когда обтекаемый курьерский поезд, несущийся со скоростью ста двадцати километров в час, сбавив ход, въезжает под гулкие своды — нет, не этого, не Римского, а, допустим, Миланского вокзала, — сразу становится как-то не по себе. Из мира целенаправленной, удобной, красивой, я бы сказал даже, изящной техники, из мира легких электромачт, ажурных мостов и строгих, но великолепно гармонирующих с окружающим пейзажем железобетонных виадуков ты попадаешь вдруг во что-то такое громадное, тяжелое, каменное, мрачное и безвкусное, что я понимаю, например, миланцев, когда они не могут без содрогания говорить о своем вокзале.

И тот же поезд, въезжающий на центральный вокзал Рима — «Станция Термини» («Конечная станция»), приезжает точно к себе домой.

Еще по пути сюда — в Праге, а потом в Париже — прежде всего бросилась мне в глаза, а потому и запомнилась архитектура аэропортов. Особенно Орли. Невысокое, подчеркнуто горизонтальное, растянутое по земле, чисто утилитарное здание. Внутри очень светло и как-то все навсквозь видно. Украшений никаких. Много надписей, указателей, стрелок. Это не музей и не памятник архитектуры. Рассматривать тебе здесь нечего. Тебе надо знать, где касса, прием багажа, выход на летное поле. Ты торопишься, и изучать рисунок карнизов и капителей у тебя нет времени. Аэропорт — ворота города, сквозь них проходят. Важно, чтобы они были широки и удобны. И второе: архитектура аэропорта близка по сво-

им формам, по своему характеру к самолету — машине, на которой нет ни одной лишней детали и которая, может быть, именно поэтому так красива в своей логической законченности. И хотя красота самолета рождена законами аэродинамики, а зданию аэропорта лететь некуда и незачем, логичность форм того и другого создает необходимую для архитектуры гармонию.

Принцип вокзала тот же, что и аэропорта. Те же ворота города. Только народу здесь проходит больше, поэтому и габариты побольше. Римский вокзал — одно из крупнейших и совершеннейших сооружений этого рода в Европе. Строили его долго, двенадцать лет: мешала война. В 1950 году он вступил в строй.

Я не буду говорить об удобствах планировки самого вокзала — он тупиковый, а это очень облегчает работу архитектора: не надо думать о туннелях и переходах через пути. Но хочется сказать об архитектуре, об общем впечатлении.

В аэропорте Орли архитектуру почти не замечаешь, настолько она утилитарна. Здесь же не только замечаешь, здесь покоряешься ей. Железобетон и стекло — больше ничего. Но все таящиеся в них возможности использованы как только можно. Ничего дробного, мелкого, отвлекающего внимание. С первой же секунды охватываешь все целиком. И происходит это потому, что мало составных элементов. По сути два: легкое остроумное перекрытие над всеми залами в виде плавно изгибающихся параллельных арок, переходящих в консоли козырька, и стеклянные стены. Просторно, светло, много воздуха, никаких столбов, колонн, украшений. Даже торопясь со своим чемоданом на поезд, ты успеваешь запомнить вокзал. Не частности, а весь целиком, так как частностей нет, только киоски и кассы. В этом сила архитектуры, в этом ее логика, а значит, и красота.

Вспоминается Казанский вокзал в Москве. Строил его ныне покойный Щусев, один из лучших архитекторов своего времени, автор множества архитектурных памятников, в том числе и Мавзолея Ленина. Построен Казанский вокзал давно — в 1910 году. Это крупнейший в нашей стране вокзал, если не считать Новосибирского. Он тоже тупиковый, поэтому параллель с Римским вокзалом — правда, выстроенным на сорок лет позднее, — вполне уместна. Что же поражает в нем, кроме размеров? Архитектура. За основу взята башня Суюмбеки в Казани — очень любопытный и характерный памятник архитектуры XVIII века. Мысль, значит, такая: ты едешь в Казань — вот она тебе уже здесь, в Москве. Мысль, не лишенная остроумия, но, в общем, довольно нелепая. Над всем зданием господствует сделанная с большим вкусом, но абсолютно ненужная уступчатая башня, вариация на тему Суюмбекиной. Фасад здания раздроблен, внутренность перегружена архитектурными, лишними конструктивными значениями деталями. Громадные балки на потолке зала ожидания ничего не несут, они подвешены к потолку, они только украшение в угоду стилю, вернее, стилизации.

Общее впечатление: грандиозный терем, сказочный дворец, Казанский кремль — все что угодно, только не вокзал. То же впечатление и внутри. Здесь все рассчитано не на спешащего на поезд пассажира, приходящего за пять минут до его отхода, а на пассажира, ожидающего часами. Для него-то, очевидно, и расписаны талантливой кистью Лансере плафоны и стены вокзала. Именно для него, сидящего на своих тюках и чемоданах. А так — начнешь рассматривать и на поезд опоздаешь.

Другой невольно вспоминающийся пример — Киевский вокзал (не в Москве, а в Киеве). Когда-то, лет тридцать тому назад, я работал на его постройке техником-стажером, и тогда он казался мне верхом совершенства. Это было первое железобетонное здание в Киеве. Автором его был профессор А. М. Вербицкий. Позднее, в институте, под его руковод-

ством я сделал два курсовых проекта вокзала. Поэтому-то, да простят меня, я и застрял сейчас на вокзалах несколько дольше, чем, возможно, этого хотелось бы читателю.

Если не ошибаюсь, в 1932 году строительство закончилось. Вокзал получился большой и не очень красивый. Перед автором поставили довольно сложную задачу — сочетать конструктивизм с мотивами украинского барокко. В результате центральный вестибюль снаружи был украшен упрощенно-стилизированным барочным «кокошником», внутри же все выдержано было в конструктивистском духе. Повторяю, все это получилось не слишком красиво (конструктивизм требует первосортных отделочных материалов и деталей, которых у нас тогда не было), но с точки зрения архитектурной логики придаться особенно было не к чему.

Несколько лет тому назад кому-то в голову пришло «обогатить» внутренность вокзала. Слишком, мол, скучно в нем сидеть в ожидании поезда и рассматривать голые арки. И вот обогатили! Появились плинтусы, карнизы, капители, вся та мраморная и «под мрамор» мишура, якобы прикрывающая наготу, а на самом деле разрушающая форму. Не напоминает ли это историю со «Страшным судом» в Сикстинской капелле, где по велению Павла IV обнаженные фигуры были «задрапированы» рукой Даниеле да Вольтерра — живописца, с того времени и до конца дней своих носившего прозвище «Исподнишника», il Brachettone?

Нет, что касается меня, я за Римский вокзал.

Мы часто и много спорим об архитектуре. Иной раз в троллейбусе, проезжая мимо только что отстроенного или еще строящегося дома, среди оживленных разговоров о размахе нашего строительства слышишь реплики: «И зачем вдруг башню здесь посадили? Кому она нужна? А колонны эти? Целый лес. Только окна загораживают».

Требовательность эта понятна. Архитектура рядом с нами. Хочешь или не хочешь, но общаться с ней приходится ежедневно, ежечасно. Книгу можно прочесть или закрыть на любом месте, радио, телевизор выключить, но закрывать глаза, проходя мимо того или иного дома, все-таки трудно. А иногда, ох, как хочется...

Не будем идеализировать современную архитектуру Запада. Там всякого хватает. Я долго ходил вокруг строящегося здания картинной галереи в Турине, подходил вплотную, отходил на противоположную сторону улицы и так и не понял, где же вход, где выход, где крыша и есть ли она вообще. Год спустя в Западном Берлине, в Тиргартене, я не без труда пытался разгадать замысел нового «Конгрессхалле», построенного американцами для международной строительной выставки 1957 года («Интербау»). В высшей степени странное сооружение. Стоишь, смотришь на него и только плечами пожимаешь.

Но, пожалуй, больше всех озадачили меня кумир моих юных лет — Ле Корбюзье. В маленьком французском местечке Роншан, недалеко от швейцарской границы, неугомонный семидесятилетний архитектор соорудил церковь. О ней много сейчас пишут и спорят на страницах архитектурных журналов. Скажу прямо, ничего подобного ни сам Ле Корбюзье, ни кто-либо из существовавших до сих пор архитекторов не создавал. Мы как-то привыкли к тому, что все созданное Ле Корбюзье, как правило, зиждется на определенных законах архитектурной и конструктивной логики. В этом его сила. Здания его могут нравиться или не нравиться — это другой вопрос, но мысль автора, цель, к которой он стремится, всегда была ясна и понятна. В церкви же Роншан понять что-либо без специальных комментариев просто невозможно. К сожалению, я не видел этой церкви в натуре; но, разглядывая фотографии ни на что не похожего строения, состоящего из столбов, башен, балконов, навесов и изогнутых, извивающихся стен, испещренных какими-то прямоугольными отверстиями, становишься просто в тупик. И невольно, глядя на это здание самого передо-

вого из западных архитекторов, на эту церковь (и почему это церковь? Ах да, там крест наверху...), задаешь себе вопрос: а не зашла ли и архитектура в тупик?

К слову сказать, в 1932 году на наш вопрос, как Ле Корбюзье относится к современной церковной архитектуре, которая на Западе уже тогда подпала под влияние самых модных течений, он нам ответил: «Какое мне дело до церквей! Проблемы архитектуры в другом. Они в строительстве городов!» Верно! Именно в этом. Сам Ле Корбюзье за прошедшие с тех пор двадцать пять лет немало потрудился в этой области. Далеко не все, правда, ему удалось осуществить (проекты реконструкции Алжира, Страсбурга, Сен-Назера и многих других городов так и остались на бумаге), но строящийся сейчас по его проекту правительственный центр в Чандигархе, новой столице Восточного Пенджаба, в Индии, безусловно заслуживает самого пристального внимания. Здесь Ле Корбюзье удалось очень интересно и, главное, конструктивно, а не только декоративно сочетать присущий современной архитектуре рационализм с элементами национальной индийской архитектуры. И вот наряду с этим церковь в Роншан—на мой взгляд, венец архитектурной алогичности и иррациональности.

Повторяю, западную архитектуру нетрудно обвинить во многом — и в чрезмерном оригинальничанье, и в кокетничанье причудливыми формами или, напротив, в стандартности и однообразии многоэтажных жилых корпусов. Но одного никак нельзя у нее отнять — ее современности.

Можно спорить, что красивее — яснополянская усадьба Толстого или ультрасовременная вилла «холлидей-хауз» где-нибудь на Фивьере (мне, например, больше по сердцу первая), можно без конца дискутировать о роли и месте классики в современной архитектуре, но, когда проходишь мимо строящегося здания, нижние этажи которого облицовывают гранитом, невольно отворачиваешься. Стыдно смотреть на то, как во второй половине двадцатого века рабочие вручную обрабатывают гранитные плиты, а потом впятером, орудуя ломиками, поднимают их по сходням наверх.

Парфенон и Реймский собор совершенны не только благодаря своим пропорциям или мастерству скульпторов и каменотесов, но и потому, что в их основу положены самые передовые для того времени достижения строительного искусства. Греция знала только колонну и балку и довела их сочетание до совершенства. Рим нашел купол — и родился Пантеон. Стрельчатые своды, аркбутаны и контрфорсы готики — результаты математического расчета, давшие возможность создать совершенно новый, небывалый стиль, в котором конструктивные, строительные и архитектурные проблемы слились воедино в совершеннейшем синтезе. Строителям Нотр-Дам или Кельнского собора даже в голзву не приходило использовать колонны, как это сделано в Акрополе. Они познали тайну распора и, вынеся конструкцию наружу, создали нечто новое, не менее прекрасное, чем храмы Акрополя или римского Форума.

Почему же сейчас, в век железобетона, стекла и стали, в век, когда можно решить любую, самую на первый взгляд фантастическую конструктивную задачу, мы стыдимся красоты самой конструкции, скрываем ее за допотопной гранитной облицовкой и декоративной мишурой «красивых» фасадов бесстильного начала двадцатого века?

Первые железнодорожные вагоны делали похожими на дилижансы, паровозы украшали металлическим кружевом, на первых небоскребах где-то на тридцатом—сороковом этаже ставили греческие портики. Все это вызывает у нас сейчас улыбку. Но не повторили ли мы то же самое, построив высотную гостиницу «Ленинградская», в которой, когдаходишь, невольно, как в храме, хочется снять шапку перед золотым алтарем, оказывающимся, к величайшему твоему удивлению, просто входом в лифт.

К счастью, это уже позади. Стадион в Лужниках, брюссельский павильон, проекты перекрытия стадиона «Динамо» в Москве, здание панорамного кинотеатра — это уже ростки нового. И в этом больше следования традиции великих эпох архитектуры прошлого, чем в простом, а еще хуже — модернизированном воспроизведении старых фасадов.

И все-таки стадионы и выставочные павильоны — это еще не решение проблемы. Вряд ли можно утверждать, что мы нашли образ жилого здания, хотя сдвиги в этой области уже заметны — в Юго-Западном районе Москвы, например. Еще сложнее со зданиями административных или культурно-общественных учреждений, с теми зданиями, которые требуют, как у нас часто говорят, «парадности» — слово не очень удачное, поэтому заменим его и скажем иначе: которые требуют наиболее яркого выявления своей общественной сущности.

Последний конкурс на проект Дворца Советов показал, что хотя образ его еще не вполне определен, но в некоторых проектах явно уже видно стремление авторов говорить языком простым и ясным. Ведь в самой основе советской архитектуры заложены принципы простоты, демократичности, ясности замысла, опирающегося на достижения современной техники. Пышная тяжеловесность и ложная величественность ей враждебны.

И наоборот, именно по пути этой псевдомонументальности и якобы суровой и простой величественности развивалась архитектура муссолиниевской Италии. Я видел в Риме эти грандиозные, напыщенные, полные риторики сооружения.

Величие древнего Рима — вот что должно было вдохновлять художников и архитекторов самого незеленого периода в истории Италии. Императорский Рим, но осовремененный, стилизованный, втиснутый в рамки железобетона. Наиболее характерный пример — ансамбль Всемирной выставки в Риме (которой, правда, так и не суждено было открыться). Архитектурным центром ее является громадный белый параллелепипед, каждый этаж которого состоит из сквозной аркады. Этажей шесть, в каждом из них со всех четырех сторон тридцать шесть арок, в каждой из них должно было быть по скульптуре — итого двести шестнадцать арок, двести шестнадцать скульптур. Все скульптуры поставить не успели, но, судя по надписи на этом непонятном здании, которое, как мне сказали, задумано было как модернизированный парафраз Колизея, они должны были изображать великих сынов Италии. Надпись гласит: «Народ поэтов, артистов, героев, святых, мыслителей, ученых, мореплавателей и переселенцев».

Не правда ли, величественно? И «народно»... И многозначительно...

Не отстал от выставки по своей напыщенной многозначительности и гигантский Форум Муссолини, именуемый теперь нейтрально «Форум Олимпико». Опять та же торжественная симметрия, и мужественная якобы простота геометрических объемов, и не менее мужественные лаконичные надписи — только на этот раз не на стенах домов, а выложенные из мрамора у тебя под ногами: «дуче, дуче, дуче, дуче...» — через всю аллею от одного здания к другому, или более чем странные лозунги, вроде: «Чем больше у тебя врагов, тем ты сильнее». И венец всей этой патетики — гигантские мраморные скульптуры, растыканные в великом множестве по всему стадиону, — низколобые атлетические молодцы с могучими челюстями и «устремленными в будущее», «волевыми» взглядами. Особенно хорошо один из них, встречающий тебя у входа, — десятиметровый, решительно шагающий, с противогазом на голове, покоритель Абиссинии, нет, не Абиссинии — всего мира...

За двадцать с лишним лет своего господства фашизм успел испоганить множество итальянских городов. Особенно обидно, что это коснулось и площади св. Петра. Удивительный ансамбль ее поражал в свое время, кроме всего, еще и тем, что ты попадал на просторную, охвачен-

ную знаменитой берниниевской колоннадой площадь, пройдя сквозь замысловатую путаницу близлежащих кварталов. Контраст узеньких кривых улочек и неожиданно распахивавшейся пред тобой площади подчеркнул ее величие. Теперь от набережной Тибра до собора пробита широкая Виа делла Кончиляционе (улица Примирения — очевидно, государства и церкви), завершенная, кстати, уже после войны, прямая, широкая, с двумя рядами тяжелых каменных фонарей. С точки зрения эвакуации многотысячных толп, заполняющих площадь в дни религиозных праздников, может быть, это и разумно, с точки же зрения архитектурной — это бесцеремонное вторжение в художественно законченный ансамбль, созданный величайшими мастерами Возрождения.

К счастью, фашизму не удалось исказить истинный облик итальянских городов, как ни старались архитекторы «имперского» стиля во главе с Пьяченциной. Сохранившиеся еще кое-где ликторские пучки и топорики на пустынных плоскостях стен бывших фашистских учреждений только подчеркивают красоту и изящество старинных площадей и дворцов, которыми так богата Италия.

Но не будем все сваливать на период фашистского господства — послевоенная архитектура тоже далеко не всегда хороша. Когда речь шла о ее современности, подразумевалось умение выразительно использовать все неограниченные возможности последних достижений строительной техники. Но когда эти достижения становятся самоцелью, когда в трех шагах от Палаццо Реале (королевского дворца) в Турине, памятника архитектуры XVII века, вырастает двадцатипятиэтажная башня каких-то конторских учреждений, это — кощунство, ничуть не меньшее, чем Виа Кончиляционе в Риме. Такое же страшилище построено и в Милане, на площади Республики, с той только разницей, что в нем не двадцать, а тридцать этажей. В капиталистическом мире участки продаются и покупаются, и, если ты его купил, можешь на нем строить, что тебе заблагорассудится, плюя с высоты тридцати этажей на все окружающие тебя дворцы и замки. Хорошо еще, что в Венеции все так тесно застроено или просто грунт ее островов непригоден для небоскребов, а то бедной кампанилле на площади Сан-Марко пришлось бы совсем плохо. Повезло и Флоренции. А ведь мог же найтись какой-нибудь богатый любитель высотных зданий, который воздвиг бы свою махину где-нибудь возле знаменитого моста Понте Веккио, благо война позаботилась о том, чтобы расчистить от зданий берега реки Арно. Но, к счастью, не нашелся, а набережные уже отстроены.

А вот Римский вокзал нашел свое место, вписался в город. И очень мирно сосуществует с каменными остатками вала Сервия Туллия, которым в этом году минуло ни больше ни меньше как две тысячи триста лет. Есть даже какая-то внутренняя гармония в этом соседстве изъеденного временем камня с белоснежными гранями стен и стеклянными лентами окон нового вокзала. Авторы его — Лео Каллини, Массимо Кастеллацци, Васко Фадигати, Эудженио Монтуори, Ахилле Пинтонелло, Аннибале Вителлоцци.

И не только Римский вокзал нашел свое место. Я видел много зданий — и вокзалов, и стадионов, и рынков, и промышленных и конторских сооружений, — в которых очень ярко выражена современность и которые великолепно уживаются со своими соседями прошлых веков. Ведь войти в существующий ансамбль вовсе не значит подражать ему. Надо просто найти свое место и, обосновавшись на нем, заговорить своим собственным языком, не стараясь перекричать соседей. А язык этот — логика, экономичность и красота, рожденная не слепым повторением прошлого, но выражением твоего отношения к миру, а в данном случае, когда речь идет о Римском вокзале, в первую очередь умением использовать все то, что дает нам сейчас строительная техника.



Всему свое время. Время колонн и пилястр кончилось. Поблагодарим же их за большую проделанную ими работу и оставим их в покое. Настало время сводов-оболочек, органического стекла, пластмасс, которое требует возобновления дружбы архитектора и инженера. Поверим же этой дружбе и не будем украшать электровозы кружевами.

Разговор об архитектуре, кажется, несколько затянулся. Чтобы как-то искупить свою вину, расскажу о вещах более живых.

Расскажу о двух встречах, которые особенно запомнились мне, вероятно, потому, что обе они какие-то очень уж итальянские.

Первая из них произошла на дороге из Рима в Альбано — живописный городок на берегу озера, место многочисленных экскурсий, куда по воскресеньям, кроме туристов, съезжаются в большом количестве и римляне, просто так, вырваться из города, отдохнуть, полюбоваться природой, подышать воздухом.

Заранее оговорюсь, что действующие лица этой маленькой истории, само собой разумеется, говорили по-итальянски — другими словами, я ничего или почти ничего не понимал из того, что они говорили. Но самые события и участники их были настолько выразительны, что общий ход происшедшего я уловил сразу, а позднее мои спутники помогли мне восстановить и словесную ткань этих событий.

Итак, в один из воскресных дней мы — я, переводчик Лев Михайлович и еще несколько человек из нашей советской колонии — поехали в Альбано. Поехали на двух машинах. Примерно через час одна из них испортилась. Началась обычная возня с мотором, поиски пропавшей искры, беганье куда-то за недостающим инструментом.

Кто-то предложил, пока тянется вся эта волынка, пройти по дороге вперед. Пошли. Метров через двести натолкнулись на хибарку, почти совсем скрытую зеленью. Оказалось, что это винный склад, довольно грязный и неудобный, но всем нам очень понравившийся. Вернее, не он, а само местоположение его — дорога здесь шла над крутым обрывом, а по другую сторону заросшей густым кустарником теснины, на еще более крутом каменистом обрыве, лепился небольшой городишко, названия которого никто из нас не знал.

Мы заказали вина. Хозяин — очень толстый, в широченных парусиновых брюках и рваной красной майке, сквозь которую пробивалась густая черная шерсть, а голова была голая, как бильярдный шар, — долго выяснял, какое вино нам нужно, потом принес его в двух больших стеклянных кувшинах. Тут же возился с велосипедом долговязый парень с бельмом на глазу. Хозяин что-то ему крикнул, парень оторвался от велосипеда, скрылся в складе и через минуту вышел, неся четыре стакана, которые старательно вытирал собственной рубашкой.

Мы расположились на бочках у входа в сарай. Потягивая холодное кисленькое вино, любовались пейзажем — каменистым обрывом, громоздящимися друг на друга домиками с черепичными крышами и обаятельной над всем этим колокольней. Парень возился со своим велосипедом. Хозяин куда-то исчез. Было тихо и мирно, только цикады без умолку звенели, совсем как у нас в Крыму.

Вскоре где-то на дороге послышался звук мотора, и к сараю подкатил на ярко-красном мотороллере солдат. Еще издали завидев его, долговязый парень бросил свой велосипед и поспешно скрылся в сарае.

Солдат прислонил свой мотороллер к дереву, вытащил из кармана пачку сигарет и, усевшись на бочке невдалеке от нас, закурил. Это был красивый, статный парень, очень смуглый, в кокетливо сдвинутой на затылок красной берсальерской феске с длинной синей кисточкой, небрежно переброшенной через плечо на грудь.

Через минуту возле него оказался хозяин с таким же, как у нас, кувшином в руках, на который солдат даже не взглянул.

— Чао, Пепино, — сказал хозяин.

Солдат ничего не ответил. Хозяин расстелил на одной из бочек чистенькую салфетку (нам он этого не предложил) и ловко, одним коротким движением, наполнил до самых краев стакан, не пролив ни капли. Все это сопровождалось веселым смешком и какими-то возгласами, в которых сквозило явное заискивание. Долговязый парень, забыв о велосипеде, стоял, прислонившись к косяку двери, и с любопытством за всем следил, слегка приоткрыв рот.

Солдат залпом осушил стакан и, так и не взглянув на хозяина, спросил:

— Где Розина?

В то же мгновение долговязый парень был послан куда-то на велосипеде, очевидно за Розиной, а толстяк, все так же дружелюбно похихтывая, подсел к солдату и налил на этот раз не один, а два стакана вина. Но солдат, ни слова не сказав, встал, взял свой стакан, ловко подкатил ногой маленький пустой бочонок и сел рядом с нами, обхватив бочонок ногами.

— Выпьем за любовь, — коротко сказал он и обвел нас всех своими красивыми, черными, злыми глазами. — За любовь, которой нету на земле.

Становилось интересно. Мы выпили за любовь, которая все-таки есть на земле. Солдат отрицательно качнул головой.

— Нету ее на земле. Нету!

Тут он вдруг решительно засучил рукав и обнажил до локтя волосатую, загорелую, мускулистую руку с вытатуированным на ней именем «Розина».

— Джироламо! — крикнул он.

Хозяин рысцой подбежал.

— Ты видишь, что тут написано?

— Вижу, — ответил хозяин.

— Что?

— Розина.

— Чье это имя?

Толстяк миролюбиво улыбнулся.

— Ты же знаешь, чье это имя, Пепино, зачем же ты спрашиваешь?

— А синьоры не знают. Скажи им!

— Ну, это имя моей дочери. Младшей дочери...

— А сколько мне было лет, когда я это имя на своей руке написал? А?

Пепино не сводил теперь своих черных злых глаз с толстяка, но тот все так же дружелюбно улыбался.

— Семнадцать, Пепино.

— А теперь мне сколько?

— Двадцать один.

— Так... — Пепино еще выше засучил рукав и, согнув руку в локте, заставил толстяка пощупать бицепс.

Тот с готовностью потрогал вздувшийся под коричневой кожей шар и, одобрительно хлопнув солдата по спине, сказал:

— Молодец, Пепино, молодец...

Нам тоже предложено было удостовериться в крепости Пепининых мышц, после чего он, старательно застегнув рукав, спросил:

— Можно на эту руку опереться, а?

Мы дружно сказали, что можно.

— А вот меня заставляют вместо этого сжимать ее в кулак. Вот что меня заставляют делать. — Он сжал кулак так, что косточки на сгибах побелели. — А что делают кулаком, Джироламо? Знаешь ты это или нет? Отвечай!

Джироламо понимающе кивнул головой — знаю, мол, очень даже знаю, — а у Пепино, рука которого могла служить опорой любой женщине, у нашего бравого Пепино на глазах появились вдруг слезы, самые настоящие слезы.

Засунув пальцы в густую черную шевелюру, он несколько секунд молча просидел так, подергивая подбородком, потом вдруг заговорил, сначала тихо, потом все громче, громче.

Он говорил о том, что лучшего, чем он, шофера в Сессино нет, что за три года у него не было ни одной аварии, хотя меньше чем по сто километров в час он не ездит, что вот он купил мотороллер, а через год, когда уйдет из армии, продаст его и купит «фиат», что Розина все это знает, как и то, что он ни разу, ни в чем ее не обманул и с семнадцати лет, когда в первый раз поцеловал ее, ни на одну девушку не взглянул, и что вот теперь, когда до его возвращения домой остался какой-нибудь год, она, воспользовавшись его отсутствием, стала засматриваться на парней, он это точно знает, и даже знает, на кого именно, и так далее, в том же духе...

Монолог этот произносился довольно долго, сначала сидя, потом стоя, прерываемый только для того, чтобы осушить очередной стаканчик вина, и кончился неожиданно вдруг тем, что Пепино полез в боковой карман, вытащил бумажник, из него конверт, а оттуда фотокарточку. На карточке была изображена прекрасная блондинка с мокрой, по-модному вывернутой нижней губой, томным взглядом и поразительных размеров грудью.

— На, взгляни, — кинул он карточку толстяку Джироламо. Тот внимательно стал ее рассматривать. — А теперь переверни.

На обороте был написан какой-то адрес — нам тоже его показали.

— Ясно? — Пепино взял карточку, положил ее обратно в конверт, конверт — в бумажник, бумажник — в карман и застегнул пуговицу. — Лили Брэдли! Миллион долларов за картину!

А может, он назвал и другую фамилию, сейчас не помню, но, в общем, речь шла о какой-то знаменитой американской киноактрисе, которая, как выяснилось из дальнейшего рассказа, явно была расположена к нашему Пепино. А рассказ заключался в следующем. Дней десять тому назад они с Джованни Кастеллани — все его знают, сын мельника из Гроттафератта, великий бабник, — стояли в почетном карауле у могилы Неизвестного солдата. А нужно сказать, что берсальеры — род войск, в которых служил Пепино, — это нечто вроде гвардии, в функции которой входит охрана президентского дворца и прочих парадно-официальных мест. И вот стоят они уже полчаса у венка, как вдруг подъезжает длинная белая машина и из нее выходят две красавицы.

— Одна, вот эта вот, Лили Брэдли, я ее сразу узнал, другая, поменьше, черненькая, все время куталась в меха. Вышли, постояли, посмотрели, потом взяли из машины фотоаппарат и сфотографировали нас с Джованни. Потом подошли ближе, опять постояли, и тут Лили Брэдли, посмотрев на меня, сказала что-то своей приятельнице, и обе рассмеялись. Потом Лили Брэдли вынула из сумочки эту самую карточку, написала на ней свой адрес — вы его прочли: отель Плацца — лучший отель на Корсо, — подошла ко мне и как ни в чем не бывало расстегнула вот этот самый карман и сунула карточку туда. Потом сама застегнула карман, улыбнулась так, что я чуть сквозь землю не провалился, а Джованни весь позеленел от злости, взяла подругу под руку и села

в машину. На прощание еще помахала ручкой... Ну, что скажешь, Джироламо?

Джироламо ничего не сказал, а Пепино хлопнул себя по карману.

— Миллион долларов за картину! В Голливуде. Она снимается, а я только в постели работаю. Неплохо, правда? — Он весело засмеялся, сверкая белыми крупными зубами, среди которых один был золотой, вставленный, по-видимому, из кокетства, что делают часто и у нас лишние хлопцы, потом сразу вдруг умолк, расстегнул воротник, вытащил оттуда крохотный медальон на цепочке и, раскрыв его, перекрестился и поцеловал. — И вот не пошел! Святая мадонна, не пошел!

На этом разговор прекратился, так как на дороге показался велосипед с долговязым парнем и очень хорошенькой белокурой девушкой, сидевшей перед ним на раме.

Пепино встал. Поправил свою красную феску над курчавым чубом, перекинул синюю кисточку на грудь и, засунув руки глубоко в карманы, стал ждать. Велосипед подъехал, девушка легко соскочила с него и сказала, улыбаясь:

— Здравствуй, Пепино! Как хорошо, что ты приехал.

Пепино ничего не ответил. Стоял, засунув руки в карманы, и молчал, глядя куда-то в сторону.

Розина была удивительно хороша. Невысокая, очень стройная, с поразительно приятным нежно-розовым цветом лица, голубоглазая и золотоволосая. Сейчас, чуть зардевшись, она стояла перед нами, сжимая в руке псовой платочек, и немного растерянно смотрела то на отца, то на Пепино, то на нас.

— И надолго ты приехал? — спросила она.

Пепино вынул из кармана пачку «Национали», долго вставлял сигарету в мушкетер, потом щелкнул зажигалкой и только тогда посмотрел на Розину.

— Карло? — спросил он.

Розина опустила глаза.

— Карло? — повторил Пепино.

Розина молчала. Пепино перевел взгляд на отца — тот старательно отколупывал что-то на своей рваной майке.

— Карло? — в третий раз спросил Пепино и, так как Розина продолжала молчать, вопросительно посмотрел на долговязого парня, очевидно ее брата. Тот слегка наклонил голову.

Дальнейшее произошло с какой-то невероятной быстротой. Пепино сделал шаг вперед, дважды очень быстро и звонко ударил Розину по щекам и, ни на секунду не задерживаясь, побежал к оврагу. У каменного парапета, отгораживавшего дорогу, остановился, быстро вдруг вернулся, вынул из кармана складной нож, бросил его на бочку и, ловко перепрыгнув через парапет, скрылся в овраге, успев по пути дать две не менее звонкие затрещины Розинному брату.

Мы четверо, признаться, настолько опешили и растерялись, что буквально не успели вмешаться в эту мгновенную расправу. Бедная Розина, пуцовая и мокрая от слез, стояла все на том же месте, опустив руки, боясь поднять глаза. Старик толстяк тоже был растерян, потирал свою ставшую вдруг красной лысину и молчал. Потом сорвался с места и сразу же вернулся еще с одним кувшином вина.

Странное дело, вино в Италии не возбуждает, а успокаивает. А может, то было какое-то особое вино, вроде валерьянки. Но так или иначе к моменту, когда к хибарке подъехали наши машины, Розина совсем успокоилась и стала даже волноваться, почему так долго нет Пепино.

До этого она тихо плакала, кусая свои хорошенькие губки, потом начала, вытирая платочком слезы, причитать:

— Я так и знала, так и знала... Он такой вспыльчивый, такой горячий... Я ему говорила — только не в берсальеры, только не надевай этой проклятой красной фески... Терпеть ее не могу. И перья эти на касках тоже... Как попугаи... А римские женщины с ума по ним сходят. Дуры!.. Я говорила, есть тут рядом зенитный полк, полтора километра. Приходил бы каждое воскресенье. А тут одно пропустил и другое, а потом говорит — в карауле был. Знаю я эти караулы... Вот и пошла назло ему с Карло... Ну и что? Нельзя уж и в кино пойти? Я вас спрашиваю, а с кем я пойду, если его нет? С кем? С безногим Курцио? Или с косоглазым Витторно, от которого круглые сутки вином разит? Вот и пошла с Карло, назло ему...

И тут же забеспокоилась:

— Сколько уже времени прошло? Посмотрите на ваши часы. Двадцать минут? Ну что он там делает? Я знаю, Пепино сильный парень, сильнее всех в Сессино. Вы не видали его мускулы? Во какие! А когда разденется... Вы попросите его раздеться, он охотно это сделает. Тут один художник приезжал, рисовал его, ему тогда еще восемнадцати лет не было. Очень его хвалил. По двести лир в час платил. Советовал даже в Рим поехать, там еще больше, говорил, платят. Но тут подвернулись курсы шоферов, и я очень рада. Ну его, этот Рим... И чего он всем так нравится? Святая мадонна, уже полчаса прошло, а его все нет... И чего я только с Карло пошла? Он кузнец, как буйвол здоровый, кулаком в висок — и все...

Но тут появился наконец Пепино. Веселый, смеющийся, перескочил через ограду и сразу же потребовал вина.

— А ты почисть меня, Розина. Малость все-таки испачкался. И подлатай.

Он был в песке и мелу, левый рукав до локтя разорван, под глазом синяк. Розина моментально стащила с него его защитную, американского покроя куртку, принялась зашивать, а он в одной майке, поигрывая бицепсами, с деланной неохотой стал рассказывать, как он отделал Карло, который, вероятно, в это же время где-нибудь в кабачке в Сессино, за стаканом же вина, хвастался, как он расправился с этим берсальерчиком из Рима.

Розина была в восторге, глаза ее блестели: «Так ему и надо! Молодец! И ты ему еще дашь, если подвернется, правда?» Толстый Джироломо тоже сиял и только подливал вина. Подсел и брат, которому также налили.

— Хотя и не стоило бы! — Пепино хлопнул его по шее. — Хорош брат, на сестру доносить. В следующий раз зубы выбью.

И все расхохотались этой милой шутке.

Вскоре мы уехали. Все четверо участников этой маленькой, разыгравшейся на наших глазах драмы махали нам руками, а Пепино, у которого, как у всякого итальянца, было развито чувство красивого, требующего какой-то законченности, последней точки, крепко поцеловал свою Розину в губы. Она была на седьмом небе от счастья.

Не знаю только, что сказала бы она и с каким Карло пошла бы на следующий день в кино, если бы узнала, что в тот же самый вечер, в Альбано, мы опять встретились с Пепино. Он ехал на своем ярко-красном мотороллере, а за его спиной, крепко уцепившись за него, сидела огненно-рыжая премилая толстушка, и все это вместе — красное и рыжее — было очень даже красиво. Увидев нас — мы обогнали его на своей машине, — он весело помахал нам рукой, а потом многозначительно приложил палец к губам. И тут я невольно и, по-видимому, не без основания подумал, что там, у винного склада, когда он так мило целовал изображение мадонны на своем медальоне, он слегка покривил душой. Да простит ему это пресвятая дева! И Розина тоже...

Место действия второго рассказа — Венеция, Пьяццале. Я сижу на каменных ступенях набережной, в нескольких шагах от колонны Льва св. Марка, и курю.

Согласитесь, очень приятно начинать свой рассказ именно с этих слов — Венеция, Пьяццале, Лев св. Марка... В детстве у меня была книга «Таинственная гондсла». Кто ее автор, не помню, содержания тоже не помню. Помню, что издание было Гранстрема, обложка красная, тисненая золотом, и что на первой цветной картинке было изображено венчание дожа с морем — громадный величественный корабль «Буцентавр», и на носу его в забавном колпачке маленькая фигурка дожа, бросающего перстень в воды Адриатики.

Тогда — мне было лет восемь или девять — я написал свой первый рассказ. До конца я его не довел — то ли надоело писать, то ли получил «реуд» по арифметике и было уж не до рассказа, а может, просто потому, что начинать всегда легче, чем кончать, — словом, до конца не довел. Помню только, что принимали там участие и дож, и «Буцентавр», и что начинался он на Пьяццале у колонны Льва св. Марка.

И вот сейчас, почти через сорок лет, я вернулся к тому же месту.

Итак, Пьяццале, Лев св. Марка и я, сидящий и курящий на ступенях набережной. Раннее утро. Туристов еще нет. Передо мной сверкающая на солнце лагуна и остров Сан-Джорджо с колючей кампаниллой.

Десятка полтора гондол — черных, длинных, изяшных — покачиваются на волнах, ждут пассажиров. Тут же, шагах в десяти от меня, гондольеры, рассевшись на ступенях, покуривают и о чем-то, как мне кажется, спорят, хотя, вероятнее всего, это обычная утренняя беседа. Один из них, пожилой, в выцветшем пиджаке с залатанными локтями, старательно моет свою гондолу щеткой. Что-то мурлычет себе под нос.

Хорошо. Солнышко припекает, голуби воркуют. Сажу себе и курю. На Пьяццале, в Венеции...

И вдруг — я не верю своим ушам — кто-то выругался по-русски. По всем правилам. Здесь, в десяти шагах от Палаццо Дожей. Неужели этот самый пожилой гондольер в выцветшем пиджаке? Ну да, уронил щетку в воду и сейчас, засучив рукав, пытается ее поймать. А она, проклятая, мирно себе покачивается, не дается в руки.

Я не выдержал, подошел и спросил что-то по-русски. Он выпрямился, улыбнулся, ответил. Так и состоялось наше знакомство.

Больше часа провели мы с Сильвано Инкорпоре (сначала я никак не мог понять, что это его фамилия) в его ветхой, вот уже тридцать лет бороздящей венецианские каналы гондоле. Объехали остров Сан-Джорджо, потом по каналу Гранде добрались до вокзала, повернули обратно, стали кружить по бесчисленным узеньким, довольно грязным каналам.

Сильвано неторопливо греб своим единственным веслом, стоя на корме в характерной для его профессии позе, чуть наклонившись вперед. Он совсем не был похож на гондольера, какими мы их себе представляли, — не стройный, молодой, с жгучими глазами и пленительным тенором, а пятидесятилетний, коренастый, лысеющий, беззубый, с хриплым голосом, к тому же глухой на одно ухо. Только глаза были у него хороши — спокойные, умные, какие бывают у людей, которые не только много видели, но и многое поняли из того, что видели.

А Сильвано видел много.

Конечно же, мы вскоре обосновались с ним в маленькой остерии, в которую шагнули прямо с его корабля. И тут же за тарелкой чего-то — чего, я так и не мог понять, — очень острого и скользкого, за стаканчиком все того же кьянти я многое узнал о его жизни.

Он неплохо говорил по-русски. Оказалось, что в сорок втором году мы воевали с ним в одних и тех же местах — в районе Купянска, потом в Сталинграде. Он был сначала конюхом, а когда начались перебои с

горючим, подвозил боеприпасы для дальнобойной артиллерии. Как и все итальянцы, он нещадно ругал немцев, покряхтывал при воспоминании о русской зиме, на память о которой у него остались синие, всегда шелушащиеся уши. В январе сорок третьего он попал в плен. Отсидел восемнадцать месяцев в лагере, из них полгода проработал штукатуром (он это тоже умеет), в августе сорок четвертого возвращен был на родину.

По-русски говорил он довольно бойко, только часто путал местоимения, а о себе говорил преимущественно в третьем лице женского рода: «Она очень соскучилась по своей жене, почти три года не видела...»

Был он и в Киеве, когда служил связным и поваром у какого-то штабного артиллерийского «тепенте» — лейтенанта.

— Хороший город. Как Италия. Каштанов много. Больше нигде Россия не видела каштанов... Где жила? Садик, памятник, мужчина, большие усы вниз. (Я понял, что возле университета где памятник Шевченко.) Потом Полтава. Большая деревня, названия не помню.

Об этом периоде своей злополучной военной жизни он вспоминал с удовольствием. Все восхищался, как там красно, — и леса, и поля, и речки, и девушки...

Я вспомнил, что население тех сел, где стояли итальянцы, не очень на них обижалось. Веселые, мол, славные, хорошо поют, немцев не любят, только с курами неладно — на улицу не выпускай, всех покрадут.

Так мы сидели с Сильвано за маленьким столиком в уголке; он рассказывал, я слушал. Потом он как-то странно, с улыбочкой, взглянул на мою почти не тронутую тарелку, затем на меня и сказал:

— Невкусно, а? Тогда я знаю что. Моменто... — И скрылся.

Он довольно долго отсутствовал, наконец появился, все в том же выцветшем пиджаке, но уже в светлой рубаше и с галстуком. С торжественным видом вытащил из кармана самую что ни на есть настоящую поллитровку и, смеясь до ушей, сказал:

— Белая голова! Прима!

Я попытался вынуть деньги (бутылка эта стоила ему заработка двух с половиной часов работы), но он даже обиделся.

— Нехорошо... Не надо. Для русской человек подарок. А ты в России мне кьянти. Хорошо? — И рассмеялся своей шутке.

Хозяин принес две рюмочки, но Сильвано потребовал третью.

— Сын придет. Аугусто. Никогда не пил.

Пока мы ждали сына, Сильвано принес большую луковицу и стал нарезать ее тоненькими, аккуратненькими ломтиками. Резал и все головой качал.

— А черный хлеб нет. Нет в Италии.

Потом пришел сын Аугусто, рыжий круглолицый парень с большими красными руками, все время смущавшийся и молчавший и только после водки несколько оживившийся.

Вообще же с Аугусто дело было плохо. С детства правая рука у него была сухая, поэтому стать гондольером, как отец, он не мог. Сильвано очень этим печалился, так как у Аугусто был хороший слух и низкий красивый голос, который во много раз увеличивает чаевые гондольеров. Но что поделаешь, рука сухая. А парню уже восемнадцать лет. Попытался петь в одном ресторанчике на Рива Скьявони, но джазовые песенки у него не получаются, — рассчитали. Учиться пению нет денег. Работает сейчас продавцом на мосту Риальто — всякие там венецианские сувениры и безделушки. Все-таки хоть какая-то да работа.

После второй рюмки Сильвано покраснел, оживился и стал убеждать сына, чтобы тот пошел за гитарой и что-нибудь нам спел. Но Аугусто засмутился и сказал, что на гитаре лопнула струна, а без гитары он петь не может.

Постом за нашим столиком появилась до неправдоподобия тоненькая девушка с копной густых, черных, перевязанных красной ленточкой волос, и мне ее представили как невесту Аугусто — Лючию. Тут Аугусто повеселел, они с Лючей о чем-то, перебивая все время друг друга, бойко заговорили и вскоре ушли, преувеличенно вежливо с нами простившись.

Старик вдруг загрузил. Вот, пожалуйста, любят друг друга, и девушка она хорошая, скромная, работающая, хозяйственная — работает на том же мосту, в магазине открыток и альбомов с видами Венеции, — и через годик можно было бы уже пожениться. А на что жить? Сам Сильвано с трудом сводит концы с концами. Семья небольшая, но все-таки пять человек: он, жена, мать жены — старая больная женщина, печень, почки и вообще восемьдесят лет. И двое детей. Аугусто, правда, зарабатывает, а Джузеппе всего семь лет, в этом году должен в школу пойти.

Выпив еще рюмку, он заговорил о том, что вот уже и старость подошла и на гондоле своей он уже больше тридцати лет работает, а вот теперь на него начали косо поглядывать: туристы, особенно англичанки и американки, любят гондольеров молодых, красивых, а он... Но тут он вспомнил молодость. Какой он был парень! Когда ему было столько же, сколько теперь Аугусто, он работал у одной богатой женщины, жены банкира. У тех был собственный палаццо на Канале Гранде и две гондолы — его и ее — с коврами, подушками, все, как полагается. Банкир был стар, жена — молода. И Сильвано был молод. Волосы у него были черные, кудрявые, зубы белые, и ходил он тогда в белой рубашке с раскрытым воротом и в черных узких штанах, подпоясанных красным поясом. Петь он не пел, голоса у него никогда не было, но зато... В общем, хозяйка была им вполне довольна. Около года он у них проработал. Как сыр в масле катался. А потом... Что ж, потом — обычная история. Богатым синьорам быстро все надоедает. Появился Гульельмо — наглый, нахальный парень, бывший матрос, на голову выше Сильвано. Вот его и расчитали... Но зато год пожил. Потом на заработанные деньги купил себе эту старушку гондолу, отремонтировал ее и вот живет до сих пор. Ну, а потом женился, пошли дети...

Тут он тяжело вздохнул.

Пока он говорил о той счастливой поре, когда ходил подпоясанный красным поясом и зубы у него были белые, а волосы черные, весь он как-то преобразился, подтянулся, даже вроде помолодел. Глядя на него, смело можно было поверить, что лет этак тридцать, даже двадцать тому назад он довольно-таки бойко покорял женские сердца. Но когда рассказ дошел до женитьбы и детей, он стал серьезен и даже грустен.

Посмотрев на меня, спросил:

— Дети есть?

Я сказал, что нет.

— Правильно! — Он кивнул головой, но, заметив мое недоумение, добавил: — Хороший сын — хорошо, плохой — плохо.

Я удивился: Аугусто произвел на меня очень приятное впечатление, да и сам старик, по всему видно было, гордился им. Но выяснилось, что кроме Аугусто и Джузеппе, у него был еще один сын, старший, — Микеле.

— Микеле, Микеле... — с грустью сказал он. — Такой хороший был. Когда пикколо, маленький, — хороший-хороший. Как анджело. Глазки — небо. И волосы — тонкий, тонкий, золотой, до сих пор, — он коснулся плеча. — Картинка, анджело! И добрый-добрый. Целовал много. Потом — больше, больше, больше... — Сильвано встал и показал, каким большим стал Микеле, на голову выше его. — Шестнадцать лет. Очень красивый, большой и много-много девочек.

Но девочки — это было бы еще полбеды. Микеле вступил в организацию «авангардистов» — молодежную фашистскую организацию. Тогда



все или почти все подростки состояли в «авангардистах» — иначе нельзя было, но Микеле увлекся этим и в двадцать лет стал заправским фашистом. Ходил в черной рубаше с черепом, чем-то там командовал, на всех наводил страх. Стал пить, по ночам пропадал в ресторанах. Потом, в тридцать четвертом, отправился в Абиссинию; вернулся оттуда весь в крестах и медалях. Повесил в комнате громадный портрет Муссолини, стал приводить своих товарищей — наглых крикунов, которые целый вечер пили вино, хвастались и распевали фашистские песни. Дошло до того, что как-то вся эта пьяная компания, напившись, пристала к Сильвано, чтобы он вступил в фашистскую партию — из-за него, мол, Микеле не повышают в должности, — и когда он отказался, говоря, что в политику никогда не вмешивался, они так избили его, что он до сих пор на одно ухо не слышит.

В этом месте Сильвано часто-часто заморгал глазами, потом, взяв нож, долго что-то вырезывал на столе.

— А сорок четвертый год убили Микеле. В Анцио, англичане, десант. Командир батальона был. Бомба — тр-рах! — ничего не нашли. Нет могила... — И, помолчав, добавил: — И не надо. Такой сын не надо могила.

Тут он заплакал.

Потом вынул из бокового кармана ветхий бумажник и показал мне фотографию Микеле. С небольшой, помятой от долгого ношения, потрепавшейся карточкой, сощурив глаза, смотрел на меня красивый белокурый парень с маленькими черненькими усиками, в фашистской форме, весь украшенный знаками отличия. Взгляд был веселый, тонкие губы чему-то улыбались. Рука лежала на пистолете.

— В Сталинграде, — сказал Сильвано, пряча карточку, — сержант, русский, очень похож Микеле. Высокий, волос длинный, усы маленький, но белый. Валя. Фамилия не помню. Конвой. Чай, хлеб, табак давала. Уши морозил, перевязывала... А Микеле уши бил...

Больно было смотреть на этого несчастного отца. Ведь он любил своего сына. И конвоира Валью поэтому полюбил. Не только потому, что тот ему чай и хлеб давал и уши перевязывал, — он был лицом похож на его сына.

Сильвано встал, разлил остатки водки, старательно, капля за каплей, потом попросил у хозяина лист бумаги, аккуратно завернул бутылку и запрятал ее в карман.

— Тебя помнить... Цветы туда, — он поднял свой стакан, — Россия помнить!

Я никогда не забуду этих слов, сказанных Сильвано, Инкорпоре, венецианским гондольером, пятнадцать лет тому назад подвизившим на своей кляче снаряды, один из которых, возможно, когда-нибудь пролетел и над моей головой, а может быть, разорвался где-то совсем рядом и убил моего друга.

«Россия помнить! Тебя помнить! Цветы туда...»

Повествование мое подходит к концу. А о многом еще не рассказано. Говоря о Капри, я забыл рассказать о нашем визите к старому писателю Эдвину Чекно, у которого мы просидели не меньше часа, и пили кофе, и рассматривали книги, и слушали его воспоминания о Горьком, а потом сломя голову мчались по запутанным каприйским улочкам, сбивая прохожих, боясь опоздать на последний отходящий катер. Не рассказал я и о поездке в Джандзано, где на улице встретился нам мэр города, который с увлечением стал показывать «свои» владения, а потом завел в какое-то глубокое винное подzemелье и заставил пробовать вино из каждой бочки. Не рассказал и сотой доли того, что хотелось бы рассказать о произведениях итальянского искусства. О том, например,

как стояли мы перед леонардовской «Тайной вечерей» и я впервые подумал, что бог, вероятно, все-таки существует где-то там, высоко, за облаками: американская бомба прямым попаданием угодила в трапезную, где находится это величайшее произведение искусства, разрушила все стены, а самой фрески даже не поцарапала.

Но разве обо всем расскажешь?

И все же я не могу не сказать хотя бы несколько слов о тех, кто так внимательно и дружелюбно встречал нас, кто сопровождал в поездках по стране, показывал города и музеи, кто заботился о том, чтобы нам везде было удобно и весело, знакомил со страной, ее людьми и нравами, водил по трапаториям, кормил макаронами с сыром и сногшибательными «бистекке дьяболике», поил вином...

Поил вином... О, итальянское вино!

Просмотрев написанное, я с ужасом обнаружил, что ни одна из описанных встреч не обошлась без него. Что поделаешь, такова уж судьба членов любой делегации, особенно в этой стране, которая стоит на втором месте после Испании по потреблению алкоголя, если верить данным Интернационального бюро по борьбе с алкоголизмом, опубликованным в «Статистическом ежегоднике» за 1936 год.

В Италии нас поили и кормили как на убой (на это, кстати, жалуются и итальянцы, побывавшие у нас в Союзе). Блюда — одно вкуснее и аппетитнее другого. И все так красиво, с таким изяществом приготовлено. Подвозят к тебе столик на колесах, а на нем громадные, шевелящиеся клешнями омары или трепещущая еще рыба... Вот эту, пожалуйста! И через минуту рыба уже перед тобой. А за рыбой — мясо, за ним еще что-то, и еще, и фрукты, и сыр, а до этого был еще суп и ко всему вино...

И так по три раза в день. И каждый день. И в каждом городе. Я до сих пор холодею при воспоминании о тех минутах, когда наши друзья, взглянув на часы и весело улыбнувшись, говорили: «Ну, а теперь делу конец, пора обедать... Куда пойдём?»

Равенна. Чудесный город, византийское искусство, мавзолей Теодориха и Галлы Плагидии, церкви Сант-Аполинаре ин Классе и Сан-Витале, всемирно известные мозаики и саркофаги, кружевная резьба капителей, могила Данте... Все это я видел, но, когда сейчас при мне произносятся слово Равенна, я в первую очередь вспоминаю лукулловские обеды и смеющиеся лица равеннцев, или, как они по-итальянски себя называют, равеннатов.

— Есть никогда не вредно, — хохотали они, наливая бог уж знает который стакан вина. — И пить тоже. Посмотрите на нас, какие мы толстые и веселые. Ну, давайте, давайте...

Но я уже ничего не мог — ни давать, ни принимать.

Увы, далеко не каждому итальянцу подвозят на столике трепещущую рыбу и далеко не все так уж толсты и веселы, но когда я сидел за столом в Порто-Корсини, где равеннцы особенно постарались не ударить лицом в грязь, мне пришло в голову, что в той палатке на главном здании Всемирной выставки в Риме о народе поэтов, святых, ученых и так далее явно не хватало каких-то слов о кулинарии.

Но хватит об этом. Вернемся к хозяевам.

Их было много, очень много. И в Риме, и в Турине, и в Милане, и в Венеции, и в Равенне, и во Флоренции. С одними мы проводили много времени, с другими — поменьше. С одними ездили по стране и разговаривали о разных разностях, с другими больше сидели за столами и производили тосты.

Мне очень жаль, что с Чезаре Дзаваттини, большим художником, одним из вдохновителей, создателей и теоретиков итальянского неореализма, с которым мы сидели совсем рядышком на прощальном вечере,

мы обменялись только тостами и несколькими словами через чье-то плечо. То же произошло и с Альберто Моравиа, и с Пратолини, и с Эдуардо де Филиппо. Меньше, чем того хотелось бы, виделся я и с Карло Леви. Мне удалось, правда, побывать в его мастерской, посмотреть его работы, но и это было в какой-то спешке, нужно было торопиться на поезд в Неаполь. Не состоялась и автомобильная поездка по Сицилии с Данило Дольчи и Пирелли, а как бы это было интересно! Не удалось повидаться и с Джанни Родари. Время, время! Никогда его не хватало.

Прощаясь, Карло Леви все качал головой.

— Напрасно, напрасно вы уезжаете. Остались бы еще на месяц-полтора. Я позвоню в министерство иностранных дел — вам сразу же продлят визы. Поживите, приглядитесь. Ведь вы фактически ничего не видели. Носились по стране как угорелые. А я вас устрою где-нибудь на частной квартире. Хотите — в городе, хотите — в деревне. Ведь вы деревни-то и не видали. А итальянскую деревню надо знать, обязательно надо. Ну? Звонить в министерство?

Как дьявол-искуситель, стоял он передо мной, невысокий, полный, улыбающийся, и рисовал картины, одну соблазнительнее другой. Маленькая деревушка где-нибудь в Кампании. Козы, виноградники, обед в тени олив, стаканчик холодного вина из погреба. Или Сицилия — страна серных рудников, полуфеодалных латифундий, разбойников и таинственной Маффии. Или небольшой городок, вроде тех, которые мы видели, пересекая Апеннины по дороге из Флоренции в Рим, где тихо, спокойно, только колокольный звон с утра до вечера звон. Или, наоборот, Турин, Милан, Генуя — большие промышленные города, заводы, фабрики...

Я только слушал и качал головой: дела, дела, что поделаешь, домой надо...

И все же, как ни мало я пробыл в Италии, а увидеть кое-что удалось. И все это благодаря нашим друзьям, нашим хозяевам.

Пьетро Цветеремич, высокий, чуть сутулый, всегда усыпанный пеплом от не покидающей рот сигареты, неунывающий и мило рассеянный, сопровождал нас по Турину и Милану. Он один из редакторов журнала «Реальта Советика», кроме того, занимается переводами, в частности перевел и мою книгу на итальянский язык. С ним весело и просто. К тому же он неутомим. На крышу Миланского собора — пожалуйста, на ярмарку — с удовольствием, поехать куда-нибудь в машине — сам поведет. Только через каждые полчаса надо обязательно выпить чашечку кофе «эспрессо» — без этого он не может.

Когда мы расставались с ним в Милане — он срочно должен был выехать в Болонью, где печатается его журнал, — я даже взгрустнул. Но на смену ему приехал Умберто Черрони, так же как и Цветеремич, активный член общества «Италия — СССР», юрист, преподаватель Римского университета, — маленький, живой и ничуть не менее веселый. С ним мы ездили в Венецию, Равенну, Флоренцию. По-русски говорит он не слишком бойко и почему-то заливается хохотом, когда слышит русское слово «похороны» («ну, до чего же смешное слово!»), но это нисколько не мешало нам подружиться.

Подружились мы и с Орацио Барбьери, генеральным секретарем общества «Италия — СССР», депутатом парламента от компартии, щуплым, подвижным флорентийцем, в квартире которого на самом почетном месте висит русская балалайка, и с видным критиком Карло Салинари, одним из редакторов журнала «Контемпоранео», и с молодым симпатичным Антонио Лавакки из Флоренции, и с миланцем Криппа, который так мучился, когда не мог достать нам черных костюмов для посещения Ла Скала, и с веселыми, приветливыми римлянками Лизой Фоа и Ледой Предери.

Никогда не забуду день нашего отъезда из Рима в Турин. В этот день мы ездили в Джендзано, потом мотались целый день по городу и в гостиницу свою прибыли за полчаса до отправки на вокзал. Поднялась обычная предотъездная суета. Лиза лихорадочно пришивает пуговицу, Леда гладит на столе рубаху. Везде раскрытые чемоданы, разбросанные по кровати брюки, что-то укладывается, что-то, самое важное, не могут найти, поминутно звонит телефон.

И во всем этом, во всей этой веселой, бестолковой суете, было так много чего-то родного, близкого, русского, что на какую-то долю секунды мне показалось, что мы сейчас едем не в Турин читать лекции о путях развития советской литературы, а просто куда-то в Славянск или Краматорск на очередную студенческую практику...

Простота, естественность, веселость, умение сразу стать человеком, которого, кажется, ты уже давно знаешь, — вот отличительная черта итальянца, будь он с севера или юга, писатель или чернорабочий, старик или совсем молодой парень.

Я знаю, итальянцы со мной не согласятся, начнут говорить что-то о ломбардцах и сицилийцах, которые ни в чем, мол, не схожи друг с другом. Может, это и так, не спорю, но я говорю сейчас о своем впечатлении, а у меня оно именно такое.

Есть, правда, и исключения, без этого не бывает. Итало Кальвино, например, или Витторио Страда.

Итало Кальвино — молодой, но уже достаточно известный в Италии, да и за ее пределами, писатель. Познакомились мы с ним в Турине. Он председательствовал на нашем вечере. Очень бледный, худой, интеллигентный, немного грустный и иронический, он сидел рядом со мной в ресторане, и мне как-то особенно обидно было, что я не умею говорить по-итальянски, что не читал его книг и что через какой-нибудь час мы расстанемся, так ни о чем толком и не поговорив. А он один из талантливейших, интереснейших писателей современной Италии. У нас были напечатаны две-три его новеллы. Неужели же для того, чтобы с ним по-настоящему познакомиться, надо специально изучать итальянский язык? Неужели нельзя прочесть его книг по-русски?

Кстати, именно поэтому — потому, что мы мало еще знакомы с современной итальянской литературой, — я не позволил себе коснуться в этом очерке сложного пути ее развития за последние годы.

С Витторио Страда я познакомился заочно. Он перевел мою книгу для издательства Эйзнауди, и на этой почве у нас завязалась переписка. Меня всегда поражали его письма. Поражали не только хорошим русским языком, но и прекрасным знанием русской литературы, особенно XIX века. Он литературовед и критик, статьи его часто появляются в римском «Контемпоранео».

Встретились мы с ним в Милане. Подошел ко мне высокий, сутуловатый, коротко стриженный человек в очках — это было, кажется, в помещении общества «Италия—СССР» — и отрекомендовался. Я обрушился на него с объятиями и какой-то тирадой. Он несколько испуганно посмотрел на меня и не без труда проговорил: «Медленно, медленно...» Выяснилось, что он, человек книжный, словарный, почти совсем не понимает живой русской речи. Он много, очень много читал (я это понял, когда попал к нему на квартиру и увидел сотни русских книг и журналов, расставленных на полках), но никогда не разговаривал по-русски.

Сейчас Страда живет в Москве, он аспирант Московского университета и не только прекрасно понимает, что ему говорят, но и сам очень неплохо говорит. Жалуется только, что в Москве слишком много итальянцев, с которыми приходится часто встречаться, а он хочет говорить по-русски.

Витторио совсем не похож на итальянца, во всяком случае на итальянца из фильмов де Филиппо. Он спокоен, сдержан, немногоречив, обстоятелен, вдумчив. Он любит рыться в книгах, часами сидеть в библиотеках. Книги для него — все. Когда он впервые попал в СССР, на фестиваль, на первом же делом отправился к букинисту и на все скопленные деньги купил «Литературную энциклопедию». А потом не хватало денег на трамвай. Книги — его страсть. Он страстный человек. И в этом он итальянец.

Все, о ком я сейчас пишу, — наши друзья. Все они члены общества «Италия—СССР», в их симпатиях к нашей стране ничего удивительного нет. Но, оказывается, не только члены общества, не только коммунисты тянутся к нам.

Как раз когда я был в Италии, в одной из римских больниц умирал Курцио Малапарте — крупный итальянский писатель, публицист, журналист. Путь Малапарте не прост и, может быть, даже не совсем понятен. При фашистском режиме он много писал. Его знал и почитал Муссолини. Во время войны Малапарте (настоящая его фамилия Зуккерт, он немец по происхождению, но итальянец по языку и культуре) был корреспондентом фашистской газеты на русском фронте. Впрочем, статьи его не пришлись по вкусу Муссолини, и Малапарте вынужден был покинуть Россию. Но, так или иначе, обвинить его в особой симпатии к ней и к строю ее довольно трудно. Не знаю, что послужило толчком или поводом, но в последние годы в писателе произошел какой-то перелом. Будучи уже стариком, к тому же очень больным, он поехал в Китай. Это было в 1956 году. В Китае болезнь его обострилась, и он должен был спешно, в сопровождении врачей, самолетом вернуться в Италию. По дороге в Китай и на обратном пути, совсем уже больным, он на несколько дней задержался в Москве.

Сейчас он лежал в одной из лучших римских больниц. Он умирал.

Мне сказали, что визит к нему может его обрадовать, и, хотя все это не совсем мне было понятно, мы отправились к нему в больницу.

Он лежал в отдельной просторной, светлой палате, почти недвижимый, бледный, худой, подтянув к самому подбородку одеяло. Сестра, впустившая нас, сказала, что для нас сделано исключение, и просила дольше пяти минут у больного не сидеть, он очень слаб.

Да, он был слаб, очень слаб. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось говорить. И он говорил. Говорил с жаром, горячностью, с трудом переводя дыхание, часто прерываясь.

— Ведь вы не читали меня. Наверное даже не читали... А может быть, это даже и хорошо, что не читали... Тогда послушайте... Вы человек молодой и писатель молодой, а я старый, очень старый. Я многое видел. И многих видел. Разных людей, очень разных. Всех национальностей, всех рангов, всех положений... Сейчас я был в Китае. Я не буду о нем рассказывать. Я напишу книгу. Обязательно напишу! Я видел Мао Цзэ-дуна. Я хочу добиться того, чтобы народный Китай был признан.— Тут он мучительно улыбнулся.— Я знаю, что вы думаете: он умирает, ему жить всего неделю, а он хочет книги писать... А вот хочу. И напишу. И не умру... И не одну, а две. О Китае и о вас... Я был в Союзе дважды — во время войны и вот сейчас, всего несколько дней. И я хочу — я не имею права о вас не написать. Вы понимаете, не имею права... Потому что у вас, ну как бы об этом сказать, у вас другие люди. И у вас и в Китае. Не такие, как мы. Таких я еще не видал. Теперь я их увидел. Я их еще не знаю, я их только видел, но не узнать их нельзя... Поэтому я и не имею права умирать... Ведь правда, не имею?

Глаза его блестели, он покрылся испариной, он задышался, но говорил, говорил, говорил. Мне даже стало страшно при виде этой энергии,

этой страсти, этой жажды жизни, которой через несколько недель суждено было оборваться.

Маллапарте умер. Последние дни в маленькой приемной у его палаты бесшумно дежурили савоннейшие духовники Ватикана — он был протестантом, а они хотели, чтобы он умер католиком. Но он умер не католиком и не протестантом, он умер коммунистом — за несколько дней до смерти он вступил в компартию.

---

Километрах в пятнадцати от Равенны, на берегу лагуны, есть местечко Сан-Альберто. Попали мы туда вечером: рано утром мы выехали из Венеции, в девять были в Ферраре, а еще через час — в Равенне. Как нас встречали в Равенне, я уже говорил, поэтому объяснять, почему мы попали в Сан-Альберто, вряд ли стоит. Просто равенцам по каким-то только им известным причинам показалось, что кормить нас ужином надо именно в Сан-Альберто.

Покормили, потом вышли на улицу. И тут кто-то сказал: «А не зайти ли нам в Народный дом?» Зашли, а там как раз собрание пенсионеров.

Сидели пенсионеры в довольно большом, заставленном скамейками зале. Сцена с провисающей проволокой от занавеса. Справа и слева по несколько ступенек. На сцене стол. На столе графин и стакан. За столом человек пять — президиум. Все как-то очень напоминало наши колхозные собрания. И люди вроде похожи — простые лица, тяжелые руки, на женщинах платки.

Как и всегда, я мало что понимал из того, что говорилось. По очереди кто-то подымался на сцену и начинал говорить, и его перебивали из зала, и председатель стучал стаканом о графин, и в зале было накурено, и кто-то против этого протестовал, а курение все продолжалось — одним словом, все было совсем так, как и у нас на многих собраниях.

К концу его, когда кое-кто уже стал выходить, как-то совсем неожиданно для нас выяснилось, что надо выступить. Просто так, поприветствовать стариков пенсионеров.

Было поздно, мы дико устали, и вообще от одного слова «выступление» меня уже начинало бросать в дрожь. Но что поделаешь — надо.

Я вышел на сцену. После бесчисленных сегодняшних встреч, обедов и стосов мой словесный запас настолько истощился, что я решил ограничиться обычным приветствием, начинающимся со стандартного «разрешите...» Но уже на четвертой или пятой фразе я заметил, что зал постепенно начал наполняться. И не только стариками. Появились люди и помоложе, в основном крестьяне, рыбаки, появилась и совсем юная молодежь — парни и девушки.

Я смотрел на лица сидевших передо мной людей, обветренные, морщинистые, не по-итальянскому суровые, очень внимательные и сосредоточенные, и вдруг почувствовал, что у меня нашлись слова.

Во втором ряду передо мной сидел худой горбоносый крестьянин лет сорока, в сдвинутом на ухо берете, с незажженной сигаретой во рту. Слегка наклонившись вперед, сдвинув брови, он внимательно слушал. Лицо его казалось мне знакомым. Но нет, я его нигде не видел. Просто оно было похоже на лица тех партизан — такие же горбоносые и в таких же беретах, — фотографию которых мне показывали сегодня в Альфонсино, небольшом городке километрах в десяти западнее Сан-Альберто.

В годы войны область Эмилия прославилась своими партизанами. Альфонсино был центром этого движения. Здесь шли упорные бои. Ровно двенадцать лет тому назад, 10 апреля 1945 года, город был

освобожден от немцев. Освобожден партизанами. Обо всем этом нам рассказали сегодня утром, когда мы проезжали через Альфонсино по пути из Феррары в Равенну.

Мы недолго там пробыли. Нас провели на кладбище, где находится монумент погибшим в боях альфонсинским патриотам, а на прощание вручили несколько партизанских медалей с просьбой передать их кому-нибудь из наиболее отличившихся советских партизан, что мы по приезде домой, конечно, и сделали.

Сейчас же я смотрел на сидевшего передо мной горбоносого крестьянина, на его соседа, седого бородатого старика, с лица которого, по-видимому, никогда уже не сходит загар, так прочно он к нему пристал, на другого, с костылями, зажатыми меж колен, на десятки молодых и старых лиц, мужских и женских, в большинстве своем серьезных и даже немного напряженных. Смотрел на них и понимал, что передо мной сидят не просто пенсионеры, собравшиеся для того, чтобы отстоять какие-то свои, неизвестные мне, права, а сидят люди, многие из которых двенадцать лет тому назад сжимали в своих руках автоматы. И именно поэтому так внимательно слушали они перевод слов о том, как воевали наши солдаты в Сталинграде. И хотя, возможно, среди присутствовавших находились отцы, матери и жены тех, кто погиб под Сталинградом, мне было ясно, что город этот стал символом победы не только для нас.

Я это с особой силой понял, когда вспыхнули вдруг аплодисменты, когда я пожимал твердые, огрубевшие ладони, когда слушал сбивчивые, горячие слова немолодого, с засунутым в карман пиджака рукавом крестьянина, который говорил о русских военнопленных, сражавшихся плечом к плечу с партизанами бригад Гарибальди — «Марио Джордини», «Романья», «Аурелио Тарони» и многих, многих других.

А на следующий день в старинной базилике Сант-Аполлинаре ин Класе среди гранитных и мраморных надгробий я увидел высеченную на камне надпись: «Wladimir Peniakov (1896—1944)». Откуда он, кто он, этот Владимир Пеняков, я не знаю. Знаю только, что он русский, сражался на итальянской земле за то же, за что мы сражались на своей. Его похоронили далеко от его дома, в базилике Сант-Аполлинаре, возле Равенны. И, стоя над его могилой, я невольно вспомнил слова безрукого крестьянина из Сан-Альберто: «Нас и сыновей наших гнали в Россию убивать русских, а русские защищали нас. И в Сталинграде и здесь, в Эмилии».

---

Двадцать седьмого апреля истек срок моей визы. В этот день, до полудня, как написано было римской квестурой в моем паспорте, я должен был пересечь государственную границу. Я пересек ее около девяти часов утра где-то между Аостой и Моданой, в районе Альп. На следующий день в 16.45 я был уже в Москве.

С того дня прошел год с небольшим. За этот год произошло много событий — и у нас, и в Италии, и во Франции, и вообще во всем мире. Я не буду о них говорить, они всем известны. Они на многое влияют — и на то, что ты можешь сегодня купить, и о чем будешь думать и говорить, и насколько спокойно будешь спать. Никак не утихомирится наша планета. Но сейчас, год спустя, когда я вспоминаю то небольшое количество дней, которые я провел в Италии, когда вспоминаю людей, с которыми встречался, будь то во дворце партии Гвельфов, под сенью старинных цеховых знамен, или в дешевой остерии, насквозь пропитанной запахом оливкового масла, или в уставленной книгами квартире писателя, или в накуренном зале Народного дома, или просто на улице, какой-нибудь Виа дель Корно, я вижу лица этих людей, вижу

их глаза — весело улыбающиеся или сосредоточенно что-то соображающие, слышу их голоса, и мне трудно поверить, что есть на свете такая сила, которая могла бы поссорить людей, желающих дружить. Нет такой силы! Даже Гитлер и Муссолини не могли этого сделать, а они были мастерами своего дела.

Когда на римском аэродроме я прощался с провожающими, меня спросили, не забыл ли я бросить монету в фонтан Треви,— верный способ еще раз побывать в Италии. Я этого не сделал. Тогда, осуждающе покачав головами, мне дали монету в пятьдесят лир.

— Ухитритесь как-нибудь из самолета ее выбросить, иначе...

И я ухитрился. Монета упала где-то в районе Чивитавеккиа, на северо-запад от Рима. Авось ветер не отнес ее в море, и мне суждено еще побывать в Италии и увидеть и узнать то, крохотную долю чего я увидел и узнал в дни первого знакомства в апреле прошлого года.





---

---

# ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

МИЛАН ЯРИШ

★

## СПОКОЙНАЯ ЖИЗНЬ

*Милан Яриш (р. 1913) — известный чешский новеллист и драматург. Участник чехословацкого Сопротивления в годы второй мировой войны. Узник фашистского концлагеря. Публикуемый рассказ взят из его сборника «Они придут».*

**З**аключенный № 6796 проснулся от звуков гонга у ворот лагеря. Приподнявшись на локте, он увидел, что по всему бараку с нар встают люди в нижнем белье и крутятся пыль, поднятая их одеялами. Заключенный № 6796 снова натянул на себя одеяло и прикрыл глаза. Он слышал резкий голос старосты барака, сгонявшего опоздавших с нар, но продолжал лежать. У него было право понежиться лишнюю минутку под одеялом, около теплой спины соседа. Он был уже «старичок», и его номер давал ему преимущества, каких не имели заключенные с большими номерами. Это был номер еще тех времен, когда численность заключенных в лагере не должна была превышать семи тысяч. Новички получали номер только после смерти кого-нибудь из старых заключенных. Сейчас в лагере уже более ста тысяч нумерованных заключенных, и четырехзначный номер стал признаком кое-каких привилегий, с которыми считались даже эсэсовцы. Заключенного с этим номером староста и писаря знали как «циммермана»<sup>1</sup>, заключенные-испанцы — как «чеко»<sup>2</sup>, а товарищи по бараку — как Тонду.

Тонда понежился с минуту под одеялом и, когда схлынул поток людей в умывальной, где узники шумели, толкались и брызгались, слегка толкнул локтем своего соседа по нарам и стал натягивать брюки, которые были сложены у него под головой. Натянув их, он спустился с нар, перебросил рубашку через руку и, хмурясь, пересек набитое людьми помещение, где у столов и около котла с кофе толпились заключенные. Заглянув через их головы в котел, Тонда увидел, что там осталось только немного гущи на дне. Вернувшись из умывальной, он повесил свое полотенце в шкафчик, так, чтобы оно прикрыло буханку хлеба и несколько кулчков и пакетиков, и обратился к ближайшему соседу:

— Угости-ка меня кофе, Пепик.

— Не очень-то мне хочется угощать тебя, — сказал тот, подавая ему белую кружку. — У меня с сахаром.

— За мной не пропадет, — проворчал Тонда, выпил кофе, надел куртку и вышел из барака.

Свежий ветер разгонял клочья тумана около выкрашенных желтой краской барачков. Над восточным холмом на затянутом дымкой небо-

---

<sup>1</sup> «Циммерман» (нем.) — плотник. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> «Чеко» (нем.) — чех. (Примеч. перев.)

склоне всходило солнце. Все предвещало погожий осенний день. Тонда шел мимо стоявших группами заключенных. Все они были одеты кто во что горазд, но на спине у каждого был вырезан бубновый туз, подшитый полосатой тюремной тканью. Тонда шел, зажав в зубах свою короткую массивную трубку, и, видимо, кого-то искал. Наконец в одной из групп он увидел сухощавого очкастого, выбритого до синевы человека в тщательно выутюженных брюках.

— Доброе утро, маркиз,— сказал Тонда, подавая ему руку и переступая с ноги на ногу.— Весьма польщен...

Сухощавый поднял брови и с комическим усердием вытер руку о полу пиджака.

— Чему обязан, граф? — произнес он, старчески шамкая.— Чему обязан иметь честь приветствовать вас?

Тонда взял его под руку и отвел в сторонку.

— Трепачи, поголодали бы вы, как мы в сорок втором году, не стали бы паясничать! — проворчал кто-то им вслед.

Тонда показал на свою прокуренную трубку.

— Есть у тебя закурить?

— Не сердись, приятель, но у меня ничего нет,— ответил сухощавый, сделав кислую мину.— Мой бездельник, видно, сам собирает окурки. Мне ничего не досталось.

Под «бездельником» подразумевался оберштурмфюрер, у которого сухощавый арестант был в услужении. Раздосадованный Тонда уже не слушал товарища, который рассказывал, что эти сукины дети, эсэсовцы, теперь сами берегут окурки. С тех пор как Тонда стал есть досыта, научился уносить под пальто со склада чистую хорошую одежду, которую получал по блату, и перестал бояться удара кулаком или дубинкой на каждом шагу, он иногда впадал в меланхолию. Некоторое время назад он снова начал курить и выменял на кусок хлеба эту трубку у одного немца, который украл ее у новичка-француза. С тех пор, если Тонда не выкуривал с утра одну-две трубки, у него бывало скверное настроение. Сейчас он прогуливался со своим сухопарым приятелем в проходе между бараками, ожидая свистка, после которого заключенные расходились по рабочим местам. Новички, таскавшие камни или возившие тяжелый трамбовочный каток на строительстве дороги, с дроганием ждали этого сигнала. Но те, кто работал в мастерских, где заключенные изготовляли разные вещи для спекулятивных махинаций эсэсовских офицеров, радовались, заслышав звук свистка, потому что в мастерских у них были устроены тайники, а в тайниках спрятаны картофелины и маргарин, добытые в эсэсовской кухне, лук, украденный на огороде, и разная другая снедь, без которой у заключенного постепенно опухали ноги, оттопыривались уши, а голова начинала болтаться из стороны в сторону. Таким заключенным капо из крематория часто говаривал бодрым тоном:

— Ну, ты у меня скоро задымишь!

С полгода назад Тонда стал видной фигурой среди заключенных. Однажды его послали за какими-то досками на склад, находившийся за особой оградой из колючей проволоки. Там стоял барак, служивший плотничьей мастерской, и сарай, где были сложены ценные сорта лесоматериалов. Сняв шапку, Тонда в ожидании переминался с ноги на ногу за спиной эсэсовского унтер-офицера, который, указав складскому капо на большой штабель досок, сказал:

— Каждую доску промерить, все сосчитать и доложить мне, сколько тут квадратных метров.

— На это потребуется много времени,— сказал капо, почесав в затылке.— Целый день.

Тонда на глаз прикинул длину досок, быстро сосчитал, сколько их сложено в высоту, потом кашлянул и сказал на своем ужасном немецком языке:

— Осмелюсь доложить, этих досок тут будет пять тысяч метров.

Капо хотел дать Тонде по зубам, но унтер-офицер остановил его.

— Твоя профессия? — спросил он Тонду.

— Плотник, — соврал Тонда.

— Если здесь не будет пяти тысяч метров, получишь двадцать пять ударов кнутом, — заключил эсэсовец.

Штабель промерили, подсчитали, оказалось действительно пять тысяч метров. Тонду назначили сперва помощником, а потом заведующим складом лесоматериалов. Лагерное начальство не давало со склада ни одной доски на ремонт барачков и на всякие мелкие починки, но требовало, чтобы барачки содержались в полном порядке. Поэтому к Тонде приходили капо из разных блоков покупать или «организовывать» доски. Приходя, капо обычно вытаскивал откуда-то из штанины кусок маргарину в промасленной бумаге, бросал его в ящик под столом Тонды и только после этого заводил разговор о том, что ему нужно.

В те дни в Маутхаузен привозили участников словацкого восстания. Все это были исхудавшие, истощенные тюрьмой и долгой дорогой люди. На печурке в плотничьей мастерской Тонды вместо столярного клея ежедневно варились десятилитровое ведро густой похлебки, и он подкармливал новичков.

Сегодня, идя на работу в группе столяров и плотников, Тонда нарочно замедлял шаг, чтобы оказаться в хвосте колонны, когда они будут проходить мимо огорода. Там, в парнике под трубой парового отопления, у него было припрятано несколько луковиц. Чтобы забрать их, Тонде нужно быстро сбежать с насыпи, заскочить в парник, рассовать луковицы по карманам и догнать свою группу. Пока все шло хорошо: Тонда отстал от своих и уже собрался было спуститься с насыпи. Но тут к нему подошел столяр, шагавший в последнем ряду, и взял его под руку.

— Слушай-ка, — сказал он, — в лагере военнопленных люди мрут с голоду. А среди наших есть такие, у которых в шкафчиках плесневеет хлеб.

— Таких надо вешать, и точка! — категорически сказал Тонда и остановился, надеясь таким путем избавиться от товарища.

Однако тот снова взял его под руку и повел дальше.

— Вот ты, Тонда, теперь встречаешься с такими богачами. Ты мог бы каждый вечер собирать для голодных хлеб, который у них остается. Понимаешь, мы носим его в котле пленным русским.

— Ладно, я так и сделаю, — сказал Тонда и снова остановился. — Вечером принесу тебе хлеб.

— Да что ты все останавливаешься? — рассердился столяр. — Пойдем!.. И вот что я тебе еще скажу — есть у нас такие, что думают: «Лишь бы мне уцелеть как-нибудь». Мол, мы в лагере, какая уж тут активность! Так вот — я тебе говорю — когда-нибудь каждого из нас спросят: «А что ты делал в лагере?»

— Это верно, — сказал Тонда. Он уже забыл о луковицах, ему хотелось знать, куда метит столяр. — А почему ты говоришь об этом мне?

— Видишь ли, — неторопливо ответил столяр, — я хотел напомнить тебе, что для коммуниста нет в мире места, где он не мог бы ничего сделать.

Они шли молча, и Тонда размышлял. Несколько недель назад один товарищ сообщил ему, что он, Тонда, включен в состав партийной группы и может выполнять только задания, полученные через него. Сейчас в словах столяра Тонда снова услышал голос организации и с радостью

отметил про себя, что нити организации тянутся далеко и партийных групп в лагере, видно, немало.

Однако Тонда остался внешне невозмутимым.

— Вот что, приятель,— сказал он,— верь моим словам: если ты имеешь в виду вовлечь меня в группу, то я не могу.

Столяр удивленно поглядел на него и только протянул: «А-га!»

У ворот они разошлись по своим местам. На прощание столяр сказал как бы невзначай:

— Знаешь толстого писаря из лазарета? Он велел тебе передать, чтобы ты сегодня зашел к нему.

Придя в мастерскую, Тонда, как обычно, начистил картошки и поставил ведро на огонь. Шустрый испанец уже затопил плиту. Вскоре из строительной команды пришли за досками. Тонда отмерил их, сэкономив при этом несколько метров для своих обменных операций, и записал расход в книгу. Потом из тайника в стене он вынул трубку с длинным чубуком, смешал на листе бумаги горсть немецкого травяного чая с нюхательным табаком и, выпустив первый клуб дыма, зажмурил от удовольствия глаза. У верстаков вдоль стен работали испанцы; по быстроте, с какой они орудовали рубанками, можно было безошибочно заключить, что они заняты работой для себя. Тонда не сводил глаз с калитки, потому что в этом коллективе заключенных он был не только хранителем материалов, но и стражем безопасности. Покурив, он почувствовал, что настроение у него улучшилось. Тонда попробовал похлебку, потом вспомнил, что надо зайти к писарю в лазарет. Он снял сапоги, спрятал их в тайничок в стене и обул стоптанные башмаки, чтобы не привлекать к себе внимания эсэсовцев. Взяв ящичек на ремне, в котором лежал кое-какой инструмент, Тонда положил на плечо обрезок доски и отправился.

Лазарет находился на площадке в южной стороне лагеря. От каменной лагерьной ограды его отделяли спускавшийся уступами сад, шоссе и крутой, заросший травой откос. Лазарет был виден как на ладони: два ряда барачных без окон (в прошлом конюшни) за двойной оградой из колючей проволоки. Шестеро часовых с пулеметами на вышках стерегли узников лазарета. Весной между больничными бараками лежала непроходимая грязь, летом — тучи пыли. Сейчас, под осень, глинистая земля была плотно утоптана ногами тысяч людей.

По дороге Тонда размышлял о цели приглашения. Прежде он частенько заходил в гости к писарю, но потом ему показалось, что этого круглолицего, неторопливого человека в очках не интересуют его визиты, и Тонда прекратил их. Мысленно он подчас упрекал товарища: «Пристроился, живешь спокойно, никто тебе не нужен, и ни о ком ты не беспокоишься. А ведь в твоём положении можно бы помочь многим».

Тонда подошел к воротам лазарета, отрапортовал у дверей караульной будки, что он плотник и должен починить двери, и вошел. У стен барачных были навалены голые трупы. Тонда отметил про себя, что их много больше, чем в последний раз. Четверо заключенных были заняты погрузкой: они брали мертвецов за руки и ноги и, раскачав, бросали на телегу. На сторожевой вышке, обвитой колючей проволокой, потягивался и зевал эсэсовец.

Тонда открыл дверь барака, и на него пахнуло запахом карболки, йода и нечистот. Вдоль стен тянулись два ряда двухэтажных нар, посередине был узкий проход. В полутьме были видны только первые четыре нары, покрытые простынями и одеялами в полосатых чехлах. В проходе двигались обнаженные костлявые фигуры больных. У дверей торчала дощатая каморка старосты, а по другую сторону двери стоял покрытый бумагой стол. За ним сидел писарь и с помощью линейки чертил на четвертушке бумаги какую-то таблицу.

Он подал Тонде крепкую мясистую руку и придвинул ему табуретку.

— Ну, как живешь? — спросил он, продолжая чертить. Гласные он произносил протяжно. — И что-о-о поде-елыва-аешь?

Тонда глядел на его большую круглую голову и вертел в руках клещи, которые вынул из ящика, на случай если кто-нибудь посторонний войдет в барак. Писарь заметил эту предосторожность и сказал:

— Можешь не бояться. К нам сюда никто из тех, — он кивнул в сторону лагеря, — не ходит. Ну, рассказывай, что подделываешь.

— Да вот, — протянул Тонда, — учусь считать. Пока голодал, всю арифметику позабыл. Голод все стирает в мозгу, как с доски. Теперь учусь сначала. Страшно утомительно.

— Та-ак, та-ак, — усмехнулся приятель и кивнул. — Ну, а еще что делаешь?

Тонда захотелось похвастать: «Да вот устроил у себя кухню для бедняков, варю им похлебку. Знаешь, как у нас когда-то безработные ходили в монастырь за тарелкой супу, так теперь ходят ко мне партизаны. Только моя похлебка лучше». Но, увидев улыбку на лице писаря, Тонда вдруг смутился и сказал:

— Сам знаешь... Каждый делает, что может.

Писарь только посмеивался и морщил нос.

— Так, значит, тебе теперь живется хорошо, спокойно?

— Да, — сказал Тонда. — Прямо по-барски.

— И одежда у тебя хорошая. — Писарь толстыми пальцами помял ткань Тондовых брюк. — На складе небось по знакомству достал, а?

— Да... Дело, видишь ли, в том, что хорошо одетого заключенного эсэсовцы меньше бьют. Они, сволочи, как-то считаются с этим.

— Ну, еще бы! — Писарь вдруг уткнулся в бумаги. — Скажи, а мог бы ты раздобыть еще один такой костюм?

— Безусловно! — сказал Тонда и поглядел на потрепанные брюки приятеля. — Завтра я тебе принесу.

— Э, нет, — махнул рукой писарь. — Это не для меня. Я не франт, для меня хороши и эти.

Он налег всем телом на стол и наклонился к Тонде.

— Нужна твоя помощь. Одному человеку в «зондерлагере» надо принести одежду и вывести его оттуда. Возьмешься?

— А почему нет?

— Только это надо сделать сегодня днем. Я тебе скажу, как найти его.

— Ладно. Сегодня так сегодня.

— Отведешь его в лазарет к профессору и больше ни о чем можешь не заботиться.

— Ладно.

Писарь встал, прошелся около стола мелкими шажками, какими ходят приземистые толстяки, порылся в бумагах, словно ища что-то, и очень коротко, но ясно объяснил Тонде все задание. Потом он сказал:

— А теперь уходи. Чем меньше народу увидит тебя здесь, тем лучше.

Тонда встал, бросил клещи в ящик и подал приятелю руку.

— Так смотри, запомни хорошенько все приметы, делай все, как я тебе сказал, — добавил писарь самым обычным тоном. — ...А если проваляшься, — он вдруг взглянул Тонде в лицо и левой рукой слегка хлопнул его по плечу, — то держись!.. Ну, до свидания!

— До свидания! — ухмыльнулся Тонда, перекидывая через плечо свой ящик. — Будь покоен.

Писарь еще с минуту в раздумье перебирал бумаги на столе, потом, словно вспомнив что-то, быстро пошел по проходу между нарами. На

одной из них в глубине, у стены, лежал совершенно голый человек. Сухая кожа его местами была сморщена, а на груди натянута, как на барабане. Одеядо сбилось к голенастым ногам, руки бессильно лежали вдоль тела, остекленевший взгляд был устремлен в потолок.

Писарь наклонился к этому человеку. Он лежал один; двое других больных с тех же нар, брезгая умирающим, собрали последние силы и присели на корточки у стены барака.

Почувствовав, что кто-то взял его за руку, умирающий перевел взгляд на писаря, и в его глазах появился проблеск сознания.

Писарь присел на корточки, чтобы лучше слышать больного, и спросил:

— Ну как?

Больной не ответил и снова безразлично уставился в потолок. Писарь положил руки на его ввалившиеся щеки и повернул голову больного лицом к себе.

— Ты семейный? Жена, дети есть?

Больной попытался качнуть головой и прошептал потрескавшимися губами:

— Нет.

— Где тебя арестовали? — продолжал писарь, стараясь говорить отчетливо, чтобы человек мог угадать вопрос по движению губ.

— В Бреславле, — прошептал тот, и его дыхание слегка участилось.

— Тебя зовут Иржи Майер? — настойчиво расспрашивал писарь.

Больной только прикрыл глаза в знак подтверждения и больше не реагировал на вопросы. Писарь снял у него с шеи жестяную бляшку с номером и накрыл одеялом до самой шеи. Потом он пошел к выходу и увидел у своего стола молодого человека в белом медицинском халате.

— Ну что, есть? — спросил тот.

— Есть, — сказал писарь, и лицо его приняло озабоченное выражение. — Но такие дела никогда нельзя делать так наспех.

— Дай сюда, — нетерпеливо сказал врач и протянул руку. Писарь вынул из кармана жестяной номерок, снятый с умирающего.

— Иржи Майер из Бреславля. Дата прибытия совпадает. Если ничего не случится, твой человек сегодня днем будет у профессора. Объясни ему, что к чему, и приведи сюда.

Врач ушел, а писарь стал ходить между нарами и осматривать больных. Нашлось двое умерших. Одного из них писарь велел отнести на кучу трупов за бараком. Минувал полдень. Умирающий на третьей койке все еще дышал. В половине третьего писарь вспомнил о Тонде и подумал, что Тонда наверняка засыпался и нуждается в помощи. Кого бы и под каким предлогом послать в «зондерлагер»? Потом он вспомнил, с какой уверенностью ходит повсюду Тонда, и успокоился.

Когда Тонда возвращался из лазарета, ему вдруг захотелось петь. Запеть бы сейчас одну из тех революционных песен, от звука которых распрямляется грудь и ноги шагают сами. Тонда казался себе необыкновенно значительным и сильным. Он даже свысока поглядел на эсэсовца у ворот, рапортуя ему об уходе. «Ничего ты не знаешь», — подумал он.

По лестнице он поднялся почти бегом, чтобы убедиться, что в ногах у него не осталось и следа той слабости, какую он испытывал во время голода. Тонду волновала мысль о том, что он получил задание. Разумеется, он и раньше делал кое-что для товарищей, но это всегда бывало по собственной инициативе, как-то кустарно, для своих ребят. Сейчас же — он понимал это — он выполняет не просьбу приятеля-писаря, а партийное поручение. Это уже не пустяк, вроде сбора хлеба для советских пленных. Конечно, сбор хлеба — тоже задание партии, но оно по силам каждому. Сейчас другое дело: надо выкрасть человека из лап эсэсовцев и

увести его в безопасное место. Для такого дела нужны особые способности.

А писарь-то каков, а! На вид такой безразличный ко всему человек, а вот, поди-ка, вызывает Тонду и дает ему партийное задание!

Тонда забыл, что писарь ни разу не произнес этих слов. По мнению Тонды, каждая мелочь этого дела свидетельствовала о том, что оно было важным. Он не знал и не мог знать, что такие задания уже выполняли и будут выполнять и другие заключенные, на которых он обычно не обращал внимания, считая их совершенно незначительными людьми.

Погруженный в эти возвышенные мысли, Тонда чуть не натолкнулся на эсэсовского офицера и только в последний момент успел сорвать с головы шапку, за что получил презрительный взгляд. Этот инцидент несколько охладил его, и Тонда стал думать, как же все-таки выполнить задание. Но сколько он ни думал, ничто путное не приходило ему в голову. И когда он днем явился в спецлагерь и там нашел человека, которого нужно было вывести оттуда, у него все еще не было продуманного плана. На Тонде к этому времени было два костюма. Человек переоделся в один из них. Увидев, как висят брюки на его отошавшем теле, Тонда решил, что этот человек не может быть видной фигурой, за которую он его принял в первом увлечении заданием. Человек держался даже робко и внимательно слушал все, что говорил ему Тонда. Это придало Тонде самоуверенности.

— Этот самый лагерь, — начал объяснять он своему протеже, — я знаю как свои пять пальцев. Я его сам строил. Все вы тут — заключенные без номеров, это значит, что вы подлежите ликвидации. Вон там, погляди, — он показал на высокую металлическую трубу, — там крематорий. Все вы вылетите в эту трубу. Другим заключенным запрещено ходить сюда, а вам не велено выходить из «зондерлагера». Только я могу ходить повсюду, потому что я плотник, циммерман. Вот сейчас ты возьмешь мой ящик с инструментом, а у ворот отпрапортуешь караульному мой номер. Вот так. — Он показал человеку, как надо вытянуться в струнку и гаркнуть свой номер. — Когда выйдешь за ворота, иди все прямо, через весь лагерь, а в конце сверни налево и иди вдоль стены. Пятый барак будет последний. Войдешь туда и спросишь профессора. А если тебя остановит эсэсовец, скажи: «Иду чинить дверь в лазарете». Понял? «Тюре репарирен»<sup>1</sup>. Ну, шагай!

Человек взял ящик и пошел к выходу. Он еще раз вопросительно оглянулся на Тонду, словно желая убедиться, что все это правда.

— Погоди-ка, — остановил его Тонда. — Когда придешь к профессору, сорви номер с куртки и с брюк. Номер-то это мой. А если засыплешься, прыгни на колючую проволоку. В ней ток. Один момент, и тебя нет в помине. Ну, иди.

Человек ушел. Тонда глядел ему вслед и видел, как беглец подошел к воротам, снял шапку, отпрапортовал караульному в будке. Тот зачеркнул карандашом номер, который записал, когда Тонда вошел в лагерь. Только теперь Тонда полностью осознал, что плотник с его номером покинул «зондерлагерь», а он, Тонда, остался здесь узником без номера, предназначенным к ликвидации. Ему вдруг стало жалко себя. Он вернулся в пустой барак, сел у стены и задумался. Постепенно он начал понимать, что дело не только в нем. Если он после работы не вернется в свой барак, его начнут искать и могут открыться вещи, о которых он и сам не имеет представления. Вспомнился приятель писарь и то, как он похлопал Тонду по плечу. У Тонды мурашки пробежали по спине. Что же это я наделал! Дали тебе задание, а ты? Вел себя, как хвостун, как идиот, а

<sup>1</sup> «Тюре репарирен» (нем.) — чинить дверь. (Примеч. перев.)

не как партиец. Теперь Тонда даже мысленно не решался произнести слово «партия». Ему все время вспоминался момент прощания с писарем.

Вдруг он ощутил внезапный прилив энергии. Где-то тут должна быть небольшая стремянка. Тонда нашел ее в другом конце барака, взял на плечо и направился к углу ограды. Здесь его не было видно со стороны ворот. Тонда приставил лесенку и полез через стену.

— Эй, куда ты? — заорал по-немецки эсэсовец с соседней вышки.

«Ага, — подумал Тонда. — Он не стреляет, это уже хорошо. Значит, с ним можно разговаривать». И он закричал на своем ужасном немецком языке:

— Я ничего. Я плотник. Я на склад, принести досок и сразу цурюк<sup>1</sup>.

— Слезай со стены! — крикнул эсэсовец. — Иди через ворота.

Тонда для убедительности даже приложил руки к груди.

— Да ведь я репарирен барак... Я нуждаться одна доска, ворота далеко. Я сразу назад.

Эсэсовец щелкнул замком пулемета и скомандовал:

— Слезай со стены, не то застрелю!

И Тонда соскочил вниз, даже не воспользовавшись стремянкой. Он отнес ее на место и направился к бараку, откуда вывел своего человека. Староста выгнал всех заключенных на двор, только четверо их оставались в бараке и мыли пол, а сам староста разбирал грязное белье и бросал его на носилки. Тонду он знал, потому что не раз покупал у него доски.

— Ты еще тут? — приветствовал он плотника. — Сматывай-ка удочки. Мы ждем гостей, и не к чему тебе здесь болтаться.

— Отправляешь белье в дезинфекцию? — спросил Тонда.

— Иди, иди, некогда мне с тобой разговаривать.

— Слушай-ка, Франц, — сказал Тонда таким тоном, что староста поднял голову. — Пошли их отсюда. — Кивком он показал на заключенных, которые скребли пол.

Староста выпрямился, еще раз пристально посмотрел на Тонду, потом гаркнул:

— Эй вы, четверо, марш на двор!

Когда они остались одни, Тонда тихим голосом произнес:

— Ты не ругайся, Франц, но уйти я не могу, потому что один человек из твоего барака вышел по моему номеру. А ты должен помочь мне выбраться отсюда.

Староста несколько секунд переваривал услышанное, потом взвизгнул:

— Ты с ума сошел! Я сейчас же отведу тебя к воротам и доложу охране, вот что!

— Этого ты не сделаешь, — покачал головой Тонда. — Тогда я скажу, что в твоём бараке у меня украли ящик с инструментом, я, мол, не заметил этого, и ты будешь вместе со мной расхлебывать кашу... а может быть, еще и сам.

Пальцы старосты конвульсивно сжимались и разжимались.

— Ах ты сволочь, ты бандит, я тебя убью и закопаю под полом, свинья ты этакая!

— Слушай, Франц, я всегда шел тебе навстречу. Заключенные у тебя не учитываются, не все ли тебе равно — одним больше, одним меньше? Разреши мне нести носилки в дезинфекцию, а когда придешь обратно, скажи, что одного из носильщиков ты пристукнул. Мы тебе доставим труп из крематория.

— Чтоб ты лопнул! — плюнул староста. — Экая чертовщина! — Он ходил по бараку, плевался, махал жилистыми руками и грозил кому-то.

<sup>1</sup> «Цурюк» (нем.) — обратно. (Примеч. перев.)



Потом подскочил к Тонде, вlepил ему затрещину и сказал: — Убить тебя мало, свинья ты проклятая! Лезь на носилки!

Тонда лег на носилки, поджал ноги, а староста принялся забрасывать его грязным бельем.

— Задушy тебя, паскуда! — ворчал он. — Хоть бы вши тебя сожрали по дороге, что ли!

Потом Тонда услышал, как староста позвал носильщиков, и носилки закачались на ходу. Мерзкий запах грязного белья душил Тонду, что-то ползло у него по щеке. «А что, если староста просто сбросит меня с носилок в воротах, перед самым носом эсэсовцев?» — думал он.

Носилки остановились, и Тонда ждал, что вот-вот староста донесет о нем. Носильщики почему-то долго не брались за носилки. Тонда вспомнил, что в этом месте даже нет проводов высокого напряжения, так что в случае провала ему не отделаться легкой смертью. Потом он услышал шарканье ног и скрип ворот. Носилки снова закачались. Тонда чувствовал, что носильщики идут под гору, носилки поставили на землю, послышался голос старосты, который отсылал носильщиков прочь. Потом носилки перевернулись, и Тонда выкатился на свет божий.

— Проваливай, свинья, и чтобы я больше никогда не видел тебя в моем бараке! — закричал староста.

Они находились в подвале недостроенной больницы. Тонда все же протянул старосте руку. Ему хотелось сказать тому что-нибудь теплое. Но Франц подтолкнул его в ту сторону, где в темноте виднелся другой выход, и сказал:

— Чтоб ты лопнул!

И Тонда побежал. Бегом он приблизился к пятому баракy и осторожно заглянул в коридор. Тут он сразу же увидел свой ящик с инструментом, взял его и поспешил к воротам. Ворота он миновал уверенно, как старый заключенный и плотник.

За воротами лагеря вдоль гранитной ограды находились лазарет для эсэсовцев, лаборатория и политическое отделение. Около лазарета Тонда встретил знакомого заключенного, который работал в политическом отделении.

— Я спешу! — шепотом ответил знакомый, когда Тонда заговорил с ним. — Сегодня ночью эсэсовцы собираются ликвидировать группу людей из четвертого барака в зондерлагере. Там пытались спасти одного человека... Я как раз несу бумагу об этом в комендатуру.

— В четвертом бараке? — оживился Тонда, потом задумчиво кивнул и проворчал: — Да, тут уж ничего не поделаешь...

Он пожал плечами и, сбгнув лазарет, вошел в лабораторию. Там работал старый инженер, хороший человек. По большей части он сидел там один, без присмотра эсэсовцев. Увидев Тонду, он испуганно встал из-за стола.

— Что у тебя за вид, Тоник? Здоров ли ты?

— Что-то живот схватило, папаша, — сказал Тонда, потирая себе под ложечкой. — Нет ли у тебя капельки спирту?

Инженер отер руки об арестантскую куртку, взял с полки бутылку, отлил в мензурку немного спирту, долил его водой и подал Тонде.

— Это запрещено, — сказал он, — но уж раз тебе плохо... Наверное, ты съел что-нибудь нехорошее, а?

— Наверное, — согласился Тонда и нетвердой рукой поднес мензурку ко рту.

— Но в общем тебе сейчас живется спокойно? — спросил инженер.

— Спокойно, папаша, спокойно, — подтвердил Тонда. — Скажи, ты знаешь старосту Франца из зондерлагера? Что это за человек?

— Знаю, — сказал старый инженер. — Это австрийский коммунист. В лагере он с тридцать восьмого года и немного упал духом. А что?

— Да так, — сказал Тонда и поднялся, чтобы уйти. — Спирт очень помогает. Мне уже лучше.

Выйди Тонда из лаборатории чуточку раньше, он увидел бы, как тощий человек, из-за которого он пережил малоприятные минуты под грудой грязного белья, идет вместе с молодым доктором от ворот к больничному лагерю. А если бы он мог слышать их разговор, то услышал бы следующее:

— Запомни: Отто Врублевского больше не существует. Он умер сегодня в лазаретном бараке. Тебя зовут Иржи Майер, и ты из Бреславля. Твой номер восемьдесят семь двести тридцать шесть.

— Восемьдесят семь двести тридцать шесть, — шепотом повторил тощий и тихо спросил: — А кто был этот парень, который приходил за мной?

— Не знаю, — сказал врач. — А ты не спрашивай. Кажется, какой-то чех.

*Перевел с чешского Ю. Молочковский.*



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

## У НЕФТЯНИКОВ ТАТАРИИ

### Вышки в пути

— **С**мотрите, да ведь они движутся!  
— Что вы?!

— Говорю же вам — они сошли с места!

— Да, теперь и я вижу...

— Ну, конечно, они идут...

Нас было четверо приехжих в грохочущем грузовике, и всех одинаково поразило поистине необычайное зрелище.

Машина только что одолела крутой подъем и взобралась на гребень холма. Водитель выключил перегревшийся мотор. Мы остановились посреди дороги.

Вдали виднелись вышки. Никто не обратил бы на них внимания, если бы они не стояли слишком близко одна возле другой.

Обычно расстояние между ними измеряется сотнями метров. А эти сошлись почти вплотную.

— Первый раз вижу, чтоб в здешних краях вышкам вроде не хватило места.

— Да, действительно никогда не ставят их так...

Пока мы гадали, в чем тут дело, кто-то заметил, что вышки вовсе и не стоят на месте, как положено таким сооружениям десятиэтажного роста.

Они двигались.

Очень медленно, едва приметно для глаза, они на самом деле «шли» гуськом, и невдомек было, какая сила привела их в движение.

На расстоянии шести-семи километров можно было лишь видеть, что островерхие силуэты, чуть покачиваясь, понемножку приближаются к тонкой мачте высоковольтной линии.

Мы решили изменить маршрут и свернули с шоссе на пыльный проселок.

Шофер немного поворчал, но, думается, лишь для виду: и ему, старожилу, любопытно было поглядеть вблизи, как путешествуют вышки.

Мы поехали навстречу необычному «обозу» и вскоре увидели, что впереди него и почему-то сзади ползут тракторы. Их было, по всей вероятности, никак не меньше двадцати.

Вот уже донесся железный грохот тракторной колонны. Еще несколько минут, и мы выскочили из кузова и воочию убедились, что вышки действительно переезжают на новые места.

Каждая вышка со своим громоздким, стонным оборудованием, чуть приподнятая над землей, покоилась на гусеничных тележках. Они поддерживали ее с двух сторон.

Называют эти тележки «хребтовыми лафетами», что в точности соответствует их назначению.

Перед тем как двинуться в путь, лафеты отрывают вышку от фундамента. Для этого они снабжены мощными гидравлическими домкратами.

Отделившись от своего основания, вышка не прикасается больше к земле до той поры, пока не достигнет намеченного пункта.

Шесть тракторов «С-80» тянули ее за собой, а седьмой шел сзади, придерживая вышку на длинном стальном канате, если нужно было затормозить движение.

На приемном мосту вышки, выдвинутом немного вперед, стоял коренастый, средних лет человек в замасленном ватнике. Отсюда он командовал тракторной колонной.

В грохоте моторов невозможно было бы услышать механика, поэтому он подавал сигналы пронзительным свистом.

Командир зорко наблюдал за тем, чтобы все тракторы двигались равномерно. Стоило одному чуть выдвинуться вперед, и с капитанского мостика звучал предостерегающий свист.

Так, неторопливо, метр за метром, двигались все три вышки.

Я взобрался на капитанский мостик. Дощатый настил под ногами слабо покачивался, словно палуба на тихой волне. Стальная лыжа, на которую он опирался, скользила по земле, приподнимаясь на бугорках, ныряя в рытвины.

Всякий раз при этом командир опасливо оборачивался, поглядывая на вышку. Сорвись она с лафетов, нам, пожалуй, не сдобровать бы.

Мы познакомились — его звали Виталием Коравским, — и я спросил:

— Случалось, что заваливалась?

Механик кивнул головой.

— Давно, когда еще не научились как следует, случалось. За все время два раза.

— Никто не пострадал?

— Обошлось. Одна легла прямо на трактор. Водитель не успел высочиться. И хорошо сделал, его в кабине даже не поцарапало.

— А вы где были?

— Здесь, на мосту. Обошлось...

С той поры перетаскивают вышки без всяких происшествий. Научились. И часто вспоминают замечательного конструктора, изобретателя хребтовых лафетов инженера Рогинского.

— Слыхал я, нет его в живых. Это был золотой конструктор.

Коравский сказал, что эти лафеты Рогинского позволили почти полностью прекратить строительство новых вышек.

— Получили мы лафеты, стали таскать вышки во все стороны. Бывало, ждет бригада, пока смонтируют для нее буровую, ходит без дела. А теперь: кончили бурить, снимаем вышку — и через два дня становитесь, ребята, на новую буровую!

— С какой же скоростью мы движемся? Разве нужно два дня, чтобы перебраться на другое место?

— Ездим-то мы, как видите, не на курьерском... Четыре-пять километров в час. Да и маршрут невелик. За день всегда можем управиться. Но нужно еще установить вышку на новом месте, подвести к ней воду, электроэнергию, пар — в общем, оборудовать как следует. И все-таки нельзя сравнить, что было раньше и что теперь. Как стали возить вышки, так сразу и скорости на буровых подскочили... Захлопнули окна.

«Окнами» называют на промыслах то время, которое буровые бригады тратят попусту в ожидании вышек.

С появлением лафетов Рогинского, усовершенствованных здешними специалистами, действительно удалось избавиться от этих постоянных растрат.

Талантливый конструктор оставил по себе добрую память не только в Татарии. Я видел, как нефтяники Дагестана и Баку покоряли недра Каспия, получив стальные эстакады и свайные фундаменты для вышек.

Далеко в море протянулись в Избербаше и от острова Артема свайные дороги, прочно стоят они на большой глубине.

Оригинальные конструкции стальных опор, созданные Рогинским, усовершенствованные другими инженерами, позволили оторваться от берега, уйти в море и достать нефть из-под каспийской волны.

Там, в море, в ста километрах от Баку, вышки стоят на «табуретках». Можно себе представить, что это за «табуретки», если учесть, что каждая весит пятьдесят тонн — три тысячи пудов!

Собирают их на берегу, сваривают из отдельных секций, похожих на гигантские лестницы.

Они лежат у самой воды, вытянув вдоль берега длинные «ноги» из десятидюймовых труб. Сварщики орудуют здесь, словно лилипуты на стальном Гулливере.

Фундаменты высотой в двадцать метров нужно поставить на дно, а затем на такой «табуретке» вырастает вышка.

Если бы советские конструкторы не создали этих прочных оснований для буровых вышек, не удалось бы проникнуть через толщу воды к нефтяным залежам в морском дне.

Каждая вышка — это островок в море, построенный на берегу и приплавший туда, где нужно пробурить скважину.

Случается, несколько дней живут на таком отрезанном от всего мира одиноком островке шесть-семь человек. Они вырвались вперед, ушли в разведку, чтобы со временем и сюда, к новой нефтяной залежи, протянулась надводная дорога.

А пока нужно сверлить морское дно с островка, который в штормовые дни недосыгаем для самых смелых моряков. Невозможно подойти к нему на катере, доставить смену, продукты, воду.

Волны с грохотом ударяют в стальной фундамент, но не могут пошатнуть его, помешать отважным людям продолжать свое дело. И они стоят на своем посту.

На буровой, как на борту корабля, хранится неприкосновенный запас провизии и пресной воды. Его не трогают в обычные дни. Навалится шторм, и мастер скупно делит между вахтенными сухари и консервы.

Из окна дома, который поставлен на сваи в пяти километрах от этого островка, видны ночью огоньки вышки, и, глядя на них, обитатели городка каспийских нефтяников знают: разведчики продолжают бурить скважину.

В положенное время — три раза в сутки — оттуда приходят донесения по радио:

— Прошли двадцать метров.

— Сменили долото.

— Прошли еще двадцать метров...

Радиостанция «Урожай» стоит в бригадном домике возле вышки. Узенький свайный мостик соединяет его с буровой.

Днем можно увидеть в бинокль, как перебегают по мостику рабочие. Волны перекатываются через дощатый настил...

Советские конструкторы, изобретатели, талантливые инженеры дали замечательное вооружение для похода за морской нефтью. Вся эта техника находится в руках умелых и отважных людей.

Они сами вызвались пойти в море, зная, что их здесь ждет. И с гордостью говорят бакинцы о своих товарищах, добывающих нефть за сто километров от берега, на штормовых просторах: «Покорители Каспия».

Пронзительный свист напомнил, что я нахожусь сейчас на движущейся вышке. Механик подал сигнал трактористу: «Не вырывайся вперед!»

Наш «обоз» приблизился к пологому склону, и нужно было с удвоенным вниманием следить за тракторной колонной. «Сталинградец», шедший позади нас, придерживал вышку, не давая ей наклоняться.

Впереди стояли мачты высоковольтной линии, протянутой от Урусинской электростанции к нефтяным районам.

Как ни высоко были натянуты провода, они все же оказались гораздо ниже наших сорокаметровых вышек. И пришлось «раскрыть ворота», как выразился Коравский.

Выключили на два часа ток, предупредив заблаговременно соседний промысел, и сняли провода в том месте, где должны были проследовать вышки.

Вот почему и столпились они на холме. Решено было одним рейсом перетаскать все три на противоположный склон холма, чтобы не нарушать несколько раз нормальную жизнь промысла.

«Ворота» были достаточно широки, чтобы пропустить тракторную колонну и три вышки, следовавшие гуськом на небольшом расстоянии друг от друга. Но спуск оказался в одном месте слишком крутым.

— Придется немного выровнять, — сказал Коравский, остановив колонну.

Тут возникла короткая, но горячая перебранка между бригадой вышечников и представителями конторы бурения. Кто должен был позаботиться загода и срезать бугорок на пути вышек, я так и не понял.

Впрочем, некогда выяснять это в нескольких метрах от «ворот». Ясно лишь, что необходимо побыстрее пройти через высоковольтную линию, снова навесить провода и дать промыслам электрический ток.

Поэтому все дружно навалились на лопаты, и в несколько минут от злосчастного бугорка не осталось и следа.

Снова поднялся на свой капитанский мостик механик, раздалась команда:

— Вира помалу!

Привычный сигнал такелажников, имеющих дело с тяжелым грузом, звучит и здесь, когда нужно сдвинуть с места стотонную вышку.

Заработали моторы, натянув стальной трос, шевельнулись гусеницы хребтовых лафетов. Покачнулся под ногами деревянный настил приемного моста. Движение «обоза» возобновилось.

То, что выглядело бы совершенно недоступным еще несколько лет назад, стало вполне реальным. Что уж более реально, чем эта поездка на приемном мосту вышки!

И ныне еще на многих нефтяных промыслах строят их, потом разбирают, закладывают фундаменты, тратят много дней в ожидании новых буровых.

Не случайно именно здесь, в Татарии, хребтовые лафеты завоевали признание и применяются столь широко.

На здешних промыслах, за редким исключением, все вышки стали подвижными. Их перетаскивают на большие расстояния, через ручьи и реки, поднимают на склоны холмов, увозят иной раз за десять—пятнадцать километров.

Не случайно, повторяю, татарские нефтяники показали пример смелого перехода от устаревших методов к новым, более прогрессивным, выгодным со всех точек зрения.

Там, где могли в невиданно короткий срок разведать огромную нефтеносную площадь и заставили турбобур работать на полную мощность, там и этот отсталый участок нефтяного хозяйства — строительство вышек — быстро подтянули.

Думается, тут сыграли главную роль не только материальные соображения. Кому не известно, что передвижная вышка экономит средства и время? А вот не всюду же, где бурят нефтяные скважины, далеко не везде вы увидите такие «обозы».

Прежде чем они появились на татарских промыслах, нужно было создать большие вышкомонтажные «дворы», где собрана вся необходимая для этого дела техника.

Нужно было обучить людей искусству, которое демонстрирует сейчас бригада механика Коровского, передвигая сразу три вышки.

Понадобилось хозяйское, не показное, вдумчивое отношение к технике, чтобы раз и навсегда покончить с отсталым и утвердить новое.

Да, наверно, не только сухие цифры экономии средств, не только они вдохновляют людей в походе за большой нефтью Татарию.

Размышляя об этом, я даже не заметил, как мы перешагнули через высоковольтную линию и «вышли» на околицу деревни Микулино.

Сбежались со всех сторон ребята, привлеченные редкостным зрелищем, просили нашего командира позволить им «проехаться» на вышке.

Механик был неумолим, он никого не пустил на капитанский мостик. Я чувствовал, что и мое присутствие не очень его радует. Как-никак нарушение правил...

Забыл сказать, что вслед за нашими вышками отправились в путь еще три «блока», состоящие из таких же лафетов; они держали на себе тоже нелегкую ношу — грязевые насосы, моторы, трансформаторы.

Таким образом совершили переход через высоковольтную линию и двинулись дальше не только самые вышки с буровыми станками, но и все, так сказать, приданное им хозяйство.

Едва дождавшись, пока мы пройдем через распахнутые «ворота», монтеры поспешили навесить провода. Можно было возобновить прерванную ненадолго подачу электроэнергии на промысел.

— Уложились в график, — заметил наш командир, поглядев на часы. — А я думал, честно говоря, не успеем. Досталось бы нам...

Два часа не работали буровые бригады одного участка большого нефтепромыслового управления. Конечно, это каким-то образом отразится сегодня на выполнении плана.

Зато не нужно будет тратить целый месяц, чтобы строить, монтировать, разбирать и перевозить по частям вот эти три вышки.

За деревней, на пригорке, нас уже ждут. Место для новой скважины обозначено здесь давно. Две другие будут заложены дальше, туда и повезут остальные вышки.

Длинная траншея чернеет на пригорке. Там работают строители, укладывая трубы для воды и пара.

Свежеоструганный столб стоит еще без проводов возле фундамента. Все здесь готово к приему вышки.

Только что мы осторожно спускались с холма. Теперь «обоз» с той же осторожностью взбирается на бугор. Дорога очищена, все рытвины засыпаны, все выступы срезаны.

Рокочат моторы тракторов. Натянуты толстые стальные тросы. Покрипывают, вдавливаясь в рыхлую почву, гусеницы хребтовых лафетов. Удивительно, как выдерживают они вот уже полдня такую невероятную нагрузку!

Провожаемые деревенской детворой, мы неуклонно подвигаемся вперед.

Если смотреть со стороны, вероятно, покажется, что вышки вот-вот опрокинутся, рухнут, подминая под себя и тракторы, и хребтовые лафеты, и стальные лыжи, и, может быть, того, кто не успеет отскочить в сторону. Наклон вышек с каждым метром становится все более угрожающим.

Но здесь, на капитанском мостике, это менее заметно. И командир спокойно наблюдает за тракторной колонной, одергивает тех, кто вырвался вперед, подталкивает отстающих.

Хорошо видны отсюда все, кто принимает участие в нашем путешествии. Не укроется от командира ни малейшая оплошность.

Опытным глазом следит он за своим отрядом, вовремя отдает распоряжения, и поневоле напрашивается сравнение этой вполне будничной работы с боевой операцией на фронте.

В наш век атомной энергии нефть все же нисколько не утратила и надолго еще сохранит свое значение. Без нефти просто немислимо представить себе современную цивилизацию.

Стоит на секунду допустить, что здесь, в недрах девона, и во всем мире внезапно исчезла нефть, и вот какая картина возникла бы перед нами.

Замерли, не двинулись бы с места автомобили и тракторы, не взлетели бы в воздух самолеты и ракеты, погасли бы электрические лампы там, где ток дают генераторы, работающие на жидком топливе, остановились бы поезда, лишённые топлива для паровозов, тепловозов и смазки для вагонных колес, невозможно было бы одеть в асфальт дороги и тротуары, не вышли бы из портов тысячи и тысячи кораблей с дизельными двигателями, перестали бы вращаться станки, которым нужна нефтяная смазка, погасли бы керосиновые лампы и кухонные примусы, прекратилось бы производство взрывчатых веществ и многих лекарств, красок и небьющегося стекла, непромокаемых плащей и резиновой обуви, покрышек для автомобилей, нейлона, мыла.

Даже эта книга не вышла бы в свет, потому что нефтяные продукты необходимы и для изготовления бумаги, и для типографских машин, и, наконец, для того, чтобы на белый лист легли, оттиснутые краской, эти ровные строки...

Нефть и нефтяной газ — это основное сырье для химии полимеров. В стране будут построены химические комбинаты для переработки нефти и газа.

Вот почему геологи с таким упорством охотятся за новыми и новыми нефтяными месторождениями, проникая в самые отдаленные уголки, не оставляя в стороне ни одного местечка, где полевая разведка заронила, пускай хоть очень малую, надежду отыскать нефть.

Вот почему проникаешься уважением к людям, которые здесь, среди этих холмов, без усталости совершенствуют технику нефтяного дела.

Сегодня они научились перевозить с места на место свои вышки, сократив на многие-многие дни время, отпущенное для разработки Ромашкинской площади.

Это значит, что страна получит раньше, чем намечалось, то количество нефти, какое необходимо для развития промышленности.

Это значит, что на одном, поистине решающем, участке всенародной борьбы за высокий уровень промышленности и сельского хозяйства достигнут выдающийся успех.

Забегая вперед, скажу, что одни эти странствующие вышки сберегли уже сотни миллионов рублей и помогли татарским нефтяникам занять первое место в скоростном бурении скважин.

Вернемся на капитанский мостик механика Виталия Коравского.

День уже догорал, опустилось за дальними холмами солнце, когда «обоз» прибыл к месту назначения.

Умолкли моторы «сталинградцев», обвисли стальные тросы. Хребтовые лафеты бережно опустили вышку на фундамент.



Стемнело. Можно бы тут же подключить к станку и насосам все трубопроводы, но не было еще электроэнергии.

— Пошабашили,— сказал командир, спускаясь с мостика.

Тракторная колонна снова ожила и двинулась в обратный путь. Теперь «сталинградцы» шли на третьей скорости, они возвращались домой налегке.

Я видел в кабинах лица людей, потемневшие от усталости, припорошенные пылью, смешанной с мазутом.

Хорошо поработали сегодня двадцать трактористов, выполнили нелегкое задание. Завтра чуть свет выйдут они на промысловые дороги и вот так же, в облаках бурой пыли, отправятся в Карабаш или Тайсуган, в Миннибаево или Ташлияр и снова впрягутся в «обоз».

Что ни день, где-нибудь нужно перетаскивать вышки. Недолго «засиживаются» они на одном месте. Потому что люди, взявшие в свои руки богатства татарских недр, обрели замечательную способность — быть постоянно в пути.

Всюду видишь это движение вперед: и в поисках нефтяных залежей, и в разработке найденных месторождений, и в развитии промысловой техники, и в овладении знаниями, нужными для того, чтобы покорять своей воле силы природы.

Не могу забыть разговор с Мариной Николаевной Кабардиной, заведующей вечерним отделением Московского нефтяного института имени Губкина в Лениногорске. Мы сидели в светлой, просторной аудитории, где только что закончилась лекция геолога.

Студенты — мастера, техники, механики, операторы, рабочие — окружили лектора и вышли вместе с ним в коридор.

Марина Николаевна рассказывала о том, как возникло отделение московского института, какие созданы факультеты, сколько преподавателей привлечено для чтения лекций, и вдруг в этот суховатый перечень вплелись такие идущие от сердца слова:

— Приходят они с промыслов очень утомленные. Иной не успеет и домой забежать переодеться. А как учатся! Можно преклоняться перед таким рвением к науке!..

Сто студентов и семьдесят слушателей подготовительных курсов Лениногорского вечернего отделения института имени Губкина — это первый отряд татарских нефтяников, задумавших стать инженерами и геологами без отрыва от производства.

За ними двинулись по этому же нелегкому пути двести мастеров и рабочих Альметьевска. Открыто еще одно вечернее отделение, в Бугульме, при научно-исследовательском институте.

Через четыре года нынешние первокурсники будут защищать дипломные проекты. Соберутся на торжественный вечер выпускники, придут к ним друзья, и тогда прозвучат, наверно, взволнованные слова о людях, которые и здесь, в аудиториях, и на нефтяных промыслах Татарии — всюду в пути, постоянно устремлены к новым горизонтам.

### Берег Степного Зая

Деревня Тайсуган удобно расположилась в узкой ложбинке вдоль правого берега реки Степной Зая. На противоположной стороне, в пятистах метрах, поднялась буровая вышка.

Отсюда, с площадки «верхового», видны как на ладони вытянувшаяся по берегу ложбинка и все ее нехитрые постройки: две неровные строчки рубленых изб с плетнями приусадебных огородов, приземистое, с крохотными оконцами длинное здание фермы, магазин под железной кры-

шей, пропеллер ветряного двигателя, поднятого на тонкой мачте в центре села.

Вряд ли кому придет в голову, что с этой вышки, поставленной в полукилометре от Тайсугана, на другом берегу реки, сверлят землю как раз под деревней, под ее широкой улицей, где сейчас прогуливается колхозное стадо, выпущенное с фермы на весеннее солнышко.

— Сегодня врезались под магазин сельпо. Дня через три доберемся и до фермы.

Бурильщик Шамиль Туюшев поглядел в другую сторону и указал на дорогу, по которой шла колонна машин,— каждая тянула за собой на прицепе тележку с бурильными трубами.

— А второй ствол вывели уже вон туда, под дорогу.

Два ствола введут с одной вышки к нефтяной залежи. Отсюда и название этой буровой — «двустволка». Обе скважины бурят с наклоном, чтобы разошлись в разные стороны их стволы.

Здесь, на вышке, расстояние между ними измеряется сантиметрами. А когда закончится бурение, между забоями будет добрых полтора километра.

«Двустволку» поручили бригаде Нургалеева. Еще в Бавлах этот мастер обнаружил умение прокладывать глубокие скважины быстро и без всяких аварий. Недавно он прошел за месяц три тысячи метров, потом перешагнул через этот рубеж и добавил еще тысячу к первому рекорду.

Нургалеев, можно сказать, вырос вместе с промыслами Татарии. Сперва на бавлинских вышках, потом в Альметьевске; в Новой Письманке прошел он школу скоростного бурения, учился у старых мастеров, таких, как Юдин, Ефимов, Гайфуллин.

Он был «верховым», когда ударили фонтаны в Бавлах, в Ромашкине. Сегодня ему уже доверили наклонные скважины.

Быстро растут люди там, где все вокруг в движении, где непрестанно совершенствуется техника. На такой благодатной почве полнее раскрываются и дарования человека, перед ним всегда большой простор для приложения своих сил.

Помнится, в Бавлах в пятьдесят втором году Нургалеев самостоятельно вел всего лишь третью или четвертую скважину и достиг небывалой по тем временам скорости, пройдя тысячу метров за месяц.

Беседа тогда с молодым мастером, наблюдая за тем, как он руководит своей бригадой — такими же молодыми рабочими, можно было по достоинству оценить не только энергию, упорство, увлеченность человека, хорошо усвоившего сложную технологию скоростного бурения, когда насосы гонят в скважину промывочную жидкость под давлением ста атмосфер и турбобур совершает чуть ли не предельное число оборотов в недрах земли.

Видно было также: этот непоседливый, как-то весело, с задором работающий мастер проявляет ту же смелость, что привела разведчиков к невиданным темпам исследования Ромашкинской площади и позволила резко повысить нагрузку на долото, спарить дизели, насосы и создать новый, так называемый форсированный, режим бурения.

Мастер на буровой вышке мог расправить крылья, ничто его не стесняло, он работал в той поистине вдохновляющей на большие дела творческой атмосфере, какая отличала с первых же дней татарские нефтяные промыслы.

Когда я спросил, не очень ли рискованно вести глубокую скважину с таким, как мне показалось, предельным напряжением оборудования, Нургалеев просто ответил:

— Я не один так работаю. Нужно только не теряться...

Нужна была, конечно, еще решимость и спокойная уверенность, что люди, с которыми идешь на этом пределе, ни в чем не подведут и тоже никогда не будут «теряться».

Тут уж многое зависело от самого мастера, от его умения воспитать в своей бригаде чувство высокой ответственности за каждый шаг.

По-видимому, Нургалеев, несмотря на молодость, уже в те годы обладал такими качествами, иначе не мог бы в столь короткий срок подняться на один уровень с лучшими мастерами Татарии.

На берегу Степного Зая не застал я сегодня, спустя пять лет, Нургалеева — он поехал в контору бурения «выколачивать рубашки для насосов», как сообщил бурильщик Туюшев. В ожидании мастера я мог ознакомиться с его «двустволкой».

На первый взгляд буровая ничем не отличалась от других, где не ведут одновременно с одной вышки две скважины. Стоял здесь такой же станок Уралмаша с могучим стальным барабаном подъемной лебедки и массивным вертлюгом.

Но рядом с ротором, в котором была зажата бурильная колонна, виднелось еще одно отверстие, из него тоже торчала наружу труба. Это было устье второй скважины.

Как я уже говорил, скважины бурят таким образом, что они все больше удаляются одна от другой, по мере того как долото уходит в глубь земли. В противном случае два ствола могли бы где-нибудь сойтись.

Однажды в Баку сошлись вот так на большой глубине две скважины. Мастер допустил ошибку, изогнул ствол не по заданному «азимуту» и врезался в соседнюю скважину.

То было настолько редкостное происшествие, что о нем, помню, долго говорили на всех промыслах, приводили его как пример грубейшего, неслыханного нарушения правил проходки наклонно-направленных скважин.

Именуются они так потому, что это не просто кривые скважины, а изогнутые в заранее определенном направлении.

Смотришь, как уходит в землю, погружаясь вместе с долотом, бурильная колонна, и не сразу можешь догадаться, как же будут сверлить еще одну скважину рядышком. Ведь для этого нужно передвинуть — пусть даже на небольшое, полуметровое, расстояние — всю колонну. Не вышку же переставлять для такой операции!

Я терпеливо ждал. Вот уже погрузился в землю весь «квадрат», который соединяет бурильную колонну с вертлюгом и змеевидным шлангом, идущим от нагнетательных насосов. Наступило время сменить долото. Туюшев поднял «квадрат», спрятал его в шурф и принялся с помощью двух рабочих извлекать из скважины одну за другой все «свечи».

И тут обнаружилось, что неподвижный кронблок — он поддерживает на весу многотонный груз бурильного инструмента на самой макушке вышки — обрел способность передвигаться с места на место.

Туюшев включил мотор, и вся громадина подъемника уползла в сторону.

Кронблок переместился ровно на такое расстояние, какое разделяло внизу два устья наклонных скважин.

И когда он повис над вторым стволом, поднятая вверх «свеча» спокойно опустилась в отверстие второго ствола.

Там оставался лишь турбобур с изогнутой над ним первой трубой. Эта «кривая труба» уводит скважину в избранном для нее направлении. Сомкнув край «свечи» с торчавшей из второго ствола трубой, Туюшев снова включил моторы, и весь груз нырнул в ствол. Это повторялось многократно, до той поры, пока вся бурильная колонна не перекечевала в соседнюю скважину.

— Понимаете, в чем тут дело? — спросил Туюшев, воспользовавшись минутным перерывом. — На обычной буровой нужно все трубы поднять для смены долота, отставить их в сторонку, вот на эти подмостья. А потом с новым долотом спустить опять в ствол. Время пропадает, можно сказать, совсем зря. Пока меняешь долото, бурить, конечно, нельзя. Съедают эти подъемы и спуски всю нашу премию... Буришь два часа, потом три стоишь на месте. С «двустволкой» дело совсем иное. Вот я вынул трубы, а они не стоят без дела. Верхняя труба стала самой нижней во втором стволе. Все трубы перекочевали в соседнюю скважину. Теперь я смену долото в первой скважине и оставляю его на устье. А вторую можно сразу пустить в ход, там уже новое долото опущено до забоя.

Все дальнейшее произошло в точности так, как об этом рассказал бурильщик. Вахта вынула трубы и сменила долото на первой скважине. Передвинулся в сторону — последний раз — подъемник, подключили снова шланг, и проходка возобновилась.

Только теперь долото сверлило землю не под деревенским магазином, а на противоположном берегу Степного Зая, под асфальтом дороги.

— Верховому у нас делать нечего, — заметил Туюшев, подзывая шустро черноглазого паренька в лихо заломленной набекрень крохотной промасленной кепке. — Сняли, брат, тебя с высокого поста. Так я говорю, Батыров?

Паренек засмеялся.

— А мне тут с вами веселее. Стоишь там один на голубятне, ветер, скука...

На «двустволке» нет нужды отставлять в сторону трубы, и «верховой» спустился со своей площадки, снял предохранительный пояс и помогает вахте здесь, у ротора, управляться с бурильной колонной.

Но не только этим, разумеется, привлекает татарских новаторов двухствольное бурение. С одной вышки одним оборудованием можно, оказывается, сразу вести две скважины, получать при этом огромную экономию в затратах на каждый метр проходки, уплотнять вынужденные простои и, наконец, достать нефть под руслом реки, под деревней Тайсуган, а если понадобится, то и под любым городом, который вырастет на этой земле.

Сколько ни бьются лучшие механики, инженеры, мастера, не могут они избавить проходку нефтяных скважин от больших потерь при подъеме и спуске инструмента.

Если бы появилось сверхпрочное долото, чтобы можно было вовсе не менять его до нефтяного пласта, скорость бурения скважины, самой сложной и глубокой, увеличилась бы в несколько раз.

Таких необычайно стойких долот нет, но уже появляется инструмент повышенной прочности.

На промыслах США, например, гораздо реже меняют долото. Интересно отметить, что даже при таких еще неравных — с точки зрения качества инструмента — условиях проходки татарские мастера опередили американских нефтяников в механической скорости.

Средняя механическая скорость — это «чистая» проходка, то время, которое затрачивает бригада только на бурение.

И обнаружилось, что татарские нефтяники успевают пройти в среднем за один час тринадцать-четырнадцать метров, а американские мастера, вооруженные гораздо лучшим долотом, за это же время бурят в среднем четыре метра.

Всю скважину наши мастера должны, таким образом, провести быстрее, чем американцы. И проходка на одного рабочего в год у нас должна быть гораздо выше.

Наши мастера слишком часто прерывают производительную работу и теряют бесполезно время на подъем и спуск труб.

Сдерживает наших мастеров, не дает им развернуться во всю их силу также весьма примитивная механизация буровых работ. Слишком много на вышке ручного труда. И притом нелегкого. Просится сюда автоматика! Но конструкторы еще не дали надежных, тоже прочных автоматов, которые могли бы заменить ручной труд. Несколько попыток в этой области сперва порадовали рабочих, а потом оказались не на высоте требований буровой техники.

Даже самые совершенные автоматы не могли бы полностью освободить вышку от непроизводительных операций, от постоянных потерь времени на спуск и подъем бурильных труб чуть ли не каждые два-три часа. Тут может выручить только крепкое, надежное в любых условиях долото.

Не последнее место займут и вот такие «двустволки», которые появляются на промыслах Татарии. На вышке Нургалеева уже сберегли больше пятидесяти часов при смене долота, и только потому, что бурят одновременно две скважины.

А долото, к сожалению, здесь такое же, как всюду: поработает часа два-три — и вон из скважины...

Вот швырнули его на деревянный помост — выщербленное, вконец изношенное. Хорошо еще, что удалось пройти двадцать шесть метров. А ведь бывает, что пятнадцати не пройдешь — и все зубья сработаны, и, как ни нажимай на него, не двинешься вперед даже на метр.

Бурильщик Туюшев жалуется:

— Долото здорово отстало от турбобура.

Да, этот инструмент уже «не по росту» нефтяным промыслам, где сверлят, дробят пласты с помощью самой лучшей в мире подземной турбины. Похоже на то, как если бы в моторе автомобиля, что может мчаться со скоростью ста шестидесяти километров в час, поставили раз и навсегда ограничитель, не позволяющий делать больше семидесяти километров.

— Слышал я, — продолжает Туюшев, — где-то испытали новое долото повышенной прочности. Чуть не сто метров проходки дает. Вот бы сюда нам такого скорохода!

Хочется верить, что «скороходы» не заставят себя долго ждать. Ну, а пока приходится бурить наклонно-направленную скважину тем же отставшим от роста промысловой техники, устаревшим инструментом.

От шоссе направилась к вышке светло-серая «Победа». Ныряя в ухабах, она с трудом преодолевала расстояние, отделявшее магистральную дорогу от «двустволки» на берегу Степного Зая.

— Мастер едет, — сказал Туюшев и окинул настороженным взглядом буровую.

Все здесь было как будто в полном порядке. Только что смыли водой и паром налипишие на доски комья глины, убрали и поставили на свое место цепной ключ и тяжелые клинья элеватора.

— Батыров! — позвал бурильщик «верхового».

Тот прибежал, в руке — жестяная кружка.

— Расчаевничался, — неодобрительно сказал Туюшев. — Убери, — кивнул он в сторону, где лежало вынуженное из скважины долото.

Батыров поспешно выкатил его из буровой и столкнул в подтаявший снег.

Бурильщик застыл на своем месте, не отрывая глаз от большого циферблата измерительного прибора.

Хлопнула дверца автомобиля. Вошел Нургалеев. Туюшев не повернул головы, взгляд его по-прежнему был прикован к измерительному прибору.

Мастер поздоровался со мной и шагнул к «прокурору». Так называют автомат, регистрирующий все, что происходит на буровой.

Подняли «свечу» — и перышко скользнет по разграфленному круглому листку, похожему на мишень для стрельбы, и беспристрастно отметит, сколько минут потратили на это дело.

Стояли, не бурили скважину и в то же время не занимались никаким другим полезным делом — и это обязательно запишет «прокурор».

Он зорко следит за вахтой, не пропуская ни единого промаха, и точно фиксирует каждое ее достижение.

Человек неопытный увидит на бумаге лишь зигзагообразную, расплывчатую линию. Мастер или бурильщик, взглянув на «прокурора», сразу определит, на какой глубине находится инструмент, сколько времени ушло на каждый метр бурения, с какой нагрузкой работало оборудование.

— От него не спрячешься, — шутят бурильщики. — Все видит, строчит да строчит...

Не знаю, что настроил «прокурор», но лицо Нургалева не повесело, после того как он с минуту постоял возле него.

— Долго возились с перекантовкой, — бросил он, не оборачиваясь и не увидев поэтому, как Туюшев пожал плечом, как бы желая сказать: «А ты, брат, постоял бы сегодня здесь сам, увидел, как мы старались...»

Бурильщик промолчал, не вступая в пререкания ни с «прокурором», ни тем более с недовольным мастером.

Видимо, Нургалеев зря прокатился в контору, не «выколотил» в техснабе какие-то рубашки для насосов. Мне уже было известно, что там его окрестили Плюшкиным за то, что хранит у себя на вышке куда больше запасных частей, чем полагается по норме. Наверно, и эти рубашки понадобились ему про запас.

— Долго возились, — хмуро повторил мастер, выходя из буровой.

Он прошел по узкому мостику в насосную, машинально зачерпнув по дороге пригоршней из деревянного лотка, в котором струился желтый густой поток. Нургалеев еще заглянул в глиномешалку, проверил, сколько осталось глины и каустической соды.

По мере того как он осматривал хозяйство, где все было на своем месте и в должном порядке, лицо его прояснялось, и вернулся он, кажется, уже в ином настроении.

Давно заметил я, что мастеру нечего делать на буровой, если все здесь течет по верному руслу.

Но для того, чтобы вот так бесперебойно, метр за метром, углублялась скважина, ему пришлось, конечно, немало потрудиться.

Это он организовал и людей и все буровое хозяйство, приведя его в постоянную готовность, в тот налаженный ритм, без которого нельзя вести успешно проходку глубокого ствола в здешних породах.

Мастер позаботился, чтобы каждый винтик на вышке был строго выверен и служил безотказно. Он обучил людей искусству бурения, передал им свой опыт, объединил в дружный коллектив.

Когда же вахта ведет проходку так, как сегодня на этой вышке, — пусть и с небольшой задержкой на «перекантовке» труб из одной скважины в другую, — мастер может спокойно сидеть в своем домике и, если не успел еще этого сделать, изучать геологотехнический наряд или заполнять страницы вахтенного журнала.

Нургалеев показал мне одну строку, вписанную только что в журнал: «Смена долота. Поднимали пятьдесят три «свечи» два часа сорок минут».

— Через два часа опять остановим проходку...

Да, отстало долото от турбобура и от этой «двустволки» Нургалева. Мастер взялся бурить две скважины с одной вышки, надеясь, что удастся показать если и не рекордную, то уж непременно хорошую скорость. Ведь сразу два ствола повели, экономят время на подъеме и спуске бурильной колонны.

Но долото не дает вырваться вперед. Единственная возможность как-то ускорить проходку — это еще и еще экономить часы, минуты. Вот почему упрекнул Нургалеев бурильщика, бросив ему: «Долго возились!»

— Могли управиться на полчаса раньше.

— Но я видел — они работали все время на третьей скорости.

— Знаю. «Прокурор» доложил. И неправильно делали. Нельзя все время на третьей тянуть. Колонна тяжелая — нужно остерегаться. Я при вас не хотел Туюшева взгреть...

— Так уж он провинился?

— А вы думаете? Шутка ли — дергать с такой силой полсотни «свечей»!

Слушая Нургалева, я вспомнил Михаила Белоглазова.

Это был несравненный мастер скоростного бурения. Еще в 1955 году, когда редко кто добивался полутора—двух тысяч метров проходки за один месяц, Белоглазов поразил всех невиданным рекордом.

Он провел глубокую девонскую скважину со скоростью 3326 метров в месяц. Молодой мастер наглядно доказал, что одна бригада может прокладывать чуть ли не две глубокие скважины в течение месяца!

Отовсюду приезжали на вышку Белоглазова мастера поучиться у него, перенять опыт, посмотреть, как удается ему свести до минимума «непроизводительное время» и поэтому бурить с такой скоростью.

Вскоре Белоглазов установил новый рекорд — 3388 метров в месяц. Все убедились, что первый его успех не был счастливой случайностью. Каждый может работать, как Белоглазов. Нужно только быть таким же смелым в овладении техникой и таким же настойчивым в борьбе против расхлябанности и бесхозяйственности на буровых.

Такой вывод напрашивался сам собой, когда люди покидали вышку Белоглазова, нагнав себя на слаженную, удивительно четкую работу его бригады.

Здесь не было каких-либо новых приспособлений, автоматических приборов, механизмов, которые создали бы лучшие условия для бригады Белоглазова.

Но здесь все вспомогательные работы выполнялись в то время, когда шло бурение или поднимали трубы.

Турбобур здесь был такой же, как и на других вышках, но его использовали гораздо лучше, поднимая нагрузку до восемнадцати тонн.

Бригада Белоглазова смело шла через рыхлые, обваливающиеся породы, не теряя времени на приготовление глинистого раствора, на чистой воде. И шла без аварий, потому что ни на минуту не снижала скорости.

В общем, все это казалось вполне доступным любой бригаде, и поэтому так значителен был рекорд Белоглазова: мастер раскрыл перед каждым неограниченные возможности ускорения проходки скважин.

За Белоглазовым пошли и тоже прославились многие мастера, в том числе и Нургалеев. Они порой даже обгоняли своего лидера. Но ненадолго.

В июле пятьдесят седьмого года он провел скважину со скоростью 3779 метров. И осенью того же года далеко разнеслась весть о том, что впервые на вышках Татарии буровой мастер прошел за месяц 5011 метров.

Белоглазов закрепил за собой место лидера, вдохновляя своим замечательным успехом всех, кто участвует в походе за нефтью.

Зимой пятьдесят восьмого года Михаил Белоглазов бурил скважину вблизи Альметьевска. До нефтяного пласта оставалось каких-нибудь сто метров, когда обвалилась в стволе порода и турбобур зажалось в тиски.

Белоглазов со свойственной ему решимостью не стал дожидаться, пока пришлют «ловильного мастера», специалиста по таким делам, и попытался самостоятельно вырвать застрявшие на большой глубине трубы.

Он удалил с вышки всех людей, подошел к подъемнику и включил моторы.

Натянулись, как струны, крепкие тросы, сплетенные из стальных ниток. Стрелка на измерительном приборе подъемного механизма резко подскочила вверх. Бурильная колонна не шелохнулась.

Еще раз Белоглазов включил моторы, прибавляя число оборотов. Снова не удалось вырвать из скважины колонну.

И тогда он решил ввести в действие предельную мощность подъемника.

Мастер не нарушил никаких законов, установленных для подобных экспериментов. Но, несмотря на весь свой опыт, он не заставил себя чуть повременить, осмотреть внимательно оборудование и в особенности те участки, которые должны были сейчас испытать предельное напряжение.

Если бы он отошел на минуту от станка и поглядел на тяжелые «штропы» — стальные кольца, свисающие с вертлюга и предназначенные для подъема бурильных труб, — то непременно заметил бы, что эти серьги, каждая весом в четверть тонны, могут сорваться при сильном толчке. Надо было на всякий случай их закрепить. Белоглазов не сделал этого...

Заревели моторы, с чудовищной силой потянули вверх застрявшую в земле многотонную колонну бурильных труб и выдернули ее из тисков.

Подъемник резко бросило кверху, и от этого толчка сорвалась серьга. Мастер не успел отскочить в сторону и упал замертво на деревянный настил буровой.

Михаил Белоглазов спас от аварии скважину, но уже не увидел, как вскоре хлынула из нее нефть. Татарские мастера потеряли замечательного передовика борьбы за высокую скорость бурения скважин.

Я рассказываю об этом несчастном случае, не опасаясь, что кто-нибудь из читателей вообразит, будто работа на вышке постоянно сопряжена с угрозой для жизни.

Только ли здесь, на вышке, опасно нарушать правила, оберегающие жизнь человека? Всюду такая, даже минутная, беспечность может стоить очень дорого.

И понятно, почему Нургалеев огорчился, прочтя запись «прокурора». Нужно стремиться к высокой скорости, но нельзя безрассудно рисковать.

Бурильщик Туюшев, наверно, не должен был тянуть с такой силой тяжелую бурильную колонну, и за это его, надо думать, еще «взгреет» требовательный мастер, когда уберется отсюда посторонний человек...

Уходя с буровой Нургалеева, я еще раз увидел деревню Тайсуган, под которой сейчас работало бурильное долото. И подумалось о том, что на мостках этой «двустволки» и на других вышках Татарии несут вахту люди, хорошо овладевшие сложной нефтяной техникой.

Они уверенно бурят здесь, на берегу Степного Зая, два ствола с одной вышки. Они помогли в свое время изобретателям турбобура испытать его на разных породах и «выжать» все, что он способен дать. Они опередили американских мастеров, научившись бурить с невиданной до того скоростью.

Инженеры и мастера татарских промыслов доказали, что и впрямь нет предела для ускорения проходки скважин. И, наверно, все эти достиже-



ния померкнут, покажутся давно пройденным этапом в тот же день, когда Нургалеев, Гимазов, Гайфуллин и все их спутники в походе за девонской нефтью получат долото «по росту»!

Советский турбобур совершил подлинную революцию в бурении нефтяных скважин. Слово теперь за конструкторами и металлургами — они должны вооружить искателей и добытчиков нефти таким инструментом, что будет под стать турбобуру.

Ему нужно долото высокой прочности, долгой жизни, пригодное для любых пород, способное выдержать огромную нагрузку, не требующее смены после каждых двадцати пяти или тридцати метров. Пусть скажут о нем все мастера, как сказал Туюшев: «Наш скороход».

В недалеком будущем явится на вышки такой «скороход» и покажет себя во всю силу. Тогда мастера Татарии поведут с утроенной скоростью любые скважины — и разведочные на новых площадях, и нагнетательные, там, где нужно быстро взять в водяное кольцо нефтяную залежь, и такие, как эта «двустволка» на берегу Степного Зая.

### Опасный горизонт

Задолго до встречи с буровым мастером Мугалимом Гимазовым я услышал его имя и узнал, чем прославился этот человек.

Дальние дороги привели меня на Охотское побережье острова Сахалин. В тайге, на сопках, стояли нефтяные вышки.

Разведчики проникли и в этот суровый край. С поразительным мужеством и настойчивостью пробивались они к нефтяным залежам Сахалина.

Был конец июня, но вдоль берега простирались на несколько километров ледяные поля. Скупое солнце сахалинского лета не могло совладать с ними. Пронизывающий, студёный ветер налетал с моря, нельзя было нигде укрыться от него.

На пустынном северо-восточном побережье Сахалина не легко добывать нефть. Труднее, чем в любом ином уголке нашей страны.

Только бакинцы, овладев сокровищами Каспия в открытом море, могли бы сказать, что сахалинцам чуть легче прокладывать дорогу к нефти...

Давно устремились сюда разведчики недр. В Башкирии и Татарии еще не было ни одной вышки, когда они уже сверлили землю на штурмовом побережье Охотского моря.

В 1928 году высадились на острове рабочие, буровые мастера, геологи, инженеры Баку и Грозного. Пароход совершил чуть ли не кругосветное плавание — из Одессы на Дальний Восток.

Разгружались на рейде, потому что на Северном Сахалине не было ни одного порта.

Нагрянула осень с жестокими штормами, невозможно было снять все оборудование, и пароход ушел, так и не освободив часть своих трюмов.

История не сохранила нам имен основателей нефтяной промышленности Сахалина, однако петрудно представить себе, чего стоило им пробурить скважины в вечной мерзлоте, построить дома, пустить в ход станки, поднять первую тонну нефти.

Три десятилетия минуло с той поры... Не изменился за это время климат, по-прежнему скован льдами в течение восьми месяцев залив Уркт, и такие же неистовые бураны сотрясают стены домов, срывают крыши, заносят снегом улицы.

Но с наступлением темноты по всему побережью — от Охи до Катанги — горят огни рабочих поселков и одиноких разведочных вышек. Здесь открыли залежи нефти, и она вызвала к жизни все, что видишь теперь на склонах сопки, в тайге, среди непроходимых болот.

Так же как и тридцать лет назад, нефтяные промыслы острова получают с Большой земли каждый гвоздь, каждый кирпич.

Везут сюда трубы и станки, насосы и моторы теми же морскими путями в те же недолгие дни летней навигации.

И все-таки сахалинцы с каждым годом увеличивают добычу нефти, строят механический завод, оснащенный по последнему слову техники, рабочие поселки с клубами и школами, поднимают на вершины сопков буровые вышки.

После того как увидишь льдины, закрывшие доступ к берегу в конце июня, иными глазами смотришь на новый квартал двухэтажных и трехэтажных домов в Охе, на кинотеатр и пионерский лагерь у озера Медвежьего, на здание техникума и даже на скромный домик, где дети охинских нефтяников обучаются музыке.

Все это создано, в буквальном смысле слова, на пустом месте, создано людьми, которые наперекор неисчислимым трудностям овладели сахалинской нефтью.

Они построили и узкоколейную железную дорогу, по которой можно проехать от Охи до самого дальнего промысла — в Катангли.

Рельсы врезаются в лесную глухомань, огибают овраги, заливы, озера. В окна вагонов заглядывают лиственницы, тянутся к свежей насыпи узловатые крепкие стволы кедрового стланика — тайга как бы приветствует жизнь, пришедшую к ней со стальными лентами рельсов, и все, что рождено здесь трудом человека, его волей и мужеством.

Выехав рано утром из Охи, я через два часа увидел вышки промысла Восточный Эхаби. Здесь, в таежной глуши, сахалинцы открыли новую нефтяную залежь. Молодой мастер Виктор Дудун пробурил первую скважину на этом месторождении.

— Порадовал нас Дудун, — сказал директор конторы бурения Григорий Трофимович Подшивайлов, шагая со мной по деревянным мосткам промыслового поселка. — Аккуратно пробурил ответственную скважину...

Мы вышли из поселка и направились к сопке — на ее вершине, среди вековых лиственниц, виднелась одинокая вышка.

Вперед нас, подминая под себя кустарник, взбирался трактор. Медленно вползал он на сопку, продавливая своими гусеницами глубокую траншею в почве.

За трактором тянулся на буксире целый обоз — груженные бурильными трубами сани на огромных железных полозьях.

Раскачиваясь, словно корабль, застигнутый штормом, трактор малопомалу преодолевал расстояние, отделявшее его от буровой вышки.

То и дело обрывался натужный рокот мотора, обоз застывал в глубокой траншее, и тогда казалось: даже этот вездеход выбился из сил и уже не в состоянии продолжать путь.

Потом, как бы передохнув, он трогался с места, тянул за собой сани, и синеватые кольца дыма, вырвавшись из выхлопной трубы, таяли в воздухе.

— Царь тайги! — произнес с уважением Подшивайлов. — Не знаю, что бы мы делали без трактора...

Трудно, пожалуй немыслимо, представить себе сахалинский нефтяной промысел без этого «царя тайги». Только он и может пробраться через болота, втащить любой груз на любую крутизну, безотказно работать на самых тяжелых разведках, выручать искателей сокровищ Сахалина.

Обогнав обоз, мы поднялись на раскорчеванную площадку, к вышке Виктора Дудуна.

Увидев нас, мастер, стоявший у станка, передал тормозной рычаг бурильщику, спустился с деревянного помоста и радостно доложил директору конторы бурения:

— Только что прошли зону обвалов.

Видно было, что этот молодой человек, одетый в брезентовый плащ с капюшоном, очень доволен появлением на его вышке Подшивайлова.

За несколько минут до его прихода бригада одолела самое трудное препятствие на пути к нефтяному пласту — сорокаметровую прослойку обваливающейся при бурении рыхлой породы.

— На воде шел? — спросил Подшивайлов, пожимая руку мастера.

— Да, без раствора, — ответил Дудун, и его худощавое, давно не бритое лицо осветилось улыбкой. — Еще раз вспомнил Гимазова...

— Научил его татарский мастер, — сказал, обращаясь ко мне, директор, — бурить на чистой воде. Первую скважину проводим на Сахалине без глинистого раствора, как в Бавлах...

Мы вошли в домик, построенный возле вышки. Виктор Дудун угостил нас чаем с брусникой, собранной в тайге, и рассказал о том, как познакомился с буровым мастером из Татарии.

— Послали меня на совещание молодых нефтяников в Москву. Слушал я выступление татарского мастера. Поделился он своим опытом бурения на воде. Слушал и видел наши сахалинские промыслы. Тут каждую трубу поднимаешь на косогоры, через болота тащишь... Трудно у нас обеспечить буровую всем, что нужно. Вон трети сутки ждем запасных деталей к насосам, застряли где-то в грязи... Глину возим за сто километров. Сколько тракторов занято на этих перевозках! А тут, рассказывает Гимазов, прошел скважину без глины и без единого осложнения. Кончил он выступать, я не мог дожидаться перерыва, подошел к нему, попросил выйти из зала заседаний. Присели в коридоре на диванчик. Говорю: «Растолкуй мне все подробно, как проходил зоны обвалов, вскрывал на воде пористые породы, как вообще было у тебя от первого метра до забоя». Вынул он свой блокнот и стал мне втолковывать что к чему...

Я живо представил себе двух молодых мастеров, встретившихся в Москве. Сидят они в коридоре, увлеченные новаторской идеей.

Представитель из Татарии чертит в блокноте разрез скважины, которую ухитрился пробурить по-новому, без обязательного глинистого раствора.

Представитель из Восточного Эхаби, с далекого острова, ловит каждое слово, старается запомнить все, что с такой охотой раскрывает ему татарский мастер.

Ничего не утаил он, подробнейшим образом объясняя, как можно отказать от стародавнего способа бурения, сберечь многие тысячи на каждой скважине, ускорить проходку, повысить производительность турбобура.

Мастеру из Татарии доставила большую радость эта беседа в коридоре. Вернется Дудун к себе на Охотское побережье, попробует пробурить скважину на Сахалине так же, как стали бурить в Татарии.

— Выспросил я Гимазова, — продолжал свой рассказ Виктор Дудун, — и стало мне ясно, что бурить на воде — дело, конечно, рискованное, но очень заманчивое. «Пойдешь быстро, — говорил мне Гимазов, — добьешься успеха. Держи на буровой глину, всякое может случиться. Не знай, что никакие зоны обвалов не страшны, если хорошо подготовишься к бурению. Не простаивай — с ходу бери все препятствия». Вернулся я на Сахалин с твердым решением бурить так, как Гимазов. Прошел без глины весь ствол, только сверху, под кондуктор, бурил с раствором. И еще раз возьму его завтра, когда будем вскрывать нефтяной пласт...

— Напиши Гимазову, — сказал Подшивайлов. — Пусть узнает, что и на Сахалине бурят по-новому...

Мы поднялись на вышку. В это время турбобур врезался в кремнистую прослойку. Все, что присиходило в скважине, точно фиксировалось измерительными приборами.

Но и без них, по одному лишь гулу моторов, приводивших в действие нагнетательные насосы, по тому, как вздрагивал под ногами деревянный

настил, отзываясь на идущий снизу грохот, каждый знал, что сейчас сталь дробит в недрах земли очень крепкую породу.

Насосы с огромной силой нагнетали в скважину воду. Этот стремительный поток вращал турбину.

Поработав под землей, вода возвращалась наверх и, замедляя бег, словно выдохшись, струилась в деревянном лотке. На дне оставались осколки камня, измельченная, раздробленная порода.

С вершины сопки, где Виктор Дудун прокладывал дорогу к сахалинской нефти по методу татарского мастера Гимазова, открылся весь промысел Восточный Эхаби. Держась на равном расстоянии друг от друга, ушли далеко в тайгу буровые вышки.

Между ними протянулись широкие траншеи, такие же, какие только что продавил в болотистой почве трактор с железными санями на прицепе.

Две вышки отважно шагнули в озеро и стояли там на тонких сваях. От берега пролегла к ним тоже свайная дорога.

А еще дальше, за рельсами узкоколейки, видны были ледяные поля Охотского моря.

— Пойдешь с нами в поселок? — спросил Подшивайлов, предвидя, что скажет мастер, вот уже пятый день не покидавший своей буровой.

— Нет, Григорий Трофимович, останусь до утра, — ответил Дудун.

Вспомнил я эту встречу с сахалинским мастером, когда «Победа» с высоко поднятым кузовом взбиралась к буровой Мугалима Минязовича Гимазова.

Там, в сахалинской тайге, пришлось шагать по болоту, чтобы добраться к Виктору Дудуну. Здесь тоже не легко было преодолеть расстояние, отделявшее вышку № 703 от магистрального шоссе.

Февральская метель, бушевавшая три дня подряд, взметнула сугробы под самые провода телеграфной линии.

Из Бугульмы в Лениногорск, бывало, едешь тридцать—сорок минут. А теперь «Победа» шесть часов плелась вслед за бульдозерами, расчищавшими дорогу.

В низинке, где обычно наматывает больше всего, застряла колонна грузовых машин. Шоферы проклинали метель, причинившую уйму бед нефтяным промыслам.

— Вот тебе и сиротская зима! — со злостью повторял водитель нашего вездехода, уткнувшись в снежный сугроб. — Не мерзли в январе, зато февраль порадовал...

Ураганный ветер перекатывал с места на место снежные валы, загромождая шоссе.

Стоило на несколько минут притормозить, и потом уже надо было поработать лопатой, чтобы сдвинуться с места.

Впереди машины возникла клокочущая мутная завеса, сквозь нее не пробивался свет автомобильных фар. Невозможно было разглядеть обочины шоссе. Только два ряда столбов служили ориентиром для шофера.

Наконец мы добрались до вышки, и можно было увидеть, как работают нефтяники Татарии в такую тяжкую пору.

На буровой люди не укрыты ни от дождя, ни от мороза, ни от снежно-го вихря. Деревянные щиты подняты на несколько метров вокруг ротора. А над головой — открытое небо.

Хлынет ливень — и никто не уберезится от потоков воды. Нагрянут тридцатиградусные морозы — нужно по-прежнему свинчивать мокрые трубы, сменять долото, подниматься на верхнюю площадку, где тоже ничто не спасает от стужи.

Подобно морякам, что ведут корабль навстречу шторму, рабочие буровой бригады продолжают проходку скважины при любых обстоятельствах. Здесь, как и в море, стоят люди на вахте. И тоже не покоряются стихиям.

Для того чтобы вахта на вышке не прекращала ни на минуту бурение скважины и вела по курсу свой «корабль», необходимо поддерживать с ним постоянную связь, снабжать электрической энергией, паром, водой, трубами, горючим, запасными частями к механизмам.

И колонны грузовиков штурмуют заносы, бульдозеры продавливают глубокие трашши от магистральных дорог к буровым, монтеры взбираются на обледенелые столбы, чтобы связать оборванные провода.

Всем нефтяникам нелегко в эти метельные дни «спротской» зимы... Но здесь, на вышке, под открытым небом, людям досталась самая трудная вахта.

Деревянный настил, ведущий к буровой, занесло снегом. Выйдя из машины, я взобрался по этому мосту, стараясь не ступить на бурильные трубы. Леденящий ветер слепил глаза, понадобилось немало усилий, чтобы устоять на ногах.

За высокими, грубо сколоченными из досок щитами можно было немного отдышаться. Снег густо валил сверху, но порывы ветра, сотрясая дощатую преграду, все же не могли совладать с ней.

У тормозного рычага стоял коренастый, невысокого роста бурильщик в стеганой куртке. Взгляд его был прикован к циферблату измерительного прибора. Время от времени он стряхивал с шапки снег. Двое рабочих приготовились поднимать бурильную колонну. Они подошли к ротору и тоже попали под снежный вихрь, врывавшийся сверху в буровую.

Выключили насосы. Огромный крюк вертлюга потянул из скважины квадратную трубу. В тот момент, когда показалась муфта, соединявшая трубы, рабочие подставили под нее тяжелое кольцо элеватора. Еще секунда — и ключ Орлова, похожий на вопросительный знак, обхватил и намертво сжал стальными челюстями трубу.

Загремела передаточная цепь, пришел в движение ротор, и над скважиной повисла «свеча» — две трубы, разлученные с бурильной колонной.

Вот уже они стоят на деревянном помосте. Пронзительно свистнул «верховой», давая знать, что управился с первой «свечой» и готов принять вторую.

Там, на площадке, открытой всем ветрам, на семиэтажной высоте, сейчас ничего нельзя было разглядеть. Сквозь снежную пелену виднелся только черный вертлюг, повисший на стальных тросах. Где-то рядом бесстрашно стоял там на штормовом посту «верховой», словно матрос на мачте.

Метель не утихала, порывы ветра, казалось, набирали все большую силу, угрожая сорвать деревянную ограду, под прикрытием которой трудилась бригада Гимазова.

Мастер спокойно наблюдал за подъемом бурильной колонны. Иногда он сам брался за тормоз, помогая рабочим быстрее управиться с очередной «свечой».

Молчаливый, сосредоточенный, с виду даже медлительный, Мугалим Гимазов, тем не менее, успевал все заметить вовремя и мгновенно принять верное решение.

Лопнула шпилька в одном звене передаточной цепи. Это случается, к сожалению, нередко. Передаточная цепь испытывает огромную нагрузку. Все ее детали должны быть очень прочными, без малейших изъянов. А если они попадают, нужно остановить бурение и чинить цепь.

Гимазов предоставил слесарю самостоятельно устранить повреждение. Мастер только поглядывал на часы. Но нетрудно было заметить, что он следит за каждым движением слесаря и помогавших ему рабочих.

Сменить шпильку можно в каких-нибудь полчаса. Если же не хватает сноровки, то бурение надолго приостановится из-за такой мелочи.

— Двадцать минут, — объявил Гимазов, включая мотор бурильной лебедки.

Существует, вероятно, множество более точных показателей качества работы на буровой вышке.

Но в эту штормовую вахту каждая из двадцати минут, отсчитанных мастером, говорила о замечательной слаженности его бригады.

Несколько лет бурильщики, их помощники, рабочие, «верховые» не расстаются с Гимазовым. В его бригаде нет случайных людей. Здесь все хорошо знают друг друга, понимают своего мастера с полуслова.

В этом постоянном составе бригада прошла большой путь — от первых попыток увеличить скорость бурения до рекордных трех тысяч метров в месяц.

Бурильщик Иван Федорович Шеремет — он только что сменил Гимазова у тормозного рычага — стоял на вахте в те дни, когда бригада впервые бурила скважину на чистой воде.

На площадке «верхового» подхватывал тогда бурильные трубы, смело перегнувшись через дощатые перила, Замиль Мухамедгалиев; он и сейчас стоит на ветру, в снежной пурге, и время от времени напоминает о себе пронзительным свистом:

— Давайте «свечу»!

Шли со своим мастером по непроторенному пути, бурили без глинистого раствора глубокие разведочные скважины на Ромашкинской площади и в Бавлах, прокладывают и сегодня таким же способом новую скважину рабочий Халим Харрасов и помощник бурильщика Баязет Салимов.

А вечером, если доберется сюда через заносы вахтовая машина, смеют их друзья, с которыми неразлучны они четвертый год, — Рашид Каримов, Шамси Сирадинов, Григорий Поляков.

Так же как на борту корабля, вышедшего в трудное плавание, на буровой вышке очень нужен спаянный, дружный экипаж, испытанный в борьбе со стихиями.

Можно сказать, буровой мастер, подобно капитану, пройдет через все штормовые преграды, если на каждой вахте — люди, с которыми он совершил уже не один поход...

— Я учился у Дмитрия Павлова, — рассказывал Гимазов, когда мы вышли из буровой и отогрелись в жарко натопленном домике, именуемом на промыслах «культбудкой». — Взял он меня к себе помощником бурильщика. Это было в сорок седьмом году, в Бавлах. И запомнил я, как Павлов боролся за постоянный состав своей бригады. Тогда не очень-то церемонились с мастерами. Честно скажу, не считались с их требованием закреплять людей в бригаде. Перебрасывали с места на место бурильщиков, помбуров. Сказал мне Павлов: «Хочешь стать настоящим мастером? Так знай — у ротора нельзя держать случайных людей. Я тебя возьму, посмотрю, на что годишься. Если оставлю в бригаде — не отпущу, пока не увижу, что будет тебе полезно, а мне не причинит никакого вреда». И я работал у него, учился бурить, пока не перевели меня с согласия мастера на другой участок разведки... Великое дело — знать свою бригаду, знать каждого, на что он годится. Вот, к примеру, Шеремет Иван Федорович. Видели, как ведет скважину? Я могу оставить его одного в самый трудный день. Не споткнется. А если я не прошел с бурильщиком десяток скважин, не увидел его в такую вот метель или когда нужно спастись от обвалов, — разве такому доверишь скважину? Всегда сердце будет беспокойно. Может, он ничем и не подведет. Но вот уверенности не будет. А в нашем деле нужно полностью полагаться друг на друга. Как было с водой? Разве я один бурил без глинистого раствора? Вся бригада была хорошо подготовлена к этому. Я знал: бурильщики не упустят момента, когда нужно перейти на раствор, чтобы уберечься от аварии. Мы изучили геологический разрез скважины и знали, что нас ждет на любой глубине. Смотрите, вот наш маршрут...

Гимазов снял со стены потемневший, покрытый рыжими маслянистыми пятнами лист плотной бумаги. В каждой культбудке висит такой геологотехнический наряд на бурение скважины. Перед глазами мастера постоянно находится эта лоция подземных пластов.

И снова тут напрашивается сравнение буровой бригады с экипажем корабля.

Прежде чем выйти в плавание, штурман изучает карты, на которых обозначены течения и глубины, подводные камни и рифы.

Долгие месяцы трудились гидрографы, океанографы, гидрологи, исследовали пути кораблей на морских просторах. Заботливо отметили все, что должно обеспечить безопасность плавания, все, что необходимо знать капитану и штурману.

С полным доверием к тщательной работе разведчиков моря экипаж отправляется в рейс.

В штурманской рубке лежит карта, испещренная волнистыми линиями и цифрами. Можно узнать, глянув на нее, где сейчас находится корабль, какое расстояние до ближних и дальних берегов. Не отклоняясь от курса, он благополучно пройдет между скалистыми «банками» и не сядет на мель.

Буровая бригада тоже получает штурманскую карту, отправляясь в поход за нефтью. Разведчики также тщательно исследовали недра, узнали, на какой глубине лежат крепкие породы, в каком «этаже» встречаются предательски обваливающиеся глины.

Люди на вышке знают, где подстерегает их опасность, и тоже стараются точно следовать намеченному маршруту, не уклоняться в сторону, пунктуально выполнять советы геологов, составивших лоцию подземных глубин.

Там, где разведчики бережно собирали по крупинкам материал для будущей лоции, буровые мастера не устанавливали рекорды скорости. Нет, самый опытный из них не провел бы скважину с той быстротой, которая прославилась впоследствии многих мастеров нефтяного промысла на этом же месте.

Геологи требовали — подавай им через каждые полсотни метров новый керн, очередной образец породы. Они были неумолимы. Как ни хотелось мастеру дойти поскорее до нефти, не мог он нарушить строгие правила бурения разведочной скважины.

Прошел пятьдесят метров — остановись, подними долото, затем опусти в скважину специальный инструмент, для того чтобы заполучить «визитную карточку» подземного пласта.

То и дело являлись на буровую геофизику со своими хитроумными приборами. Снова убирай из скважины колонну, выключи моторы и терпеливо жди, пока электрический ток прощупает вблизи пройденный отрезок пути.

За это время можно бы уйти далеко вперед. Но частые остановки были совершенно необходимы. Иначе не исследуешь маршрут будущего наступления на недра. Медленно движутся разведчики недр, изучая подступы к нефтяной залежи. Штурманская карта для буровых бригад нового промысла должна быть подробной и предельно точной.

Лучше сегодня потратить больше времени, чем завтра потерять миллионы в авариях и простоях.

Мастер скрепя сердце останавливает моторы, надолго прекращает бурение. А геологи с нетерпением ждут этого, потому что как раз такие часы простоя на разведочной буровой приносят им все новые и новые сведения о структуре пластов, о расположении крепких и рыхлых пород, о каждом кирпиче здания, что соорудила природа миллионы лет, складывая земную кору.

Получив у мастера образец горной породы, геологи не жалеют времени на исследование. Многое может рассказать крохотная ракушка, окаменевшая в девонском пласте, или косточка рыбы, жившей в эру динозавров.

Песчинки под микроскопом раскрывают сложный процесс формирования осадочных пород — хранилища нефти.

Даже капля воды, просочившись через каменноугольные пласты в деревянный лоток буровой вышки, и она приносит разведчикам ценные сведения о различных, не похожих друг на друга прослойках земной коры.

Разведочные вышки стоят на большой территории. И когда получены отовсюду десятки образцов, когда изучены и сопоставлены все добытые на разной глубине геологические материалы, можно послать в поход за нефтью буровые бригады промысла.

Они уже не будут часто останавливать бурение. Теперь нет нужды каждые пятьдесят метров возиться с керном.

Пусть соревнуются мастера на лучшую скорость. Они пойдут изученным путем.

Вот почему Гимазов мог сказать, показав свою штурманскую карту: — Мы знали, что нас ждет на любой глубине...

Это знание всех этапов маршрута позволило ему взяться за трудное дело. Он стал бурить скважину без глинистого раствора.

Каждому понятно, что эта густая, вязкая жидкость менее пригодна для вращения турбины, нежели чистая вода.

Нетрудно представить себе, какой вред причиняют стальным лопаткам турбины мириады песчинок, проносящихся с огромной скоростью через турбобур.

Но как же отказаться от глинистого раствора? Ведь он надежно оберегает бурового мастера от всевозможных аварий, закрепляет, «штукатурит» стенки скважины.

— Не думайте, пожалуйста, — предупредил меня Гимазов, — что бурение скважин без глинистого раствора, на чистой воде, сразу завоевало всеобщее признание. Нет, противников было хоть отбавляй. И не то чтоб какие-нибудь непонятливые люди. Очень авторитетные были противники. Говорили: нельзя так бурить, потому что не вылезем из аварий. Что выгадаем на воде, потеряем на всяких осложнениях. Конечно, турбобур будет работать лучше. Чистая вода — это тебе не глинистая сметана... Но, спрашивается, как можно будет уберечь его от обвалов там, где спасает только глинистый раствор?

Вот они, эти опасные участки пути. На штурманской карте их поместили наиболее ярким цветом. С первого взгляда заметно, на какой глубине лежат рыхлые породы кыновского горизонта. Гимазов трижды упомянул о нем, добавляя при этом:

— Мы и его взяли водой...

Кыновские глины — это тридцать метров рыхлых, коварных пород. Последняя преграда — самая рискованная часть маршрута, отмеченная на штурманской карте желтым цветом. Ниже этого грозного горизонта — черные полосы песчаника, пропитанного нефтью.

Тревожные дни наступают на вышке, когда бригада приближается к кыновскому горизонту.

Позади уже более полутора тысяч метров. Нелегко было добраться до этой глубины, но теперь малейшая оплошность угрожает тяжкими последствиями.

Кыновские породы впитывают в себя воду, разбухают и обваливаются. Стоит хоть ненадолго задержаться в пути, и скважина будет погублена. Можно «потерять» ствол, оставить в нем стиснутый обвалом инструмент.

Легко понять тревогу Гимазова, когда он подошел к опасному горизонту. Мастер принял смелое решение — пройти рискованнейший участок на



воде, так же как и весь ствол скважины. Инженеры и геологи благословили его на этот шаг.

— Нужно доказать, что без глины мы одолеем и это препятствие.

Мастер знал, какую ответственность берет на себя. Дело было не только в том, что авария заставила бы потратить лишние дни на бурение скважины.

Если бы он сорвался, не опорочен был бы самый замысел — отказаться от глинистого раствора, не отбросили бы в сторону новаторскую идею скоростной проходки девонских скважин в Татарии. Его неудача, разумеется, не заставила бы прекратить испытания.

Но кто не знает, как важно завоевать успех на первом этапе, не оттягивать надолго широкое применение новых методов проходки скважины, сулящих огромную выгоду в борьбе за нефть!

Гимазов был уже достаточно опытен и видел, что только скорость избавит его от аварии.

Нужно было прорваться через последний заслон с такой быстротой, чтобы кыновские породы не успели разбухнуть, пропитаться влагой и оставались бы в своем первоначальном состоянии до тех пор, пока завершится подготовка новой скважины к эксплуатации.

Каждый час, сэкономленный при штурме кыновского горизонта, увеличивал шансы на успех.

Бригада Гимазова взломала последнюю преграду и прошла через девонские пласты за сорок часов.

— Нам тогда казалось, — вспоминает мастер, — что это совсем не плохо. Другие тратили на конечном этапе больше времени. Да и сам я прежде торчал тут куда дольше, чем в этот раз. Но тогда мы держали в скважине глинистый раствор, он охранял от обвалов. А теперь не было такой охраны. И первая моя попытка не принесла удачи. Пока трудились каротажники, определяли место для прострела нефтяного пласта, обвалились породы. Пришлось снова бурить и бурить. Теперь уже нельзя было идти без раствора...

В эти дни постигла неудача и Гайфуллина, и по той же самой причине. И в его скважине осыпались рыхлые породы. Здесь тоже не успели справиться со всеми делами до того, как разбух, напитался водой предательский заслон перед девонскими пластами.

— Погорсвали мы, конечно, — продолжает Гимазов, — выложили друг другу все, что накопело на сердце... Ты, говорят мне, прошляпил. Знал, что ждет на этом горизонте. Почему не пошел быстрее? А зачем, спрашиваю, потеряли вдвое больше времени на каротаж? Не держали б меня каротажники — управился бы вовремя и не допустил обвала. Тут и геологи вмешались. У них тоже было достаточно претензий и ко мне, и к геофизикам, и к начальнику конторы бурения... В общем, разобрались что к чему и пришли к одному выводу: нужно уложиться в пятьдесят часов. Успеем за это время оставить позади кыновский горизонт, вскрыть нефтяной пласт, одеть скважину в стальные трубы — значит, победа. Почему, спрашиваете, именно такой срок? В лаборатории проверили: вода не разрушает кыновские породы ровно пятьдесят часов. А потом они сразу набухают и осыпаются. Прикиньте-ка, что мне нужно было сделать. Первый раз я прошел через этот опасный горизонт за сорок часов. На всю остальную работу оставалось только десять. Но разве за такое время можно исследовать вскрытые нефтяные пласты, опустить и зацементировать трубы эксплуатационной колонны? Я должен был пройти теперь последний этап втрое быстрее. Иначе опять не осталось бы времени для окончания всех работ в пробуренной скважине.

Увеличить в три раза скорость бурения! Удастся ли это?

На первой скважине он еще не использовал всей силы нового метода. Не проявил тогда достаточной смелости: не повысил нагрузку на долото,

не увеличил мощности потока, который приводит в движение подземную турбину.

Он еще не знал, какие возможности таятся в новом методе бурения. Да и никто тогда не предвидел, что чистая вода проложит путь к невиданной скорости проходки глубоких скважин.

— Можете себе представить, что получилось, когда мы подняли нагрузку на долото с пятнадцати до сорока тонн и погнали в турбобур не сорок пять, а все шестьдесят и даже семьдесят литров воды в секунду? Раньше и не мечтали о таком режиме бурения. Густая, вязкая жидкость не позволила бы столь резко изменить обычную нагрузку на бурильный инструмент. Вода развязала нам руки, если так можно выразиться. Шли мы прежде со скоростью пяти-шести метров в час. Пройдешь тысячу двести за месяц — спасибо скажут. А вторую скважину на воде я бурил уже по четырнадцати метров в час. И за месяц дал три тысячи метров. Такой проходки не бывало в Татарии. Наши соседи в Туймазах тогда еще не добрались и до двух тысяч...

— А как же с этим злосчастливым кыновским горизонтом? Не задержал на второй скважине?

— Прорвались через кыновские породы, вскрыли девон, и еще в запасе были целые сутки. Закачали глинистый раствор, чтобы удобнее было исследовать скважину и не обводнять нефтяной пласт. Успели спустить колонну и получили фонтан... И Гайфуллин вторую скважину довел до конца на воде.

Я не знаю, поведал ли Гимазов сахалинскому мастеру Виктору Дудуну о том, как провалилась первая попытка заменить водой глинистый раствор.

Может быть, не хотел тогда заронить сомнение в душу сахалинца. Пусть, мол, уверенно приступает к новому делу. На далеком острове ему будет еще труднее, чем здесь, в Татарии.

Но мне понятно, почему Дудун с такой признательностью произнес имя татарского мастера.

В тот день, выйдя с ним из зала заседаний и беседуя в коридоре, Гимазов, наверно, покорила его, как и меня сейчас, горячей увлеченностью новаторскими поисками, своим беспокойным характером.

Говорит он неторопливо, тихим голосом, медленно подбирая слова. И всякий раз после короткой паузы находит именно то, которое точно передает смысл сказанного.

Впечатление такое, будто он зорко приглядывается к словам, безошибочно угадывая в каждом отдельном случае их пригодность для выражения своей мысли.

Нельзя оставаться равнодушным к тому, о чем говорит Гимазов. Вот он вспоминает, как приехали в Бавлы мастера других промыслов, узнав, что здесь стали бурить на воде. Гости хотели своими глазами убедиться, что этот новый способ проходки скважин принесет пользу.

Гимазов стоял у бурильного станка внешне спокойный, такой же, каким привыкли видеть его Шеремет и Каримов, Харрасов и Низамов. Но, слушая сейчас его, испытываешь вместе с ним волнение, охватившее мастера в тот памятный день.

— Когда-то пришлось вот так же стоять на вахте — первый раз у тормоза. Павлов хотел узнать, могу я вести скважину или еще нельзя доверить мне станок. Теперь я бурил на глазах у опытных мастеров. Четверо были старше меня, только один, из Куйбышева, выглядел помоложе. Стою у тормоза и думаю: ох, не споткнуться бы сейчас, на виду у этой комиссии! Они побывали уже в конторе, получили подробные сведения о скважинах, пройденных на воде. За два года втрое уменьшились всякие аварии, сберегли мы для государства семнадцать миллионов рублей. Знают они эти цифры. А сейчас хотят увидеть, как бурят у нас в Татарии

без глинистого раствора. Наверно, думают: вот этот зачинщик, интересно, умеет ли на самом деле вести скважину, как не научились еще другие? Или здесь специально для рекордов создали какие-то особые условия?

Приезжие мастера убедились, что Гимазову никто не оказывал предпочтения, снабжали его всем необходимым в той же мере, как и других мастеров.

Понравилось «комиссии», что на его буровой царил дух дисциплины, хорошо заметный опытному глазу. Спуск и подъем инструмента здесь выполняли с такой четкостью, что нельзя было не позавидовать.

Мастер, ничем не выдавший своего волнения, обстоятельно ответил на все вопросы, и видно было — это человек, постигший все тонкости технологии скоростного бурения.

— Ну, брат, поздравляю, выдержал испытание на пятерку, — пошутил директор конторы бурения, проводив гостей.

Опыт Гимазова с удивительной быстротой распространился по нефтяным промыслам. Через два года после того, как пробурили несколько скважин на воде, сотни бригад работали по-новому.

Не только в Татарии, но и в других районах подхватили опыт Гимазова и Гайфуллина.

В сущности говоря, лучшие достижения в борьбе за скорость стали возможны главным образом потому, что мастера Татарии однажды проявили смелость, изменив привычный способ проходки скважин. Они показали, что можно пройти и через кыновский горизонт на чистой воде.

— Не придет вахтовая машина, — сказал Гимазов, глядя в окно.

Метель бушевала с той же силой. В снежном вихре едва угадывались очертания вышки. Ветер стонал за дощатой стеной.

Домик, поставленный на широкие полозья, покачивался, и казалось, вот-вот сползет по склону холма в овраг.

Гимазов отвернулся от окна.

— Будем стоять еще одну вахту.

Мы вышли и, пригнувшись, пряча лицо от обжигающего ветра, побежали к вышке.

Иван Федорович Шеремет уступил мастеру место у бурильного станка. Переминаясь с ноги на ногу, похлопывая себя по бокам окоченевшими руками, он коротко доложил, что пройдено двадцать пять метров.

Осталось полчаса до кыновского горизонта.

— Ступай отогрейся, — велел ему мастер.

— Машина не придет?

— Нет, не пробьется.

Шеремет, ни о чем больше не спрашивая, вышел из буровой.

Под нами в земных глубинах сталь дробила крепкую породу. Медленно погружался «квадрат», вздрагивал под бешеным напором воды похожий на огромного удава резиновый шланг. Бурение продолжалось на воде, на том же форсированном режиме, какой испытал когда-то впервые Гимазов.

Штормовая вахта уверенно вела скважину к опасному горизонту.

## Ливень

В середине июня пятьдесят второго года в Татарии стояли нестерпимо жаркие дни. Пересохли ручьи, пожухла листва, рыжая колючая щетина торчала там, где недавно зеленели луга.

Пыль над степными дорогами, поднятая утром первыми грузовиками, так и не опускалась на землю до темноты.

Шоферы в майках, а то и в одних трусах, обливались потом в раскаленных кабинках. Только на самом быстром ходу можно было немного передохнуть, подставляя лицо встречному ветру.

В бесцветное, словно вылинявшее на солнце небо за целую неделю не забрело ни одно облачко. Плавился дорожный асфальт. На телеграфных проводах сидели с раскрытыми клювами черные, будто обуглившиеся скворцы.

В деревнях проезжие за день осушали все колодцы, и только рано поутру можно было зачерпнуть ведро спасительно студеной воды.

В один из таких дней июньской засухи выехал я в Бавлы к мастерам второй конторы бурения. С полчаса машина мчалась по шоссе, потом свернула на узкий проселок и сразу же захлебнулась в пыли, взбитой собственными колесами.

Выдержав еще полчасаковую пытку зноем, я внезапно был вознагражден отдыхом на опушке леса.

Водитель поставил машину между деревьями, открыл капот мотора и отправился на поиски воды для радиатора, из которого валил пар.

Как ни жгло солнце, здесь все же сохранилось немного прохлады. Уцелела под защитой вековых дубов, не выгорела трава; выжили в тени даже мягкие белые лепестки ромашки и бархатные рубчатые головки клевера.

Не хотелось возвращаться из этого оазиса в грузовик, но шофер торопился, ему нужно было доставить на вышку Юдина какие-то запасные части, и мы снова глотали пыль, опускали и поднимали стекла кабины, и казалось, не будет конца-краю этой перепыханной тяжелыми машинами проселочной дороге.

Но скоро показался впереди еще лесок, шофер сказал: «Дотянули, слава богу!» — и через несколько минут мы остановились возле вышки, забравшейся в самую середину дубовой рощицы.

Меня поразила тишина.

Не слышно было грохота моторов, вращающих буровой станок. Не доносились с вышки голоса, не видно было обычного для буровой оживления на открытых деревянных мостках, где вахта занята подъемом или спуском в скважину труб. Не стоял на своей «голубятне» «верховой».

Можно было подумать, что люди покинули эту вышку, если бы не появился из сарая для насосов бурильщик Сабуров — я уже видел его как-то на производственном совещании. Подошел к нам, поздоровался и спросил:

— Тампонажников не обогнали?

Нет, мы не обгоняли в пути громоздкий «заливочный агрегат» для заливки цементом готовой скважины.

— Колонну спустили, ждем заливки, — объяснил Сабуров, почему так тихо на буровой вышке.

Здесь закончили бурение, опустили стальную колонну труб и ждали теперь тампонажников. Наверное, задержались они у Валева, где сегодня тоже сдают скважину.

— Давно стоите?

— Второй час пошел.

— Накрылась премия? — невесело пошутил шофер.

Сабуров поглядел на него строго.

— Ты свою не прозевай. Который рейс сегодня сделал?

— За меня будь спокоен. Третий в кармане...

— Скажи спасибо, погода выручает.

— Да, не жалуемся. Шоферская погода, проезжая. Только жжет, как на сквороде. А вам тут, в лесочке, — курорт.

— Ты бы постоял с нами этой ночью на таком курорте... За шесть часов всю колонну спустили.

— А ты садись в мою кабину, покрути баранку в этом пекле.

Выгрузили несколько тяжелых, облитых смазкой запасных деталей, и шофер, еще раз сменив воду в радиаторе, полез в свое «пекло».

Не знаю, как в иное время, но сегодня этот тихий, пронизанный солнцем лесок действительно выглядел курортным уголком в скованной зноем степи.

Хорошо бы сохранить эти небольшие, какие-то очень чистые леса на территории будущих промыслов. Удастся ли нефтяникам уберечь эту красоту, не погибнет ли она под колесами машин?

Если всюду воплотится в жизнь проект законтурного заводнения<sup>1</sup> и не нужно будет ставить густыми рядами вот такие вышки,— что ж, тогда, возможно, уцелеет и эта роща и та, где мы передохнули на пути к Юдину.

Я заговорил об этом с Сабуровым, но ему хотелось побеседовать о другом — о промысловых неполадках, о том, как мешают они набирать скорость.

— Премию, конечно, мы еще не потеряли, у нас припасено кое-что в резерве. А два часа уже вылетели на ветер.

Я заглянул в бригадный домик, поставленный возле вышки. Мастер лежал на узенькой койке как был — в брезентовой куртке и сапогах.

Он спал крепким сном. Сабуров доверительно сообщил за минуту до этого:

— Александр Степанович отдыхает.

Всю ночь Юдин провел на вышке, да и накануне не успел съездить к себе в поселок. Мастер, наверное, видел во сне, что из скважины ударил фонтан: добрая улыбка освещала его небритое лицо.

— Разбудить? — спросил бурильщик, давая мне откровенно понять, что этого, разумеется, делать не следует.

Обрадованный протестующим: «Что вы! Ни в коем случае!», он предложил и мне отдохнуть.

— Выберите себе местечко под деревом.

Ничего другого не оставалось, как воспользоваться этим гостеприимным приглашением, тем более что после долгого пребывания в кабине грузовика очень соблазнительным показалось растянуться на траве под любым из деревьев, обступивших вышку.

Меня разбудил какой-то оглушительно резкий грохот. Не сразу сообщил я, что в двух шагах от дерева, давшего мне приют, промчался мотоциклист.

И почти одновременно упали на лицо тяжелые, прохладные капли начинавшего дождя. Солнце уже не пробивалось через резную листву дуба.

Подойдя к бригадному домику, я увидел прислоненный к стене мотоцикл. Из окна донесся чей-то извиняющийся голос:

— Ты уж не сердись, такое дело... За полчаса управишься.

Юдин сидел на койке, кажется, еще не совсем очнувшись после крепкого сна.

Перед ним стоял высокий, ладно сбитый человек средних лет, русоволосый, со светлыми глазами на сильно загоревшем лице.

— Ладно,— произнес миролюбиво Юдин.— Поехали.

Я узнал, что примчался сюда на мотоцикле мастер Волков с буровой вышки — она находится в пяти километрах. Волков бурит наклонную скважину первый раз и попросил Юдина, более опытного в таком деле, произвести замер «кривизны».

<sup>1</sup> Метод законтурного заводнения состоит в том, что вокруг нефтяной залежи бурят скважины, в которые нагнетают под большим давлением воду. Это водяное кольцо выдавливает нефть через эксплуатационные скважины. Таким образом удается постоянно поддерживать давление в подземных пластах и надолго продлить жизнь фонтанов.

— Подождите, я сейчас вернусь за вами,— сказал он.

Юдин сел на багажник, и они умчались.

Дождь еще не разошелся, похоже было, что все обойдется только несчастными тяжелыми каплями,— они шелестели в пыльной листве.

Но вдруг ударил в кроны деревьев ветер, посыпались сверху сгоревшие на солнцепеке листья.

Трудно было отсюда разглядеть, что происходит сейчас в небесах, но, вероятно, там столпились все облака и тучи, какие не могли так долго проникнуть в здешние края.

Свет дня погас, в лесу воцарился тревожный полумрак, и полило как из ведра.

Спрятавшись в бригадном домике, я уже не надеялся увидеть, как измеряют «кривизну» наклонной скважины. Но снова раздался треск мотоциклета, вынырнул из ливня Волков.

Он не выключил мотора, дорожа, видимо, каждой минутой, и выжидательно поглядел на раскрытое окошко бригадного домика.

Размышлять было некогда. Натянув на себя брезентовую куртку, любезно предложенную гостеприимным бурильщиком, я взгромоздился на мокрое сиденье багажника.

Некоторое время мы тряслись по тропе, проложенной от вышки к лесной дороге, задевая мокрые колючие ветви и стараясь лишь убежать от них глаза.

Волков молча вел свою стрекочущую машину через все препятствия. Даже сидя за его спиной, можно было догадаться, что он чем-то сильно озабочен.

Только один раз мастер оживился и словно впервые вспомнил, что на багажнике сидит пассажир, когда впереди, за невысокими зарослями орешника, показался матерый рыжий лось. Он осторожно переступил через тропу, задержался на миг возле тонкого ствола березы, хотел, наверное, сорвать ветку, но тут в шуме ливня донесся к нему треск мотоцикла.

Меня удивила неторопливость, с которой лось удалился в гущу леса. Будто нехотя он уступил дорогу людям, которые — кто их поймет! — спешат куда-то под проливным дождем.

— Хозяин! — с подчеркнутым уважением произнес Волков. — Обходит свои владения...

— Вроде и не испугался.

— А они уже пообвыклись. Нефтяники их не трогают. Здесь они когда-то целым стадом разгуливали. Теперь, конечно, стеснили мы их немного.

— Скоро вовсе выживете отсюда. Понаставите свои вышки — от леса одно воспоминание останется.

— Нет, не говорите,— возразил Волков, и я с удовольствием услышал, что и он надеется увидеть здешние леса уцелевшими еще через много лет.— Разбурят нефтеносную площадь по сетке, а будет она не густая — между скважинами много останется свежего леса. Хватит места и для нас и для лосей, — шутливо закончил Волков.

— Держитесь! — крикнул он в следующее мгновение, но было уже поздно.

За его широченной спиной мне не видна была дорога, я не мог вовремя заметить глубокую, полную дождевой воды канаву и приготовиться к сильному толчку.

Я не ушибся, вылетев из мотоцикла, потому что свалился в кустарник, но после этого, уже не стесняясь, крепко держался за спину Волкова.

— Вот так-то лучше,— одобрительно заметил он.— Этот конь с норовом, иной раз и сам не удержишься в седле. Зато пройдет всюду..

Несколько раз мне была предоставлена — не очень приятная — возможность убедиться, что железный конь и впрямь пробирается там, где ни одна другая машина не могла бы пройти.

Мы лихо взлетели на крутой, покрытый таким же густым лесом холм, вырвались оттуда на открытую заболоченную полянку, потом снова нырнули в рошу, скатились по тропинке куда-то в овраг, выбрались и оттуда. И все это под ливнем, который ни на минуту не утихал и даже, казалось, стал еще яростнее.

Брезентовая куртка давно промокла насквозь, и утешало лишь то обстоятельство, что без нее, наверно, было бы гораздо хуже сидеть вот так, на тряском сиденье, задевать головой мокрые ветви в ожидании, что с минуты на минуту еще раз свалишься на землю.

Волков, ненадолго оживившись, опять помрачнел, и я наконец отважился спросить:

— Чем это вы так озабочены?

Не сразу послышалось в ответ:

— Зарезался в сторону, черт возьми!

Сквозь треск мотоцикла и шум дождя прорывались отдельные фразы:

— Бурим наклонную... Довели до тысячи двухсот метров... Все шло хорошо, а сегодня, вижу, уклонились в сторону. Зарезались куда-то, а куда — не знаю. Вот Юдин поможет сделать замер...

Теперь можно было понять, почему Волков сразу же разбудил Юдина и без всякого стеснения попросил выручить. Дело серьезное.

Мне уже довелось видеть, как бурят наклонные скважины. Длинная колонна свинченных труб изгибается под землей, как змея, и уходит далеко в сторону от вышки.

Нужно съездить, чтобы она подвигалась только в сторону, указанную геологами. А стоит «упустить направление» — и скважина будет погублена. Она не достигнет цели, не вскрыет нефтяного пласта.

Такая беда случалась нередко. Наклонное бурение — это очень высокое искусство, не каждый способен быстро им овладеть.

Хочется как-то выразить свое сочувствие человеку, что сидит впереди, омраченный ожиданием несчастья.

— Может быть, ваши опасения напрасны. Вот сделаете замер, все будет видно.

Волков, не оборачиваясь, бросает:

— Я и без замера знаю — зарезался...

Удивительно, как еще мог он, будучи в таком угнетенном состоянии, только что говорить о красоте леса, о стадах лосей, о том, что будет здесь через много лет, когда и вышки вырастут и деревья не погибнут.

— Зачем же вы поехали за мной? Да еще в такой дождь?

Волков не отвечает. Наверно, крепко ругнул про себя навязчивого пассажира. И ему, пожалуй, безразлично сейчас — хлещет ли в лицо дождь или припекает солнце. Гонит мотоцикл, не тормозя на спуске, поглощенный лишь одной мыслью: «зарезался» в сторону или уберется от беды?

Я не пытаюсь больше ни выражать ему свое неуместное сочувствие, ни приставать с расспросами. Все мое внимание приковано к дороге, вернее к тем обочинам, какие можно еще разглядеть из-за спины Волкова.

Но его тревога передалась как-то и мне, и невольно захотелось поскорее вырваться из этих раскисших лесных тропинок, увидеть вышку Волкова, узнать, что скажет Юдин, подтвердит ли опасения мастера, «зарезался» ли тот или ведет свою наклонную по верному маршруту.

Последний подъем, еще один рискованный вираж на краю оврага — и мы увидели вышку. Ее поставили в такой узенькой ложбинке, что двум машинам не разъехаться. Потоки воды низвергались с откосов. Снова Волков крикнул:

— Держитесь!

Железный конь взял и эту преграду. Можно было наконец сойти с него и размять затекшие ноги.

Напрасно мы так спешили. Юдин, оказывается, еще не начал свой инспекторский замер. Он устанавливал в железном цилиндре стеклянную баночку с плавиковой кислотой.

Это был прибор чрезвычайно простой конструкции изобретателя Шаньгина.

Я даже сперва удивился, отчего сам Волков, несмотря на малоопытность в бурении наклонных скважин, не решился без посторонней помощи сделать замер вот таким простым способом.

Но, присмотревшись к тому, что делал Юдин, понял, что не так уж просто «пощупать» скважину этим будто бы и несложным прибором.

Стальной цилиндр со стеклянной баночкой опускают в скважину на тонком тросе. Глубоко в стволе скважины, внутри бурильной трубы, установлены «ножи» — большие щитки, которые задержат прибор.

В тот момент, когда стальной цилиндр коснется этих щитков, стеклянный сосуд примет как раз то положение, в котором находятся трубы.

Если они изогнуты, скажем, на десять градусов к северу, то и прибор окажется в таком же положении. И плавиковая кислота, заполняющая до половины сосуд, оставит на стекле тонкую полоску.

Происходит то же самое, что и в стакане, который наполнили до половины молоком и после этого наклонили в одну сторону. На нем останется хорошо заметный след.

Если отметить заранее по компасу на стенках все четыре стороны света, то нетрудно догадаться, взглянув на этот след, в какую сторону только что наклонили стакан.

— Так, говоришь, уклонился? — спросил Юдин, налаживая прибор. — Может, знаешь даже и в какую сторону?

Волков не ответил, сделав вид, что все его внимание в данную минуту сосредоточено на лебедке — ее готовили для прибора.

Видно было, что у них с Юдиным отношения вполне дружеские и его не обидел шутливый выпад старшего товарища.

Чем-то не сразу уловимым схожи эти два мастера, хотя у Волкова глаза светлые, волосы того оттенка, какой всегда хочется назвать пшеничным, нос с горбинкой, прямой, лицо широкоскулое, а в облике Юдина все окрашено другими тонами — и волосы у него черные, и глаза с добродушным прищуром гораздо темнее, и нос совсем иной формы, чуть вздернутый кверху, и лицо худощавое, костистое.

Но роднит этих людей разного облика, как мне показалось, одинаковая манера разговора, в котором каждое слово стоит прочно на своем месте — не заменить его никаким другим, и сдержанное, какое-то уравновешенное отношение к окружающим, умение за шуткой спрятать свое беспокойство и смолчать там, где нет особой нужды в словах.

Несмотря на свою озабоченность, Волков безмолвно следил за тем, как возится с прибором Юдин, и ни разу не поторопил его, хотя, наверно, немалых усилий стоило ему это молчание.

А Юдин не спешил. Еще и еще осматривал он со всех сторон злополучную баночку, счищал с ее стенок какие-то невидимые песчинки.

Вот уже покончил с измерительным прибором, теперь нужно вложить его в стальной цилиндр.



И это Юдин проделывает не спеша, словно неведомо ему, чего стоит каждый час простоя на вышке.

Только опустив прибор в скважину и позволив наконец привести в действие лебедку, он сказал:

— Поспешись — людей насмешишь. Старая поговорка. Слышал я даже, что ее нужно вроде сдать в архив. А мне думается — в нашем деле она еще не состарилась. Где можно — гони вовсю. А где нельзя — ох, как нужно держать себя за обе ноги...

И на этот раз не отозвался Волков, но теперь уже и некогда было бы заводить длинный разговор.

Тонкий трос быстро скользил между двумя направляющими планками, и нужно было следить за ним во все глаза.

— Придержи! — велел Юдин, когда до намеченного места оставалось пятьдесят метров.

Потом он приказал вовсе выключить лебедку, хотя до цели было еще добрых двадцать метров.

— Давай помалу, — сказал он, удостоверясь, что все идет как полагается.

И наконец поднята предостерегающе рука, едва приметно ползет трос.

Сейчас где-то в кромешном мраке колодца, просверленного на тысячеметровую глубину, хрупкий стеклянный прибор остановится возле «ножей».

Никто не замечает, что дождь так и не перестал ни на минуту и сверху, через открытый «фонарь» вышки, по прежнему поливает нас, как из гигантской лейки, но никому не пришло бы в голову отойти сейчас в сторону, спрятаться от ливня.

— Стоп!

Все молча ждали, когда прозвучит команда поднимать прибор. Но и теперь Юдин не проявлял никакой поспешности.

Он выждал, не глядя на часы, известное только ему время, потом отошел от скважины, бросив:

— Поднимайте.

Замер «кривизны» совершился. Невидимый отсюда прибор выполнил свое назначение. Что он принесет из глубины земли — это еще никому не известно.

Нужно терпеливо ждать, пока лягут снова на барабан тысяча двести метров стального троса.

Барабан вращается с убийственной медлительностью. Быстрее поднимать прибор нельзя. Не хватало еще, чтобы с ним ненароком что-нибудь случилось на обратном пути! И все ждут.

— Пойшли, перекурим, — предлагает Юдин.

Ничем не подчеркивает он своего превосходства, но все подчиняются его приказаниям, ловят каждое слово.

И сейчас, предлагая выйти из буровой и перекурить, он, видимо совсем произвольно, сделал это не как гость, а на правах старшего, который может отдать любое распоряжение.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, будто закрыли где-то в небесном хозяйстве бесчисленные отдушины, сквозь которые пролилась на землю долгожданная прохлада.

Показалось солнце, стало светлее в лесу, и впервые за многие дни воздух наполнился влажным запахом умытых трав, древесной коры, оживших цветов.

Выйдя из буровой, все залюбовались освеженным, словно помолодевшим лесом, очнувшимся наконец после гнетущего зноя.

Заговорили, как водится, о том, сколько, мол, стоит такой дождик, какие миллиарды рассыпал он по колхозным полям, и можно, дескать, при-

мириться с тем, что несколько дней тяжело будет транспорту — дороги размыло, грязи теперь не оберешься.

На какое-то время Юдин, казалось, забыл, что привело его сегодня на вышку товарища, и весь отдался чудесному ощущению полного слияния с природой, какое приходит иной раз к человеку в такую вот тихую минуту после благодатного ливня.

Волков, по-видимому, далек был от этого, лицо его выдавало совсем иные чувства, и, не докурив папиросу, он вернулся на буровую. Послышался его голос:

— Александр Степаныч, подняли!

Над устьем скважины висел стальной цилиндр прибора. Вынули стеклянный сосуд, Юдин поднес его к солнечному лучу, пробившемуся через щель в деревянных щитах вышки.

На стекле виднелась отчетливая светлая полоска — чуть повыше уровня прозрачной жидкости.

— Идешь по азимуту, — сказал Юдин и, ограничившись только этим кратким заключением, не требующим, видимо, никаких толкований, направился в бригадный домик.

Он даже не поглядел на Волкова — тот сразу как-то преобразился, быстро отдал все необходимые распоряжения бурильщику, рабочим, слесарю: готовиться к возобновлению проходки.

— Дай-ка мне двести семьдесят девятую, — потребовал Юдин, подняв телефонную трубку.

Ждать пришлось довольно долго. Три вышки «висели» на одном проводе. Слышно было, как пререкается с кем-то двести семьдесят шестая.

— Не прижете — остановимся.

— Понято. Как проходка?

— Вскрыли верейский горизонт. Пока все нормально.

— Понято.

— Так когда получим долото?

— Сейчас высылаю.

Линию тут же перехватила двести семьдесят пятая, и Юдин обречен был ждать, пока мастер и начальник ремонтной мастерской договорились насчет срочного ремонта каких-то деталей ротора.

У каждого мастера были срочные, безотлагательные заботы, и ничего иного не оставалось, как терпеливо дожидаться своей очереди.

— Двести семьдесят девятая слушает, — раздалось наконец в трубке.

— Сабуров? Ну как, приехали тампонажники?

Ответ был неутешителен: бригада тампонажников все еще торчит на другой вышке.

Не уступая никому телефонного провода, Юдин связался с буровой, где застряла эта бригада, потом убедил диспетчера, что ждать больше никак невозможно, и положил трубку, добившись обнадеживающего ответа:

— Три заливочных агрегата выйдут к вам через полчаса.

За стеной послышался радующий сердце буровика рокот мощных моторов. Возобновилась проходка наклонной скважины.

Вошел Волков, отметил в вахтенном журнале то, что происходило на буровой, — замер «кривизны», результаты исследования, час, когда снова двинулись по «азимуту».

Страницы вахтенного журнала заполняются только краткими записями о проходке и простоях, о смене турбобура и долота.

Жаль, что нельзя внести в этот журнал поездку Волкова к Юдину, встрече двух мастеров на вышке, атмосферу дружеской взаимопомощи, без которой вавоине труднее было бы стоять на вахте, и даже разговор о том, что хорошо бы сохранить лес на территории будущих нефтяных промыслов Татарии.

Может быть, развернув вахтенный журнал, кто-нибудь со временем пережил бы все то, что еще больше сблизило людей в этот день, щедро омытый июньским ливнем.

— Ну, чем будешь угощать? — спросил Юдин. — Полагалось бы тебе, конечно, раскошелиться по такому случаю хоть на четвертинку, да ничего не поделаешь — на вышке сухой закон. А закусить у тебя найдется?

Волков мгновенно достал из-под стола две жестянки консервов.

— И это все? — поразился Юдин. — Не поверю, что весь твой энзэ — бычки в томате. Ну-ка, подкрепи свой авторитет, а то неловко получается! — И он выразительно кивнул в мою сторону. — Еще подумает человек, зря про тебя говорят — самый запасливый мастер на всю контору бурения...

— Ладно уж, — беззлобно оборвал его Волков, но, тем не менее, шарил еще в шкафике, висевшем на стене, извлек оттуда увесистый кусок сала, два круга твердой, как наждак, колбасы и бутылку молока.

— Вот вам энзэ всей вахты, угощайтесь, — улыбнулся он, присаживаясь к столу.

Юдин отставил в сторону молоко, заявив, что не принимает такую неполноценную замену магарыча, заработанного честным трудом на буровой Волкова, и пусть тот не рассчитывает так дешево отделаться.

Все это вымолвил он с добродушием, какое нельзя было скрыть под покровом напускной серьезности.

Волков ответил точь-в-точь таким же тоном, что за ним, мол, «не пропустит».

Мы не отказались от угощения. Как это часто здесь случается, зашел разговор о питании вахт, о том, что торговые организации никак не налаживают доставку горячей пищи на буровые, а это ведь не такое уж трудное дело.

Поставили бы в машину термосы, наполнили в столовой всем, что положено для обеда, и два раза в сутки развозили по буровым вышкам.

И каждый не берег бы неприкосновенный запас, свой «энзэ», под столом.

— С этим, думаю, дело наладится, — сказал Юдин. — Ну, не привезли тебе борща, как-нибудь консервами перебьешься. А цемент, глину, долото — их не положишь для всей скважины под стол.

Долго еще говорили бы два мастера о самом наболевшем — о недостатках снабжения, о потере времени в ожидании то цемента, то глины, то запасных деталей, — но Юдин поглядел на часы и заторопился к себе на буровую.

— Одолжи свой драндулет, — сказал он Волкову. — Верну тебе до конца вахты.

Снова помчался железный конь прежними лесными тропками, опять спешит, «газует», забыв про меня, сидящий впереди водитель, и те же ветви орешника летят навстречу, от них нельзя укрыться, и с каждым прикосновением они сбрасывают на нас еще не согретые солнцем пригоршни серебристых капель.

В тех же знакомых местах раздается иногда предостерегающее: «Держитесь!» — и, как прежде, этот сигнал запаздывает, но я, приобретя уже некоторый опыт, не валюсь с багажника.

Единственный раз заговорил со мной Юдин — это было, когда мы выехали на шоссе и не так сильно трясло.

Он сказал, что за много лет впервые, кажется, не будет дожидаться нового «фонаря». После ухода с той вышки, куда мы мчались, бригада сразу начнет прокладывать очередную скважину: для нее уже готов «фонарь» — новая вышка.

— Начинаем по-хозяйски работать.

Так оценил мастер это событие. И не мог бы сказать точнее.

— Сегодня проверю, все ли там на месте. Даже не верится, что завтра начнем новую проходку...

Мы подкатили к буровой почти в одно время с «заливочными агрегатами». Началась цементировка скважины — самая напряженная и, пожалуй, ответственной работа, когда счет времени ведут на минуты, а малейшая неточность угрожает тяжелой аварией.

Перед тем как уехали тампонажники, Юдин спросил инженера конторы бурения:

— Так что же? Завтра принимать двести восьмидесятую?

— Принимай, — просто ответил инженер.

Буровики и впрямь стали работать по-хозяйски. Они не задержатся и скоро уйдут отсюда на новые места, а те, кто сменит их здесь, пусть тоже ведут свое дело с хозяйской зоркостью.

Если они всюду освоят самый выгодный, разумный метод добычи нефти с помощью подземного водяного кольца, то сэкономят миллиарды народных денег и сохранят красоту южной Татарии, ее дубовые рощи...

Через несколько лет вернулся я в тот лесок, где настиг меня благодатный ливень. До чего же было отрадно увидеть дубы, липы, березы там, где выкачивали из недр земли сотни тысяч тонн нефти!

Я отыскал тропинку, по которой спешил Юдин на свою буровую, нашел и место, где стояла его вышка.

Теперь здесь торчала над землей толстая труба фонтанной «елки». По соседству белел круглый резервуар для нефти.

Можно было пройти рядом, другой тропкой, не заметив ни этой фонтанной скважины, ни белого цилиндра нефтяного резервуара.

Со всех сторон их обступили деревья и окрепший орешник.

Тихо было в лесу, но теперь это не вызвало бы ни у кого огорчения, потому что увезли отсюда все моторы вместе с вышкой, и никто здесь не терял времени в ожидании «заливочного агрегата», никому не пришлось бы сейчас оправдываться перед обозленной вынужденным простоем буровой бригадой. Это была, можно сказать, рабочая тишина, и каждая ее минута заполнялась тоннами нефти.

Беззвучно струилась она в трубах, незримым потоком уходя отсюда, из этого леса, не заглушая аромата цветов, не повредив ни одного кустика боярышника, не оставляя следа на влажной зелени леса.

Все здесь было таким же, как и в тот июньский день, и, кажется, тот же медлительный лось неспешно перешагнул через тропку, обозревая свои владения.

Он показался сейчас невдалеке, почти рядом с нефтяной скважиной, словно для того лишь, чтобы не оставалось никаких сомнений: можно сохранить на земле и этот лес и многие иные красоты природы даже там, где бьют нефтяные фонтаны.

Привести бы сюда тех, кто безрассудно, экономя гроши, губит миллионы: директоров химических и иных заводов, где не очищают сточных вод, перед тем как пустить их в реки; строителей дорог, что валят без разбору любое дерево в радиусе нескольких километров и оставляют дорогу без прикрытия, оголяя землю вдоль асфальтовой ленты шоссе; да и кое-кого из нефтяников, в особенности из тех, что тянут нефтепроводы, вырубая слишком широкие просеки.

Пусть заглянут в этот промысловый лес и разведчики, посланные на Каму, в тихую Елабугу.

Начались поиски нефти в тех краях, и, наверно, разведчики уйдут отсюда не с пустыми руками. Так вот, сохранят ли искатели и добытчики нефти знаменитую Корабельную рощу, жемчужину Прикамья?

Если покажется кое-кому, что это невыполнимо, пусть придет сюда, посидит на травке, в тени, в двух шагах от нефтяного фонтана, повстре-

чается на лесной тропе с матерым лесом, вдохнет аромат цветов и трав, не истребленный запахом нефти и железа.

Сберегли это разведчики, не погибло все это и при очень интенсивной разработке нефтяного месторождения.

Значит, можно сохранить и Корабельную рощу, и будет она жить не только на полотнах Шишкина.

— Загремели бульдозеры и грузовики по нашим лесным дорогам, — говорил мне педагог из Елабужского учительского института, приехавший в Казань за литературой для институтской библиотеки. — Первые вышки поставили на краю Корабельной рощи. Неужели она погибнет?

Я рассказал ему о бавлинских лесах, о том, как уберегли их разведчики и промысловые работники. Мой собеседник слушал с таким интересом, будто поведали ему о каком-то чуде.

— Как же это случилось? Ведь они ставят вышки, строят нефтепроводы, котельные, мастерские...

— И в Бавлах, конечно, стоят вышки, мастерские... А лес живет. Потому что добыча нефти полностью герметизирована. Нет черных, убивающих все живое потоков промысловой воды. Никто не загрязняет территорию вокруг скважин. И этих-то фонтанов не так уж много, гораздо меньше, чем там, где нет законтурного заводнения...

Кажется, мне удалось внушить педагогу из Елабуги надежду, что Корабельная роща не исчезнет с лица земли.

Я тоже верю, что нефтяники Татарии обойдутся с ее мачтовыми соснами так же бережливо, как и с дубами и березами Бавлинского промысла.

Раз уж зашла речь об уцелевших лесах, о сбереженной красоте природы там, где, казалось, не выжить ей в опасном соседстве с нефтью, хочется упомянуть и о поселке Акбуа.

Вместе с разведчиками появились в Бавлах строители и, когда было выяснено, что здесь хватит нефти на многие годы несколькими промыслам, заложили поселок Акбуа для работников будущего индустриального района Татарии.

Место для него выбрали удачно, на открытом солнцу пригорке, слева от магистрального шоссе и притом не у самой дороги, а в некотором отдалении, чтобы грохот машин не тревожил днем и ночью жителей.

Мне довелось видеть, как строители переносили с эскизного проекта на землю первые здания, первые улицы Акбуа.

Можно было заметить, что здесь стараются — если и не во всем без исключения, то хотя бы в самом главном — следовать намеченному плану и не очень упрощают архитектурный облик городка, его планировку, осмысленную застройку кварталов.

Как я уже сказал, между оживленной промысловой дорогой и строящимся городком оставили ничем не заполненное, довольно обширное пространство — когда-то здесь пасли деревенское стадо.

Однажды, воскресным утром, молодежь Акбуа — были здесь и нефтяники, и строители, и работники городских учреждений, магазинов, столовых, детских яслей — заполнила этот выгон, и к вечеру на всем его протяжении от дороги до въезда в городок выпрямились тонкие стволы крохотных, сейчас еще не отличимых друг от друга тополей, лип, кленов, березок.

Наступило еще одно воскресное утро, вернулись сюда юные жители Акбуа — теперь среди них были также люди постарше — и продолжили свое доброе дело.

Когда они разошлись по домам, саженцы стояли уже более густыми рядами.

Случается, такие похвальные начинания не дают желаемого результата. Брошенные без присмотра, не защищенные от прожорливых коз, за-

бытые всеми, эти деревца не могут прижиться, окрепнуть, и остаются на их месте лишь высохшие, обглоданные прутья.

Столь же печальная участь, казалось, постигнет и этих переселенцев из питомника, мимо которых грохотали машины с цементом и кирпичом.

Вспомнит ли кто-нибудь, что нужно хоть изредка напоить их, вскопать почву вокруг стволов, уберечь молодые ветви от гусениц, присматривать за каждым топольком, покуда он наберется сил для борьбы за свое существование?

Вскоре я выехал в другой район, так и не узнав, отыскался ли в Акбуа, в этом строящемся городке, человек, который возьмется оберегать будущий парк и доведет его через все испытания до поры зрелости.

Пропуская встречную колонну, наш водитель притормозил на повороте, и я последний раз окинул взглядом длинные ряды саженцев.

День выдался не по времени жаркий, запоздалый сухой обжигал лицо. Жалостно раскачивались, пригибаясь до самой земли, беспомощные тонкие деревца.

Ветер дул со стороны строительной площадки, швыряя на них все, что можно было там подхватить на лету, — желтый, мелко просеянный песок, известковую и цементную пыль, обрывки бумаги, плотничью стружку...

Первое, что я увидел, возвращаясь сюда по прошествии пяти лет, был парк, раскинувшийся от магистрального шоссе до въезда в Акбуа.

Тополя, березы, липы, клены, — и от каждого дерева уже легла тень на широкие аллеи, и каждое можно сегодня распознать по его листе.

Деревья еще не закрывают от взора город, выросший вместе с ними, но не так уж много времени понадобится, чтобы этот зеленый барьер поднялся выше домов Акбуа.

Не знаю, бывают ли здесь работники городских Советов Альметьевска и Лениногорска. Думается, видели они этот парк и, может быть, даже прогуливались в его тенистых аллеях.

Пришло ли им в голову, что каждый из новых городов, вырастающих на юго-востоке Татарии, мог бы сегодня располагать таким же крепнувшим, победно зазеленевшим парком? Много ли нужно для этого средств, хватит ли энтузиастов такого озеленения?

Несомненно, что и Альметьевск и Лениногорск выглядели бы даже сейчас, в пору еще не завершеного строительства, куда привлекательнее, нашлись бы в каждом городе люди, готовые своими руками украсить землю, на которой они живут.

Нужно только подвинуть их на такое доброе дело.

В новых городах живут люди, приехавшие из разных краев нашей страны. Возможно, некоторые еще не охвачены чувством привязанности к новому месту, не стали еще, как говорится, патриотами своего города.

Но очень многие — в этом не может быть сомнения — прониклись этим благородным и действенным ощущением своей личной ответственности за то, как выглядит их город, их улица...

Пройдем не только по улицам городов, построенных там, где добывают татарскую нефть, заглянем и во дворы хорошо распланированных кварталов Альметьевска и Лениногорска.

Для этого нигде не нужно будет открывать калитку или стучаться в ворота. Красивые ограды, калитки, ворота, увы, остались на эскизном проекте.

Там же, в рисунках и чертежах, можно увидеть, каким представлял себе архитектор любой двор в новом городе — с резной оградой, площадкой для детских игр, зеленью газонов и даже фонтанами.

Очень приятно выглядят они на разрисованном ватмане. Но совсем иное предстанет перед глазами, если свернешь с асфальтированного тротуара во двор нового дома.

Это, как правило, унылый пустырь, разделяющий здания и оставленный в том первоначальном виде, в каком он был во время строительства.

Каждый дом принимает авторитетная, придирчивая комиссия. Ходит с этажа на этаж, осматривая комнаты и коридоры, заботясь, чтобы жильцы получили квартиры такими, какие изображены на чертежах, на эскизных проектах.

Заметят небрежность, недоделку — потребуют:

— Исправьте, доделайте. Иначе не примем дом.

И строители, подчиняясь здравому смыслу и архитектурному надзору, исправляют, доделывают.

Комиссия наконец подписывает акт, и строители покидают дом. Они дают клятвенное обещание вернуться, привести в порядок двор, покрыть его асфальтом, оборудовать площадку для детей, поставить красивую ограду — в общем, сделать все, что предусмотрено проектом.

Клятва строителей скреплена подписями, печатями, точными датами и прочим канцелярским реквизитом.

Можно бы, конечно, не принимать дом, заставить строителей выполнить все это до въезда жильцов. Но кто же не знает, какая всюду нужда в жилье и как хочется поскорее въехать в новый дом.

— Пусть въезжают жильцы. Территорию вокруг потом приведем в порядок.

Давно уже отпраздновали новоселье во всех квартирах, а пустыри позади красивых фасадов остаются такими же, как и в день ухода строителей. Они не возвращаются сюда. Они говорят:

— Рады бы вернуться, но не можем выделить для этого ни одной машины, ни одного человека. Что важнее: газончики во дворах устраивать или дом подвести под крышу?

Никто уже не заставит строителей заняться благоустройством заселенных кварталов в ущерб тем, где должны поселиться со дня на день работники промыслов.

Смотришь на эти пустыри, разделяющие дома в новых кварталах, и невольно вспоминаешь возмужавший парк в Акбуа. Можно не сомневаться, что дворы Альметьевска и Лениногорска выглядели бы так же, как на эскизном проекте, если бы сами жильцы, не дожидаясь возвращения строителей, последовали примеру тех, кто вырастил и оберегает зеленый барьер между магистральным шоссе и городком Акбуа.

На альметьевской улице школьники затеяли игру в волейбол. Они перебрасывали мяч через воображаемую сетку. То и дело нужно было прерывать игру, чтобы пропустить машину.

— Неудобно здесь, ребята?

На меня посмотрели так, словно я свалился с неба. Неужели этот прохожий не видит, что здесь не игра, а мука?

— Почему вы играете здесь, посреди улицы? И без сетки?

— А где же еще нам играть?

— На стадионе.

— Э-э, туда далеко идти.

— А во дворе школы?

— Вот он, наш двор.

Капитан волейбольной команды указал на пустырь возле школьного здания.

— И это все ваше? — спросил я с подчеркнутым удивлением. — Такая большая площадка?

— А что в ней толку?

Школьный двор менее всего похож был на спортивную площадку. По краям валялись обломки железа, посредине вспучились какие-то земляные горбы, словно застывшие волны.

Видно было по всему, что с того времени, когда ушли строители, никто не прикасался к этой территории.

— Площадка замечательная, — сказал я. — Просто на редкость чудесная спортивная площадка.

Тут уж не только капитан, но и все игроки с недоумением воззрились на меня.

— На такой площадке, — продолжал я, — можно не только в волейбол играть. Здесь и для баскетбола хватит места.

— На этих горбах?

— А они вам мешают?

— Спрашиваете!

— Так уберите их. Что, силенок у вас не хватит срезать эти горбы, расчистить и выровнять площадку?

Не знаю, довелось ли ребятам, игравшим посреди улицы, задумываться над такой проблемой. Наверно, приходило им в голову, что можно самим, своими руками привести в благопристойный вид территорию, прилегающую к школе.

Но никто из взрослых, привыкших видеть их на улице с мячом, не внушил им уверенности в собственных силах, не объединил ребят для нелегкого, но такого нужного, полезного дела.

И подумалось о том, что сами-то взрослые не подают им примера у себя дома, во дворе, у своих дверей.

По-иному отнеслись бы и к школьному пустырю эти ребята, если бы, придя домой, увидели, что здесь каждый житель большого, многоквартирного дома охвачен желанием украсить клочок земли перед своими окнами, придать ему привлекательный вид.

Нужно ли ждать, пока возвратятся сюда строители, чтобы за счет государства доделать то, что они не успели выполнить?

Следует ли мириться с тем, что двор похож на заброшенную строительную площадку, и ограничиваться жалобами на тех, кто нарушил свое слово?

Не так уж много требуется выдумки, сил и времени, чтобы каждый двор радовал глаз, чтобы в жаркий день здесь можно было после работы отдохнуть в тени дерева, которое выращено твоими руками, и чтобы дети не гоняли мяч посреди улицы, увертываясь от грузовиков...

Стоит представить себе такой двор в Альметьевске или Лениногорске, и видишь, как останавливается у ворот — они уже на месте, красивые, узорчатые, сошедшие с рисунка архитектора, — автомобиль, и желанный гость — девушка из библиотеки, нагруженная книгами, — садится у стола под молодым тополем, приступая к работе.

Как это удобно и приятно, обменять прочитанную книгу у себя дома, а не шагать через весь город в клубную библиотеку!

И ничего затруднительного не представляет такое обслуживание читателей на дому — нужна лишь одна машина, да и то, вероятно, на несколько часов и не каждый день.

Эта же девушка из библиотеки могла бы не только обменивать, но и продавать книги — ведь не всегда найдется свободная минута зайти в магазин.

А там, глядишь, пожалуют в гости и клубные артисты в выходной день, когда — чего греха таить! — кое-кого тянет из дому в «забегаловку», к винной стойке...

Снова вспоминается бавлинский лес, сохранный там, где текут нефтяные реки, и парк, выращенный возле промыслового городка Акбуа. Здесь тоже найдется достаточно энергичных людей, они превратят скучные пустыри за фасадами красивых зданий в такие же, радующие глаз зеленые островки.



Нужно только взяться за это хорошее дело и объединить вокруг него патриотов Альметьевска и Лениногорска.

С каким интересом, помнится, разглядывали прохожие несколько фотографий на газетной полосе «Правды» возле кинотеатра, под стеклом витрины.

Над снимками, запечатлевшими весенний воскресник в Москве — посадку деревьев на улицах и во дворах новых домов, — красовался призывный заголовок: «Цвести городу-саду!»

Возле витрины останавливались жители Альметьевска, где все улицы и все дома новые и где такой простор для любого, кто захотел бы свой город тоже превратить в город-сад!

Не нужно было бы для этого сносить старые хибарки, ломать сгнившие заборы, расширять проезды между домами.

— Москвичи, видать, крепко нажали на озеленение, — сказал пожилой человек в очках, прочитав вслух заметку о воскреснике. — А у нас как лежал строительный мусор во дворе, так и лежит второй год...

— Машин не дают, а то бы давно вывезли, — заметила стоявшая рядом женщина с годовалым ребенком на руках.

Мужчина в очках неодобрительно глянул на нее.

— Не в машинах дело. Взялись бы, как эти вот, — он выразительно кивнул в сторону газетной витрины, — москвичи, так и машины нашлись бы и все прочее...

Он отошел от витрины, видимо, в полном убеждении, что и в Альметьевске можно сделать то же, что и в столице. Только бы взяться за это так, как «эти вот, москвичи»...

Я пишу об этом, ни минуты не сомневаясь, что альметьевцы и лениногорцы последуют примеру москвичей. Понадобятся, конечно, машины, бульдозеры и прочее для благоустройства, озеленения улиц, скверов, дворов. Не так уж бедны нефтяники, чтобы не нашлось в их хозяйстве всего, что поможет украсить их новые города.

И появятся со временем на газетной полосе «Советской Татарии» фотографии, подобные тем, что привлекли внимание прохожих на витрине возле кинотеатра, и под таким же звучным, жизнеутверждающим заголовком: «Цвести городу-саду!»

## Зрелость

Ранней осенью 1952 года делегация татарских нефтяников приехала на Туймазинские промыслы Башкирии, занявшие первое место в соревновании нефтяников. Имена знаменитых буровых мастеров — Куприянова, Алексеева, Гафарова — прогремели на всю страну. Сюда приезжали делегации из ближних и отдаленных нефтяных районов, и туймазинцы охотно делились своим опытом.

Делегаты самого молодого промысла приехали в автобусе, совершив непродолжительную поездку: из поселка Бавлы до Туймазов — рукой подать.

Соседи встретились у подножия Нарышевского холма. Скважина под номером 100, прославленная «сотка», продолжала фонтанировать, хотя прошло уже более пяти лет с того дня, когда разведчики пробрили здесь путь к девонским пластам.

Гости познакомились с мастерами, побывали на вышках, увидели, как работают люди, опередившие в короткий срок всех, кто добывает нефть.

Прощаясь, делегаты из Татарии говорили, что эта поездка многому их научила.

Осенью 1957 года туймазинская бригада Гафарова в полном составе прибыла на вышку Гайфуллина. Башкирский мастер приехал в Татарию, чтобы поглядеть, как это удалось соседу с невиданной скоростью пробиваться к девонским пластам. Учитель навестил ученика, шагнувшего далеко вперед...

На вышке № 3713 не ждали гостей. Никто не предупредил, что они пожалуют сегодня, и Гайфуллин утром вылетел в Казань на совещание в совнархозе.

У станка стоял бурильщик Мухамедгалиев. Ему-то и пришлось дать обстоятельное интервью и добрых два часа вести проходку на глазах всей бригады Гафарова.

Двенадцать башкирских нефтяников во главе со своим бригадиром зорко следили за каждым движением Мухамедгалиева, его помощника Самикова, рабочего Гафурова и «верхового» Халяпова.

Только что сменили сработанное долото и начали опускать тяжелые стальные «свечи» — свинчатые попарно бурильные трубы.

В такие минуты полностью обнаруживается мастерство буровой бригады — сноровка, умение экономить время, виртуозно управлять механизмами.

Гости молча стояли на деревянном помосте вышки, безошибочно отмечая удачи и промахи напряженно работающих людей.

Вот скользнула вниз, в скважину, длинная «свеча». Снова повисли в воздухе, раскачиваются гигантским маятником свинчатые трубы. Двое рабочих подхватили их и отправили туда же, куда погрузилась первая «свеча».

Высоко над нами, на крохотной площадке, орудовал «верховой». Он отважно перегнулся через дощатый барьер, заарканил веревочной петлей поднятую трубу и отпрянул тут же назад, потянув ее за собой.

Все движения человека, стоявшего на площадке «голубятни», на восьмиэтажной высоте, были подчинены плавному, спокойному ритму слаженной работы.

Ни разу не пришлось поторопить его снизу, ни разу он сам не ждал лишней минуты, готовясь набросить свою петлю на поднятую в уровень с ним «свечу».

Гости долго оставались на вышке. Можно было заметить, что многое им понравилось. Кто-то поглядывал время от времени на часы. Вероятно, подсчитывал, сколько тратит бригада на спуск бурильного инструмента, и сравнивал с собственными затратами на такое же дело.

Мухамедгалиев отвечал на вопросы Гафарова, но сам из вежливости ни о чем не спрашивал: гость был намного старше бурильщика.

— Сколько дали за восемь месяцев? — спросил Гафаров.

Речь шла о том, сколько метров пробурила бригада Гайфуллина с начала года. Услышав, что у него уже «десять тысяч в кармане», гость из Башкирии покачал головой.

— Мы только перешагнули за восемь тысяч.

— Так у них же здесь раздолье! Бури, где хочешь, везде нефть, — заметил кто-то из гостей. — А у нас уже не те фонды. Подбираем и с угленосной и с верхних пластов девона...

Мастер не пожелал воспользоваться этой репликой, чтобы как-то объяснить, почему туймазинцы сейчас уступают соседям в самом главном — в скорости бурения скважин. Здесь просто умеют хорошо работать. А нефти у них, конечно, куда больше, чем в Туймазах. Кто же этого не знает? Соседи научились хорошо работать. Вот в чем секрет. Полсотни «свечей» подняли из скважины за один час. Выдерживают их на третьей, четвертой скорости. И опускают так, что любо поглядеть!

— Сколько дали за прошлый год? — снова обратился Гафаров к бурильщику.

— Семнадцать тысяч триста метров. Вышли на первое место...

— Ну, оставайтесь на нем подольше, — сказал, прощаясь, башкирский мастер.

К вышке подкатил автобус. Гости отправились домой, в Туймазы.

Едут в Татарию не только соседи, навещают и бакинцы, грозненцы, куйбышевцы, привлеченные успехами мастеров, инженеров, геологов.

Здесь можно встретить и гостей из других стран.

Три недели жил в Бавлах и Лениногорске молодой геолог Цзян Ши-вей из Пекина. Он приехал в Татарию, чтобы ознакомиться с прогрессивными методами разработки нефтяных месторождений.

— Я много читал о законтурном заводнении, — говорил он мне, предупредив, что первые русские слова научился произносить всего лишь за три месяца до поездки в СССР. — Это удивительное открытие! Я хотел непременно увидеть своими глазами, как добывают нефть с помощью воды...

Все увидел своими глазами этот пытливый геолог из Пекина. Каждое утро он садился в вахтовый автобус и уезжал на промысел.

Он хотел узнать все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к новому методу эксплуатации нефтяной залежи. Вместе с машинистом и слесарем шагал вдоль магистрального трубопровода, чтобы увидеть, как нагнетают в скважины воду.

Старательно записывал в свою пухлую тетрадку каждое слово, сказанное геологами, каждую цифру роста добычи нефти или давления в подземных пластах.

Он еще не знал по-русски достаточно хорошо и часто повторял, смущенно улыбаясь:

— Прошу извинить меня, пожалуйста, скажите еще раз, медленнее...

Он напряженно вслушивался в то, что ему говорили. И хотелось донести до его сознания все, что помогло бы разобраться в новом деле.

Застенчивость не мешала ему, однако, быть весьма настойчивым. Снова и снова извиняясь, он, тем не менее, добивался своего и закрывал тетрадь, только выведав все, что было ему нужно.

Этот молодой человек приехал с твердым намерением не упустить ни единой мелочи, дойти, что называется, до самой сути нового метода разработки нефтяных месторождений.

— У нас, в Китае, — говорил он убежденно, — будет большая нефтяная промышленность. Запасы нефти у нас есть. Но опыта мы не имеем. Я должен приехать домой и передать весь ваш опыт.

— Такой парень все увидит, — сказал машинист насосной станции, после того как Цзян Ши-вей провел здесь безвыходно несколько дней. — Не зря на него деньги потратили, оправдает каждую копейку...

Геолог из Пекина увез с собой столько наблюдений, такое обилие подробнейших записей и чертежей, какое не собрать бы иному и за долгие месяцы.

Где-нибудь на просторах своей великой страны этот гость, любившийся всем, кто его видел, наверно, уже осуществляет проект законтурного заводнения нефтяной залежи по такому же способу, как в Бавлах и Лениногорске.

— Мы будем работать так, чтоб не стыдно было через несколько лет пригласить вас и показать наши промыслы, — сказал Цзян Ши-вей, прощаясь с геологами.

Можно верить, что эти слова будут подкреплены делом.

Встретил я на промыслах Татарии еще одного гостя из-за рубежа. С таким же пристальным вниманием изучал здесь нефтяную технику студент-выпускник Московского нефтяного института албанец Мехмет.

Он побывал и в Туймазах, где знакомился с турбинным бурением. В Татарии его больше всего увлекла разведка новых залежей нефти.

— Это не по моей специальности. Я на промысловом факультете. Но в Албании нефтяная промышленность еще молода. Будет полезно, если я узнаю здесь как можно больше...

И он постарался узнать все, что пригодилось бы нефтяным промыслам его родины. Разведчики рассказали ему, как были открыты девонские месторождения, с какой быстротой удалось исследовать их и начать разработку найденных сокровищ.

Албанский студент стоял на вахте рядом с мастерами и бурильщиками, изучая форсированный режим бурения.

Он уехал отсюда не с пустыми руками, сказав на прощание, что увозит из Татарии драгоценный опыт советских нефтяников.

У себя на родине встретит он гостей из Татарии: бригада мастера Родионова готовится к поездке в Албанию.

— Мы прихватим с собой турбобур. Пускай поработает и на албанской земле,— говорит Родионов.

Бригада Родионова повезет в Албанию не только советский турбобур. Достижения лучших мастеров Татарии будут использованы для разведки нефтяных месторождений Албании.

Родионов и бурильщики его бригады щедро поделятся своим опытом, они покажут албанским друзьям, как прокладывать дорогу к нефти через самые крепкие и рыхлые породы без глинистого раствора, вместе с ними пробурят наклонно-направленные скважины.

Албанский студент Мехмет сказал мне:

— Каждый наш специалист мечтает о поездке в Советский Союз, чтобы ознакомиться с техническими достижениями, повысить свою квалификацию. Особенно нефтяники. Они говорят: только в Советском Союзе можно научиться теперь передовым методам разведки и добычи нефти.

Мечтают о поездке на нефтяные промыслы нашей страны не только албанские инженеры и геологи. В Афинах, возле мраморной колоннады Парфенона, два египтянина заговорили с нашими туристами. Переводчик не успевал переводить вопросы, которые наперебой задавали туристы из Каира, узнав, что перед ними пассажиры теплохода «Победа».

— Мы читали в газете о вашем плавании вокруг Европы. Скажите, пожалуйста, нет ли здесь нефтяников?

К сожалению, среди пассажиров «Победы» не оказалось ни одного нефтяника.

— Мы окончили в этом году политехнический институт. Я и мой друг будем работать на нефтяных вышках Египта. У нас будет создана своя национальная нефтяная промышленность. Мы решили непременно совершить поездку в Советский Союз. Там у вас где-то открыли огромное нефтяное месторождение и разрабатывают его совсем по-новому. Мы знаем об этом только по небольшим статьям в журналах. Если приедем, нам покажут все, что захотим увидеть?

— Приезжайте, от вас ничего не скроют.

— О, нам известно, что советские люди охотно делятся своими достижениями.

— Да, они всегда рады помочь друзьям.

Туристы из Каира присоединились к нашей группе и долго бродили вместе с нами среди мраморных руин Акрополя. Они рассказали о себе, о том, как скопили деньги на путешествие по Средиземному морю, и теперь, возвращаясь на родину, горят желанием поскорее применить свои знания на разведке нефтяных месторождений в Египте.

Несколько раз они просили переводчика передать нам, что встреча с советскими туристами доставила им большую радость.

Записывая мой адрес, один из египтян спросил:

— Может быть, вы знаете, где у вас добывают нефть совсем по-новому? Как это называется?

Переводчик не мог передать в точности название, произнесенное по-английски, и неуверенно сказал:

— Он почему-то говорит о воде. Не понимаю, при чем тут вода?

Узнав, где можно увидеть этот новый способ добычи нефти с помощью законтурного заводнения, а заодно и ознакомиться с турбобуром, инженеры из Каира протянули свои блокноты:

— Напишите адрес по-русски.

Я вывел печатными буквами два слова: Татария, Альметьевск. Рядом возникли два слова, начертанные по-арабски.

— Та-тарья... Аль-метевск.... — произнес египтянин. — Красиво звучит...

Его друг тоже прочитал нараспев незнакомые слова и подтвердил:

— Очень красиво. Как строчка из стихотворения.

Мы распрощались на ступенях Пропилей.

— До встречи в Та-тарья!

Я от всей души пожелал египетским инженерам осуществить задуманное путешествие в Советский Союз. Может быть, они приедут в Альметьевск и удостоверятся, что советские люди действительно всегда рады поделиться своим опытом с друзьями, и со временем на земле Египта будет проложена дорога к нефтяной залежи советским турбобуром и таким же прогрессивным методом, какой зародился и восторжествовал на татарских промыслах.

Этот передовой, подлинно революционный метод добычи нефти принят и в Румынии. Недавно вернулся оттуда Павел Прокопьевич Балабанов, ветеран славной гвардии буровых мастеров Башкирии и Татарии.

На вышках Плоешти Павел Прокопьевич показал румынским мастерам свое искусство бурить глубокие скважины турбобуром, на форсированном режиме и помог освоить новую технологию проходки без глинистого раствора, на чистой воде.

Балабанов проложил первые скважины в Туймазах, когда еще никто не знал, что принесет здесь глубокая разведка. Там же, на туймазинских вышках, этот с виду медлительный, неразговорчивый человек впервые пробурил скважину с небывалой по тем временам скоростью — более тысячи метров в месяц. Потом он принял участие в разведке Ромашкинской площади.

— Я хорошо подготовился к поездке в Румынию, — рассказывал мне Балабанов, — собрал все материалы по бурению на разных породах, взял свои записи — их у меня целый портфель накопился... И все-таки немного волновался. Ведь какое ответственное дело! Еду, можно сказать, как представитель всей армии советских нефтяников. Нужно передать нашим друзьям такой большой опыт, а смогу ли это сделать? Хватит знаний толково все разъяснить? Больше всего полагался на то, что возле бурового станка, на вышке, я не растеряюсь...

Он не растерялся ни на вышке, у станка, ни в беседах с мастерами Плоешти, ни в те часы, когда собрались послушать гостя из Татарии бурильщики, буровые рабочие всего промысла.

С такой жадностью ловили они каждое его слово, так внимательно следили за его работой на вышке, что хотелось как можно полнее раскрыть перед этими людьми самые сокровенные тайны новых методов бурения скважин.

Балабанов передал румынским нефтяникам не только свой личный опыт. Он показал во всех подробностях новаторские достижения Белоглазова и Гайфуллина, Нургалеева и Гриня, стараясь не упустить ни одной детали, чтобы каждый мастер и каждый бурильщик мог взять на свои вышки то, что достигнуто на промыслах Татарии.

Он рассказал румынским друзьям и о том, как Гайфуллин прорвался через рыхлые породы без глины, и о том, как Нургалеев довел до предела нагрузку на долото. Нужны были точные цифры, и хорошо, что они оказались под рукой.

— Никогда до этой поездки, — говорил Балабанов, — я с такой отчетливостью не представлял себе, какое международное значение имеет каждый наш шаг вперед. С утра до вечера занят всякими заботами, бьешься за метры проходки — у меня теперь на плечах не одна буровая, а большой участок, целый отряд буровых бригад. Знаешь, конечно, что каждая тонна нефти укрепляет наше хозяйство, а значит, и помогает всему социалистическому лагерю строить новую жизнь. Но вот увидел я, как румынский мастер пустил в ход наш турбобур и первый раз стал бурить с предельной нагрузкой, совсем как наши мастера, тут, знаете, сердце порадовалось... Далеко от Альметьевска, на румынском промысле, человек стал работать лучше, потому что ему помогли нефтяники Татарии. Как хотите, а ведь это действительно международное значение успеха, какой завоевали наши мастера. Подвинемся мы немного вперед — значит, где-то за тысячи километров от этих вышек наши друзья тоже пойдут быстрее.

Впервые увидел я Балабанова таким взволнованным, таким словоохотливым. Вероятно, поездка к румынским друзьям оставила глубокий след в его душе.

И невольно пришло на память, что еще пять лет назад не было и города Альметьевска, о котором спрашивали меня в Афинах египетские инженеры, не было и этих вышек, где родился новый метод добычи нефти, подхваченный румынскими мастерами.

Удивительно быстро настала здесь, на молодых промыслах Татарии, золотая пора зрелости.



---

# ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

А. ПЛАХОТНИК

*Кандидат географических наук*

★

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

**В** соответствии с программой Международного геофизического года...» Этими словами неизменно начинались сообщения ТАСС о запуске первого, второго и третьего искусственных спутников Земли. 4 октября, 3 ноября 1957 года и 15 мая 1958 года — даты, которые навсегда останутся у нас в памяти как вехи на пути осуществления дерзновенной мечты человечества о покорении космических пространств...

Что же такое Международный геофизический год и какое отношение имеют к нему запуски искусственных спутников Земли?

...Выдалась на редкость холодная зима. Под тяжестью обильно выпадавшего снега рушились дома, обрывались линии телеграфной связи, на длительное время прекратилось движение всех видов наземного транспорта. Из-за морозов и снегопадов погибли сотни людей. А когда пришла весна, ее первые теплые дни принесли новое несчастье: накопившиеся в горах огромные массы снега вызвали исключительно высокий подъем воды в реках. Они вышли из берегов и разлились на большой территории. Началось наводнение.

...В районе океанского побережья стоит тихая погода. Пологие волны «мертвой зыби» с зеркально-гладкой, чуть испещренной мелкой шахматной рябью поверхностью лениво накатываются на берег и отходят назад. На берегу и прилегающих к нему участках земли — множество людей. Они не подозревают о грозящей им опасности.

Но вот вдали, у горизонта, вырос длинный водяной вал, приближающийся с огромной скоростью. Раздаются сигналы тревоги. Люди бегут в панике. Но поздно. Огромная волна, высотой с трехэтажный дом, обрушивается на берег, круша и ломая все на своем пути, а затем, как бы пресытившись разрушениями, уходит обратно в океан, унося с собой трупы утонувших людей, обломки построек, утварь, погибший скот...

Приведенные отрывки — не писательская выдумка, а скупой перечень фактов, имевших место несколько лет назад на территории Италии, Греции, Австрии, Югославии и на побережье Тихого океана.

В наш век, отмеченный замечательными достижениями науки и техники, приближившими нас к межпланетным перелетам, люди еще не научились всегда предвидеть грозные стихийные бедствия, не говоря уже о том, чтобы управлять силами природы у себя на Земле.

Это не удивительно. Чтобы как-то воздействовать на природу, необходимо прежде всего знать ее законы. Геофизика — наука, изучающая физические явления в твердой, жидкой и газообразной сферах Земли, — еще очень молода. Перед ней стоит большое количество нерешенных проблем. Быстрейшее развитие геофизики — одна из наиболее актуальных научных задач современности.

Точное знание физических явлений, происходящих на Земле, — возникновение сильных морозов и снегопадов, изменение уровня рек, землетрясения и моретрясения, гигантские вихри — циклоны, проносящиеся над землей, знание причин, порождающих

«нервное» поведение магнитной стрелки компаса (магнитные бури), атмосферных помех в радиоприемниках и многого другого, что изучает геофизика, — практически очень важно для воздушного и морского транспорта, связи, строительства и иных отраслей человеческой деятельности.

Физические процессы, происходящие на Земле, обладают той характерной особенностью, что для них не существует территориальных границ. Их развитие происходит на значительных пространствах, охватывающих иногда целое полушарие или даже еще большую часть земной поверхности. Проникнуть в сущность законов, управляющих ими, можно только на основе тщательных наблюдений одновременно на всей территории, на которой они происходят.

Таким образом, эффективные геофизические исследования мыслимы лишь как международные, как сочетание согласованных усилий ученых целого ряда стран.

Эта истина была осознана еще во второй половине прошлого века, когда начались геофизические исследования в полярных районах Северного полушария.

В течение года — с августа 1882 по август 1883, — вошедшего в историю науки под названием Первого Международного полярного года, двенадцать стран, в том числе Россия, проводили совместные исследования Арктики, достигнув при этом значительных успехов. Выдающиеся научные результаты были получены и во время Второго Международного полярного года, который состоялся с августа 1932 по сентябрь 1933 года с участием уже сорока девяти государств.

Однако, как ни важно изучение Арктики, вскоре стало очевидным, что при следующих согласованных международных исследованиях Земли уже нельзя ограничиваться лишь одним этим районом.

Сильно отстало, например, изучение противоположной полярной области Земли — Антарктики. Имеются большие пробелы в изучении Земли в низких (экваториальных и тропических) широтах, а частично и в средних широтах, несмотря на значительное число ранее проводившихся там исследований.

В то же время в результате исключительных достижений науки и техники за последние четверть века проведение геофизических исследований стало возможным в несравненно более широких масштабах и гораздо более совершенными средствами, чем во время Второго Международного полярного года.

Исходя из этих соображений, было решено провести очередное согласованное изучение всей Земли в течение полутора лет — с 1 июля 1957 по 31 декабря 1958 года — и именовать этот период Международным геофизическим годом (МГГ). Участвовать в МГГ выразили желание шестьдесят пять стран и среди них в числе первых — Советский Союз.

Величественные и небывалые по глубине и сложности задачи стоят перед Международным геофизическим годом. Результаты научных работ во время МГГ должны раскрыть многие еще неясные и даже загадочные явления, происходящие в земной коре, в океанских водах и в атмосфере. Они позволят познать сложную и многообразную физику нашей планеты в целом, во взаимосвязи и взаимодействии отдельных геофизических процессов.

Различные геофизические исследования призваны способствовать научному и техническому прогрессу в области прогнозов погоды (в особенности долгосрочных), в области мореплавания, дальней и высотной авиации, радиосвязи, службы времени, развития методов разведки полезных ископаемых.

С завершением работ МГГ и обработки накопленных обильных материалов научных наблюдений будут сделаны выводы, открывающие новые пути покорения природы человеком, увеличения богатства всего человечества.

Познакомимся вкратце с некоторыми основными научными проблемами, которые решаются в период МГГ.

## СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И РАДИАЦИЯ

Источником всей жизни на Земле и причиной подавляющего большинства геофизических процессов является энергия Солнца. В связи с этим одна из главных проблем современной геофизики состоит в уточнении теплового баланса земного шара, установ-



лении связи между поступающей на Землю солнечной радиацией и ее расходом в окружающее пространство.

Эта проблема не нова. Она впервые была выдвинута в восьмидесятых годах прошлого века выдающимся русским климатологом А. И. Воейковым, указывавшим на необходимость ведения «приходо-расходной книги солнечного тепла, получаемого земным шаром, с его воздушной и волновой оболочкой». Тем не менее до последнего времени наблюдения над поступающим на Землю солнечным излучением проводились в очень небольшом числе пунктов и были совершенно недостаточны для вычисления теплового баланса Земли.

Международный геофизический год призван в корне изменить это положение. Непрерывные записи солнечного излучения, поступающего на горизонтальную поверхность, а также продолжительности солнечного сияния производятся в большом числе пунктов на суше и на судах, плавающих в различных районах океанов и морей.

Совершенно очевидно, что количество солнечного тепла, поступающего на поверхность Земли, сильно меняется в зависимости от его поглощения и рассеяния содержащимися в воздухе водяными парами и твердыми примесями. Но и количество солнечного тепла, поступающего на границу атмосферы, также не остается строго постоянным а несколько меняется в зависимости от процессов, происходящих на Солнце.

Вот почему во время МГГ ученые прежде всего пристально наблюдают за состоянием Солнца, или, говоря иначе, за изменением солнечной активности.

Иногда на Солнце происходят мощные взрывные процессы и из его недр выбрасываются потоки частиц, называемых корпускулами. Установлено, что с изменением интенсивности корпускулярного излучения Солнца связана степень развития ряда физических процессов на Земле — полярных сияний, изменений магнитного поля и некоторых других.

Природа изменения солнечной активности еще очень мало изучена. Известно только, что она зависит от состояния поверхности светила и, в частности, от наличия на ней областей пониженной яркости свечения — так называемых солнечных пятен.

В связи с этим ежедневно определяются их число, координаты и площадь распространения. Проводится замедленная киносъемка изменений в сложных группах солнечных пятен с целью выяснения условий их возникновения и характера развития, а также отражения этих явлений в земной атмосфере. В периоды наибольшей солнечной активности ее многообразное влияние на геофизические явления становится особенно заметным, а эти явления протекают особенно интенсивно и наблюдать за ними более легко и удобно.

Очередное, современное нам усиление солнечной активности приходится на 1957—1958 годы. Именно поэтому указанный период избран для проведения Международного геофизического года.

## ОКЕАНЫ И МОРЯ

Почти три четверти поверхности земного шара занято океанами и морями.

Водная поверхность аккумулирует огромное количество солнечного тепла и передает его вниз — путем перемешивания верхних слоев воды с нижележащими — и вверх — путем подогревания прилегающего к ней слоя атмосферы. Проследивая распространение солнечного тепла в океане, мы сталкиваемся с мощными системами теплых и холодных течений, переносящих на многие тысячи километров водные массы в океанах и воздушные массы над их поверхностью. В движениях тех и других имеется еще очень много неясного, неизученного, и МГГ призван значительно содействовать их уяснению.

Изучается изменчивость во времени и в пространстве границ теплых и холодных водных масс, так как вблизи этих границ наблюдается особенно богатый животный и растительный мир.

По программе работ МГГ проводятся тщательные исследования причин сезонных изменений уровня океанов и морей, особенностей длиннопериодных волн, возникающих при моретрясениях, а также других пока что неясных вопросов современной океанографии. К выполнению этих исследований привлекается сеть разбросанных вдоль

побережий океанов и морей гидрометеорологических станций и целый флот в составе сколо семидесяти судов, специально построенных или переоборудованных для производства научных работ.

Очень подробно обследуются все еще малоизученные полярные воды, в особенности омывающие Антарктиду. Здесь требуется изучить буквально все: тепловой баланс водной поверхности, теплосодержание вод на различных глубинах, плавучие льды, переносящие их течения, условия существования в морской воде животных и растительных организмов, начиная от гигантов китов и кончая мельчайшим планктоном, и многое другое.

### ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ. ЛЕДНИКИ

Много усилий прилагается к тому, чтобы любым — прямым или каким-либо косвенным — путем заглянуть поглубже внутрь Земли. Ведь парадоксальным является факт, что о составе и строении глубоких земных недр люди до сих пор знают меньше, чем с звездах, находящихся на колоссальных расстояниях от Земли.

Одним из надежных способов выяснения вопроса о распределении масс земной коры, в особенности в местах ее разломов и в горных районах, являются тщательные измерения ускорения силы тяжести. Они позволяют судить о том, происходит ли в наше время смещение земных масс внутри Земли. Одновременно они дадут возможность уточнить наши представления о форме Земли, что очень важно для составления точных географических карт. Эти измерения принесут большую пользу при разведке нефти и других полезных ископаемых.

Вопрос о постепенном перемещении континентальных масс изучается и другим способом — очень тщательным измерением географических координат ряда пунктов земного шара, в которых такие измерения уже производились (то есть в основном мест расположения крупных астрономических обсерваторий), что дает возможность судить о том, изменяются ли эти координаты с течением времени. Сейчас, например, существует предположение, что вследствие смещения земных масс в районе Северной Атлантики расстояние между Нью-Йорком и Парижем с каждым годом изменяется, но никто еще точно не знает, так ли это на самом деле, и если так, то какова величина этих изменений — выражается ли она в метрах или в сантиметрах. Знать о таких изменениях важно для целей картографии, а тем самым для авиации, судоходства и всех других отраслей хозяйства, пользующихся точными географическими картами.

Быстрые и кратковременные смещения земной коры, проявляющиеся в виде толчков или сотрясений поверхности Земли, носят названия сейсмических колебаний. Они регистрируются специальными приборами на сейсмических станциях, сеть которых на время МГГ значительно расширена. Сличение одновременных показаний целого ряда сейсмических станций окажет большую помощь в изучении внутреннего строения нашей планеты.

Очень важны также впервые начатые сейчас наблюдения за так называемыми микросейсмами — колебаниями земной коры с очень малой амплитудой (порядка нескольких десятков микрон) и с периодом до десяти секунд. Как было установлено еще в 1915 году русским академиком Б. Б. Голицыным, микросейсмы создаются крупными атмосферными вихрями — циклонами — во время прохождения их над океанами и морями. Сильные ветры в циклонах (особенно в тропических циклонах северной части Тихого океана — тайфунах, а также в циклонах Северной Атлантики), пронесаясь над водой, вызывают в ее толще так называемые стоячие волны, с которыми связано пульсирующее усиление и ослабление давления на дно. Эти пульсации давления в свою очередь порождают микросейсмы, распространяющиеся в виде упругих волн во все стороны от места своего зарождения. Современная аппаратура позволяет улавливать микросейсмы на расстояниях до трех тысяч километров и более от очага их возникновения. Тем самым открывается новый надежный способ своевременного обнаружения в океанах сильных циклонов и предупреждения об их приближении к побережьям. При наблюдениях за микросейсмами во время МГГ уточняются условия их возникновения и, в частности, изучается положение очага микросейсм относительно центра циклона.

Особое внимание в работах МГГ уделяется исследованиям обширного, скованного ледниками южного континента земного шара — Антарктиды.

Антарктида была открыта русскими мореплавателями еще в 1819—1821 гг., однако до последнего времени она оставалась совершенно не изученной в геофизическом отношении, полной загадок и тайн областью Земли. На ледниках Антарктиды работают экспедиции ряда стран, и в первую очередь Советского Союза. Исследуется движение льда, его температура на разных глубинах, процесс таяния снега, измеряется общая толщина ледникового щита Антарктиды и т. д.

Не забыты и ледники Гренландии, на Земле Франца-Иосифа, в горах Памира, в Якутии. Там ведутся тщательные наблюдения, которые позволят ответить на ряд интересных вопросов: почему, например, даже в сравнительно недавнее историческое время (уже когда на Земле появился человек) значительную часть материков несколько раз покрывали ледники? Почему теперь ледники занимают на Земле довольно обширные пространства и не все из них отступают, а некоторые продвигаются вперед? Какова, хотя бы приблизительно, масса ледникового панциря, сковывающего отдельные районы Земли? На все эти вопросы ученые постараются дать ответ с помощью наблюдений, проводимых в настоящее время ледниковыми станциями, специальными маршрутными ледниковыми партиями, а также на основании аэрофотосъемок районов оледенения.

### МАГНИТНОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Природа земного магнетизма до сих пор не ясна. Достаточно хорошо изучено лишь распределение магнитного поля над континентами в непосредственной близости от земной поверхности. Между тем данные о земном магнетизме повседневно и очень широко используются в мореплавании, авиации и при разведке полезных ископаемых. Тут-то и возникают серьезные затруднения, поскольку мы недостаточно знакомы с особенностями различных изменений магнитного поля — вековых, сезонных, суточных и других. Наиболее важны наблюдения за так называемыми магнитными бурями, возникающими при усилении солнечной активности. Ученые стремятся успеть во время МГГ тщательно и подробно изучить магнитное поле Земли.

Земля обладает не только магнитным, но и электрическим полем. Под влиянием процессов, происходящих в атмосфере и в прилегающем межпланетном пространстве, между Землей и верхними слоями атмосферы создается разность потенциалов в несколько сот тысяч вольт. Каковы процессы, вызывающие и поддерживающие электрический заряд Земли? На этот вопрос современная геофизика еще не в состоянии дать вполне исчерпывающий ответ. Наиболее вероятно, что атмосферным процессом, восполняющим земной заряд, являются грозы. Ряд наблюдательных пунктов, расположенных в разных частях земного шара, осуществляет одновременные согласованные наблюдения над электрическим полем, проводимостью атмосферы, а также над грозовой деятельностью.

С грозowymi облаками в атмосфере и возникающими в них разрядами — молниями, кроме того, связано возникновение особых радиоволн, имеющих характер кратковременных импульсов, продолжительностью от нескольких сот до двух-трех тысяч микросекунд, именуемых атмосфериками. Атмосферика, создающие помехи радиоприему (воспринимаемые как щелчки или грохот в микрофоне), были впервые отмечены изобретателем радио А. С. Поновым, указавшим и на причины их возникновения. Повсеместное наблюдение за атмосфериками во время МГГ дает возможность с большой точностью обнаруживать наличие грозowych облаков, их положение в пространстве (путем радиопеленгования), что имеет важное значение в системе метеорологических наблюдений.

### АТМОСФЕРА. ПОЛЯРНЫЕ СИЯНИЯ

Значительные усилия ученых всех стран направлены на изучение атмосферы. Необходимо точнее узнать характеристики ее основных метеорологических элементов — направление и скорость ветра, температуру, давление, плотность и другое.

Очень интересным и почти совершенно не изученным вопросом современной метеорологии является вопрос о происхождении постоянно присутствующих в нижних слоях атмосферы ядер конденсации — мельчайших гигроскопических (влагоемких) частиц,

около которых конденсируются воздушные пары, а затем образуются облака. Полагают, что среди ядер конденсации немало частичек морской соли, которые уносятся вместе с брызгами, срываемыми ветром с гребней волн во время штормов. Но есть и частички континентального происхождения. В настоящее время ведутся тщательные наблюдения над ядрами конденсации как на поверхности Земли (метеостанциями), так и на высотах (самолетами).

Вот вокруг ядер конденсации сконденсировалась влага, образовалось облако, и из него пошел дождь. Казалось бы, что науке здесь делать нечего. Нет, и тут мы встречаемся еще с целым рядом загадочных, неразрешенных проблем. Например, мы заблуждаемся, когда думаем, что дождевая вода, если она не стекает с крыш зданий, а непосредственно выпадает «с неба», является образцом чистоты. Установлено, что и в этой воде содержатся примеси. Неизвестно только, как они попадают в нее, — то ли они заключены в частицах облака с самого начала их образования в качестве ядер конденсации, то ли захватываются выпадающими каплями дождя на пути от облака до Земли? Для выяснения этих вопросов на ряде метеорологических станций собирают пробы атмосферных осадков, подвергая их затем тщательному химическому анализу на основные примеси.

Особое внимание исследователей привлекает находящийся на высотах приблизительно от десяти до семидесяти километров от Земли слой озона.

Газ озон в естественных условиях образуется из кислорода воздуха под влиянием солнечного излучения. В количественном отношении он представляет собой ничтожно малую величину — всего лишь три десятиллионных доли общего объема атмосферы. Однако озон обладает весьма важным свойством — способностью почти целиком поглощать ультрафиолетовое излучение Солнца и тем самым предохранять всю жизнь на Земле от его губительного воздействия. В то же время поглощение ультрафиолетовых лучей приводит к нагреванию слоя озона до температуры порядка плюс пятьдесят градусов, что в свою очередь создает своеобразный «оранжерейный эффект». Излучаемое Землей тепло плохо проходит через слой озона — оно задерживается им так, словно это не слой газа, а гигантское, сплошь окружающее Землю стекло оранжереи.

Во время МГГ проводятся работы по измерению содержания озона в приземном слое воздуха, распределения его по высоте, а также определению общего содержания озона в атмосфере.

Большинство метеорологических проблем в той или иной степени связано с наблюдениями в верхних слоях атмосферы.

Вот почему важное место в работах МГГ занимают аэрологические исследования, осуществляемые в основном с помощью специального прибора — радиозонда, впервые предложенного еще в 1930 году советским ученым П. А. Молчановым. Современные радиозонды поднимаются на высоту в двадцать — тридцать километров, производя непрерывную передачу по радио сведений о температуре, влажности и давлении воздуха. Массовые наблюдения с помощью радиозондов во время МГГ значительно облегчат верное изображение атмосферных процессов на синоптических картах и позволят повысить качество прогнозов погоды.

Для исследования верхних слоев атмосферы пользуются также рядом косвенных методов, одним из которых является наблюдение свечения неба в ясные ночи. Важнейшей из причин этого любопытного явления служат полярные, или северные, сияния, происходящие на высотах от семидесяти до тысячи ста километров.

В связи с усилением солнечной активности, о причинах которой мы уже говорили, число полярных сияний на Земле в настоящее время достигло максимума. В районах, лежащих свыше 60 градусов широты, работает сеть пунктов, оборудованных автоматическими фотоаппаратами, которые каждые пять минут производят снимки неба. Это поможет получить ясное представление о распространении полярных сияний на поверхности Земли и об их изменчивости. При первых признаках особенно интенсивных полярных сияний специальный центр передает сигнал «будь готов», по которому все геофизические учреждения начинают производить учащенные наблюдения как за полярными сияниями, так и за другими тесно связанными с ними явлениями.

## КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ И ИОНОСФЕРА

Пожалуй, одной из важнейших и наименее изученных проблем современной физики является проблема космических лучей — этих загадочных пришельцев из межпланетного пространства. Поток частиц, составляющих космическое излучение, обладает очень большой энергией. Ученые особенно тщательно исследуют интенсивность космических лучей. В них они видят разгадку некоторых особенностей полярных сияний, изменений магнитного поля Земли и других геофизических явлений.

В земной атмосфере на высотах примерно от ста километров и до самой ее границы содержится большое число свободных электрически заряженных частиц — ионов. Именно поэтому все это огромное пространство получило название ионосферы. О существовании ионосферы и происходящих в ней процессах стало известно сравнительно недавно — немногим более тридцати лет назад, когда начала развиваться дальняя радиосвязь. Было обнаружено, что радиоволны, достигая высоких слоев атмосферы, не уходят в мировое пространство, а благодаря электропроводности этих слоев, зависящей от их ионизации, отражаются в направлении к Земле. Достигнув Земли, радиоволны отражаются от нее, вновь направляются к ионосфере и т. д. Этот многократный отражательный процесс и делает возможным радиопередачи на большие расстояния.

Иногда на высотах разыгрываются ионосферные бури, и радиосвязь нарушается. Например, в 1956 году во время одной из таких бурь английское адмиралтейство, потеряв связь со своей подводной лодкой, крейсировавшей у берегов Гренландии, решило, что она погибла, но когда ионосферная буря прекратилась, радиопередачи лодки вновь стали слышны.

Основной задачей ионосферных исследований является изучение изменчивости состояния ионосферы в пространстве и во времени и, в частности, ионосферных бурь.

Существенно важным является изучение связи между проводимостью ионосферы и ее температурой и давлением, а также изучение скорости и направления ветра в ионосфере и других ее физических характеристик.

Чтобы обеспечить успешное проведение подобных работ, на всем земном шаре создано сто шестьдесят специально оборудованных ионосферных станций. Излучая короткие импульсные радиосигналы различной частоты и принимая их отражения от верхних слоев атмосферы, эти станции помогают определить высоту отражающих слоев, исследовать неоднородность структуры атмосферы и изучить движение ее отдельных участков. Это обеспечит возможность прогнозирования состояния ионосферы.

Однако далеко не все, что необходимо знать об этой наиболее удаленной от нас части атмосферы, могут дать наблюдения наземных станций. Они, например, ничего не скажут о самых высоких слоях ионосферы, граничащих с космическим пространством, а также о космическом излучении, поступающем на ее верхнюю границу. Даже подъемы на шарах-зондах приборов, измеряющих космическое излучение, оказывались для этой цели совершенно неэффективными, так как остающиеся выше измерительного прибора слои воздуха (пусть даже очень разреженного) искажали состав космических лучей. Наземные наблюдения не давали возможности судить и о ряде других явлений на границе атмосферы, интересующих современную науку и технику.

В связи с этим в течение последнего десятилетия много внимания уделяется непосредственным инструментальным наблюдениям в самых верхних слоях атмосферы.

## ВЫСОТНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ

Развитие техники дало науке новое средство для изучения атмосферы — высотные геофизические ракеты.

В настоящее время в СССР и США, где ракетные исследования наиболее развиты, они производятся до высот в несколько сотен километров. Ракета очень быстро пронесется через высокие слои атмосферы, но и этих мгновений оказывается достаточно, чтобы установленная на ней сложнейшая аппаратура смогла зарегистрировать и передать по радио ряд сведений: о давлении, плотности, температуре, оптических свойствах окружающей среды, о космических лучах, ультрафиолетовом и рентгеновском излучении Солнца, о магнитном поле Земли и других элементах.

Все эти данные очень важны для улучшения качества прогнозов погоды, обеспечения работы высотной авиации и радиосвязи.

Главная часть геофизической ракеты с находящейся в ней измерительной аппаратурой, отделившись от ракеты на заданной высоте, опускается на парашюте, благодаря чему увеличивается время пребывания приборов в исследуемых слоях атмосферы, а следовательно, точность измерений и их надежность. К тому же это дает возможность последующего использования этих ракет.

### РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ СПУТНИКАМИ ЗЕМЛИ!

Но как ни совершенны геофизические ракеты, они из-за кратковременности пребывания на высотах и притом лишь над отдельными точками земной поверхности не приносят никаких сведений о том, как изменяются те или иные свойства высоких слоев атмосферы с течением времени и над разными районами Земли.

Ответ на этот важнейший вопрос дают советские искусственные спутники Земли — изумительное достижение наших ученых, инженеров и техников.

Однако искусственные спутники Земли не исключают применения высотных геофизических ракет, поскольку только последние дают возможность получить вертикальный разрез атмосферы в данном месте и в определенное время.

Второй советский искусственный спутник был выведен на орбиту, отстоящую от земной поверхности на полторы тысячи километров. Производившийся в течение более чем пятимесячного существования этого спутника непрерывный прием посылаемых им радиосигналов позволил накопить богатейший научный материал, открывший новую эпоху в изучении верхних слоев атмосферы.

Непрерывные радиотехнические и оптические (визуальные, фотографические) наблюдения за движением спутника привели к выводу, что плотность воздуха на высотах, где он обращался, в пять — десять раз выше той, которая предполагалась на основании косвенных методов расчета. Выше ожидаемой оказалась и температура воздуха на этих высотах.

Благодаря второму спутнику было положено начало инструментальному изучению космических лучей, поступающих в верхние слои атмосферы: два специальных счетчика обеспечили непрерывное измерение полного потока космического излучения над различными частями Земли.

Третий советский искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту на высоту почти в тысячу девятьсот километров, является целой автоматической научной лабораторией, оборудованной совершеннейшей геофизической аппаратурой. Объем научных наблюдений, осуществляемых этим спутником, в несколько раз превосходит то, что достигалось двумя предыдущими советскими спутниками. Мы уже не говорим об американских спутниках, которые в очень малой степени осуществляли собственно геофизические наблюдения: на них были установлены приборы лишь для измерения интенсивности космических лучей и для оценки действия на спутник метеорного потока.

На третьем советском спутнике установлены специальные манометры, позволяющие непосредственно измерить давление воздуха по всему пути спутника.

Очень ценны сведения, получаемые и от имеющихся на третьем спутнике специальных «ионных ловушек». Будучи совершенно независимыми от состояния атмосферы между Землей и спутником, эти приборы позволяют уточнить данные о ионосфере, получаемые на поверхности Земли с помощью приема радиоволн от спутника.

С помощью третьего искусственного спутника были также получены весьма важные данные о химическом составе ионосферы.

На этом спутнике установлен еще один специальный прибор — магнитометр, чувствительный элемент которого при любом положении спутника в пространстве автоматически ориентируется в направлении наибольшей интенсивности магнитного поля. С помощью магнитометра было прослежено пространственное распределение постоянной части магнитного поля Земли и получена возможность сопоставить его с распределением интенсивности космических лучей. Одновременно регистрировались магнитные возмущения, позволяющие изучить переменную часть магнитного поля Земли.

Второй и особенно третий советские спутники открыли новую эпоху в развитии геофизики. Возможность непосредственных и длительных наблюдений за рядом геофизических явлений на высотах в сотни и тысячи километров и практически сразу над всей земной поверхностью не только чрезвычайно обогатила геофизику, но и открывает большие перспективы ее дальнейшего прогресса. По-видимому, уже недалеко то время, когда многие тысячи геофизических наблюдательных пунктов, до сих пор располагавшихся на поверхности Земли, то есть как бы на дне воздушного океана, будут заменены всего лишь несколькими приспособленными для всесторонних научных наблюдений искусственными спутниками, постоянно вращающимися у границы атмосферы, недалеко от поверхности воздушного океана.

### ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАБОТ МГГ

Отличительной чертой всех научных работ во время МГГ является их единая направленность, тщательная согласованность и наличие заранее намеченного и продуманного во всех деталях плана.

Для руководства всей работой МГГ мировой научной общественностью был создан Специальный комитет по проведению МГГ во главе с известным английским геофизиком профессором Сиднеем Чепмэном.

В странах — участницах МГГ были образованы свои национальные комитеты по руководству работами. В частности, у нас при президиуме Академии наук СССР был образован Межведомственный комитет по проведению МГГ под председательством академика И. П. Бардина.

В научных наблюдениях принимает участие около шести тысяч метеорологических, магнитных и других станций и обсерваторий, находящихся во всех частях света, а также все геофизические и астрономические обсерватории мира. К этим наблюдениям привлечено большое число судов, бороздящих воды всех океанов и морей, а также целый ряд оборудованных специальными приборами самолетов.

Большое внимание уделяется изучению быстромменяющихся геофизических явлений, таких, как погода или состояние моря. Эти наблюдения, осуществляемые повсеместно в одно и то же время по заранее установленной системе международной радиотелеграфной связи, быстро передаются из одной страны в другую и в каждой из них тотчас же наносятся условными значками на бланки географических карт. Получающиеся таким образом синоптические карты погоды и состояния моря на больших территориях позволяют выявить закономерности, управляющие этими явлениями, и дать их предсказание на будущее.

Но и медленно меняющиеся геофизические элементы — сила тяжести, магнитное поле Земли, ледниковый покров — не остаются вне поля зрения участников МГГ. Изучение этих элементов нужно не только для того, чтобы сравнить их теперешнее состояние с прошлым, но и для того, чтобы дать будущим исследователям сведения о том, какими они были в 1957—1958 годах.

Исключительно богаты и разнообразны научные данные, получаемые во время МГГ. Чтобы они с максимальной пользой могли быть использованы, оказалось необходимым наладить четкую систему прохождения всех материалов наблюдений, их обработку и опубликование.

Все результаты научных работ концентрируются в двух мировых центрах по их сбору, хранению и обобщению, расположенных в нашей стране (в Москве) и в США (в Вашингтоне). Кроме того, в ряде стран созданы центры по сбору и хранению материалов по отдельным разделам работ. В мировых центрах данные всех наблюдений обрабатываются и размножаются с помощью специальных счетно-аналитических машин.

### СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Из всех шестидесяти пяти стран — участниц МГГ наибольший объем работ приходится на долю нашей страны (на втором месте — США). СССР занимает первое место как по числу решаемых проблем, так и по количеству наблюдательных пунктов, ведущих всестороннее исследование Земли. Непосредственными участниками МГГ являют-

ся свыше трех тысяч научных работников, инженеров и техников, объединяемых почти сотней советских научных учреждений и более чем пятьюстами наблюдательными станциями и обсерваториями. Наша страна принимает активное участие также в исследованиях Антарктиды и некоторых других зарубежных территорий.

Множество советских метеорологических станций ведет наблюдения над прямым, рассеянным и отраженным солнечным излучением, а ряд морских судовых станций, кроме того, и над лучами Солнца, проникающими в воду. Все эти данные поступают в Главную геофизическую обсерваторию, где под руководством лауреата Ленинской премии доктора физико-математических наук М. И. Будыко уже начата большая и очень важная в научном и практическом отношении работа по детальному исследованию распределения солнечного излучения вдоль поверхности земного шара.

Обширные и разносторонни исследования, проводимые советскими учеными в океанах и морях. Множество судов под советским флагом, в числе которых целый ряд крупных («Витязь», «Ломоносов», «Севастополь», «Обь», «Экватор», «Океан» и другие), бороздит воды Тихого, Атлантического, Индийского океанов и их морей. Укомплектованные кадрами опытных океанографов, оснащенные новейшими приборами, эти экспедиции изучают известные своими рыбными богатствами области встречи теплых и холодных течений в Тихом и Атлантическом океанах; вертикальную циркуляцию и изменчивость теплового состояния водных струй, с которыми тесно связана жизнь в морской воде; волны в океанах и морях и колебания их уровня, сказывающиеся на мореплавании и морских промыслах, и многое другое.

Во льдах центральной части Северного Ледовитого океана дрейфуют советские научные станции «Северный полюс-6» и «Северный полюс-7», проводящие всесторонние исследования районов дрейфа. На раскинувшейся по побережью советского сектора Арктики сети полярных станций Главсевморпути производятся детальные метеонаблюдения, изучаются ионосфера, полярные сияния, магнитное поле Земли.

Очень большое внимание уделяется советскими учеными исследованию материка Антарктиды и прилегающих к нему вод. Начиная с 1955—1956 годов в Антарктику, сперва в порядке подготовки, а затем для проведения работ МГГ, ежегодно отправляются советские комплексные научно-исследовательские экспедиции. Работая в исключительно тяжелых природных условиях, в наиболее суровой и наименее изученной части Антарктики, советские исследователи уже достигли выдающихся результатов.

Морские группы наших комплексных антарктических экспедиций, в основном базирующиеся на дизель-электроходы «Обь» и «Лена», прошли многие десятки тысяч миль, зачастую сквозь штормы и туманы, в окружении тяжелых льдов. Они исправили положение на карте обширного района береговой черты Антарктиды; уточнили области формирования холодных антарктических вод и проследили их проникновение в более низкие широты океана; получили важные сведения о рельефе дна, донных отложениях антарктических вод и о жизни в этих водах; провели обстоятельные метеорологические и аэрологические наблюдения.

Континентальная группа первой советской антарктической экспедиции в начале 1956 года организовала на побережье Антарктиды обсерваторию и поселок «Мирный». Впоследствии были созданы другие станции в глубине континента: «Восток», «Советская», «Пионерская», «Комсомольская» и «Оазис». В настоящее время из общего числа семи внутриконтинентальных антарктических научных станций, создание которых представило наибольшие трудности, четыре принадлежат СССР.

Большое научное значение имеет исследование советскими учеными толщины ледяного покрова Антарктиды. В результате ряда маршрутов в глубь материка под его мощным ледяным панцирем были обнаружены крупные острова (на одном из которых находится поселок «Мирный»). Есть все основания полагать, что скоро будут пересмотрены очертания антарктического материка, площадь которого оказывается значительно меньше, чем считалось до сих пор. Возможно, придется вообще признать, что этот материк не существует, а есть лишь скованный ледниками большой архипелаг островов.

Советские ученые проводят ледниковые исследования не только в Антарктиде. Они изучают ледники Памира, Северного Урала, Кавказа, Восточной Якутии. В труднодоступном районе Якутской АССР, где совсем недавно был открыт район оледенения, организована специальная ледниковая станция Сунтар-Хаята.



С начала МГГ, в дополнение к двадцати ранее существовавшим советским магнитным обсерваториям, вступило в строй еще девять, большая часть которых организована в малоизученных районах. Но особенно важными являются широко развернувшиеся советские магнитные наблюдения на океанских просторах.

Основным препятствием для магнитной съемки в океане до последнего времени служило отсутствие в какой-либо стране абсолютно немагнитного судна, то есть такого судна, на котором не было бы ни единого куска железа и обычной стали. И только Советский Союз смог к началу МГГ построить и спустить на воду такое судно. Это — исследовательская шхуна «Заря», состоящая целиком из дерева, бронзы, латуни и немагнитной стали. В прошлом году «Заря» начала длительное океанское плавание. Производя тщательные магнитные измерения, она уже прошла около восьмидесяти тысяч километров в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. «Заря» собирается пристать к родным берегам (во Владивостоке) лишь в конце этого года. Исследования, проводимые на «Заре», находятся в центре внимания мировой научной общественности. В сентябре прошлого года собравшаяся в Торонто (Канада) XI Генеральная ассамблея Международного геофизического и геодезического союза отмечала большое значение магнитной съемки океанов, проводимой «Зарей», и настоятельно рекомендовала продолжать эту работу после окончания МГГ.

Для изучения ионосферы в нашей стране оборудован ряд специальных ионосферных станций. Тридцать четыре из них, расположенные на территории СССР, с помощью специальных приборов наблюдают полярные сияния, главным образом их спектральный состав. Около трехсот советских станций ведет визуальные наблюдения за полярными сияниями — их цветом, формой, изменчивостью и временем появления. В Мурманске и в бухте Тикси производится определение высоты полярных сияний, позволяющее судить о составе ионосферы.

Кроме наземных наблюдений за состоянием атмосферы, уделяется большое внимание исследованиям ее верхних слоев с помощью высотных геофизических ракет, запускаемых в Арктике, Антарктике и в средних широтах нашей страны. К настоящему времени большая часть ракет уже запущена.

О ведущей роли Советского Союза в исследовании наиболее высоких слоев атмосферы с помощью искусственных спутников Земли мы уже рассказали. Остается добавить, что СССР принимает активное участие в научных исследованиях самых малоизученных районов земного шара.

Широко практикуется совместная работа советских и зарубежных ученых. Следует, например, отметить советско-польские исследования на Шпицбергене, советско-германские исследования на Памире и в Атлантическом океане (на экспедиционном судне «Ломоносов»), повседневный контакт в работе и обмен специалистами между советской антарктической экспедицией и экспедициями США, Франции, Австралии и других стран.

Совсем недавно — в конце июля — начале августа — в Москве проходила пятая ассамблея Специального комитета МГГ, на которой ученые рассмотрели некоторые итоги выполнения программы Международного геофизического года — крупнейшего научного мероприятия в истории человечества.

Огромное значение МГГ не ограничивается лишь сферой науки. Содействуя укреплению повседневного делового контакта и дружеских связей ученых различных стран, МГГ стал одним из важных факторов улучшения взаимопонимания между народами.



К. ЖУКОВ  
Кандидат архитектуры

★

## НА ПОДМОГУ СТРОИТЕЛЯМ ИДЕТ ХИМИЯ

**Х**арактерной чертой современного пейзажа Советской страны являются многочисленные стройки. Куда ни отправишь свой путь, повсюду встречаешь решетчатые силуэты подъемных кранов.

Кажется, давным-давно прошло то время, когда стройки не обходились без лопат и тачек, без грабарок и крестьянских лошадемок, без тяжелого физического труда. Уже в годы первых пятилеток, когда строительство бурным, широким потоком хлынуло по всей стране, сразу почувствовалась нехватка не только умелых рабочих рук, но и самых обычных строительных материалов — кирпича, цемента, металла. Вот тогда и начали возникать проблемы таких видов строительства, где одни материалы могли бы заменяться другими, менее дефицитными, где требовалось бы меньше рабочих.

Так родилось крупноблочное шлакобетонное строительство, первенец советского сборного домостроения. Появилась возможность механизации трудоемких процессов. Крупные блоки достаточно прочны, обладают нужными теплоизоляционными свойствами и не нуждаются в специальной отделке — она изготавливается одновременно с формированием блоков.

Первые десятки крупноблочных зданий в Москве, Ленинграде и других городах монтировались с помощью простейших приспособлений и деревянных кранов. Но этот вид строительства требовал применения более совершенных механизмов, диктовал необходимость развития отечественной промышленности краностроения. Только при этих условиях можно было добиться широкого применения железобетонных деталей — стеновых панелей, настилов для междуэтажных перекрытий, балконных плит, а также лестничных маршей и лестничных площадок, частей крыши, фундаментных блоков и многого другого, делающего современный дом сборным.

Слово «стройка» сейчас как бы потеряло свой первоначальный смысл: части дома делаются в заводских цехах, а на строительной площадке дом только собирают, монтируют. Выгода очевидна — совмещение производственных процессов во времени позволяет значительно сокращать сроки возведения здания, снижать его стоимость.

Понятно, что чем крупнее сборные детали, тем быстрее идет работа. Однако укрупнение деталей, особенно из бетона и железобетона, неизбежно вызывает увеличение их веса, приходится применять все более мощные подъемные краны. Транспортировка материалов и деталей с завода на стройку обходится весьма дорого. Достаточно сказать, что эти расходы составляют примерно пятую часть всей стоимости строительства.

Вот почему и возникла «проблема № 1» — максимальное снижение веса зданий. Ключом для решения этой задачи, над которой упорно трудятся конструкторы, явилось внедрение укрупненных сборных конструкций облегченного веса. Первые успехи уже налицо: крупнопанельный железобетонный дом стал значительно легче кирпичного, потому что его стены тоньше — они выполнены из более легких материалов.

Вес современных сборных элементов с применением железобетона колеблется от нескольких сот килограммов до пяти тонн. Для производства этих сборных элементов, а также многочисленных механизмов, занятых их перевозкой, переноской и установкой, нужны стальной прокат, цветные металлы, огромное количество горючего и элект-

троэнергии. Весьма сложное оборудование требуется для того, чтобы отформовать и точно обработать трех-четырёхтонную плиту железобетонного перекрытия или наружной стены. Большие усилия надо приложить, чтобы правильно установить и надёжно укрепить такую деталь где-нибудь на высоте восьмого этажа, когда порывы ветра раскачивают не только эту деталь, но и самый кран.

Дорого, очень дорого стоят сейчас мощные башенные краны, бесчисленный поток поездов и автомашин, занятых перевозкой строительных материалов и в том числе крупных панелей и блоков.

Но вот здание собрано. Оно нуждается в окончательной отделке и «доводке».

Даже на тех стройках, где применяются наиболее передовые методы, подчас чуть ли не половина всего рабочего времени тратится на отделочные работы. К тому же это очень дорогое дело: удельный вес расходов на отделку в общей стоимости строительства — почти одна треть. Поэтому крайне важно, чтобы крупные блоки и панели выпускались с завода уже с готовыми, отделанными поверхностями.

«Проблемой № 2» является сокращение сроков и стоимости отделочных работ.

Борьба со всеми этими трудностями уже давно привлекает внимание строителей — ученых, архитекторов, инженеров, рабочих. Преодоление всякого рода препятствий приобретает сейчас особенное значение, если учесть, что перед строителями поставлена партией и правительством задача гигантского масштаба и первостепенного народнохозяйственного значения — в ближайшие десять — двенадцать лет ликвидировать нехватку жилищ в нашей стране.

Когда-то наиболее совершенным видом транспортной машины был паровоз. В наше же время он доживает, очевидно, последние дни: выпуск магистральных паровозов прекращен, так как гораздо выгоднее производить более экономичные электро- и тепловозы. Прежние двигатели являются теперь чуть ли не помехой прогрессу железнодорожного транспорта.

Нечто подобное происходит и в строительстве: большой вес материалов стал тормозом для дальнейшей индустриализации и внедрения заводских методов производства. Для современного массового сборного строительства требуется новое качество материалов, позволяющее достаточно просто перерабатывать их в изделия, сравнительно легко перевозить и осуществлять монтаж.

Такие материалы уже созданы. Это прежде всего так называемые легкие бетоны, то есть бетоны пористого строения, нетеплопроводные, используемые для утепления стен. Особое место занимает напряженно-армированный бетон (так называют железобетон, в котором при его изготовлении стальная арматура подвергается предварительному натяжению для повышения общей прочности). Эта разновидность железобетона позволяет осуществлять прочные, но легкие сборные несущие конструкции.

Однако самыми перспективными являются синтетические материалы. На помощь строителям идет химия.

Если заглянуть глазами строителя в то будущее, которое открывает постановление майского Пленума ЦК КПСС, можно без особого преувеличения говорить о поистине сказочной трансформации строительного дела. Будут решены и наболевшие, первоочередные, и дальние, но теперь уже видные дела. Резко улучшится качество таких распространенных материалов, как цемент, керамика, стекло, разовьется выпуск новых. Химики помогут наладить выпуск специальных заполнителей, без которых трудно достаточно широко развернуть производство легких, прочных сборных конструкций. Видную роль в строительстве надлежит сыграть синтетическим материалам и в том числе пластмассам. Их применение самое разнообразное. Среди легчайших термо- и звукоизоляционных материалов в настоящее время известны пенопласты (с замкнутыми внутренними пустотами), поро- и сотопласты (с открытыми пустотами). Эти новые материалы позволяют резко снизить вес зданий.

Большие надежды сулит правильное, рациональное использование отходов древесины, получаемых во время ее добычи и обработки.

В нашей стране, кроме деревообрабатывающих комбинатов, существует множество небольших предприятий по обработке древесины, столярные цехи при разных производствах и так далее. На многих из них отходы, обрезки, стружка и опилки в лучшем

случае используются как топливо. А ведь это огромные резервы! Если привести их в действие, то будут сразу увеличены ассортимент и количество таких изделий, как фибролит, древесно-волоконистые и древесно-стружечные плиты. По меньшей мере странной представляется сейчас постройка специальных печей на некоторых деревообрабатывающих комбинатах, переводимых на газовое топливо, для... сжигания, то есть уничтожения древесных отходов. Невольно вспоминаешь слова Д. И. Менделеева, относящиеся к сжиганию нефти в котлах: «Можно топить и ассигнациями...» Проблема полного использования древесины, утилизации ее отходов давно стоит перед лесной и химической промышленностью как одна из первоочередных.

Поучительна история с сырьем для изготовления релина (так сокращенно называют резиновый линолеум). При переработке старых автопокрышек получались значительные отбросы. Они накапливались сотнями тонн, вывозились за город и сжигались, а отвратительно пахнущие остатки зарывались в землю. Московские и ленинградские ученые обнаружили, что именно эти отходы могут явиться ценнейшим сырьем для релина.

Расскажем теперь о некоторых новых синтетических материалах, позволяющих существенно улучшить отделку и оборудование зданий.

На обойных фабриках Москвы, Ленинграда, Риги налажен выпуск обоев, которые можно мыть простой водой. Без сомнения, такие удобные обои придутся по вкусу потребителю, особенно если они будут хорошей, красивой расцветки.

Ленинградский завод слоистых пластиков хорошо зарекомендовал себя чудесной продукцией — листами пластмассового картона с декоративной, прочной и устойчивой поверхностью. Такой картон получается из бумаги, пропитанной синтетической смолой. Он, безусловно, найдет в строительстве самое широкое применение.

Для различного вида обшивок и облицовок сейчас применяют покрытые перхлорвиниловыми красками асбоцементные листы. Они с успехом используются в метростроении, а также в жилищном строительстве для облицовок санузлов и кухонь, для ограждения балконов и так далее. Пока их выпускает только воскресенский комбинат «Красный строитель». Производство этих долговечных, устойчивых цветных материалов следует значительно расширить.

Отличным облицовочным материалом могут служить твердые древесно-волоконистые плиты, покрытые синтетическими эмалями разных тонов, а также красивый древесно-слоистый пластик.

Большой интерес представляют изготавливаемые Охтенским комбинатом опытные партии цветных пластмассовых поручней. Разогретые в горячей воде, они, как своеобразная перчатка, натягиваются на верхнюю часть металлического лестничного ограждения, а затем приглаживаются и «свариваются»... обыкновенным горячим утюгом.

В советской и зарубежной строительной практике известны пластмассовые трубы. Они прочны и химически стойки, не боятся ни коррозии, ни воздействия щелочей или кислот и применяются не только в качестве обычных водопроводных, но и для орошения в сельском хозяйстве. Им не страшны осадка здания и замерзание воды. Отечественная промышленность освоила и металлические трубы, облицованные пластмассами. Их замечательным качеством является то, что, сохраняя прочность стали, они не подвержены ржавчине.

В Академии коммунального хозяйства РСФСР проделаны удачные опыты по окраске наружных фасадов перхлорвиниловыми красками. Примененные при окраске здания Моссовета тринадцать лет назад, они все еще не нуждаются в обновлении.

Следовало бы расширить и пополнить выпуск различных сортов и расцветок этих красок. Строители до сих пор не получают от химической промышленности нужных им желтых расцветок, а выпускаемые краски все еще дороги.

Совершенно очевидно, что перхлорвиниловыми красками не ограничиваются нужды строителей в хороших, дешевых лаках и красках.

В некоторых научно-исследовательских организациях уже отмечены первые успехи по созданию так называемых бесшовных полов с применением пластмассы. Делается это довольно просто. Особая мастика наносится прямо на панели перекрытий, застывает и становится твердым гладким полом.

Мы упомянули лишь о некоторых новых материалах, которые или уже вырабатываются нашими предприятиями или их изготовление вскоре будет освоено.

А каков будет завтрашний день строительства?

Можно смело предсказать, что внедрение пластмасс в строительство вызовет там настоящий переворот, так же как это уже случилось в технике.

В современной советской промышленности из пластмасс делают более двух тысяч видов различных изделий. Применение новых синтетических материалов в машиностроении, судостроении, самолетостроении в корне изменило вес, конструкции, технологический процесс изготовления и внешний вид самолетов, автомобилей, машин, судов.

В строительстве пластмассы пока еще только «подсобный», чаще всего отделочный материал, который стремятся сделать внешне похожим на привычные, традиционные, всем знакомые материалы.

Один мой товарищ во время Отечественной войны прошел с боями много городов. Он рассказывал, что большинство из них запечатлелось в его памяти не своими центральными магистралями и площадями, а какими-то порой случайными улицами, по которым воинские части входили в эти города.

Быть может, здесь есть какая-то, пусть далекая, аналогия с путями развития техники. Все новое, что приходит в технику, не сразу становится на свое законное «центральное» место, а идет сначала по «боковым улицам». Распространеннейший сейчас металл алюминий в свое время служил лишь материалом для безделушек. Ракеты, еще не так давно использовавшиеся лишь для фейерверков, в наши дни стали могучим средством авиационной и «космической» техники.

Но «боковые улицы» узки. И, внедряя в промышленность новое, ему на первых порах обязательно стремятся придать старые, привычные формы.

Известно, что первые железнодорожные вагоны по форме повторяли кареты, а у большинства автомобилей до сих пор мотор помещается впереди, то есть именно там, где в экипаж была запряжена лошадь. Речной буксир, существующий уже столетие, только сейчас стал занимать наиболее выгодное для работы место — сзади баржи или плота — и действует как толкач. А до этого буксир долгое время был спереди, именно там, где когда-то впрягались бурлаки или лошади.

Так уж повелось, что новое не сразу отвоевывает себе законное место, сначала ему обычно отводится роль заменителя привычного, старого. Такова судьба и пластмасс, которые употреблялись вместо кости, рога, стекла, дерева, металла и других материалов. Пуговицы, игрушки, гребешки, различные мелкие бытовые вещицы — вот роли, в которых мы привыкли видеть пластмассы.

На выставках новой продукции химической промышленности демонстрируются две дамские каракулевые шубы. Одна из них сделана из натурального каракуля, другая — подделка из синтетических материалов типа нейлона. Только подойдя вплотную, можно угадать, какая же из шуб настоящая каракулевая, а какая пластмассовая. Рядом выставлены шапки, воротники и другие изделия из подобного же «меха». Отдавая должное искусству химиков, все же трудно не усомниться в том, надо ли изготавливать пластмассовые изделия непременно «под каракуль», «под дерево», «под мрамор» или под «керамическую плигку». Ведь недаром более современными и изящными выглядят на тех же выставках не имитации, а нейлоновые изделия с белым длинным прямым ворсом, сделанные «просто так», без стремления обязательно имитировать какой-то мех.

На наш взгляд, совершается ошибка, когда из пластмассы стараются сделать облицовочные плитки, точно повторяющие по размерам и форме мелкие керамические. Ведь значительно проще изготовить и смонтировать большие пластмассовые листы, чем возиться с небольшими частями. Керамическая плитка мала лишь по необходимости, иной она и быть не может, потому что крупную трудно обжигать, она будет разбиваться при транспортировке и так далее.

Пластмассы могут и обязательно должны стать самостоятельным материалом, специфические свойства которого надо изучить и использовать. Инерция подражания сдерживает более широкое использование богатейших возможностей новых синтетических материалов. Нет сомнения: пластмассам принадлежит большое будущее, далеко выходящее за роль лишь отделочных и подсобных материалов. Переведем это на язык строи-

тельства. Но прежде выясним такой вопрос: почему в современном строительстве железобетон занял доминирующее положение среди конструктивных материалов?

Это произошло не столько потому, что он явился в известной степени заменителем древесины и металла, а главным образом потому, что обладает особой способностью — при его «рождении» ему можно сразу придавать свойства, необходимые той или иной конструкции. Как известно, большую часть растягивающих усилий в железобетоне принимает на себя арматурная сталь, в то время как бетон принимает сжимающие усилия. Производя ту или иную конструктивную железобетонную деталь, всегда можно добиться того, что она будет сочетать в себе лучшие свойства стали и бетона.

Пластмассы как раз и являются такими комбинированными материалами, которыми можно, так же как и железобетону, придавать достаточно высокую прочность и требуемые конструктивные свойства. При этом достигается значительное снижение веса изготавливаемых из пластмасс конструкций. При создании изделий из пластмассы, как правило, всегда будут отсутствовать отходы, поскольку эти изделия формируются из точно предусмотренного для них количества сырья.

Особенно большую роль будет играть сочетание веса и прочности пластмасс. Дело в том, что прочность материала сама по себе еще не дает представления о том, насколько выгодно его применение. Существенно важно, чтобы сооружения, постройки или машины создавались при минимальном расходе материала, то есть имели минимальный вес. Поэтому, например, в авиационной технике уже давно принято сравнивать материалы по их удельной прочности, под которой подразумевают отношение прочности (временного сопротивления) к удельному или объемному весу.

Установлено, что среди лучших современных материалов наибольшей удельной прочностью обладают как раз некоторые виды пластмасс. Стеклопласты, дельта-древесина и стеклотекстолит прочно занимают первые места, оставляя позади себя даже дюралюминий и сортовую сталь. Если к этому добавить, что для строителей пластмассы решают не только проблему снижения веса, но и проблему изготовления на заводе готовых конструкций и деталей, уже не нуждающихся в отделочных работах, то становится ясным, какое истинное революционное значение будет иметь внедрение пластмасс в строительство.

Нельзя не рассказать, в частности, о трудах члена-корреспондента Академии строительства и архитектуры СССР А. К. Бутова. Совместно с Г. Д. Андриевской и с помощью С. И. Иофе он создал и разработал технологию производства новых высокопрочных стекловолоконистых анизотропных материалов (сокращенно СВАМ). Эти материалы в таблице сравнения удельных прочностей занимают первое место.

СВАМ — это тонкие стеклянные волокна (толщиной 15—20 микрон), склеенные между собой синтетическими смолами. Оборудование для изготовления СВАМа несложно. Оно состоит из электропечи, намоточного барабана и пульверизатора для распыления смолы в виде клеящего лака.

Технология изготовления СВАМа такова. В электропечи при температуре в тысячу триста градусов стекло размягчается до плавления и в виде тонких нитей вытягивается через множество мелких отверстий в днище электропечи. Эти нити наматываются на вращающийся барабан. Автоматически включающийся пульверизатор опрыскивает смолой или клеем стеклянные нити на барабане, соединяя их в сплошную ленту. Затем лист тонкого стеклопластика разрезается и снимается с барабана.

Полученный таким образом рулонный стеклошпон при перекрестном склеивании в несколько слоев образует стеклофанеру толщиной в несколько миллиметров, очень упругую и более прочную, чем сортовая сталь. Она отличается также высокой химической и биологической стойкостью.

В процессе прессования СВАМ может принимать различные криволинейные формы. Из него можно изготовить, например, высокопрочные трубы. Поверхности изделий из СВАМа легко придать любой вид, цвет, любую фактуру. СВАМ является также отличным диэлектриком. Изготовленный на основе более дешевых синтетических смол, СВАМ с успехом заменит дерево, сталь, железобетон.

Для получения плит строительных конструкций листы стеклофанеры соединяются между собой конструктивными перемычками, заполняются легким теплоизолирую-

щим пластмассовым материалом типа пенопласта и обрамляются конструктивным профилем из СВАМа. Из СВАМа можно изготавливать легкие и прочные панели стен и перегородок, плиты перекрытий, конструктивные элементы плоских кровель, штампованные детали окон и дверей, листовые элементы для облицовки стен и потолков и многие другие изделия и предметы оборудования зданий.

Панель или строительная плита может служить типовым элементом здания, годным для применения и в перекрытиях, и в стенах, и в перегородках. Это качество отдельных изделий как стандартных деталей здания и было использовано проектировщиками в разработке экспериментальных жилых домов из СВАМа. Архитекторы А. Буров, С. Васин и Д. Метаньев вплотную подошли к замечательной возможности: запроектированные ими дома из СВАМа могут весить в тридцать раз меньше домов такого же объема, сделанных из кирпича! Детали и части домов из СВАМа можно устанавливать без подъемного крана, а целая секция трехэтажного дома может быть перевезена на грузовике.

Позвольте, вправе спросить читатель, если это правда, то почему же не приступают к изготовлению таких домов?

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, особенно если оно новое. Чтобы приступить к изготовлению домов из СВАМа, надо прежде всего получить стеклошпон, изготовленный на недорогой смоле. А Ленинградский завод слоистых пластиков (находящийся в ведении Ленинградского совнархоза), изготавливающий СВАМ, пока что выпускает стеклошпон на дорогих и малопродовных для строительных целей смолах. В этом году экспериментальный цех «СВАМ» был превращен в обычный. Выпускать партии стеклошпона даже для опытных домов он уже не будет.

Но если бы даже удалось получить дешевый строительный стеклошпон, его негде было бы склеить. Оборудование для производства СВАМа в Московском научно-исследовательском институте пластмасс собираются... демонтировать.

Непонятна и точка зрения на СВАМ в Академии строительства и архитектуры СССР. Уже второй год там ведутся о нем весьма одобрительные разговоры, но по существу ничего почти не делается. К этому следует добавить, что в Москве трудно достать недорогой утеплитель для домов из СВАМа и других пластмасс, так как Моссовет закрыл единственный существовавший в столице цех пенопласта на заводе «Сухая штукатурка».

Так получилось, что отличным советским конструктивным материалам пока что сильно не повезло с внедрением в строительство, хотя вообще нельзя пожаловаться на невнимание к ним. Например, стекловолокнистые анизотропные материалы уже давно привлекают внимание специалистов электротехнической, угольной и нефтяной промышленности. Сейчас происходит интенсивное внедрение СВАМа, используемого для производства дизельных трубок, нефтяных труб и шахтных крепей.

Особенно нетерпимо для наших строителей такое положение еще и потому, что именно стеклопластики явятся, по-видимому, основным конструктивным строительным материалом. Именно из стеклопластиков сделаны за границей первые опытные дома с несущими конструкциями из пластмасс.

Еще немало трудностей, неудач и разочарований придется испытать на пути внедрения пластмасс в строительные конструкции. Назрела необходимость создания единого научного центра, разрабатывающего проблему применения пластмасс в строительстве. Правильное решение задач, связанных с этой проблемой, требует систематической координации работ, соответствующей подготовки кадров, а главное — создания мощной опытной и производственной базы.

Нужно думать, что майский Пленум ЦК КПСС в корне изменит положение с перспективными строительными материалами, и не наши дети, а мы сами скоро увидим дома из стеклопластиков.

Решения Пленума говорят о том, что недалек день, когда развитая химическая промышленность, производящая синтетические материалы — пластмассы, изменит лицо наших строек. Легкие, прочные и красивые здания будут монтироваться без применения тяжелых подъемно-транспортных средств. Но главный эффект, конечно, будет не в изменении строительного пейзажа и не в отказе от тяжелых кранов, а в том

результате, который даст развитие химической промышленности и, в частности, производства синтетических материалов. Для строителей этот результат будет выражаться прежде всего в дополнительных разнообразных высококачественных материалах, в которых они так сейчас нуждаются, чтобы успешно выполнить свою огромную программу. По-настоящему будет решена проблема индустриализации массового строительства. Дома можно будет производить из отдельных частей и деталей на конвейере так, как изготавливаются, например, сейчас на заводских конвейерах железнодорожные вагоны, автомобили, радиоприемники.

Когда изделия выполняются из прочных, но относительно нетяжелых материалов, допускающих точную обработку и легкую пригонку деталей, становится уже несущественным, где они производятся, на какое расстояние перевозятся, с помощью чего монтируются.

Индустриализация массового строительства позволит решить важнейшую проблему наших дней — обеспечить всех советских людей комфортабельным жилищем.





# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЕРА СМЕРНОВА

★

## О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ

**Д**евятнадцатилетний юноша выпустил в свет первую книгу, написанную вместе со своим школьным товарищем, — и сразу стал известным писателем.

Это было в 1927 году, в конце первого десятилетия советского строя, в пору весеннего бурного цветения молодой советской литературы, только собиравшей и формировавшей свои новые силы.

Книгу прочел Горький. Во многих письмах его за 1927 год, адресованных разным лицам, встречаются упоминания об этой книге — почти восторженные — и советы непременно прочесть ее. «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека», — писал он в одном письме.

Уже в самом названии книги была новизна и задор — печать небывалого времени: «Республика Шкид». Так не могла называться ни одна дореволюционная русская книжка, потому что до революции не могло быть речи о республике и не было привычки сокращать длинные имена, которая превратила ленинградскую школу имени Достоевского в Шкид.

Это был детский дом для беспризорных ребят — сирот или отбившихся от дома и родных в годы первой мировой войны, революции и войны гражданской, — один из тех домов, которые Советская власть организовывала повсюду, чтобы дать скитавшимся по всей стране детям кров, пищу, одежду, возможность учиться и — взамен банды маленьких бездельников и ворышек — настоящий товарищеский коллектив.

Беспризорничество было злом, очень ощутимым в первые годы революции, требовавшим безотлагательного вмешательства, и в борьбе с ним Советская власть вырабатывала первые методы своей новой педагогической системы. Естественно, что и в литера-

туре тех лет появилось немало книг о беспризорных: «Правонарушители» Л. Сейфуллиной, «С мешком за смертью» С. Григорьева, «Красные дьяволята» П. Бляхина, «Ташкент — город хлебный» А. Неверова, «На графских развалинах» А. Гайдара и другие. Можно сказать, что беспризорник на какое-то время сделался героем книг о детях и для детей. Отношение к нему было у авторов противоречивым: иные писатели даже создавали ему славу, — ореол разудалой «вольницы», бесстрашия, ловкости, веселого задора окружал его колоритную фигуру. В самом деле, всякий, кому в двадцатых годах приходилось сталкиваться с беспризорными на железных дорогах, на вокзалах, базарах, вечерами на темных городских улицах (а столкновения эти были частыми и подчас совсем невеселыми), не мог не удивляться какому-то неистощимому ухарству, задору, даже веселью этих заброшенных детей. Полуголые, черные от грязи, от солнца, от сажи асфальтовых котлов, где они укрывались в холодные ночи, всегда голодные, зубастые, шумные, отчаянно нахальные, они не лезли в карман за словом, гордо бранились, пронзительно свистели, хохотали, а если и плакали, то притворяясь — с расчетом разжалобить. Это были все-таки дети, и природная жизнерадостность детства брала верх над всеми бедами скитальческого бытия. Это была огромная энергия, не находящая себе выхода, направленная в дурную сторону, и нужно было много усилий, любви и терпения, чтобы повернуть ее и дать ей иное — общественно полезное направление.

Вот об этом повороте всей этой массы энергии в общее русло той жизни, которую начинала строить молодая Советская республика, и написана была «Республика Шкид» Алексея Пантелеева и Григория

Белых, двух бывших беспризорников, попавших в советский детский дом и вышедших из него настоящими людьми и даже будущими «инженерами человеческих душ».

Через несколько лет после книги Пантелеева и Белых вышла в свет «Педагогическая поэма» А. Макаренко — о трудовой колонии, где беспризорные и даже больше — маленькие «правонарушители» — учились работать, быть честными и жить в коллективе. «Педагогическая поэма» и «Республика Шкид» — книги очень разные, хотя бы потому, что написаны с двух разных точек зрения: одна была создана педагогом, воспитателем беспризорных, который попытался привести в систему и защищать свой опыт воспитательного воздействия на таких ребят; другую написали сами воспитанники школы для беспризорных, на самих себе показавшие результаты перевоспитания их. И хотя автор «Педагогической поэмы» впоследствии спорил с Викниксором, героем «Республики Шкид», директором школы имени Достоевского, и во многом не одобрял его педагогических приемов, все равно обе книги были талантливы, были литературным событием и имели шумный успех у нас и за рубежом. Новизна содержания, правдивость, даже документальность, молодой оптимизм этих книг, сочетание таких как будто противоположных и все же общих позиций авторов и несомненная их талантливость сделали эти две книги своеобразным явлением молодой советской литературы, мимо которого и сейчас не может пройти историк ее. Потому что главным и новым в них было время — могучее, разрушительное и животворящее дыхание революции.

К тому же Пантелеев со своим соавтором Белых были «первооткрывателями» этой темы, этого мира, были еще совсем юношами, и их появление в литературе было принято как обещание. В дальнейшем эти два писателя «разделились» — и это естественно. Выйдя из Шкиды, каждый пошел своим путем.

В то время как «Республика Шкид» и «Педагогическая поэма» издавались у нас и за границей, беспризорничество как жизненное явление решительно ликвидировалось Советской властью. Но запас впечатлений беспризорной жизни и мыслей о ней был так велик у Пантелеева, к тому же «документальность» первой книги во многом ограничивала его, когда он писал свою

часть «Республики Шкид», и, конечно, у молодого писателя было ощущение, что не все еще сказано им, что он хотел. В следующем же, 1928 году он написал повесть «Часы». Эта повесть уже гораздо более совершенное произведение: здесь и образ главного героя, беспризорника и воришки Петьки Валета, его внешний облик, повадки и навыки, его «беспризорная» психология и этапы его «перерождения», пробуждение в нем «совести», интереса к труду, сочувствия к людям, чувства ответственности перед коллективом, и сюжетная линия и сама мысль, исповедуемая автором, — все гораздо ярче, крепче, законченнее, чем в первой книге. И по языку повесть «Часы», своеобразная, лаконичная, полная сдержанной силы, отчетливее характеризовала индивидуальность молодого писателя.

Интересно, что десять лет спустя, уже с успехом попробовав себя в трудном жанре рассказа, уже создав такое прочно вошедшее в золотой фонд советской литературы для детей произведение, как «Пакет», Пантелеев вновь возвращается к теме своего детства. Он пишет самое крупное свое произведение — большую автобиографическую повесть «Ленька Пантелеев», в которой перед нами проходит все детство и отрочество его героя до Шкиды, в трудный период ломки и разрушения старого мира царской России. И если в «Часах» дан великолепный пример превращения беспризорника в человека, то «Ленька Пантелеев» — повесть о том, как дети становятся беспризорными, когда распадается семья, разрушается дом и все в мире сдвигается с привычного места и ребенку легко заблудиться на скользких дорогах жизни, если не поддержит его заботливая рука взрослого друга или чуткая душа молодежного коллектива.

Эта книга Пантелеева встает в ряд советских автобиографических «повестей о детстве», каких немало у нас в литературе, особенно в литературах народов СССР. В них — осознание своего времени, пути начинающего жить человека на рубеже двух эпох, на великом перевале социалистической революции. Они очень своевременны и современны, эти книги, хотя написаны о первых годах советского строя, потому что проблемы, поставленные в них, — проблемы воспитания — все так же значительны, остры и важны и в наши дни. И предостережение, которое читается между строк

повести Пантелеева, воспринимается как голос в защиту ребенка, его права на уважение в нем человека, его права на счастье. И особенно сильное впечатление он производит потому, что мы слышим в нем голос самого ребенка.

Л. Пантелеев — самый молодой из писателей, вступивших в литературу в двадцатых годах. И хотя ему в этом году исполняется пятьдесят лет, в своих книгах он остается по-прежнему юношей, иногда даже подростком. Таково свойство его таланта, такова особенность его отношения к миру и к людям.

В чем же заключается эта его особенность?

Писатель, создавая свое произведение, всегда хочет воздействовать на читателя. Это волевое начало рождается из страстного убеждения самого писателя, из какой-то идеи, овладевшей его душой, из того потрясения, из того восторга, из той ненависти, которые вызвала у него самого увиденная им и понятая по-своему жизнь. Однако желание показать эту жизнь другому, что-то в ней открыть, в чем-то убедить, заставить что-то пережить не является самоцелью: по крайней мере, у всех больших писателей маячит впереди его собственной жизни, впереди его творчества, впереди всех его героев какая-то большая цель, стремление к которой определяет не только жизнь самого писателя, но, как ему кажется, и жизнь вообще людей, жизнь его страны или даже всего человечества. Иные писатели говорят об этом открыто, прямо, другие предпочитают самой жизнью, ими изображенной, заставить читателя самого додуматься, дойти до тех мыслей, которые исповедует автор книги.

Чехов, который, показывая жизнь людей дореволюционной России, их косный быт, их беды, лишения, их мечты и непрочное счастье, так умел спрятать свое отношение к ним, свое сочувствие или враждебность, что в свое время его даже считали «безыдейным, аполитичным» писателем, писал в одном письме: «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьют нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не утом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение».

В особенности важно, чтобы это идейно-

волевое начало присутствовало в книгах, которые читают дети.

Дети — читатели особого склада. Прошлого для них еще нет в их личном переживании, и они мало знают о нем, они живут в настоящем и мечтают о будущем. Они не могут не мечтать, не думать постоянно о будущем, потому что это то время, когда они станут взрослыми, полноценными и полноправными людьми, когда они будут участвовать сами в жизни, как ее работники, строители и хозяева. Пока же — в детстве и отрочестве — идет подготовка к этому, накопление знаний и силы, багажа для будущего похода в жизнь. В это время дети жадно ищут и собирают все, что, им кажется, может пригодиться: льнут к взрослым «бывалым» людям, расспрашивают, разглядывают. Можно сказать не шутя, что голова подростка часто похожа на его карманы — такие разные и подчас странные вещи соседствуют в ней. Жадно ищут ребята и в книгах: ведь книга расширяет им границы видимого мира, знакомит их с жизнью, дает им перспективу. Они ищут себе любимого героя, большого или маленького, товарища или учителя — все равно, но такого, которому хотелось бы подражать, за которым хотелось бы пойти. Такой любимый герой в детстве часто меняется, как сменяется прочитанная книга, но от каждого увлечения что-то остается в сознании ребенка: так формируется склонность к чему-то, создается идеал, без которого почти немислимо ребенку жить и расти.

Писатель, который пишет для детей, не может не знать — хотя бы по памяти собственного детства, — как нужен ребенку этот идеал, этот пример для подражания, этот герой, который сумел бы заставить себя полюбить, восхититься собой, повести за собой юного читателя. Ребенка можно обмануть — он может полюбить и дурного человека, восхититься совсем несостоящим, его может увлечь образ героический, самоотверженный, смелый, высокоморальный, но может очаровать и блестящий внешне пройдоха, всеми средствами добивающийся всегда успеха, лозкий плут, выпутывающийся из всех жизненных затруднений, остроумец, пленяющий всех красноречием. Так же как в жизни, люди и в книгах распознаются не сразу, в характерах их смешаны такие разные подчас качества, что читатель, особенно юный, обманывается часто в своем расположении к тому или

иному герою. Но почти всегда он любит того, кого любит автор. В этой передаче своего отношения к герою и заключается огромная воспитательная сила, которой владеет писатель и которой он пользуется для воздействия на маленького читателя.

Советская литература, рожденная грандиозной перестройкой мира, которую начала Октябрьская революция, окрыленная ее идеями и открытым ею небывалым будущим народов, стремилась с самого своего возникновения создать образ нового человека на новой, освобожденной земле, образ борца за счастье всех трудящихся, образ человека коммунистической эпохи. И трудились над этим писатели нового типа, вышедшие сами из народных масс, выведенные на дорогу искусства революцией и Советской властью.

Почти в одни годы в советскую литературу для детей вошли новые талантливые прозаики, которым суждено было сказать о детях и для детей новое слово, никогда раньше не прозвучавшее ни в одной литературе мира.

Писатели эти были очень разные люди, с разной биографией, с разными характерами, даже по возрасту разные. Одно было в них общее: осознанность своей писательской задачи — задачи коммунистического воспитания. Они хотели воспитывать детей нашего времени для стройки сегодняшнего дня и для коммунистического будущего, которое для них было открыто и ими должно было быть завоевано и создано.

Задачи коммунистического воспитания легко сформулировать и перечислить, как часто мы и делаем в статьях и докладах, — гораздо труднее их решать практически, повседневно, повсюду. Они оказываются на деле, в жизни необъятно широкими и разнообразными, связанными тысячами всяких «условий», диалектически неотрывными от всей жизни Советского государства, от ее «текущих моментов». Писатель, который старался «объять необъятное», всегда упирался в схему, и создания его были так же недолговечны и недействительны, как и те, в которых задача воспитания понималась узко дидактически, как житейская иллюстрация к «правилам поведения». Нужен был отбор жизненных явлений и людей, нужно было точное знание жизни — какой-то ее области или отрезка времени, — и в то же время нужен был широкий кругозор и своя определенная позиция. У новых советских детских писателей и выбор материала

и свое решение задачи определялись их отношением к детям.

Обычно говорят, что детского писателя ведет любовь к детям. Но... еще Горький говорил насмешливо, что «любить детей — это и курица умеет», любовь бывает разная. Для советской детской литературы и, я бы сказала, даже для всей классической русской литературы естественно уважение к ребенку как к маленькому человеку, как к личности, оно — предпосылка всего их творчества. та атмосфера, в которой они живут и работают и общаются с детьми.

Но свою воспитательскую задачу каждый из них конкретизирует по-своему, в зависимости от своего особого отношения к детям, характерного именно для него. Макаренко, например, был прежде всего педагогом, властным, сильным, суровым, и в «Педагогической поэме» его характеризует прежде всего сочетание требовательности и доверия, вера в лучшее в маленьком человеке и умение именно за это лучшее ухватиться как за основное звено воспитательского воздействия. Житков благодаря своему разностороннему образованию всегда выглядит в своих книгах мастером какого-то цеха жизни, хитрым, порой грубоватым, насмешливым, обучающим ребят какому-нибудь полезному делу, не терпящим умственной лени, вялости мысли, равнодушия. Аркадий Гайдар был в своем творчестве, как и в жизни, солдатом революции, бойцом «за светлое царство социализма», и пафос этой борьбы, революционных боев наполняет его книги героическим звучанием, так необходимым подростку: в книгах Гайдара каждый мальчишка чувствует себя участником великого дела. Катаев — напротив, даже делая своих маленьких героев участниками революционных, героических и страшных событий, на каждом шагу возвращает им детство — в мельчайших, чисто детских подробностях, окуная их с головой в тепло и свет того детского мира, который им доступен и мил.

Все эти писатели широко использовали в своем творчестве игру с детьми: Макаренко — спортивную, военизированную, тренирующую тело и волю; Гайдар взамен «игры в разбойники» дает ребятам новую игру — «Тимурову команду», — целеустремленную, глубоко гуманистическую по духу и окруженную романтическим ореолом «тайны». Житков постоянно задает «головоломки», для которых нужна сме-

калка; это тоже своеобразная игра, где техническая задача «сделать сам» модель лодки или какой-то машины перерастает в задачу «сделать самому из себя человека».

Л. Пантелеев никогда не играет с детьми; в его книгах все совершенно всерьез,— наоборот, он игру обращает в подлинную жизнь. Когда в рассказе «Честное слово» рассказчик бежит разыскивать военного, командира, который мог бы отпустить «с поста» малыша, давшего «честное слово» не покидать его, пока не будет сменен старшим по чину,— мы чувствуем, что автор относится абсолютно серьезно ко всему происходящему, у него нет и тени улыбки, он взволнован и тронут. Пантелеев почти «на одной ноге» со своим героем и знает, как полно значения для ребенка это событие. Более того: он знает, как это важно для будущего. Ему совсем не смешно, он дорожит мужеством и в ребенке, он восхищается им и даже несколько смущается перед ним, словно напоминая себе, взрослому, что с ребенком надо быть на уровне его, может быть, наивных, но высоких требований.

В замечательном рассказе «На ялике», показывающем жизнь Ленинграда в блокаде, есть такое выразительное место: мальчик, сменивший перевозчика-отца, недавно убитого во время бомбежки, перевозит народ через Неву на Каменный остров. В это время налетают фашистские самолеты, начинается бомбежка, и наши зенитные батареи обстреливают их. «Ничего не скажу — было страшно. Особенно, когда в воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки». В лодке началась паника, многие ложились на дно ее и закрывали лицо руками, как будто этим можно было уберечься от осколков. «Признаться,— говорит рассказчик,— мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову. Но я не мог сделать этого. Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров — и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах».

Стыдно стало перед ребенком, не мог перед ребенком спрятаться от опасности — как это характерно для Пантелеева! Ребе-

нок для Пантелеева — та высшая проверка поведения взрослого человека, которая обязывает ко многому. Писатель знает, конечно, что у ребенка еще нет того страха смерти, который порой лишает разума взрослых. Но маленький перевозчик уже видел смерть, он потерял отца, убитого на том самом месте, где сидел теперь он сам, да и паника взрослых могла заразить его страхом,— а он сохраняет мужество, потому что уже ощущает ответственность за всех этих людей, которые доверились его рукам, его лодке. Понятно, что рассказчик гозорит: «Было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался крабее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею». Почему-то этого рассказчика ощущаешь совсем молодым — так молоды в нем и это чувство стыда и это желание не обнаружить свой страх перед мальчиком, быть бесстрашным рядом с ним.

Ради того, чтобы ребенок вырос настоящим человеком, достойным того будущего, которое ему открыто Октябрьской революцией, которое указывали ему все лучшие представители человечества в прошлом, ради того, чтобы не сломить, не искривить гибкий росток его жизни, чтобы не отравить, не замутить ничем сознание ребенка,— взрослый должен быть чист перед ним, должен быть бережным с ним. Вот эта особенная бережность, желание самому быть лучше перед ребенком — быть на самом деле лучше, а не казаться,— и составляет, мне думается, основу творчества Пантелеева.

Сам прошедший тяжелую школу безпризорничества, бездомья, безотцовщины, падавший не раз «на дно», выше всего он ставит в жизни честность — в самом широком смысле слова. Недаром в автобиографической повести «Ленька Пантелеев», вспоминая об отце, большом, сильном и неудачливом человеке, начавшем с геронического полвига на войне и кончившем диким деспотизмом, самоуправством, пьянством, полной потерей человеческого облика,— автор говорит, что Ленька страстно любил, даже обожал этого человека за его неподкупную прямоту и правдивость, за добрую щедрость, за презрение к скопидомству, а больше всего за кристальную честность, за нетерпимость ко всякому обману. И сколько после ни выпало на до-

лю Ленки всяческих искушений и испытаний, как ни вовлекали его во всякие сомнительные проделки и в воровство, для него всегда это было либо вынужденным — с голоду, с холоду, — либо дурно понятым чувством товарищества: чтобы не отстать от других, не подвести другого. Никогда, идя на дурное дело, Ленка не был движим сознательной мыслью, что это и есть его настоящее дело в жизни. Он был неловок в таких делах и попадался чаще других и за других, — и в этой неприспособленности к дурному, в наивной доверчивости, в том, что его часто обманывали и подводили, сказывается его по существу честная натура, которую жизнь так жестоко испытывала «на прочность».

Его соучастник по мелким кражам лампочек, сын богатого коммерсанта Волков, легко приспособившийся к своему новому положению в жизни, в сущности, был к нему уже подготовлен всей той фальшью, жадностью, презрением к труду и к рабочим людям, какие царили у него в отцовском доме. И так естественно, что, украв замок с двери, он сбежал от наказания, а попался вместо него Ленка, который ничего не украл, а лишь сопровождал Волкова. Когда читаешь «Леньку Пантелеева», видишь, что больше всего угнетали мальчика не беды и лишения, не тяжкие его скитания по городам и деревням, а постоянное столкновение его наивной веры в людей с самым жестоким обманом и разочарованиями. И если Ленка вышел из этого «хождения по мукам» живым духовно, то — для читателя это несомненно — это потому, что стерженек честности в нем был негиблемо крепок.

В этой своей автобиографической повести и во всем, что он создал, Пантелеев прежде всего как бы ставит перед собой задачу: не обмануть ребенка, быть предельно честным перед своим читателем.

Быть честным — значит, например, показать детям, что путь к подвигу, о котором они мечтают, который пленяет их воображение, часто проходит не через проволочные заграждения и не под пулями в огне сражений, а в самых будничных, повседневных делах, и начинается он испытанием воли, воспитанием в себе чувства долга, отказом от маленьких личных удовольствий ради общего дела. Жизнь часто жестоко наказывает человека за малейшую поблажку самому себе — наказывает гибелью товарища, провалом важного, даже государст-

венного дела, и об этом просто и прямо говорит в своих произведениях Пантелеев.

Герой Советского Союза, бывший разведчик-пограничник, рассказывает, как самая обыкновенная папирота, от которой он не сумел удержаться, сидя в засаде, ождая появления врага, разоблачила разведчиков, дала возможность врагу уйти, была причиной гибели товарища, оставила навсегда страшный шрам на лице героя. Но резче шрама на щеке след в душе человека, таким жестоким опытом наученного жертвовать своими привычками, удовольствиями, страстями во имя трудового товарищества людей, во имя мира на земле, во имя светлого коммунистического будущего.

Скрытой, сдержанной силой, мужественностью отличается и самый стиль Пантелеева. Немногословный в жизни, писатель не дает себе разговаривать и в книгах. Удивительно лаконичны его рассказы, а повесть «Ленька Пантелеев» так явно и намеренно скупа, местами даже суховата, что кажется, автор слишком держит себя в тисках, не разрешая себе никаких «лирических отступлений», не давая себе раскрыться чуть больше, чем определено каким-то внутренним «железным» авторским законом. Думается, что эта чрезмерная сдержанность оборачивается порой какой-то несвободой и мешает писателю: можно только догадываться по некоторым намекам, особенно в ленинградских «блокадных» рассказах — в «Маринке» и «На ялке», — какой огромный запас нежности и любви к детям таится в сердце этого малоразговорчивого, сурового на вид человека. Эту нежность угадывают дети, даже самые маленькие, подростки особенно, и любят Пантелеева преданно и молчаливо. Мне не довелось видеть, как принимают Пантелеева большие детские аудитории — в пионерских лагерях и в школах, но я знаю, как трепетно, с каким доверием относятся к нему отдельные маленькие читатели, о которых он даже не знает. Они представляют себе Пантелеева обязательно молодым, даже юношей, каким он всегда остается в своих книгах, старшим товарищем, понимающим ребят с полуслова, а то и без слов.

Писательский путь Пантелеева своеобразен и труден. Исследователь его творчества мог бы много рассказать о том, как он менялся, оставаясь самим собой в главном. Если сравнить, например, «Пакет», напи-

санный «сказом», которым увлекались в двадцатых и тридцатых годах советские писатели, искавшие характерности речи для своего нового героя (или рассказчика) из народных масс, с рассказом «На ялике», написанным почти двадцать лет спустя, то нельзя не увидеть движения к большей простоте и реалистичности изображения. Правда, условность лубка, который по-своему использует Пантелеев в «Пакете», не помешала созданию живого образа бойца-красноармейца гражданской войны; можно даже сказать, что пантелеевский Петя Трофимов — первообраз, старший брат Василия Теркина из поэмы Твардовского. Но рассказ «На ялике» написан совсем по-другому: и рассказчик другой, и воздушная акварельность рисунка, и общая лирическая тональность, и какая-то «классичность», почти тургеневское что-то в языке, — все это свидетельствует о новых поисках писателя.

Писатель, несомненно, уходит от сказа, от лубочности, от гротеска, используя по-новому «притчевую» условность детского рассказа. Все мы помним старую хрестоматийную притчу о мальчике, который не хотел учиться и вместо школы пошел в поле, в лес, и как никто не захотел играть с ним — ни лошадь, работающая в поле, ни птица, устраивающая свое гнездо, ни люди, занятые каждый своим делом. Скучно стало мальчику — и он отправился в школу. Примерно такой же костяк и такова мысль и в рассказе «Индюк Чубатый». Но Пантелеев создал характерный образ мальчишки, вруна и выдумщика, очень живого и, в сущности, одаренного подростка с действенным, но дурно направленным, вернее — совсем не направленным воображением. Его фантазия превращается просто в ложь, которая цепляется одна за другую и заводит в тупик, из которого нет выхода, если честно не признаться себе самому и окружающим, что тебя занесло куда-то, куда ты даже и не хотел, что ты виноват, виноват без скид-

ки и снисхождения и должен заслужить прощение и возможность вновь быть со всеми вместе в таком вдруг ставшем милым и родным классе. По существу и здесь та же пантелеевская тема отрыва от людей, отщепенства, как и в рассказах о беспризорных. Но требования к ребенку теперь строже, ибо время другое, жизнь иная и поводы для отхода от всех, для сворачивания на скользкую дорожку бездельничанья и лжи уже случайны, не носят социального характера, никто не толкает ребенка на них, ничто не вынуждает его к дурным поступкам.

Надо сказать, что, как многие его товарищи в советской литературе, Пантелеев, сразу став известным писателем после первой, еще незрелой в смысле мастерства книги, став первооткрывателем в области детской прозы, собственно, только потом стал учиться литературному делу. Хотя литература влекла его к себе уже с детских лет и еще ребенком он писал стихи и повести, а в Шкиде был одним из самых ретивых «литераторов», все же, конечно, осознавать свою писательскую задачу и выработать свой стиль — понимать самого себя — он стал, уже сделавшись писателем.

За последние послевоенные годы он сделал не так много, как, может быть, от него ожидали. Но мне думается, что-то еще копится в его писательском «тайнике» и он еще удивит и обрадует нас многим. Как подлинный художник, он таит в себе больше, чем успевает дать, — и это залог будущего.

Но то, что он уже дал читателям-детям, так значительно, интересно, своеобразно и трогательно, несет на себе такую явственную печать революционного времени и советского человека, что мы недаром говорим, что этот писатель сделал вклад в дело коммунистического воспитания. Книжки Пантелеева — «Республика Шкид», «Часы», «Пакет», ленинградские рассказы, повесть о детстве «Ленька Пантелеев» — всегда останутся в библиотеке юного советского читателя.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Злобин.** На главном направлении.— **Ю. Капуто.** Страницы юношеского дневника.— **Игорь Поступальский.** Новый сборник Максима Рыльского.— **Евг. Босняцкий.** Поиски ненависти.— **В. Ланшин.** Несостоявшийся поединок.— **Г. Бялый.** В. Архипов против И. Тургенева.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Литвак.** Человек и его дело.— **И. Браславский.** Гордость Советской страны.— Кандидаты исторических наук **С. Марлинский, И. Портной.** Очерк истории города-героя.— **И. Халифман.** Ценный вклад в литературу о жизни Ч. Дарвина.— Кандидат исторических наук **Вал. Зорин.** В американском «раю».— **Г. Драмбянц.** Рыцари нефтяного бизнеса.— **Сергей Львов.** Добрый спутник.

## Литература и искусство

### На главном направлении

**У** каждого года войны свои приметы, свои неповторимые особенности — они незабываемо живы в памяти народа. Приметы этих военных лет не только в меняющихся географических названиях, не только в тоне сводок Советского информационного бюро, они и в психологии солдата, и в том, как он вооружен и что он ест и пьет, и во многом другом.

Интересно проследить с этой точки зрения начало повести Г. Бакланова «Южнее главного удара». Еще не известны ни место, ни время действия, и автор не спешит сообщить об этом в лоб — с помощью календарной даты. О времени говорят его приметы. Часовой стоит на посту — но как? «Ракета гасла, чернее становилась ночь, озябший часовой вылезал из темноты ровика погреться над трубой землянки. Он поворачивался к ней и лицом и задом, приседал, побрякивая от удовольствия, протягивал над дымом руки, и автомат, раскачиваясь на его шее, взблескивал под луной». Иной критик может тут же заявить, что часовой, греясь над трубой, грубо нару-

шает Устав гарнизонной службы. Что ж, он, конечно, будет прав, но, думается, что сухая четкость и строгость столь же необходимы для военного устава, как и художественная достоверность для литературы. В том, как часовой стоит на посту, кроме непохвального нарушения устава, можно увидеть и другое — это не сорок первый год! И даже не сорок второй и не сорок третий. Часовой беспечен потому, что он не боится немца, бросающего перед ним ракеты. Немец сам боится его, русского часового.

Однако это лишь первые мимолетные догадки, которые могут легко исчезнуть, если не будут подкреплены другими деталями. Читаем следующий абзац. Часовой закурил, — снова, к сожалению, нарушив устав! Но куда интереснее узнать, что часовой закурил сигарету, само собой разумеется, трофейную. Значит, наши войска наступают, причем наступают давно, потому что часовой ничуть не удивился предложенной сигарете.

Над часовым с негромким и медленным тарактением пролетают, возвращаясь с бомбежки, «кукурузники». «— С вечера третий раз возят. Должно, за двенадцать перевалило, — сказал часовой, как в деревне по петухам, определяя время по самолетам».

**Григорий Бакланов.** Южнее главного удара. Повесть. «Знамя», 1958, № 1. Девять дней (Южнее главного удара). Редактор В. Раковская. 192 стр. «Советский писатель». М. 1958.



Оказывается, часовой — бывалый солдат, спокойный, уверенный в себе. Автор не называет имени часового, этот солдат больше не появится в повести, но перед читателем почти законченный портрет, к тому же портрет с крайне полезной служебной нагрузкой — он вводит нас в обстановку повести.

Первые мимолетные догадки переходят в уверенность. По тому, как горят немецкие свечи в землянке, охраняемой часовым, по тому, как офицеры «обмывают» орден своего товарища, командира батареи Беличенко, читатель все более утверждает в первоначальном предположении — автор собирается описать заключительный этап войны, зиму 1944/45 года. Офицеры пьют «вспыхивающее искрами венгерское вино» — теперь можно определить и место действия: Венгрия.

И действительно, основной сюжетный узел повести — контрнаступление немцев под озером Балатон, контрнаступление, в которое Гитлер бросил свои последние отборные войска, отставая свою последнюю — задунайскую — нефть, свой последний политический оплот — Вену.

Все, что говорилось выше, позволяет с полным основанием сделать первый существенный вывод: в предельной достоверности деталей, в правдивости подробностей фронтового быта, психологии героев — основное достоинство повести Г. Бакланова.

Перед тяжелым, неравным боем капитан Беличенко приходит на кухню. Каптер, как водится, скуповато отпускает повару сало для завтрака.

«— Вы вот что, — сказал Беличенко, — вы продуктов не жалейте. Не жалейте, понятно?»

Долговушин посмотрел на комбата и, сдрогнувшись в душе, понял, что было за его словами.

Здесь можно было бы сделать упрек герою, обвинив его в рассудочности, даже черствости, но такова суровая правда войны, и писатель верен ей. Более того, он подвергает своего героя все новым испытаниям, как бы проверяя его характер, закалку. Командир батареи Беличенко отвечает за жизнь своих подчиненных — и он же вынужден посылать их на смерть. Так уходят на окруженную противником высоту лейтенант Богачев и его разведчики. Так, чтобы спасти батарею, должен пойти на смерть разведчик Ваня Горошко, и Беличенко обречен нести в себе боль за погиб-

ших друзей, потому что «так уж получается на войне, что в самые опасные места посылаешь самых дорогих тебе, самых верных людей».

Таким образом, сурово и правдиво, без прикрас и без ложного пафоса показывая войну, писатель добивается решения двойной задачи: он беспощадно выступает против жестокости войны как таковой и в то же время раскрывает человечность советского офицера на войне. Про Беличенко трудно сказать, что образ его развивается на протяжении повести, скорее это характер уже сложившийся, но от эпизода к эпизоду, от испытания к испытанию он все полнее раскрывается перед читателем, погорачивается разными сторонами своей натуры. Беличенко принадлежит к тому поколению советских людей, которое сформировалось в предвоенные годы, прошло школу советского воспитания. Они завидовали подвигам своих отцов и старших братьев — участников Октября, гражданской войны, они бредили Испанией, Халхин-Голом, но, в сущности, они знали, что еще придет их черед защищать революцию. Война безжалостно вовлекла их в свою суровую орбиту, но она не сломала, не опустошила их: закалка мирного времени оказалась достаточно прочной. Они шли на бой с фашизмом, вооруженные высокими идеалами революции и человечности, и они не растеряли своих идеалов в нещадном горниле войны и вышли из него еще более закаленными, сильными, мудрыми. Теперь можно сделать и второй вывод — Г. Бакланов стремится к углубленной обрисовке характеров, раскрывает их не в плоскостном, а в объемном решении, и в этом главное достоинство повести.

Тема гуманизма получает в повести свое естественное продолжение в образах других героев. Это естественно потому, что гуманизм — основа морали Советской Армии. Долг и сознательность, беспощадность боевого приказа и готовность к самопожертвованию — вот те высокие моральные принципы, которые делают непобедимой армию трудового народа.

Тема жертвы владела многими писателями, писавшими о войне. Художники Запада воспедали бессмысленность смерти, бессмысленность подвига. Совсем по-другому звучит эта тема в книгах советских писателей, и подтверждение тому мы еще раз находим в повести Г. Бакланова.

Немцы наступают под Балатоном мощными танковыми колоннами — в это наступление они бросили в полтора раза больше танков, чем на Курской дуге. Тяжелый артиллерийский полк меняет позиции, чтобы прикрыть отступление дивизии. Батарея Беличенко прикрывает отход полка. Богачев и его разведчики прикрывают ведущую бой батарею. Старшина Пономарев отстреливается до последнего патрона и попадает в плен, прикрывая солдата Долговушина. Выполнив боевую задачу, батарея Беличенко получает приказ отходить. И столько душевной боли скопилось за эти дни тяжелых боев в Беличенко, что он уже не может решиться оставить еще кого-то из своих подчиненных и остается сам прикрывать отход своей батареи. И снова вступает в силу закон солдатской выручки — пехотинец Архипов вызывает на себя огонь немецких автоматчиков и выманивает их из укрытий.

Не слишком ли много жертв для одной повести? На этот вопрос лучше всего ответить словами старшины Пономарева, которого ведут на расстрел немцы. «Мертвец ты!...», — говорит Пономарев эсэсовскому офицеру. «Это вырвалось у него совершенно неожиданно для самого себя, и в тот же момент с особенной ясностью, какая наступает у людей в последние дни жизни, Пономарев понял, что перед ним действительно мертвец. Да, его, Пономарева, могут убить и убьют, наверное, но все то, ради чего он жил, и воевал, и вот умрет сейчас, — все это останется на земле». Точнее не скажешь!

Так сливаются воедино две противоположности — тема жертвы и тема самопожертвования. Но автор и здесь не ограничивается плоскостной разработкой. Та же тема рассматривается с другой стороны. Писарь штаба полка Леонтьев восхищается тем, что один из полков их фронта, зажатый в горах, погиб почти целиком, но при этом уничтожил три полка немцев: «Вот здорово: за одного три! Это если бы каждый полк так, давно бы война кончилась». Но вот не какой иной, а его, Леонтьева, полк оказался в подобном же славном положении. «И все неудобство такой арифметики сразу открылось Леонтьеву».

И вот писарь, прошедший всю войну в штабе, идет в бой и ведет себя не то чтобы геройски, но отнюдь не трусит, выполняет свой долг честно и до конца, то есть делает то же, что сделал и тот окружен-

ный в горах полк. Образ Леонтьева — большая удача Г. Бакланова: он правдив и закономерен. И в отважном командире батарее и в штабном писаре в конце концов побеждают те же принципы, побеждает советская система воспитания.

Образ Леонтьева — может быть, наибольшая удача Бакланова. Здесь нельзя не вспомнить, по контрасту, молодого лейтенанта Назарова. Казалось бы, между этими двумя героями много общего: оба они ровесники, оба воспитанники комсомола, оба переживают свой первый бой. Но насколько своеобразен Леонтьев, настолько банален Назаров. Это, так сказать, образ «кочующего» лейтенанта. Меняя свою фамилию, переходя то в пехоту, то в артиллерию, он странствует из одной военной повести в другую и везде одинаково значаще боится лишь одного — что «все увидят и поймут», что ему страшно; однако вскоре у него появляется «восторженное состояние» первого боя, и он командует «счастливым голосом».

Спору нет, такой лейтенант имел прототипов на войне; досаду и удивление вызывает другое — та беззаботная легкость, с которой молодые писатели повторяют в своих произведениях уже найденные другими характеры, отношения между ними, повторяют, вместо того чтобы искать и открывать новое.

Не менее банальны у Г. Бакланова все стороны отношений в треугольнике Беличенко — Тоня — Богачев. Сколько раз уже изображали такую фронттовую любовь! Да, она трогательна, нежна, чиста, но неужели так однообразна и скучна? И сколько на этом потерял Беличенко, да и сам Бакланов!

Конечно же, есть здесь, в повести Г. Бакланова, и наш старый знакомый майор-интендант, тот самый, который хочет устроиться в тылу, чтобы сберечь свою «нужную» жизнь для послевоенного мирного времени.

Это не мелочные придирки, хотя майор-интендант занимает в повести всего полстранички и можно предположить, что банальность его не так уж страшна, как пытается изобразить безжалостный рецензент. От банальности образа недалеко и до банальности мысли — и этой опасности, к сожалению, не избежал Г. Бакланов. Выше рассматривалось, как подробно и интересно решал автор тему жертвы и самопожертвования. Но вот другая идея произведения,

которая проходит через него красной нитью. Она подчеркнута и в названии, и автор проверяет на ней своих героев. Идея такая: на фронте нет второстепенных участков, нет неглавных направлений — все они одинаково важны для победы, и потому воевать на второстепенном направлении надо так же хорошо, как и на главном. Против этой мысли нельзя ничего сказать, кроме одного: она самоочевидна настолько, что вряд ли нуждается в тщательно продуманных подробных доказательствах, которые то и дело приводит Г. Бакланов.

Не удивительно поэтому, что автор добивается наибольшего успеха, когда отходит

от доказательства этой своей мысли и решает другие вопросы: тему солдатского долга, гуманизма, ответственности за жизнь человека на войне. К счастью, именно эти вопросы оказались главными и нашли в повести и глубокое художественное и правильное принципиальное решение. Остается лишь пожелать Григорию Бакланову работать более глубоко, избегать общих мест, и тогда он, несомненно, добьется новых, еще более значительных успехов, ибо работает он на главном направлении нашей литературы.

А. ЗЛОБИН.

★

### Страницы юношеского дневника

Василий Кубанев еще не был поэтом, и нет смысла сейчас спорить о том, стал ли бы он когда-нибудь им. Сборник его — не писательская книга; это тетради молодого читателя, переживающего, так сказать, «период первоначального накопления», осваивающего мир и себя, ищущего свое место в мире, и именно в этом смысл его книги — своеобразного дневника человека того поколения, которое приняло на себя первый удар в схватке с фашизмом.

Год рождения 21-й... Это и есть тот рядовой состав нашей армии, который июньской ночью 1941 года стоял у нашей границы. Вся жизнь этого поколения была предчувствием, ожиданием этого часа, и в то же время сколько неожиданного раскрылось в том, с чем довелось столкнуться ему начиная с этого часа... Многое пронешено через все испытания, а иному суждено было оказаться иллюзией. Ко многому готовило себя это поколение, но встретилось и то, что застало его врасплох.

По одну сторону рубежа стояло существо, вооруженное до зубов не только высокой техникой, но и своей полной освобожденностью от всего, что трепещет, дышит в живой человеческой душе, — существо, предназначенное для войны. По другую сторону вставали такие, как Вася Кубанев, рожденные, чтобы жить, как должен жить Человек, во всяком случае так понимающие жизнь и себя.

Тетради Кубанева трогают прежде всего

**Василий Кубанев. Идут в наступление строки. Стихи. Фельетоны. Дневники. Письма. Составитель Б. Стукалин. Редактор В. Котов. 336 стр. «Молодая гвардия», М. 1958,**

своей чистотой, своим высоким представлением о жизни и человеке.

Нельзя сказать, что он развивался быстро и рано обрел зрелость, — нет, напротив, он был еще вовсе мальчишка, пытливый, жадный до книг и до жизни мальчишка, мятущийся между желанием все испытать, увидеть и желанием все прочесть, мечтающий за одну жизнь прожить множество жизней, за один век пережить все, что было пережито человечеством, по крайней мере за последние тридцать веков, уверенный в необходимости на столько же заглянуть вперед.

«Только узнавая жизнь во всех ее проявлениях... можно быть счастливым... С завтрашнего дня изменю свое расписание... Буду ложиться... в половине второго ночи. Вставать в семь. Нет, это поздно. Вставать в половине седьмого. А после работы, с четырех до пяти вечера... еще спать... Больше количество часов спать невозможно. Это значило бы заглушить в себе всяческую совесть. Спать, зная, что не прочитаны десятки тысяч книг, — что может быть тупее этого в моем положении».

«В мире тысячи книг, которые я должен знать... Если в день прочитывать по одной (научной) книге — в год всего прочитаешь 365. Разве ты не чувствуешь, как это убийственно мало? Поэтому я считаю расточительством потратить на каждую книгу один день и выхожу из себя, когда (600-страничную, например) книгу приходится одолевать два дня. Ни о каких даже шести часах сна не может быть речи».

«Ночи провожу почти без сна... Все... кажется очень нужным... все... боюсь

пропустить. «Это очень мешает мне жить», — сказал бы я, если бы для меня «жить» не значило «узнавать».

И это не из писем студента, у которого нет других обязанностей, кроме занятий. Кончив десятилетку, Кубанев работал сотрудником районной газеты, а значит, мотался по району, организовывал материал, собирал селькоров, попутно наверняка выполнял поручения райкома — очевидно, и партии и комсомола, — «ругался с председателями», как он пишет в одном из писем, «голосовал» на проезжих дорогах и, приехав в редакцию, тут же, в общей редакционной комнате, писал в очередной номер корреспонденции, фельетоны, стихи; наравне с письмами и дневниками Кубанева они свидетельство того, как интенсивно он жил, как до предела был уплотнен его день, занимавший почти круглые сутки.

На портрете — прямо глядящие, широко раскрытые глаза. Порой в силу свежести взгляда, впервые брошенного на мир, Кубаневу удавалось выхватить что-то из самых глубин жизни: «...одиночество обнаруживается лишь... в общении с другими», «...равнодушие —...нерасцветшая ненависть», «Истинная оригинальность в том, чтобы действовать заодно с людьми, но не одинаково с ними, а по-своему...» Эти записи восемнадцатилетнего юноши поражают своей проникновенностью. Иногда его афоризмы, в которых он упражнялся с ребячьим азартом, наивно прямолинейны: «Полюби музыку», «Все-все старайся понять». Он декларирует свои изречения с директивностью, не предполагающей возражений. Еще не нажитый опыт, не пережитые чувства нередко заменяются попросту движением логической мысли. Он поучает, но, поучая другого, он учит себя, и потому можно простить этот наивно менторский тон, который — лишь выражение его святой веры в беспредельную силу слова. Ему пришлось подвезти до деревни Полубянки работающую там девушку-педагога. Девушка-горожанка недовольна своей судьбой, ей трудно и тоскливо в деревне. Василий объяснил ей, какое счастье работать в селе, и он уже убежден, что теперь девушке будет не так скучно в Полубянке.

Часть его дневника — это письма к любимой, но, в сущности, он еще не любил. В письмах к любимой нет ни тоски, ни тревоги, ни обиды на расстояние, заставляющее обращаться к перу, — не так уж много в них и глубокого интереса к той, которую он искренне считает любимой. Гораздо боль-

ше в этих письмах интереса к себе самому. Любимая девушка дорога ему прежде всего как человек, умеющий слушать его и понимать, главное — слушать. Но ведь и это немало. Да и нелепо было бы мальчика упрекать в том, что судьба, точнее война, не дала ему времени стать мужчиной.

А как не проявлять ему интереса к себе самому?

Он был глубоко убежден, что живет в самый канун коммунизма, он был захвачен пафосом созидания коммунизма, а коммунизм для него — это прежде всего «чистота во всем... Чистота, честность, ясность». Чистота и богатство души, ибо, чтобы «слиться с общим потоком, устремляющимся в будущее... надо иметь то, что хочешь сливать»; «да, нужно подчинить личное общему, но, чтобы его подчинить, надо найти и утвердить его, это самое личное», поэтому «надо неустанно и горячо обогащать себя», «надо добиться высшего развития своих способностей». «Лист только тогда насыщает дерево и участвует в общем росте, когда сам он достигает своей зрелости...»

Он верил, что коммунизм начинается прямо с него, Василия Кубанева, и отсюда таким значительным, важным казалось ему то, что происходило с ним и, главное, в нем. Он «делал себя» для коммунизма.

Юности свойственны думы о счастье, о назначении человека, о смысле жизни.

Высшее счастье для Кубанева — право считать себя человеком, а человеком он называет только того, кто чувствует себя частичкой всего человечества. Человечество неизбежно идет в коммунизм, коммунизм — итог всех усилий людских, невольных и вольных. Счастлив лишь тот, кто сознательно отдается этому движению, кто неизбежный итог делает своей осознанной целью. Счастье — в действии, в умении отдавать себя. Отдавать — значит брать. Ничто не приносит большего счастья, чем самосжигание, надо только уметь «сжечь себя... тогда, когда надо... вместе с другими». И снова: «Не представляй себе, пожалуйста... будто это значит отречься от личного... Как раз наоборот...»

Но как конкретно найти свое место в общей борьбе, какому именно действию отдать свои силы, на чем сгореть? Тут у Кубанева еще ничего не отстоялось.

Он носился с замыслом «Целого», как условно он обозначил свою юношескую мечту написать художественную историю первой половины двадцатого века. Он записывал, что для этого нужно сделать:

«I. Изучать историю (от древности до наших дней). (Штудировать!). II. Изучать диамат и истмат. III. Изучать марксизм-ленинизм. IV. Изучать социологию, естествознание... и многое, многое другое». Потом он спохватывался: «Постоянная носыба с «Целым» (все для «Целого»! Ура, ура, ура!) не приведет ни к чему, разве только к тому, что «Целое» не будет написано: мне не о чем будет писать. Только в... простом, непосредственно необходимом (и мне и всем) действии можно познать жизнь». Он убеждал себя, что для «Целого» нужно, не помня о «Целом», просто жить и работать, и опять начинал думать о «Целом».

Он не знал еще, что нужно требовать, что нужно ждать от писателя. «Гораздо полезнее для человека, если его будут представлять лучше, чем он есть. Это покажет ему цель, пути и средства к превосхождению самого себя...» И тут же, размышляя о великих писателях, не видя в том противоречия, он открывает себе: «Именно потому они и великие, что они изображают людей такими, каковы они есть,— со всеми их достоинствами и пороками, даже не говоря, где достоинства и где пороки».

Героями задуманной им эпопеи должны были стать: Ленин; художественный гений нашей эпохи, воплощающий в себе черты Горького, Маяковского, Брюсова, Блока; а также некая идеальная «Иоанна», образ, в котором каждая Женщина узнает себя, олицетворение чуткости, любви, понимания...

Об этом нельзя говорить всерьез как о

творческом замысле. Об этом можно говорить лишь как о богатстве ищущей, живой, юной души, живущей взахлеб, во всю силу, со всем запалом своих восемнадцати лет. «Я сейчас как на крыльях лечу. Даже сердце холодит. Так и летел бы всю жизнь».

Это ощущение полета Василий Кубанев справедливо относил за счет времени, которое его окрыляло и опаляло. Традиции революции, гражданской войны, размах пятилеток, дыхание сражающегося Мадрида, судьба Корчагина, стихи Маяковского — вот на чем он выростал, что становилось его внутренним достоянием. Он готов был защищать этот свой внутренний мир — мир, в котором он жил, единственный, который он принимал.

С этим он и ушел на войну, перешагнуть через которую ему не было дано.

Полнота, с какой он жил, рождала в нем расположенность ко всему, что живет, естественную, как потребность дышать: кто счастлив, тот не бывает озлоблен. Одним из ранних прозрений Кубанева было его очень точное определение фашизма: «Жестокость проистекает от неполноценности». С этой жестокостью ему и пришлось столкнуться.

Он не успел стать литератором, но он успел стать человеком. Лучшие страницы его дневников передают то мироощущение, с каким встретил войну его сверстник — молодой советский человек его поколения.

Это-то и дало право тетрадам, предназначенным для себя и для друзей, стать книгой.

Ю. КАПУСТО.



## Новый сборник Максима Рильского

Сборник стихов Максима Рильского «Розы и виноград» («Троянди й виноград») в минувшем, 1957 году вышел почти одновременно в украинском подлиннике и в русском (коллективном) переводе. Судя по выходным сведениям, в «Советском писателе» сборник был сдан в производство даже раньше, чем в «Радянськом письменнике».

Максим Рильский — поэтический автори-

Максим Рильський. Троянди й виноград. Нові поезії. Редактор Б. Степанюк. 76 ст. «Радянський письменник». Київ. 1957.

Максим Рильский. Розы и виноград. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. Редактор А. Дейч. 108 стр. «Советский писатель». М. 1957.

тет. Но ведь стихи его нового сборника еще не утвердились в сознании даже украинских читателей! Была ли необходимость так торопливо осуществлять русское издание «Троянди і винограда»? Спешка при издании поэзии вообще редко приводит к хорошим результатам, а когда речь идет о поэзии переводной, то и подавно...

Известно, что у Максима Рильского немало читателей, которые знают и хотят знать его в русских переводах. Проведая такие читатели, что в Киеве появился под названием «Троянди й виноград» новый сборник поэта, узнают, что вышел и русский перевод этого сборника, и охотно приобретут «Розы и виноград» в издании

«Советского писателя». Раскроют приобретенную ими книжную новинку и тут же с недоумением убедятся, что чуть ли не половина стихотворений, предлагаемых «Советским писателем», — это и сравнительно давние и даже вовсе старые произведения поэта, вдобавок в переводах, уже не однажды появлявшихся в предыдущих русских изданиях Максима Рыльского! А если иной из впавших в недоумение читателей еще поинтересуется украинским текстом одноименного сборника — ну, тут уж беда! Окажется, что киевские «Троянди й виноград» — это впрямь новые стихотворения Максима Рыльского, это сборник, в котором нет никаких перепечаток из предыдущих книг поэта. Выяснятся при сопоставлении изданий также и обидные арифметические данные: в украинском сборнике помещено 39 стихотворений, а в русском их — 54, из которых только 29 заимствованы из «Троянд і винограда».

На титульном листе «Роз и винограда» предусмотрительно поставлено: «Авторизованный перевод». Меняется ли от этого дело? Разве только к худшему — иной читатель может разгневаться и на самого поэта!

Даже если допустить, что издательство «Советский писатель» и А. Дейч (редактор «Роз и винограда») были убеждены, что они выпускают не новый сборник лирики поэта, а как бы очередную его антологию, то и в этом случае они вряд ли имели право присваивать этой мнимой антологии название новейшего, вполне самостоятельного сборника стихов Максима Рыльского. Строго говоря, русское издание «Роз и винограда» в некоторой степени рассчитано на обман читателей...

Это тем досаднее, что сами по себе лирические произведения, составившие «Троянди й виноград», вовсе не таковы, чтобы оставлять их без внимания и тем более лишать читательской приязни. Напротив, украинское издание вполне достойно и этого внимания и этой приязни. А коль скоро какая-то часть «Троянд і винограда» сохранена и в русском издании, то возникает необходимость считаться и с ним.

«Троянди й виноград» — итог двухлетней (1955—1956) поэтической работы Максима Рыльского. Не приходится по поводу этих стихов гозорить о каком-то новом творческом этапе в поэзии Максима Рыльского, но все же от лучших стихотворений «Троянд і винограда» веет свежестью.

Максим Рыльский — сложившийся мастер, наследник опыта классиков украинских, русских, польских, отчасти и французских, также и народной поэзии. Как и прежде, в своих новых стихах он далек от излишеств и вычурностей стиля. Стихи в «Розах и винограде» на первый взгляд как будто традиционны, они не ошарашивают читателя внешними эффектами. Но в действительности эти тщательно выверенные строки не лишены ни стилистической остроты, ни формального разнообразия и нередки с большой силой внушают читателям темы, идеи, мысли и чувства поэта, благоговящего перед подвигом нашего народа, поэта, восхищающегося культурными богатствами, собранными людьми на протяжении истории, поэта, волнуемого и тем, что давно или недавно стало достоянием прошлого, и тем, что является трепетной современностью — прежде всего нашей, советской.

Читатели давно оценили поэтические характеристики великих или видных людей, произведений искусства, характеристики, которые Максим Рыльский создавал и создает на основе своей солидной эрудиции и своего развитого вкуса. Серия этих характеристик у Максима Рыльского уже давно стала обширной и разнообразной. Теперь она пополнена еще несколькими образцами, расширяющими рамки творчества поэта и обогащающими духовный мир его читателей (стихи о Сикстинской мадонне, Афродите Милосской, Иване Франко и др.). Историзм и современность даются поэтом в сочетании, иногда неожиданным, но исключающим какие-либо натяжки. Даже в традиционнейшем по теме стихотворении «Афродита Милосская» радует умение Максима Рыльского смотреть на привычную, идущую прямо от классики тему под непривычным углом зрения:

Родной сестрой мадонны ты была.  
Земною, не заоблачной красою  
Ты светишь нам. Падут перед тобою  
Века, народы. Даль, что так светла,

В сердцах потомков снова ожила  
И расцветает новою весною.  
Ты сквозь века в труде и среди боя  
Людей к высотам творчества вела.

Ты видела, как, в скорби изнывая,  
На миг о жгучих ранах забывая,  
Перед тобою Гейне был в слезах.

Успенского утешить ты сумела;  
Он первый о «мужичьих завитках»  
Твоих земных волос поведал смело.

Перевел Н. Браун.

Разве не интересно сопоставить эти строки Максима Рыльского хотя бы с «Венерой Милосской» А. Фета?

И целомудренно и смело,  
До чресл сияя наготой,  
Цветет божественное тело  
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой  
Слегка приподнятых волос  
Как много неги горделивой  
В небесном лине разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью,  
Вся млея пеною морской  
И всепобедной рея властью,  
Ты смотришь в вечность пред собой.

Одна и та же «вечная тема» — и совершенно разные ее восприятия! Между прочим, хотел ли этого Максим Рыльский или не хотел, но здесь он своеобразно полемизирует скорее всего именно с А. Фетом, идеологом так называемого «чистого искусства». Да и другой сонет Максима Рыльского — о Сикстинской мадонне Рафаэля — в этом отношении тоже кажется направленным против фетовского же сонета «К Сикстинской мадонне», хотя украинский поэт и поставил эпиграфами к своему произведению строки из Ивана Франко и Тараса Шевченко. Здесь тот же контраст — контраст эпох и идеологий.

Есть кое-что новое в очередных стихах Максима Рыльского о природе, преобразуемой советскими людьми, уже во многом служащей им, но одновременно требующей от них неустанной заботы и, главное, понимания.

Лирические строфы о красочности природы (а поэт знает краски природы не только Украины, но и Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии) соединены с философическими раздумьями человека, для которого своим, кровным делом является преобразование земли, осуществляемое нашим народом. При этом серьезная, даже патетическая интонация, издавна присущая Максиму Рыльскому, сочетается с добродушным юмором, тоже свойственным поэту.

Конечно, в этих стихах (собственно, и составляющих основу «Троянди і винограда») Максим Рыльский иногда стоит на грани чисто дидактической, поучительной и даже просто поучающей поэзии (типичные образы — «Письмо васильку» и «Скворец»). Но в действительности он, поэт, безусловно числящийся среди своих учителей и Валерия Брюсова, тяготеет скорее всего к поэзии подлинно научной. Как правило,

Максима Рыльского не покидает глубокое личное воодушевление большой темой преобразования природы. Поэзия Максима Рыльского не кабинетна, его неиссякаемый творческий темперамент ведет его в мир жизни, к людям, к их переживаниям, к их делам.

А виноградник — гордость киевлян:  
Здесь победил морозы и туман  
Ум человека, ясный и упорный,  
Что бросил вызов буре непокорной,  
Что стал природе другом навсегда,  
Хотя и с другом может он сразиться;  
Здесь в каждой виноградине струится  
Живое вдохновение труда.

(Перевод М. Исаковского. В подлиннике последние две строки сильнее: «здесь в каждой ягоде вдохновенный труд струится, как горячая юная кровь»).

У стихов сборника «Троянди й виноград» есть и слабые стороны. Местами это необязательная архаичность лексики (что, к сожалению, чрезмерно ощущается в иных русских переводах), местами — эскизность, скольжение по сюжетам, которые, вероятно, могли бы быть и поэтическими картинами. Местами — уже упоминавшаяся скучноватая дидактичность, а то и лобовая агитационность. Наконец, встречаются и авторские самоповторения, которые не так уж интересны людям, знающим творчество Максима Рыльского.

Однако в большей своей части сборник «Троянди й виноград» — это образец хорошей современной лирики, что, в общем, позволяют понять и почувствовать и переводы, включенные в издание «Советского писателя» (как оно ни сомнительно в некоторых отношениях).

Было бы, впрочем, несправедливо ограничиться в суждениях о переводах такой краткой оценкой. О них стоит высказаться подробнее. Некоторые переводы безусловно несут следы спешки переводчиков и редактора А. Дейча (вообще говоря, редактора опытного, практически и творчески знающего искусство стихотворного перевода). Попадают в русский издании «Роз и винограда» строки, которые редакторский карандаш должен был бы своевременно отметить или исправить. «За нож кривой берется садовод» — поди разберись сразу и безошибочно, нож ли здесь крив, садовод ли! У самого Максима Рыльского подобной неловкости, конечно, нет: «І ніж кривий в руці садівника...» «А так как уж оно весны своей не ждет», — пишет

М. Комиссарова, совершенно не слыша этого ужасного таккажуно». В подлиннике, разумеется, акустически чистый стих: «а надто як воно уже, на жаль, старе».

Удручающе незвучными становятся рифмы Максима Рыльского в передаче иных его переводчиков: «красноперок — пору», «тонет — бутоны» — так рифмует М. Комиссарова даже в александрийских стихах. У А. Прокофьева — «верных — бесценный», у Н. Брауна — «единый — непобедимых», «сестрам — гостем». У П. Жура — «удивив—любви», «грузины—сгинет», «гряде — глядел», «погасили б — светлосильный», «дитя — стяг»... — всего не перечислишь! Можно рифмовать и так, подобные виды созвучий давно разработаны в новейшей поэзии, но ведь не так рифмовал и рифмует Максим Рыльский! Во всех указанных случаях у него неизменно точная, «классическая» рифма.

Беспомощно переведены Н. Брауном и М. Комиссаровой некоторые нерифмованные,

белые произведения Максима Рыльского. От его стиха оставлен голый метр (пятистопный ямба), а о передаче чередования мужских и женских окончаний (часто определяющих у автора интонацию и т. п.) оба переводчика вовсе не думают.

Вместе с тем тот же Н. Браун верно перевел «Афродиту Милосскую», «Чаек над Кремлем» и «Статую Сатурна в Летнем саду», а та же М. Комиссарова сделала неплохие переводы стихотворений «Письмо васильку», «Отчизне», «Ленинграду» и «Тени белой ночи».

В переводах Р. Минкус есть удачные куски, но в «Сикстинской мадонне» нарушена структура сонета (неправильно расположены рифмы).

Отдельно похвалы заслуживают сделанный М. Исаковским перевод «Девичат на винограднике» и почти все новые переводы, выполненные В. Звягинцевой, В. Потаповой и Н. Ушаковым.

**Игорь ПОСТУПАЛЬСКИЙ.**

★

## Поиски ненависти

«...Ужасно, что я ни с кем не могу об этом говорить, никому не могу рассказать правду — но деньги мне нужны и комната нужна только для того, чтобы спать со своей женой. Вот уже два месяца, как мы, хоть и находимся в одном городе, живем супружеской жизнью только в гостиницах. Когда было по-настоящему тепло, мы иногда встречались в парках или в парадных разрушенных домов, в самом центре города, чтобы быть уверенными, что нас никто не застигнет врасплох. У нас слишком маленькая комната — вот и всё...»

Фабула романа одного из интереснейших писателей Западной Германии, Генриха Бёлля, действительно укладывается в эти несколько строк. До чего просто: «...слишком маленькая комната — вот и всё!» Но роман называется иначе. Не «Маленькая комната» и даже не «Маленький человек»,

**Генрих Бёлль. И не сказал ни единого слова... Роман. Перевод Л. Черной и Д. Мельникова. Предисловие Л. Копелева. Редактор Н. Наринцева. 164 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1957.**

**Генрих Бёлль. Хлеб ранних лет. Повесть. Перевод Л. Черной и Д. Мельникова. Редактор С. Шлапоберская. 92 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1953.**

который фигурировал в названии романа Ганса Фаллады, написанного задолго до войны. Бёлль в последних своих произведениях как бы принял эстафету из рук Фаллады и продолжает серию романов о бесысходном отчаянии рядового труженика капиталистического города. Роман, выдержкой из которого мы начали эту статью, автор назвал туманно и расплывчато: «И не сказал ни единого слова...»

Это строка из песенки. Ее поет хриплый голос негра. К этому голосу с тоской прислушивается тридцативосьмилетняя фрау Кэте Богнер, жена Фреда Богнера, мать его трех живых и двух умерших детей. Какой смысл она уловила в этих словах из песенки? Что хотел сказать писатель, назвав так свой роман?

Фреду сорок четыре года. Он не преступник, он не скрывается от закона, не бежит от своей жены. Он любит и жену и детей. Эта любовь — сильная и постоянная — занимает его мысли почти беспрестанно. Едва ли мы вспомним другой роман, в котором с такой силой и так правдиво была бы показана страстная и нежная любовь женщины и мужчины, уже пятнадцать лет состоящих в браке. Круг интересов, поступки,



мысли — их характер и строй — так естественно сходны. Понимая и прощая друг друга, робко возмущаясь друг другом, ласково наблюдая друг друга, Кэте и Фред, окруженные ложью и грязью, ищут правды и чистоты. Больше, чем в хлебе, они нуждаются в правде и чистоте для себя и для своих детей.

Два дня и две ночи поисков. Субботный вечер, ужасное воскресенье и часть трудового понедельника.

Они и сами не знают, что это поиски ненависти. Не беспредметного озлобления, которого и без того слишком много в их сердцах, а точно направленной ненависти к тем, кто лишает их любви и жизни, а их детей — будущего.

Подробности трехдневного действия романа страшны обыденностью и спокойствием, бытовой натуральностью происходящего. Фред Бюгнер, телефонист большого и влиятельного клерикального учреждения, в день полочки (да, да — именно в день полочки!) обходит своих знакомых и друзей, чтобы занять денег, хоть сколько-нибудь денег. Все, что он получил, — триста тридцать марок и восемьдесят три пфеннига — Фред отсылает жене. Десять марок после тяжелого раздумья он решает оставить себе, чтобы поест, выпить и попытаться счастья в автоматической рулетке.

Позднее мы узнаем, что Фред считает себя человеком, лишенным энергии. И свою жену Кэте он тоже причисляет к людям, не способным на энергичные действия. Это — заблуждение. Честность — вот, оказывается, что называется в Западной Германии отсутствием энергии. В субботный вечер, после работы (раньше, чем сделать попытку занять денег, раньше, чем пойти в кафе, а потом, в поисках ночлега, на вокзал), Фред дает урок арифметики маленькому обояльщику, сыну торговца, и позднее, на другом конце города, урок латыни девочке. Но что это в сравнении с той бурной энергией, какую разовьет Фред воскресным утром, чтобы раздобыть денег... Отказы, отказы, отказы! «Мне было стыдно молиться о том, чтобы тот, кому я звоню, сразу же дал денег».

Фред просит займы, но и те, к кому он обращается, и читатели понимают, что вернуть взятые деньги он не сможет. Только сам Фред не позволяет себе думать, что он просит подающие.

И сколько еще энергии потребуется ему, чтобы найти в переполненном приезжими

праздничном городе номер в гостинице, в грязной гостинице рабочей окраины, где жену его примет за проститутку.

Наконец-то он и она у телефона:

« — Кэте, — сказал он, — я нашел комнату, и у меня есть деньги. ...Денег у меня достаточно, и мы пойдем потанцуем. До свидания, родная».

Отчаяние, отсутствие каких бы то ни было надежд? Да, конечно. Но хуже, гораздо тяжелее, что и Фред и Кэте, казалось бы, готовы привыкнуть к такой жизни, признать ее естественной, находить в ней маленькие радости, прощать с помощью бога себе и людям грязь, тоску и отсутствие будущего у своих детей.

Задуман роман тонко, построен сложно. Только фабула его груба и резка: как мы уже видели, писатель сэм, устами своего героя, изложил ее в нескольких строках. Композиция, на первый взгляд, бесхитростна, Бёлль не скрывает ее условности: Фред и Кэте поочередно рассказывают о событиях трех дней своей жизни. Это не дневники, не исповедь, не воспоминания. Писатель полагается на читателя. Ведь каждому ясно — ни Фред, ни тем более Кэте не могут и не станут писать о себе. Да и рассказать так, как это сделано в романе, они и не смогли бы и не захотели бы. А думать? Думать они так могли. Этот роман — подслушанные мысли двух простых, очень бедных немцев, живущих в большом западногерманском городе. Внимательно подслушанные и честно, почти без утайки, переданные читателю.

Мысли... Их не изложишь, как фабулу, в десяти строках. Они рвутся в прошлое, взвешивают, оценивают и вновь переоценивают. Они подвергают сомнению не только прожитое и пережитое, но и увиденное и услышанное сегодня, сейчас, они заглядывают в будущее. Сомнения героев растут и множатся, ими уже невозможно управлять, их не всегда даже можно удержать. Мысль развивается, логически обобщает узкое и сказанное. И Фред и Кэте — думающие люди. Потому-то они и боятся своих мыслей, то и дело глушат их: он — в вине, она — в церкви. Нет, Фред не атеист, с первых же страниц романа он то и дело обращается к богу. Но истинной веры у него не больше, чем денег.

Сомнения героев, хочет того писатель или нет, становятся главной темой романа. Где истина, где достоверность слов и ве-

шей, можно ли верить, не обдумав происходящего? Какова будет жизнь завтра и послезавтра? Мы любим, мы обречены на любовь, любовь дает нам детей, и их мы тоже мучительно любим, хотим, чтобы они могли жить по-человечески...

Два дня и две ночи оскорбительного ужаса жизни. Все это время Фред и Кэте вынуждены думать, как никогда много думать. Пользуясь средствами гротеска, сведя на улицах и площадях города пышные религиозные празднества и бесстыдное рекламное иеиствоство фирм, торгующих гигиенической резиной, писатель создает атмосферу умственной пытки. Нервы Фреда и Кэте взвинчены до предела. Ночь, которую они проводят в гостинице, после того как убеждаются в том, что Кэте опять беременна, становится для них ночью осмысления жизни.

И мы видим, что эти немолодые люди, истерзанные войной и унижительной бедностью, ханжеством и лицемерием правящих классов, сохранили наивность, душевную чистоту и силу глубокой любви.

Но в эти же часы Фред и Кэте начали осознавать, что в них родились силы ненависти, которых они раньше в себе не знали: ненависти к людям, владеющим огромными домами, где живут собаки и куда не пускают детей; ненависти к тем, кто рядом со словом «бог» пишет и говорит слово «деньги», к тем, кто платит за их труд так мало, что они не могут жить вместе.

Роман кончается «благополучно». Читатель должен поверить, что супруги Богнер будут жить вместе и во имя детей преодолеют все невзгоды. Им поможет бог.

Нет, хотел того писатель или не хотел, два дня и две ночи поисков и раздумий привели Фреда и Кэте не к укреплению привычной веры, а к уходу от нее, к критическому осмыслению жизни, над которой богачи и попы возвели бога. Как это нередко бывает, честный художник, отражая правду жизни, следуя неотступно за своими героями, попадает вместе с ними не туда, куда намеревался их привести. Логика неумолима. Бог католика Генриха Бёлля не может уже ни утешить, ни ослепить Фреда и Кэте.

Любовь к людям труда, внимание к их жизни и великолепное знание подробностей этой жизни — вот что прежде всего характерно для писателя-гуманиста Генриха

Бёлля. Все, что пишет Бёльль, — а он выпустил свою первую книгу в 1949 году и с тех пор опубликовал три романа, две повести и немало рассказов — полно сострадания к рядовым людям и ненависти к силам зла и смерти.

Советский читатель знает рассказы Бёлля, публиковавшиеся в журналах «Иностранная литература» и «Новый мир». Почти во всех этих рассказах писатель обнажает ужас и мерзость войны. Герои Бёлля видят бессмысленность войн, возмущены жестокостью, зверствами, кровью и грязью. Однако ни писатель, ни действующие лица его произведений не противопоставляют разрушительным силам войны ничего, кроме абстрактной любви к миру и слепой веры в справедливость божественного произвола.

И все же нельзя не заметить, что от книги к книге герои Бёлля меняются. Вспомним слова Фреда Богнера: «Ужасно, что я ни с кем не могу об этом говорить, никому не могу рассказать правду». Поведать свои страдания богу и его наместникам на земле — попом — Фред уже не может и не хочет. Он бесконечно одинок и до сего времени искал одиночества, проводя свой досуг на кладбище. Писатель приводит его к сознанию того, как это одиночество ужасно.

Если строка песенки «И не сказал ни единого слова...», став названием романа, может выражать всего лишь неопределенность или начало раздумья, то в последней повести Бёлля, «Хлеб ранних лет», название выражает тему куда определеннее, чем сюжет и особенно его развязка. Так или иначе, но и писатель и его герой — электротехник Вальтер Фендрих — уже ясно видят, кому адресовать нарастающую ненависть.

Вальтеру Фендриху немногим более двадцати лет. Он мог бы быть сыном супружеской четы Богнер. Представитель нового поколения, вступившего в сознательную жизнь в послевоенные годы, он привлекает своей судьбой внимание писателя именно потому, что кровно связан с теми, кто жил в его предыдущих книгах. Вальтер Фендрих ищет в себе не отрицание, а развитие темы «проклятого прошлого». Война и фашизм, растлившие души миллионов немцев, принесшие горе, нищету и душевный разлад честным труженикам — таким, как Фред и Кэте, таким, как провинциальный учитель, отец Вальтера, — ничему не научили наглых и самодовольных тсрашей — таких, как

булочник Фундаль или владелец электро-технического предприятия Виквебер.

Писатель поставил себе в повести «Хлеб ранних лет» труднейшую психологическую задачу — показать кристаллизацию классового самосознания молодого рабочего..

Думается, впрочем, что если статья эта попадется на глаза Генриху Бёллиу, он воскликнет что-нибудь вроде: «Чур-чур меня! Никогда я не ставил себе подобной задачи. Слово «класс» вы не найдете ни в одном моем произведении, я далек от марксизма и не делю общество на классы...»

Что ж, скорее всего это именно так. Писатель не ставил себе подобной задачи. Он внимательно всматривался в жизнь нового, молодого поколения рабочих Западной Германии и увидел, что они не намерены забывать страдания своих отцов и своего военного детства. Более того, они не дадут ослепить себя призрачным благополучием экономического процветания, никогда не простят прошлого и сумеют разглядеть своих истинных врагов.

Трудно согласиться с безымянным автором предисловия к повести «Хлеб ранних лет», выпущенной Издательством иностранной литературы, когда он пишет, что «любовь к Хедвиг Муллер, внезапно наступающая Вальтера, просветляет его сознание, позволяет ему увидеть в истинном свете его собственную жизнь и жизнь окружающих».

Первая треть повести, в которой герой знает о Хедвиг одно лишь то, что она дочь директора школы и что он, Вальтер, должен встретить ее и отвезти на квартиру,— эта первая треть повести уже подготавливает душевный кризис героя, осознание своей ненависти к Виквеберу и ему подобным, высоко оплачивающим его талант и готовым купить его душу вместе с телом.

Вальтер еще не встретил Хедвиг, не знал, что на него обрушится любовь, а письмо отца уже пробуждает в нем воспоминания, и вся первая глава, посвященная прошлому двадцатитрехлетнего юноши,— это потрясающий рассказ о том, как накапливает ненависть к хозяевам жизни — богачам — сперва мальчик, потом подросток и, наконец, квалифицированный рабочий.

Характеристика Виквебера дана здесь Вальтером задолго до того, как его настигла любовь. Эта характеристика дана человеком, который хоть и хорошо питается сегодня, но великолепно знает цену своего хлеба.

«Виквебер — видный мужчина, здоровый и веселый, и даже в его набожности есть что-то вызывающее симпатию. Вначале я его просто невзлюбил, но спустя два месяца я несправедливо его уже только за то, что из его кухни доносились запахи кушаний, которых я никогда в жизни не пробовал: свежих пирогов, жареного мяса, горячего сала; голод, этот зверь, копошившийся в моих внутренностях, не выносил запахов съестного, он начинал бунтовать, и что-то кислое и горячее подымалось во мне; я ненавидел Виквебера потому, что с утра приносил с собой на работу всего два ломтика хлеба, склеенных красным повидлом.»

Сюжет повести действительно развивается с того момента, когда Вальтер встречает Хедвиг. Нет сомнения, любовь настигает его внезапно... Те, кто сравнивает литературную манеру Бёлля с манерой Хемингуэя, правы — сходство есть. Оно особенно заметно, когда Бёлл сочиняет. Намеренная грубость сцены, где Вальтер приносит Хедвиг цветы и вспоминает при этом рассказ бывшего фашистского молодчика Греммига, который, насилуя женщин, закрывал им лицо полотенцем, совершенно не вяжется с душевным обликом Вальтера первой главы. Это «обострение» говорит лишь о боязни писателя показаться сентиментальным. Да, пожалуй, здесь еще видна забота о том, как бы потрафить вкусам современной буржуазной критики.

Итак, сюжет повести развивается с того момента, когда Вальтер влюбляется в Хедвиг и теряет способность нормально действовать и мыслить. Осознав силу своего чувства, Вальтер решает порвать со своей невестой — дочерью Виквебера Уллой. Сцена их разговора — одна из сильнейших в повести. И (что поделаты!) она убедительнее, чем последующая сцена объяснения в любви с Хедвиг.

Все дело в том, что Хедвиг лишь мечта, условное обозначение женщины. А Улла — яркий представитель своей среды. Она не победит, подобно сотканной из тумана Хедвиг, ни с того ни с сего в церковь и не станет болтать о каком-то мужчине, вдруг, на улице, предложившем ей любовь до гробовой доски. Улла, дочь своего класса, завершает свое объяснение с бывшим женихом такими словами: « — Я часто смотрела на твои руки, когда ты держал инструменты или прикасался к приборам, я наблюдала, как ты разбирали машины, совсем не знакомые тебе. изучал их и снова собирал,

Было видно, что ты просто-таки создан для своей профессии и что ты ее любишь, и лучше было дать тебе самому заработать свой хлеб, чем дарить его».

Да, она откровенно показала, что ценил в Вальтере ее отец и что хотел приобрести для своей дочери. Вальтер Фендрих не воспользовался возможностью перескочить через пропасть, отделяющую людей труда от хозяев жизни. Он остался верен своему классу.

К концу повесть теряет реалистический характер. Вальтер совершает со своей любимой нервическую скачку на автомобиле: действительность перемешивается с экзотическими галлюцинациями воображения, и последние слова героя («...я понял, что не хочу идти вперед; я хочу вернуться назад,

сам не знаю куда, знаю только одно — назад») оставляют читателя в недоумении.

Но без этого, видно, не обойтись. Писать так, чтобы все было понятно, — значит наверняка оскорбить вкус и вызвать нарекания той части западной читающей публики, которая высоко ценит моду. Не всякий решится на это. Мы же благодарны писателю за то, что он показал нам возмущенную юную душу честного и талантливого рабочего-немца.

Трудно предрешить, как будет развиваться любовь Вальтера и Хедвиг. Но ясно одно: Вальтер не даст себя обмануть и не продается за чечевичную похлебку именно потому, что хорошо помнит, чего стоил ему хлеб его ранних лет.

Евг. БОСНЯЦКИЙ.

★

## Несостоявшийся поединок

Повесть о любви... Уже одно это, вне зависимости от поздних мудрствований критиков, заставит прочесть ее многих и прежде всего молодых читателей, тем более, что имя автора — Константина Лапина — знакомо им по радиопередачам и газетным статьям, где трактуется все тот же извечный и нестареющий вопрос:

Любовь, любовь — гласит преданье —  
Союз души с душой родной —  
Их съединенье, сочетанье,  
И роковое их слиянье,  
И... поединок роковой...

Тема эта трудна и коварна. Если книга благодаря одному лишь выбору темы заранее гарантирована популярность, писатель должен быть особенно начеку, чтобы не уронить, не размельчить содержание, не пойти за читателем-обывателем.

Как же рассказывает в своей повести К. Лапин о «союзе души с душой родной»?

История в самом деле простая, совсем немудреная. Молодой парень — поэт, мечтатель, — любит красивую девушку с практическим складом ума. У героя есть соперник — удачливый и самоуверенный инженер, искушающий девушку с помощью персональной машины и прочих житейских благ. Девушка, заставлявшая героя долгое время ревновать и мучиться, имеет возможность в конце концов убе-

диться в низости намерений инженера и возвращается к страдающему юноше. Поздно! Теперь оскорбленный герой уже предпочитает одиночество, казнит девушку холодом и невниманием. Но сердце отходчиво — и он прощает. Героев ждет перспектива счастливой любви.

Наш пересказ, разумеется, относится лишь к основному. Кроме любви, в повести есть мотивы производственные (герой работает на стройке), мотивы искусства (герой — поэт, героиня участвует в самодеятельном спектакле), спортивные (оба увлекаются плаванием). Однако все это, чувствуется, для автора не самое главное, в центре все же стоит «простая история».

Рассмотрим ближе ее героев. Ведь именно в контрастах и столкновениях характеров видел, вероятно, писатель свою главную художественную задачу.

Начнем с инженера Одинцова как с образа наиболее простого и очевидного. Это преуспевающий бонвиван и ловкач, человек, пошлый с головы до ног, так сказать, эталон пошляка. Прислушаемся к его речам: «Женщины потсм!» — был его любимым девиз. Нужно еще столького добиться в жизни — настоящего положения, ученого звания, лучшей квартиры...» И в то же время: «Ну, что это за домострой, что за тургеневщина? Да, мне нравятся красивые девушки — и что же? Я не святой, тем более не святоша. Я грешник, живу сегодняшним днем... Хотите пари, Малышев: удастся мне отбить у вас Леру или нет?»

Одинцов не только беззастенчиво прельщает Леру, избранную им для одного из своих легких походов. С пезунтским расчетом (или с необъяснимым великодушием? Это так и остается неясным) он предлагает Малышеву — так зовут молодого героя — свою поддержку, в трудную минуту ссужает его деньгами, интригует и лицемерит. Свои незаурядные способности конструктора он эксплуатирует лишь в целях карьеры, его мало интересует истинная польза дела, он ищет местечко повыгоднее и поспокойнее, почему и бросает в конце концов стройку ради работы в институте.

Одинцов, в гневную минуту заклеяемый Кириллом Малышевым как «циничнейший и пошлый человек», — это откровенный отрицательный полюс в повести. При всей традиционности этого характера нельзя не признать за ним некоторого жизненного содержания. Изображение Одинцова и дает нам право думать, что автор имел в виду развенчать своей повестью житейскую пошлость, еще раз ударить по мелкому, эгоистичному и пустому отношению к любви и — шире — к жизни вообще.

Однако другие образы повести заставляют усомниться если не в намерении писателя, то в удаче его предприятия.

Всем, вероятно, случалось наблюдать на каком-нибудь собрании такую сценку. Оратор говорит серьезно и с убеждением. Вдруг по залу пробегает смехок, раздаются иронические хлопки: выступающий говорит явно «не то»... И, странное дело, чем серьезнее он говорит, тем веселее и заразительнее смеется зал. Нечто похожее может случиться и с писателем. Поначалу читатель доверчиво следует за автором, но вот в какую-то минуту он начинает замечать, что его собственное отношение к героям книги существенно разнится от того, что видит в них писатель. Тут возможны самые неожиданные эффекты. Бывает, что герой чудится автору вдохновенным, а героиня — поэтичной, а в глазах читателя оба они серы и скучны. Такое перемещение эмоциональных акцентов сразу скажется и на идее произведения.

Огорчительное отсутствие взаимопонимания может произойти как от неумения автора ярко передать свой замысел, так и от несогласия читателя с авторским представлением о возвышенном и пошлом, поэтическом и ничтожном: ведь под одними

и теми же словами часто кроется разное содержание.

Герои повести К. Лапина — Кирилл Малышев и Лера Удалова — люди молодые, с несложившимися, зыбкими характерами. Писатель рискнул взяться за сложную тему «воспитания чувств», созревания молодого человека.

Автор повести рассчитывал, что мы с заинтересованностью, волнением и тревогой будем следить за тем, как его юные герои через заблуждения и ошибки, удачи, достижения и постижения входят в большую жизнь. Но для этого сами герои должны были стать близкими и понятными нам даже в своих заблуждениях.

Получилось же совершенно иное.

Героиня повести, Лера, кажется автору жертвой собственной неопытности, растерявшейся перед выпавшими на ее долю соблазнами. Писатель вместе с Кириллом Малышевым все время находится как будто под обаянием своей героини и готов все понять, все простить. Художник Гриша — авторским, без сомнения, голосом — упрекает Кирилла: «А если она чего-то даже не понимала в жизни, слабо разбиралась в людях... чье же дело, как не твое, было объяснить ей?.. Да если б даже она оступилась, ошибку сделала, какое это все имеет значение?»

Мы не пуристы и далеки от желания встретить в книге постную и беспорочно правильную героиню. Но что делать, если трудно вызвать в себе сострадание и симпатию к Лере, которая с самого начала отталкивает своими человеческими свойствами.

Первое же знакомство с ней на страницах повести убеждает нас, что это пустая, лукавая и расчетливая молодая особа. Ей нравится деланная поза видавшей виды женщины. Она смеется над наивной робостью провожающего ее с вечеринки Кирилла Малышева и беззастенчиво интересуется, какова его московская квартира. На предложение Кирилла пойти вместе учиться в строительный институт она отвечает: «Чтобы через пять-шесть лет получать все те же семьсот рублей? Да еще зашлют куда-нибудь в глушь... Нет уж, спасибо!»

Эти слова Леры можно было бы объяснить лишь напускной развязностью, бравадой, если бы в дальнейшем они не подтвердились всем поведением героини. Зная стесненные денежные дела Малышева, Лс-

ра, тем не менее, требует, чтобы он возил ее на такси («Ты без машины?» — недоуменно встречает она героя), ходил с ней в рестораны и на джазовые концерты, словом, давал бы ей возможность жить по ее идеалу, то есть легко, удобно и праздно. В этом смысле в инженерере Одинцове, сего житейской философией, она находит достойного партнера. Лера поддерживает у Кирилла иллюзию взаимной любви, разрешает целовать себя и сама целует его, более того, принимает подарки от матери Малышева, называет его в письме своим женихом, а сама как бы невзначай постоянно встречается с Одинцовым, не отвергает его ухаживаний, ведет по существу двойную жизнь, лжет и лицемерит. Всем, что рассказывается о Лере, логикой фактов автор достаточно убеждает нас, что мы имеем дело с заурядной, недалекой и тщеславной мешаночкой. И вдруг на последних страницах повести Лера превращается в страдающую и ждущую сочувствия героиню. Кризис и «просветление» Леры происходят где-то за занавесом, в тайне от читателя. Она понимает наконец гнусную сущность инженера Одинцова и приходит к Кириллу с повинной. Вместо чисто читательского чувства удовлетворения счастливым концом и соединением влюбленных испытываешь досаду и неприязнь к необаятельной, мелкой героине.

И, наконец, Кирилл Малышев — основное лицо и лирический герой повести. Именно он, по мысли автора, призван стать разоблачителем жизненных принципов инженера Одинцова и его нравственным антиподом. В ожидании бескомпромиссного морального поединка между двумя такими несходными героями мы заранее готовимся отдать свои симпатии Кириллу Малышеву. Биография Кирилла, с которой автор знакомит читателей, заставляет думать, что речь идет о незаурядном юноше, в котором трудолюбие и энтузиазм сочетаются с природной одаренностью и душевной ширью.

Уже в самый первый день появления на работе Кириллу внезапно приходит в голову оригинальная техническая идея совка для разгрузки автомашин. Вскоре, впрочем, ее вытесняет еще более удачный замысел столов-подмостей. Без особого труда преодолев скептическое отношение прораба Драгина и тайное недоброжелательство инженера Одинцова (он и здесь соперник героя), Кирилл получает славу и признание.

«Со столов-подмостей, кажется, и началась известность Кирилла как рационализатора». Автор не забывает сказать о благодарности в приказе, о премии, которую получил Кирилл, и даже о лестной заметке в газете «Голос строителя».

Малышев преуспевает и как стихотворец. Правда, ему не очень удается лирическая поэма. Зато его рифмованный призыв доходит «до сердца молодого бригадира каменщиков», и прежде отставившая бригада отныне перевыполняет план. Меткие словечки поэта, строчки из его басен мгновенно облетают стройку, переходят из уст в уста. И хотя стройтрест, в котором работает Кирилл, вообще по обилию дарований явление незаурядное («Кто мог подумать, что в скромном стройтресте столько разнообразных талантов! Шутки, факты, требовавшие осмеяния, мгновенные стихотворные импровизации сыпались отовсюду»), Кирилл — первый среди равных.

Тем непонятнее и обиднее должна казаться Кириллу его любовная неудача. В самом деле, поэт, изобретатель, остроумец и энтузиаст, человек, пользующийся уважением и почетом, словом, с какого бока ни взгляни — герой, и вдруг его не любит нравящаяся ему девушка.

Автору и самому кажется, что Лера «недопоняла», не оценила Кирилла, и за это он заставляет ее заплатить судьбе слезами и тоской. Но достоин ли сам Кирилл искренних чувств, большой любви, на которую он всечасно претендует, — вот в чем вопрос.

В самом деле, приглядимся к нему внимательнее. Друзья зовут Кирилла не иначе как «поэт», все время идет речь о его «поэтических склонностях и интересе к искусству». Однако еще до того, как в повести литконсультант отвергает поэму Кирилла, читатель уже может составить представление о ней: «Свою героиню он сделает необеспеченной, одинокой. Родные не понимают ее запросов. Герой устраивает девушку к себе на стройку крановщицей — а может, в копировальное бюро? — и тут, занимаясь настоящим делом, она узнает и настоящую любовь». Варьирующийся в зависимости от обстоятельств жизни героя сюжет звучит злой автопародией. «Сам собою возник новый сюжетный ход: героиня увлеклась «стилягой», возящим ее в ресторан на папиной «Победе»... Дело пошло как по маслу. Ее характер раскрывался по-

иному, отлично оттеняя положительные стороны героя-труженика» (это он о себе!).

Автор, по-видимому, искренне желал изобразить неходульного героя, представить характер, согласно обычному требованию критики, «во всей сложности, противоречивости». Но на деле получилось лишь механическое сцепление разнородных черт, а извинительные, с точки зрения автора, недостатки — молодая самоуверенность, развязность, тщеславие — показаны так, что на самого доброжелательного читателя должны подействовать угнетающе..

Кирилл приходит в восторг, когда однажды для деловой поездки на завод в его распоряжение дают легковую машину (легковой автомобиль вообще выступает в повести в роли навязчивого символа благосостояния и самоутверждения). И как же он переживает и негодует, когда в разгар его тщеславного торжества знакомый снабженец называет его «техником», ненароком рассеивая упоение героя своей миссией на заводе. Как все-таки лестно чувствовать себя ответработником!

Но, может быть, Кирилл по-иному выглядит в своей любви? Ведь в конце концов производственные сцены стоят как-то сбоку и легко отслаиваются от основной романтической истории.

Может быть, вдохновенно, остроумно, непринужденно веселость, страстность и жизнелюбие посещают героя наедине с любимой? Увы, в любви Кирилл нестерпимо скучен, однообразен, многоречив и нерешителен до тряпичности. Многое в его поведении мы вообще затруднились бы объяснить, если бы не поняли вскоре, что автор обманывается и здесь, думая, что Кирилл любит Леру. Да, да. Мы не оговорились. Повесть К. Лапина о любви оказывается на поверку повестью без любви. В ней можно найти что угодно: юное томление, легкую увлеченность, ухаживание, заурядный флирт, даже ревность, но большой человеческой любви, «союза души с душой родной» лучше там и не искать.

И это достоверно изображает сам автор. После нескольких встреч с девушкой герой, как-то улучив момент, целует Леру «в раскрывшися влажные губы», а потом спрашивает с интонацией эпического спокойствия: «А как ты вообще относишься ко мне, Лера?» Несколько позже Лера, уезжая на Юг, возвращает Кириллу знакомый нам докучливый вопрос: «А как ты вообще ко мне относишься?»

В отношениях Кирилла с Лерой больше самолюбия, чем любви. Вот в одну из редких встреч Кирилл ведет Леру по ее желанию на концерт в «Эрмитаж». Вы думаете, он ощущает трепетную радость от свидания с любимой, или заранее переживает горечь разлуки, или тревожится о будущем, или, наконец, даже просто чувствует себя счастливым оттого, что исполнил ее желание? Ничуть не бывало. «Джаз был неплохой... Но самое большое удовольствие он получил от сознания того, что его Лера красивее всех — и в зале и на сцене». А потом, как не забывает упомянуть автор, особую радость доставило Кириллу то, что денег (кстати сказать, занятых у соперника — инженера) хватило и на скромный ужин в восточном ресторане.

Так чем же в таком случае отличается наш благородный герой от пошляка Одинцова? Тем, что тот циничнее и откровеннее и не прикрашивает банальное ухаживание поэтическим краснобайством? Не случайно и в открытых «идейных» спорах с инженером Кирилл показывает себя не с сильной стороны. Откровенно пошлое рассуждение инженера о роли дензнаков, «цехинов и дублонов» в жизни человеческой, как это ни странно, чем-то созвучно мыслям Кирилла на сей счет: «Что говорить, самому Кириллу не раз приходилось сталкиваться с неумолимым денежным «фактором», особенно в последнее время, когда он встречался с Лерой. До знакомства с ней он бы никогда даже не подумал о том, чтобы нанять для себя такси. А теперь ему казалось неудобным ехать с девушкой в переполненном троллейбусе или в вагоне метро. А как приятно было бы потанцевать с Лерой не на открытой танцплощадке Парка культуры и отдыха, а в ресторане, под хорошую музыку».

Раздутое самолюбие, бедность идеалов, желание «жить, как люди живут» никогда не были особенно привлекательными чертами. Плоские мысли, бесстрастность, бесщепетность чувств, отсутствие юношеской дерзости, задора, сомнений и исканий — все это делает Кирилла Малышева попросту непривлекательным. А так как Кирилл — это то положительное, что, по мысли автора, противопоставит пошлякам и циникам вроде Одинцова, то происходит сдвиг перспективы и непредусмотренный писателем эффект: повесть, призванная развенчать пошлость, сама предлагает ее в качестве нормы, только не в грубой и явной «одинцов-

ской» разновидности, а в более примелькавшейся, обычной и незаметной «малышевской» ее форме. Ведь пошлость — это не только легкость любовных связей, жуирство и прожигание жизни, но сытость, самодовольство, бедность интересов и устремлений, недалекость перспективы, духовная скудость и несмелость.

Повесть К. Лапина привлекла наше внимание не потому, чтобы в ней было что-то чрезвычайное, заставляющее сразу же по прочтении хвататься за критическое оружие и взывать к читателям. Нет, это одна из рядовых повестей, которых, увы, издается немало. Однако в неудаче «Простой истории» есть нечто поучительное. Оно заключено, пожалуй, в том, с какой очевидностью

разошлись здесь намерения автора с тем, что объективно вытекает из его повести.

К. Лапин не сумел разглядеть подлинное жизненное содержание изображаемых им людей, не захотел подняться над своим дюжинным героем и сказать или хотя бы намекнуть читателю, что есть и иная — настоящая любовь, настоящее счастье; подлинный труд, поиски и стремления, короче — истинная молодость, талант и борьба.

Можно лишь сожалеть, что писатель, искренне стремившийся бороться с пошлостью, незаметно для себя оказался у нее в плену.

В. ЛАКШИН.

★

## В. Архипов против И. Тургенева

В первом номере нового журнала «Русская литература», издаваемом Институтом русской литературы Академии наук СССР, помещена статья В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». В результате своего исследования В. Архипов пришел к выводам, чрезвычайно суровым для автора «Отцов и детей». Это даже не выводы, а целый обвинительный акт, в котором читаем такие, например, строки:

«Поведение Тургенева в период первого демократического подъема, политическая позиция писателя, нашедшая выражение в его творчестве, были классическим образцом стратегии либерализма. Тургенев, как бы это горько ни звучало, выкозал для борьбы с демократами оружие, сильнее которого либералы не придумали, и оно поступило на постоянное вооружение либерализма». Далее: «Клевета на революцию 1905 года и на революцию вообще, Булгаков (в «Вехах». — Г. Б.) повторяет, по существу, один из главных тезисов романа «Отцы и дети». Еще одно обвинение в том же вкусе: «Призрак «нигилизма» в годы революционной ситуации приводил Каткова в исступление, и «Русский вестник» объявил «нигилизму» войну, сплывая и объединяя для «священной травмы этого призрака» все силы старой России от либерала Тургенева до мракобеса Юркевича. И это ему удалось».

В. Архипов. К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Русская литература», 1958, № 1.

И, наконец, самое яркое заключение, уже совершенно неумолимое: «Творческая история политического романа «Отцы и дети» есть прежде всего история политическая. Она отражает судьбы русского либерализма в годы революционной ситуации, когда либералы заключили союз с реакционерами против революционных демократов».

Все это очень неожиданно, хотя, впрочем, вовсе не ново. Нечто подобное лет примерно двадцать пять тому назад писали о Тургеневе вульгарные социологи, хотя, конечно, и не в столь резкой и грубой форме. Что же случилось? Из-за чего смешан Тургенев с Катковым, Юркевичем, веховцами и прочей реакционной компанией? Отчего пальба и клики и эскадра на реке? Ничего особенного не случилось, если не считать того, что В. Архипов обнаружил письмо к Тургеневу его друга и постоянного советчика П. В. Анненкова от 26 сентября 1861 года, в котором тот рекомендует автору «Отцов и детей» внести в роман некоторые поправки. Тургенев эти поправки внес, и вот этот-то факт и привел В. Архипова в состояние запальчивости и раздражения.

Между тем давно известно, что Тургенев постоянно прислушивался к голосу своих друзей из либерального лагеря, часто вносил по их совету разные поправки и изменения в свои романы и, несмотря на это, все-таки оставался писателем, в котором Добролюбов, не раз полемизировавший с ним, всегда видел одного из передовых деятелей своего времени.



Давно известно также, что Тургенев спорил с революционными демократами, что его тянуло «к умеренной монархической и дворянской конституции» и «ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского»<sup>1</sup>. Но известно также, что при всем том он испытывал внутреннее тяготение к людям революционного склада, к мужественным борцам за справедливость, именно этих людей считал Тургенев деятелями прогресса и настойчиво подчеркивал, что именно их руками делается история своего деда. «...Когда переведутся такие люди, — восклицал он, — пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать» («Гамлет и Дон-Кихот»). А это уж совсем не то, что говорили Анненков, Боткин и другие.

Либеральные симпатии дают себя знать во многих произведениях Тургенева (это тоже давно было известно до В. Архипова), но вместе с тем автор «Отцов и детей» недаром говорил: «точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями» («По поводу «Отцов и детей»). А так, конечно, не говорили и, что самое главное, так не поступали те люди, с которыми в прокурорском азарте смешивает Тургенев В. Архипов. О стремлении Тургенева к точному и сплывшему воспроизведению истины знает, конечно, и В. Архипов. Он пишет: «Между этими двумя полюсами — рассказать правду в ущерб своей тенденции и провести свою тенденцию в ущерб правде — и колеблется писатель на всем протяжении создания романа». Это уж, конечно, гораздо ближе к истине, хотя тоже далеко не точно. Дело в том, что в стремлении «рассказать правду» тенденция Тургенева-романиста проявлялась не в меньшей степени, чем в его либеральных симпатиях. Тургенев сознательно стремился к тому, чтобы «воспроизвести истину... даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». Этой тенденцией он и руководствовался при создании «Отцов и детей». Неужели можно всерьез такое «поведение» Тургенева назвать «классическим образцом стратегии либерализма»? Не слишком ли много чести либерализму оказывает подобными рассуждениями В. Архипов?

Автор приводит в своей статье известные

суждения Тургенева о своем герое. Суждения эти столь же многочисленны, как и противоречивы. То Тургенев пишет, что он чувствовал к своему герою «влечение, род недуга», то он говорит: «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или ненавижу!» Это дает повод В. Архипову обвинить Тургенева в неискренности. Другого рода предположения у него не возникают. Он не может представить себе, что Тургеневу трудно, даже невозможно было логически сформулировать свое отношение к Базарову. Тургенев изучал новый для него общественный тип. Он к нему присматривался. Он им восхищался и в то же время спорил с ним. Он чувствовал к нему влечение, род недуга, и в то же время негодовал против него. Здесь — сложность внутренних отношений автора и героя, а не хитрость и не «дипломатия», как это представляется В. Архипову.

Чтобы понять эту сложность, достаточно было вдуматься в слова М. Е. Салтыкова-Щедрина об «Отцах и детях». Этот роман он считал «плодом общения с «Современником». «Там, — писал Салтыков, — были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого». В общении с деятелями «Современника», с которыми Тургенев, конечно, как-то соотносил образ Базарова, писатель «перерабатывал себя самого». Перерабатывал, негодуя и споря, но перерабатывал. Вот в чем объяснение сложности и противоречивости тургеньевских оценок Базарова. Это уже не «дипломатия» в архиповском смысле, а нечто более значительное и глубокое.

Характеризуя отношение Тургенева к Базарову, Архипов пишет: «Тургенев избрал сильную, честную, могучую фигуру, и тем не менее обреченную на гибель. Он заставил читателя полюбить героя, но не для того, чтобы читатель пошел за ним». Все это совершенно справедливо. Тургенев сам говорил о том, что Базаров обречен на гибель, хотя какой исторический смысл имеет «гибель» героя, в этом еще нужно разобраться. Но оставим пока этот вопрос в стороне. Верно и то, что, не будучи революционным демократом, Тургенев не звал читателя следовать за Базаровым, несмотря на то, что утверждал его силу и величие. Однако, как справедливо замечает Архипов, Тургенев «заставил читателя полюбить

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 244.

героя». Нужно думать, что он не смог бы проделать такую операцию над читателем, если бы сам не испытывал влечения к Базарову и к тем, кто стоял за ним в реальной жизни. А разве такие чувства питали к революционным демократам либералы вроде Анненкова, не говоря уже о Катковых и Юркевичах? В том письме Анненкова, из-за которого разгорелся сыр-бор в статье В. Архипова, видно совсем другое отношение к Базарову. По Анненкову, Базаров «способен возбудить омерзение всех людей труда, веры в науку и в историю». Итак, омерзение, а не любовь испытывали к Базарову Анненков и его сторонники, а В. Архипов хочет представить Тургеневу послушным учеником Анненкова и прямым союзником Каткова. Между тем, как свидетельствует тот же Анненков (между прочим, и в цитированном письме), Катков был «в ужасе от той силы, мощи, превосходства над толпой и способности покорять людей, которую заметил в Базарове».

Правда, в другом месте своей статьи Архипов уверяет, что негодование Каткова образ Базарова вызвал лишь в первой редакции романа. В дальнейшем же, после поправок, внесенных Тургеневым, Катков, дескать, был вполне удовлетворен. Но как же быть тогда с утверждением исследователя, что и в последней редакции «Отцов и детей» Тургенев все-таки «заставил читателя полюбить героя»? На этот вопрос статья В. Архипова ответа не дает, и мы можем лишь строить догадки относительно позиции автора. Здесь возможны разные предположения. Может статься, что, по мысли В. Архипова, сердце Каткова внезапно смягчилось и он примирился с тем, что Тургенев «заставил читателя полюбить героя». Возможно, что В. Архипов решил самоотверженно пожертвовать логикой ради благородной цели во что бы то ни стало изблечить Тургенева и любыми способами вывести его наконец на чистую воду. А может быть, автор просто не заметил внутреннего противоречия в своих рассуждениях. В науке всякое бывает, но читателю от этого не легче.

Посмотрим теперь, какие же поправки, внесенные Тургеневым в роман, вызвали столь бурный гнев В. Архипова.

Одна из этих поправок сводится к устранению в споре Базарова с Павлом Петровичем прямой или почти прямой цитаты из «Современника» о графе Кавуре. Это был, очевидно, полемический выпад против «Со-

временника», и Тургенев отказался от него. Такая щепетильность вряд ли могла быть по душе Каткову; за эту поправку В. Архипов мог бы даже поощрить Тургенева, но нет, он по-прежнему неумолим.

Другие поправки касаются образа Одинцовой, они политически совершенно нейтральны и, как признает сам В. Архипов, имеют «чисто эстетический смысл». Значит, как будто бы и здесь нет особых поводов для негодования против Тургенева, но перо В. Архипова не смягчается и в этом случае. Поправки были внесены по совету Анненкова, и одно это — уже достаточный повод для обличения.

Но самый страшный криминал В. Архипов видит в разговоре Базарова с Аркадием о Ситникове. Напомним этот эпизод:

«Он (Аркадий.— Г. Б.) вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров слегка пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки обжигать!..

«Эге, ге!..— подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.— Мы, стало быть, с тобой боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?»

Здесь уже В. Архипов совсем выходит из себя. Слова о бездонной пропасти базаровского самолюбия он выделяет курсивом, хотя самолюбие — еще не самый большой грех Базарова. Тургенев видел в своем герое много таких черт, которые могли бы не понравиться и не одному Аркадию. Ведь он откровенно признавался в своем намерении представить Базарова «волком» и все-таки оправдать его. В этом-то все дело. Если бы Базаров был представлен паймальчиком — и вдруг «бездонная пропасть» самолюбия, тогда критику можно бы и погорячиться, а так зачем же стулья ломать?

Но это еще не все. Базаров не только унижен Тургеневым в этой сцене, по мысли В. Архипова, но и вообще, как он пишет, «приведенная сцена лишена естественности. Базаров делает свое заявление о Ситникове ни к лугу, ни к болоту (так и написано! — Г. Б.) — некуда было вставить. Весь разговор придуман и не весьма удачно. (Еще бы удачно, если ни к лугу, ни к болоту! — Г. Б.). Вопрос Аркадия носил очень

простой смысл: зачем Ситников прибыл к Одинцовым? И вдруг: мне нужны подобные олухи. Для чего они Базарову понадобились у Одинцовых—одному богу известно. Ответ бессмыслен.

Эта бессмысленность, по мнению Архипова, видна даже в том, что Тургенев не написал: «Базаров «отметил», «сказал», «возразил», но «произнес следующие», хотя почему бессмыслицу можно только «произнести», но нельзя «сказать», «проговорить», «промолвить», «написать» и т. п.—это уж действительно одному богу известно. Но дело не в этом, конечно. Непонятно другое: почему, задавшись злокозненными намерениями, Тургенев не мог придумать естественную мотивировку вопроса Аркадия и ответа Базарова? Зачем ему понадобилась бессмыслица? Тургенев, хотя и прислушивался к советам Анненкова, все-таки писать умел, и элементарные бессмыслицы у него в иных случаях нигде и никем, даже Архиповым, не обнаружены.

Ларчик открывается просто. Ситников, как прямо сказано в романе, приехал к Одинцовой только потому, что у нее, «по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди», как Базаров и Аркадий. Это было, разумеется, понятно Аркадию. Задавая своему другу приведенный выше вопрос, он вовсе не имеет в виду узнать, зачем Ситников пожаловал к Одинцовой; он недоволен тем, что Ситников увивается вокруг Базарова, и Базаров вполне естественно и логично «произносит» цитированные выше неudelикатные слова, которые, впрочем, никому (даже, вероятно, В. Архипову до обнаружения письма Анненкова) не казались бессмысленными.

Зачем же, однако, Базарову необходим Ситников? Для того чтобы вместе с ним резать лягушек или для какой иной цели? Сказать «одному богу известно» — это не значит еще разрешить вопрос. Здесь В. Архипов вступает в полемику с автором этих строк. В. Архипов пишет: «Нельзя в качестве курьеза не отметить: Г. А. Бялый видит в этой сцене «прозрачный намек» на то, что революционер Базаров собирается действовать и ему потребовался Ситников (История русской литературы, т. VIII, ч. I. Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1956, стр. 364—365). Прием такое толкование, и у нас получится, что «революционер» Базаров считает революцию делом, не достойным себя: революцию должны делать не боги, а олухи». Нет, зачем же? Так не

получится. Получится совершенно другое. Базаров полагает, что во всяком большом деле нужны крупные работники, «боги», к которым нескромный герой причисляет себя и себе подобных, но нужны также и вовсе не боги, а люди, подобные Ситникову. Так думает герой Тургенева и, конечно, ошибается. По существу вопроса прав не Е. Базаров, а В. Архипов: олухи ни в каком деле полезны быть не могут.

Итак, Базаров ошибается. К тому же во время разговора с Одинцовой Базаров, сконфузившись, сидит, «развалиясь в кресле не хуже Ситникова», что также мстительным курсивом отмечает В. Архипов; Базаров необузданно самолюбив; он не выбирает выражений в споре с Кирсановым и т. д. и т. п. И все-таки Базаров остается Базаровым, и прав был Тургенев, когда спрашивал: «Скажите по совести, разве кому-нибудь может быть обидно сравнение его с Базаровым?»

В. Архипов полагает, повторяя старые упреки, что Базаров отрицает ради отрицания, что строить он не собирается, что никакой программы строительства у него нет. Так думали многие. Так думал В. В. Воровский. И все-таки вряд ли можно считать этот вопрос окончательно решенным. Доказательством того, что Базаров отвергает идею строительства, служат известные его слова: «Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить». На этот раз разрядка принадлежит нам. «Сперва нужно место расчистить». Значит, потом нужно уже и строить. Строить новое общество. «Исправьте общество, и болезней не будет», — говорит Базаров, имея в виду болезни социальные. Он разрушает, следовательно, ради созидания здорового, гармонического общества. Но это уже, считает он, задача будущих поколений. Отсюда еще очень далеко до стремления разрушать ради разрушения. Что отрицание Базарова имеет не только разрушительный характер, понимали некоторые современники Тургенева, и писатель соглашался с ними. М. В. Авдеев, например, в 1873 году отметил, что Базаров стремится разломать старые и негодные постройки «для того, чтобы воздвигнуть что-нибудь положительное и полезное». В Базарове Авдеев видел «передового бойца» за «положительное и полезное» общественное устройство и этим именно объяснял его преждевременную гибель. «Передовые бойцы, бросающиеся на твердыню», — писал

он,—почти всегда гибнут: она сдается только упорным последователям» (М. В. Авдеев. «Наше общество в героях и героинях литературы»).

Тургенев принял такое толкование базаровского типа с восхищением и признательностью: «точно Вы мне в душу забрались и все подметили, на все указали, что я думал тогда, что старался выразить. Все это так, все верно до последних мелочей — и автору, которому Вы воздали высокую похвалу, назвав его правдивым, остается только снять шапку и склониться перед пронизательностью критика...»

Исследователю, который заново берется изучать идейный смысл «Отцов и детей» в связи с творческой историей романа, в связи с авторскими замыслами, следовало бы обратить внимание на факты подобного рода. Но В. Архипов проходит мимо них, тем более, что они для него невыгодны. Зато факты «выгодные», хотя бы они были давно известны, В. Архипов подает иной раз как самую свежую новинку. Так случилось, например, с историей слова «нигилизм». Пораженный тем, что это слово встретилось ему в одной из статей Каткова 1861 года, В. Архипов торжествует победу: «Катков метнул слово «нигилизм» в адрес отрицателей», Тургенев взял это слово у Каткова, а дальше Архипов уже прямо пишет: «катковско-тургеновское словечко «нигилизм»... Между тем слово «нигилизм» в статье Каткова «Старые и новые боги» задолго до В. Архипова заметил Б. П. Козьмин, он же высказал предположение о том, что из статьи Каткова слово перешло в роман Тургенева; с Б. П. Козьминым полемизировал А. И. Батюто, указавший на то, что Катков мог взять это слово из романа Тургенева, уже доставленного ему ранее; Б. П. Козьмин вновь отвечал своему оппоненту; задолго до этой полемики о происхождении термина «нигилизм» писал М. П. Алексеев. Словом, вопрос этот имеет большую историю, но В. Архипов гордо принимает позу первооткрывателя.

Вообще со всеми советскими критиками, принимающими Тургенева не по-архиповски, автор обращается с величавой небрежностью. Говоря о литературоведах, не причисляющих «Отцов и детей» к числу произведений, «направленных своим острием против демократии», В. Архипов риторически восклицает: «Что нам история, когда мы этого не хотим признать! Что нам революционная молодежь, которая отвергну-

лась от Тургенева. Она ошибалась. История ошибалась. «Современник» ошибался. Некрасов ошибался. Чернышевский ошибался».

Из списка ошибавшихся исключим прежде всего историю. История не зачислила Тургенева по ведомству Каткова и Юркевича. История знает также разницу между Тургеневым и его либеральными друзьями, между «Отцами и детьми» и романами, «направленными своим острием против демократии». Революционная молодежь далеко не вся и далеко не навсегда отвернулась от Тургенева. Писарев не отвернулся. Революционные народники даже после «Нови» не отвернулись от Тургенева.

Что могут значить саркастические возгласы В. Архипова: «Современник» ошибался. Некрасов ошибался. Чернышевский ошибался? Реально это может значить только то, что, по мнению многих советских литературоведов, ошибался Антонович, поместивший в журнале Некрасова и Чернышевского известную статью «Асмодей нашего времени», в которой оценил «Отцов и детей» как антинигилистический и клеветнический роман. Да, Антонович ошибался. Он ошибался около ста лет тому назад — в пылу полемики, в разгар споров, возникших сразу после выхода романа. Потом ошибались вульгарные социологи. Теперь ошибается В. Архипов. Да и как может не ошибаться критик, на веру принимающий слова веховцев о Тургеневе как о предшественнике идеологов контрреволюции? Когда либералы, эксплуатируя идейные слабости Льва Толстого, пытались примазаться к его великому имени, В. И. Ленин дал им суровый отпор. Когда либералы пытались представить своим предшественником Герцена, В. И. Ленин также оградил его память от этих кощунственных притязаний. Советский исследователь должен был бы помнить об этом. А В. Архипов с охотой и удовольствием уступает веховцам автора «Отцов и детей» и при этом еще упрекает всех, кто не склонен к такой безмерной щедрости, в забвении ленинского принципа партийности.

Это удивительно и странно. Еще более удивительно, что редакция журнала «Русская литература» решилась «украсить» первый номер своего издания такой крикливо-тенденциозной, глубоко несправедливой по отношению к Тургеневу статьей, написанной к тому же в нестерпимо развязном тоне.

Г. БЯЛЫЙ.

## Политика и наука

### Человек и его дело

Отсталым до крайности было строительство в царской России, невероятно низким был уровень строительной техники — вручную выполнялись почти все работы. Миллионы тонн разнообразных строительных материалов переносили с помощью «коз», носилок и других примитивных устройств. Веками базировалось строительное производство исключительно на дешевом труде огромной армии сезонных рабочих. С трудом поверит, скажем, наш нынешний строитель, что в течение восьмидесяти лет (с 1833 по 1913 год) выработка каменщика оставалась на одном уровне — от 300 до 500 кирпичей в день!

Как известно, все познается сравнением... Благодаря многочисленным сравнениям, приведенным в книге И. Слепова «Индустриализация строительства и ее народнохозяйственное значение», яснее становится огромный путь, который за короткие сроки проделала строительная индустрия СССР.

Автор вспоминает Первое всесоюзное совещание строителей, происходившее в декабре 1935 года, и слова товарища Н. С. Хрущева, произнесенные на этом совещании: «Единственный выход в механизации, в индустриализации нашего строительства, в развитии производства строительных деталей...»

Можно долго рассказывать о том, что принесла на площадки новостроек индустриализация. Не будем этого делать, отошлем читателя к самой книге. Ограничимся лишь одним примером. На строительстве Куйбышевского гидроузла был установлен рекорд укладки бетона — 19 тысяч кубометров в сутки, в то время как на Днепрострое когда-то он составлял 5 тысяч кубометров, на стройке Цимлянской ГЭС — 8,8 тысячи кубометров, на строительстве крупнейшей американской гидроэлектростанции Гранд-Кули — 15,7 тысячи кубометров. Мыслимы были бы достижения строительства и строителей без индустриализации, без механизации? Ни в коем случае!

Автор обстоятельно показывает процесс развития индустриализации строительства.

**И. Слепов.** *Индустриализация, строительство и ее народнохозяйственное значение.* Редакторы И. Барсков и И. Новониллов. 264 стр. Госполитиздат. М. 1958.

Не сразу произошли перемены, и не легко они дались. В 1931 году на строительстве Харьковского тракторного завода свыше полутора тысяч плотников еще работало вручную. В том же году на строительстве Горьковского автозавода треть всех грузов перевозилась гужом. Двадцать пять тысяч грабелей насчитывалось тогда на строительных площадках Украины.

Книга И. Слепова дает много познавательного материала, сообщает интересные цифры и факты, показывающие ход подлинной технической революции в строительстве, дело, осуществленное советским человеком в годы пятилеток.

В нашей стране в настоящее время производится башенных кранов больше, чем в любой стране мира, в том числе и в США. Шестьсот башенных кранов на площадках Главмосстроя — это больше, чем имеют все строительные фирмы Англии, вместе взятые. Приводя подобные данные, автор вместе с тем говорит о тех участках, где нам предстоит еще догнать и перегнать капиталистические страны.

Значительный интерес представляют те страницы книги, в которых рассказывается о производстве сборного железобетона. Ведь современное строительство, ведущееся в огромных масштабах, немисливо без хорошо организованного применения сборных конструкций, деталей и особенно сборного железобетона. Привлекает рассказанная И. Слеповым — правда, очень коротко — история производства строительных деталей и конструкций в России. Ленинградский завод железобетонных изделий, например, ведет свою историю с 1905 года. Но широкую дорогу сборному железобетону открыли, конечно, только наши пятилетки!

В строительстве, как известно, много лет господствовала кустарщина. Автор рассказывает, что, в то время как на промышленных предприятиях каждый производственный процесс выполняется строго по заранее разработанной технологии, на стройках заранее разработанная технология соблюдалась лишь в отдельных случаях.

Это, казалось бы, требовало от автора большего внимания к тому, как технологические правила в строительстве ныне осязательно дают себя чувствовать.

Они были впервые разработаны и применены трестом «Запорожстрой» на строительстве жплых домов в 1948 году, сообщает И. Слепов. Но не рассказывает, как были разработаны и применены. Я имел возможность десять лет назад видеть начало работ запорожстроевцев по-новому. Это была отличная от всех знакомых нам дотеле деятельность строителей, основанная на достижениях индустриализации и механизации, на культуре труда, предусмотрительности, учете всех возможностей. Такая работа все более и более становится теперь законом жизни строек, и о ней следовало рассказать живо, ярко.

Гигантский подъем культуры в нашей стране сказался на облике строителей. Среди них с каждым годом растет количество людей, окончивших семь и десять классов, в совершенстве овладевших механизмами. Это армия новых строителей, которая все время пополняется молодежью.

Рецензируемая книга содержит ценный и разнообразный материал о строительстве и строителях, и поэтому по существу является книгой о человеке и его деле.

Связь между человеком и его делом особенно чувствуется на тех страницах книги, где идет речь о качестве строительных работ. Автор пишет: «Чтобы обеспечить улучшение качества строительства, следует повысить требования к уровню подготовки кадров строителей. Известно, что на заводах для получения квалификационного разряда надо сдать пробу. Шофер, чтобы получить право водить машину, проходит ряд испытаний в специальных комиссиях. А для того, чтобы строить дом, чтобы быть каменщиком, плотником и т. д., часто не требуется никаких прав. Неужели же возведение здания — менее ответственное дело, чем, например, управление автомобилем?» Вопрос справедливый, задан он без обиняков, и его нужно решить, хотя и много сделано в последние годы для поднятия квалификации строителя.

Но существуют и многочисленные факты недоделок, плохого качества работы, о которых сообщает автор. В 1955 году в городах РСФСР, например, из всего количества сданных в эксплуатацию жилых домов лишь один процент принят с отличной оценкой; только за шесть месяцев 1956 года

в инспекцию Государственного архитектурно-строительного контроля Москвы поступило свыше пятисот жалоб от граждан, получивших квартиры в новых домах; в Сталинграде, где новый жилой фонд составляет девяносто пять процентов, расходы на капитальный ремонт значительно превышают среднегодовые расходы на эти же цели по городам РСФСР и т. д. Поэтому нужно говорить открыто и прямо о качестве работы, о дальнейшем повышении квалификации строителя и его ответственности.

Жаль, что автор оперирует старыми данными, относясь к 1954 и 1955 годам, тогда как можно было бы использовать ряд новых. Многие страницы книги напоминают докладную записку, язык книги становится подчас ее врагом. Ответственность за это должны разделить и редакторы.

Нужно было расширить и углубить сведения о применении химии в строительстве и промышленности строительных материалов. Ведь даже и до майского Пленума ЦК КПСС, открывшего перед химией широчайшую дорогу во все отрасли нашей жизни и быта, в том числе и на строительные площадки, девяти с половиной строк, отведенных химии в книге, насчитывающей 264 страницы, маловато!

Читаешь эту книгу — во многом сухую, но нужную — и думаешь: какой здесь богатый материал для писателя, для публициста, для яркого рассказа о строительстве, о строителях, об огромном и почетном деле, которое предстоит свершить сотням тысяч юношей и девушек, избирающих в наши дни эту профессию!

Своевременно и к месту упоминает И. Слепов, что трудности первых пятилеток воспитали у строителей выносливость, волю к победе, веру в свои силы. Автор напоминает слова А. М. Горького, который после посещения площадки Сталинградского тракторного завода писал, что «пятилетка строит не только гигантские фабрики, но и создает людей колоссальной энергии».

Это было сказано о строителях первой пятилетки и это — правда о людях, прошедших гигантский путь от первых советских строек до наших дней.

**А. ЛИТВАК.**

## Гордость Советской страны

«Прошло сорок лет. И пусть теперь назовут, кроме Советского Союза, какую-нибудь другую страну, где из высших учебных заведений выпускается такое же количество специалистов, как у нас, в Советском Союзе... Как мать радуется, когда она учит своего ребенка выговаривать первое «мама», так и мы гордимся своими успехами, научив некоторых кичливых американских деятелей выговаривать совершенно четко, что надо догонять именно Советский Союз, то есть социалистическую страну, по уровню развития науки и по уровню подготовки ученых и инженеров».

Бурные аплодисменты, которыми деятели науки, искусства, литературы и народного просвещения Венгрии встретили эти слова Н. С. Хрущева, сказанные им в Академии наук Венгерской Народной Республики 9 апреля 1958 года, говорили о многом. Они говорили о восхищении достижениями нашей страны, где сейчас имеется 767 высших учебных заведений, где обучается более двух миллионов студентов и где подготавливается инженеров в два с половиной раза больше, чем в США. Они свидетельствовали о величайшем уважении к стране, люди которой буруеваемы страстью к знанию, к учению, к науке.

Исследование путей создания и развития совершенно новой в истории мировой культуры советской системы высшего образования и подготовки научных кадров — благодарнейшая тема. Ей посвящено несколько содержательных работ, вышедших в послевоенные годы, например: М. Ким — «Коммунистическая партия — организатор культурной революции в СССР», А. Синецкий — «Профессорско-преподавательские кадры высшей школы», сборник статей «Из истории Московского университета. 1917—1941 гг.» и другие; имеется ряд статистических сборников по вопросам культурного строительства СССР, в которых значитель-

ное место отведено высшей школе и подготовке научных кадров. И все же надо признать, что эта область социалистического строительства освещена в нашей литературе недостаточно.

Три рецензируемые книги в известной мере восполняют этот пробел. Они рассказывают, как в Советском государстве последовательно и настойчиво создавалась новая система высшего образования. Какой разительный контраст представляют замечательные результаты, достигнутые в советское время, с тем, что было всего лишь четыре десятилетия назад!

История высшей школы царской России — это в значительной мере перечень позорных преследований, ограничений и запретов, направленных к тому, чтобы закрыть широким массам путь к образованию. Проводника этой политики — министерство народного просвещения — В. И. Ленин называл «министерством народного затемнения», а его деятельность он квалифицировал как «одно сплошное надругательство над правами граждан, над народом».

На фронте Московского университета до Октябрьской революции красовалась надпись: «Свет Христов просвещает всех». Против знаний, против науки шли походом царские «опекуны» народного просвещения: Магницкий и Рунич, Уваров и Шпринский, Шихматов, Шварц и Кассо и многие другие. Российское самодержавие до последних дней своих оберегало высшее образование как привилегию эксплуататорских классов.

В книге К. Т. Галкина «Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР» читатель найдет немало интересных материалов и статистических данных, частью извлеченных из архивов. Проследившая путь формирования университетского образования (до середины прошлого столетия оно было ведущим в стране), автор приводит большое число высказываний прогрессивных деятелей русской науки, свидетельствующих о мучительном процессе формирования высшей школы и вместе с тем о неослабевающем сопротивлении передовых сил общества наступлению реакции на науку. Автор привлек значительный статистический материал, но слабо обобщил его и не всюду использовал для широких политических и научных выводов. Напрасно обошел он, например, важный вопрос о развитии высшего образования и науки в союзных республиках, таких, как

К. Т. Галкин. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. Под редакцией проф. Н. А. Константинова. 175 стр. «Советская наука». М. 1958.

А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. Университетское образование в СССР. Редактор И. Д. Левин. 296 стр. Издательство Московского университета. 1957.

И. А. Иванович. Сельскохозяйственное образование в СССР. Редактор А. Ф. Голиков. 240 стр. «Советская наука». М. 1958.

Узбекская, Казахская, Азербайджанская; сорок лет назад там не было ни одного вуза, а теперь их десятки.

Работа К. Т. Галкина пестрит бросающимися в глаза стилистическими небрежностями, непросчитанными ни автору, ни редактору. Нелегко, например, понять следующую фразу: «В этот период, как и ранее, требования университетов об увеличении размера и числа стипендий, изложенные ими по просьбе Министерства народного просвещения в связи с предполагавшейся разработкой, по поручению Государственной думы, законопроекта об ученых командировках за границу и профессорских стипендиях, не встретили поддержки со стороны царского правительства».

«...В Советском Союзе в настоящее время,— пишет автор,— выпускают ежегодно 280 специалистов с высшим образованием на один миллион жителей». Если поверить этому утверждению, то в пересчете на все население СССР получается, что вузы нашей страны выпускают сейчас свыше 56 тысяч специалистов. На самом деле ежегодный выпуск молодых специалистов достигает теперь 260 тысяч.

Недопустимо искажены многие названия источников, названия городов.

В книге «Университетское образование в СССР» авторы А. С. Бутягин и Ю. А. Салтанов задались целью «дать обзор истории университетского образования, показать роль и место университетов СССР в развитии отечественной науки, участие в общественной жизни и революционном движении». Авторы показывают, какие глубокие следы в истории нашей культуры оставила неустанная борьба лучших людей XIX и начала XX века против реакционных сил царской России за наиболее прогрессивные формы университетского, то есть высшего образования.

Несмотря на все препятствия, воздвигавшиеся реакцией, университеты крепили и развивались как культурные и научные центры страны. Полосы временного упадка сменялись периодами нового подъема. Авторы правильно выделяют двадцатые и тридцатые годы прошлого столетия, когда университеты «были сильны не своими профессорами, а своими студентами: весь цвет передовой и талантливой молодежи того времени... прошел через университетские аудитории». Герцен называл эти годы, применительно к Московскому университету, временем преобразования его в «собор рус-

ской цивилизации». Эту образную характеристику можно распространить в известной степени и на другие старейшие университеты страны, в частности на Петербургский. Именно в это время была заложена прочная основа для расцвета научной деятельности университетов дореволюционной России в шестидесятых и семидесятых годах прошлого столетия. Создание русских научных школ и широкое признание их мировой наукой, претворение в жизнь наиболее прогрессивных принципов университетского образования — таковы наиболее характерные черты этого периода.

Природа нового, социалистического общества, рожденного Великим Октябрем, его жизненные интересы диктовали необходимость культурной революции в стране. Без грандиозного переворота в духовной жизни народа победа социализма была бы невозможна. «Нам наши противники не раз говорили,— писал Ленин в 1923 году,— что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы, все-таки, теперь стоим».

Культурная революция рассматривалась Коммунистической партией как составная часть социалистической революции, и здесь, как и во всех областях государственной жизни, партия исключала какие бы то ни было уступки противникам великих октябрьских преобразований.

Непоколебимость партии в разрешении проблемы просвещения народных масс нашла яркое выражение в выступлении наркома просвещения А. В. Луначарского на Советании деятелей высших учебных заведений по вопросам, связанным с реформой высшей школы (июль 1918 года). Мы знаем, говорил Луначарский, что у нас недостаточно культурных сил, и жаждем учиться у тех, кто знает больше нас. Ничто не остановит большевиков, и Советская власть не отступит от основных принципов в области образования. Партия и Советское правительство решительно и смело провели реформу всей системы образования, создали блестящие оправдавшие себя рабочие факультеты, институты красной профессуры. В стране последовательно прово-



дилась пролетаризация состава студенчества. Высшая школа очищалась от реакционных «жрецов науки».

На пути развития советской высшей школы и формирования научных кадров было немало трудностей. Но партия, Советская власть не оставляли высшую школу и науку своим вниманием и заботой. Государство всемерно поощряло творческую деятельность наших ученых.

В предисловии к книге «Университетское образование в СССР» авторы пишут, что работа по существу «является первой попыткой систематического изложения истории университетского образования — от основания первого русского (академического) университета до наших дней». Эта попытка, в общем, удалась А. С. Бутягину и Ю. А. Салтанову в отношении дореволюционного периода. Послеоктябрьский же период освещен настолько кратко (ему отведена лишь четвертая часть книги), что говорить о систематическом изложении темы не приходится. Если бы авторы отказались от занявших больше половины книги «Кратких очерков действующих университетов СССР» (многие из этих очерков пред-

ставляют собой обычные справки) и удвоили объем раздела «Университетское образование после Великой Октябрьской социалистической революции», то читатель, возможно, получил бы действительно систематические, а не фрагментарные сведения о богатейшей истории развития университетов за советский период.

Несколько отличается от рассмотренных книга «Сельскохозяйственное образование в СССР». Профессор К. А. Иванович знает читателя не только с историей организации в нашей стране всех ступеней сельскохозяйственного образования, но и с современным характером его, а также с задачами дальнейшего развития. Много места отведено учебному процессу и воспитательной работе в высшей и средней сельскохозяйственных школах.

Рассмотренные книги — лишь первые опыты, причем далеко не совершенные. Ждет, например, исследователя богатейшая история советской высшей технической школы. Пора Министерству высшего образования СССР и соответствующим издательствам ликвидировать этот пробел.

И. БРАСЛАВСКИЙ.

★

### Очерк истории города-героя

Более ста шестидесяти лет назад на месте поселения Хаджибей и крепости Ени-Дунья, расположенных в северном Причерноморье, был заложен город, который впоследствии сыграл видную роль в революционном движении России, покрыл себя славой героя в дни Великой Отечественной войны, превратился в один из крупнейших промышленных и культурных центров нашей страны, во всесоюзную здравницу.

Истории этого сравнительно молодого города и посвящена монография «Одесса», изданная к сорокалетию установления Советской власти на Украине. Рецензируемая книга — плод более чем десятилетнего труда коллектива одесских историков: профессоров С. Борового и А. Готалова-Готлиба, доцентов С. Ковбасюка, С. Вольского, Н. Египко и других.

Уже в начале своего кропотливого и добросовестного исследования авторы разо-

блачают распространявшуюся дворянско-буржуазными учеными версию о том, что основателями города были иностранцы. «Истинными создателями Одессы, — пишут они, — были местные люди, коренное население. в своей подавляющей части — украинцы и русские. Трудями коренного населения строился и жил этот город, который так быстро рос и развивался».

Общественно-революционное движение и культурная жизнь нового города в первой четверти XIX столетия были неразрывно связаны с именем А. С. Пушкина. Одесский период жизни великого поэта явился важнейшим этапом в его творческой и политической биографии. Здесь А. С. Пушкин встречался со многими будущими декабристами, вдохновляемыми его вольнолюбивыми произведениями. В связи со значительной ролью Одессы в движении декабристов Николай I назвал город «гнездом заговорщиков».

Одесса той поры была крупным центром национально-освободительного движения греческого народа. Здесь жили и работали

**Одесса. Очерк истории города-героя. Ответственный редактор С. М. Ковбасюк. 320 стр. Одесское областное издательство. 1957.**

болгарские патриоты, боровшиеся при братской помощи русского народа за освобождение своей родины от турецкого ига. Почти весь 1825 год в Одессе находился в ссылке выдающийся польский поэт Адам Мицкевич. В конце первой половины прошлого столетия в городе некоторое время проживали В. Г. Белинский и Н. В. Гоголь.

Наиболее бурным периодом экономического и культурного развития дореволюционной Одессы был период утверждения капитализма в России. На основе ряда вновь выявленных архивных документов и печатных материалов в книге воссозданы специфические черты промышленного развития города, показана его роль как одного из крупных рынков рабочей силы, раскрыты тяжелые условия жизни рабочих. Удачно приведена зарисовка Одесского порта девяностых годов, данная А. М. Горьким в рассказе «Челкаш».

С этим периодом жизни Одессы связаны имена корифеев русской науки Н. И. Пирогова, И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, Н. А. Умова, А. О. Ковалевского.

В 1875 году в Одессе возникла первая пролетарская организация в России «Южнороссийский союз рабочих». Накануне и в период первой русской революции в городе плодотворно работали видные деятели большевистской партии К. О. Левинский, Р. С. Землячка, Д. И. Ульянов, Е. М. Ярославский, С. И. Гусев и другие. В книге помещена фотокопия мандата В. И. Ленина, избранного Одесской большевистской организацией делегатом III съезда РСДРП.

В бурные революционные дни 1905 года на одесском рейде гордо реяло алое знамя легендарного броненосца «Потемкин», приход которого совпал с баррикадными боями восставших рабочих против царских войск и полиции. Приведенный в книге материал свидетельствует о том, что в Одессе, как и во всей стране, пролетариат был застрельщиком и руководителем общедемократического движения. Несомненную ценность представляют данные о деятельности одесских большевиков, среди которых большую роль играл В. В. Воровский, в годы столыпинской реакции и нового революционного подъема.

Ярко показана в книге победа пролетарской революции в Одессе в январе 1918 года.

Пожалуй, наиболее впечатляющие страницы посвящены борьбе трудящихся Одессы в годы гражданской войны против ино-

странных интервентов и внутренней контрреволюции (автор главы В. Коновалов). После героической гибели Жанны Лябурб и ряда других руководителей подпольной «Иностранной коллегии» В. И. Ленин в докладе на VII Всероссийском съезде Советов сказал:

«Мы знаем, что имя француженки, тов. Жанны Лябурб, которая поехала работать в коммунистическом духе среди французских рабочих и солдат и была расстреляна в Одессе, — это имя стало известно всему французскому пролетариату и стало лозунгом борьбы, стало тем именем, вокруг которого французские рабочие... объединились для выступления против международного империализма».

После окончания гражданской войны трудящиеся Одессы начали энергично возрождать разрушенные предприятия. В одном из стихотворений Э. Багрицкий писал о восстановлении Одесского порта:

...Товарные вагоны  
По рельсам двигаются и скрипят...  
Течет зерно струей неугомонной,  
И грузчики у схода голосят.

В начале двадцатых годов в Одессе начинали свою литературную деятельность, кроме Э. Багрицкого, еще и В. Катаев, И. Бабель, К. Паустовский, И. Ильф, Е. Петров, С. Кирсанов, В. Инбер, Л. Славин и другие.

В годы предвоенных пятилеток Одесса превратилась в один из крупнейших индустриальных центров Украинской ССР. Промышленность города выросла за это время в семь раз. Одесский порт стал одним из наиболее механизированных в стране.

Быстрыми темпами шло социалистическое переустройство сельского хозяйства. На Одесщине, близ Березовки, в 1928 году была создана первая в стране машинно-тракторная станция имени Шевченко, положившая начало организации мощной сети МТС.

В этот же период Одесса превратилась в один из крупнейших центров социалистической культуры. Далеко за пределами СССР стали известны имена академика В. П. Филатова, выдающихся мастеров музыкального искусства Д. Ф. Ойстраха Э. Г. Гилельса, видного украинского композитора К. Ф. Данькевича и блестящей плеяды артистов украинской сцены.

Специальная глава отведена раскрытию роли Одессы в Великой Отечественной войне.

Славные традиции города-героя проявились и в период восстановления его народного хозяйства. Начало этого периода (1944 год) совпало с празднованием пятидесятилетия со дня основания Одессы. В приветствии трудящихся Киева говорилось: «Каждый советский человек, каждый, кому дорога Родина, произносит славное, близкое сердцу имя «Одесса» с чувством огромного уважения и любви».

«Жизнеописание» Одессы составлено авторами с большой любовью и теплотой.

Тем досаднее встречающиеся в книге опущения.

Вызывает возражение недостаточно четкая периодизация истории города. Неточны и слишком общи, с точки зрения требований исторической науки, наименования некоторых глав. Первая часть — «Дореволюционная Одесса» — заканчивается 1916 годом, в то время как следовало бы закончить ее изложением материалов о Февральской буржуазно-демократической революции (эти материалы открывают вторую часть — «Советская Одесса»).

Недостатком книги является отсутствие в ней научно-справочного аппарата и хотя бы краткого исторического обзора литературы. Наряду с приводимыми иллюстрациями, в целом удачными, следовало поместить и первый план строительства города, а также карту современной Одессы. Обогатили бы книгу исторические справки о наименовании районов и улиц города.

Неточно приведены авторами условия Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Хотелось, чтобы авторы книги более полно раскрыли роль Одессы как одного из центров национально-освободительного движения братских славянских народов. В частности, в книге не нашла отражения деятельность Одесского болгарского настоятельства, сыгравшего немалую роль в укреплении русско-болгарских связей во второй половине XIX столетия.

Опущены в книге имена таких видных деятелей науки, учившихся и работавших в Одессе, как академики Д. Заболотный и А. Богомолец.

При изложении событий январского восстания 1918 года незаслуженно мало внимания уделено участию рабочей молодежи, не названы имена юных красногвардейцев А. Златопольского, Ф. Полякова и других, отдавших жизнь за торжество пролетарской революции. Не упомянуто также имя активного участника большевистского подполья в годы гражданской войны В. Де-Голь.

Но все эти недостатки не столь уже существенны.

Монография об Одессе — ценный вклад в литературу о городах Советского Союза. Хочется думать, что книга явится толчком к более углубленному изучению ряда мало-разработанных вопросов истории города-героя.

*Кандидаты исторических наук*

**С. МАРЛИНСКИЙ, И. ПОРТНОЙ.**

★

## Ценный вклад в литературу о жизни Ч. Дарвина

Советский Союз — вторая родина дарвинизма. Новым веским подтверждением справедливости этого положения является тот факт, что в нашей стране впервые в мире опубликован полный текст автобиографии Чарльза Дарвина.

Широко известная «Автобиография» представляет собой, как указывается в предисловии к книге, сильно сокращенный вариант «Воспоминаний», написанных Ч. Дарвином в 1876—1881 гг. В первые годы после кончины Ч. Дарвина его близ-

кие не решились полностью опубликовать воспоминания, в ряде отношений слишком откровенные. Особенно сильной урезке, а иногда и искажению подвергались те места, где Дарвин излагал свои мысли о религии, а также ряд разделов, которые не содержали тех или иных фактов из биографии Дарвина и прямых данных о его работе, хотя и представляли интерес для более правильного и глубокого понимания многих важных обстоятельств жизни ученого.

Библиотека Кембриджского университета, в которой хранятся подлинники и копии большинства рукописей Дарвина, любезно предоставила редакции русского академического полного собрания сочинений Ч. Дарвина микрофильм — фотокопии

**Чарльз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография). Дневник работы и жизни. Полный перевод с рукописей Ч. Дарвина, вступительная статья и комментарии С. Л. Соболя. Издательство Академии наук СССР. М. 1957.**

206 страниц рукописи «Воспоминаний» Ч. Дарвина. Она заново и полностью переведена на русский с сохранением в переводе всех особенностей подлинника. Таким образом, почти через 75 лет после смерти Дарвина полный текст его «Воспоминаний» — этот важнейший автобиографический документ, принадлежащий перу основателя научной биологии, еще не опубликованный даже в Англии, — появился на русском языке.

Дарвин, с присущей ему методичностью, вел записи в течение всей жизни. Он начал свой «Дневник» в 1838 г., а последнюю запись сделал в декабре 1881 г. — за 4 месяца до кончины. Записи в «Дневнике» и страницы «Воспоминаний» раскрывают перед читателями облик великого ученого, помогают проследить за его духовным ростом, знакомят с его отношением к ряду видных ученых и общественных деятелей и т. п.

Полный текст «Автобиографии» существенно меняет давно сложившиеся представления о некоторых сторонах мировоззрения и характера Дарвина.

На основании ранее опубликованных отрывков из «Воспоминаний» можно было считать, что Ч. Дарвин не совсем порвал с религией. Сейчас, когда опубликован полный текст «Автобиографии» и восстановлен в соответствии с оригиналом ряд мест, неточно приводившихся ранее, становится совершенно очевидным, что уже в 1838 г. Дарвин «перестал верить в христианство как божественное откровение», что «совершенно неверующими» были и отец, и брат, и все лучшие друзья ученого, такие, как Лайель, Гукер, Гексли.

В этом плане очень характерны содержащиеся в письме У. Грэмму соображения, которыми Дарвин опровергал доказательства существования бога: «Главный пункт заключается в том, будто существование так называемых естественных законов подразумевает цель. Я этого не вижу. Не будем говорить о том, что когда-нибудь, как надеются многие, будет показано, что различные великие законы являются неизбежным следствием одного-единственного закона. Но если даже взять законы природы такими, какими мы знаем их ныне, то я не могу, например, усмотреть необходимости в какой-то особой цели в отношении луны, где вполне имеют силу закон тяготения и, без всякого сомнения, закон

сохранения энергии, законы атомной теории и пр. и пр.» (24)<sup>1</sup>.

В свете приведенных определенно материалистических и атеистических высказываний можно глубже понять причины той неприязни и даже ненависти, которой представители реакционных научных и общественных кругов систематически отравляли жизнь Дарвину.

В опубликованных документах и во вступительной статье приведена целая серия примеров и иллюстраций травли и клеветы, которой донимали Дарвина его противники. Не кто иной, как Томас Карлейль не постеснялся поносить Дарвина, которого он именовал автором «Евангелия грязи, учащего, что человек произошел от лягушек через обезьяну» и т. п. Проф. С. Соболев подчеркивает в своей статье, что через семнадцать лет после выхода в свет «Происхождения видов» и через пять лет после опубликования «Происхождения человека», когда передовая наука всего мира встала под знамя эволюционного учения, открывшего новую эру в биологии, «виднейший английский историк и писатель позволяет себе неприличную выходку по адресу величайшего английского биолога и всей прогрессивной английской биологической науки при молчаливом попустительстве печати».

«Смесь невежества, мракобесия и злобы», поношение величайших открытий и теорий биологии — такова была обстановка, в которой Дарвин и его последователи отстаивали новое учение об историческом развитии организмов.

Вслед за Карлейлем против Дарвина неистово выступал Ричард Оуэн — «креационист», «катастрофист», «английский Кювье», который, тем не менее, пытался убедить окружающих в том, что не Дарвин, а он, Оуэн, является создателем эволюционного учения о происхождении видов путем естественного отбора.

Проф. Сент-Джордж-Джексон Майварт, анатом и зоолог, атаковал Дарвина как идеалист и автогенетик.

«Мои взгляды нередко грубо искажались, ожесточенно оспаривались и высмеивались», — пишет Ч. Дарвин, но со свойственными ему неисчерпаемой благожелательностью и великодушием добавляет, что он «убежден, что по большей части все это делалось без вероломства» (135).

<sup>1</sup> Здесь и дальше в скобках показаны страницы книги.

Нескончаемые преследования и травля не поколебали преданности Дарвина науке. Он не раз возвращается на страницах своей «Автобиографии» к вопросу об условиях, в которых ему пришлось работать, и все время подчеркивает одну мысль: самыми важными обстоятельствами, принесшими ему успех как человеку науки, были «любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и собирании фактов и порядочная доля изобретательности и здравого смысла» (153).

На первое место в ряду этих условий Дарвин поставил, как видим, «любовь к науке». Он подчеркивает это много раз.

«Постепенно любовь к науке возобладала во мне над всеми остальными склонностями» (92). «Я думаю, что поступал правильно, неуклонно занимаясь наукой и посвятив ей всю свою жизнь» (106). «Я рад, что избегал полемики, так как она редко приносит пользу и не стоит той потери времени и того плохого настроения, которые она вызывает» (136). «Находясь в бухте Доброго Успеха на Огненной Земле, я подумал (и кажется, написал об этом домой), что не смогу использовать свою жизнь лучше, чем пытаясь внести кое-какой вклад в естествознание» (136). «Благоприятным для меня, как я думаю, обстоятельством является то, что я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению. Усердие, проявленное мною в наблюдении и собирании фактов, было почти столь велико, каким только оно вообще могло бы быть. И что еще более важно, моя любовь к естествознанию была неизменной и ревностной» (149—150).

Многочисленные отзывы Дарвина о его современниках — геологах, ботаниках, зоологах, скрытая в этих характеристиках мотивировка симпатий и антипатий, существенно дополняют портрет самого ученого живыми деталями, помогают увидеть во весь рост этого скромного, бесконечно снисходительного к другим и строго требовательного к себе, великодушного и целом преданного науке естествоиспытателя-натуралиста.

Материалы дневника существенно обогащают наши сведения об отношении Дарвина к Спенсеру. «Восторженно восхищаясь» его «необыкновенными талантами», Дарвин не считал, однако, что извлек из

сочинений Спенсера какую-либо пользу для своих собственных трудов, и объяснял это тем, что работы Спенсера «не могут оказать никакой помощи в предсказании того, что должно произойти в том или ином частном случае» (33).

С этим любопытным признанием Дарвина в вводной статье сопоставляется фраза из заключительной страницы «Происхождения видов»: «Возрастет в громадной степени значение изучения наших домашних пород. Новая разновидность, выведенная человеком, представит более любопытным и важным предметом изучения, чем добавление еще одного вида к бесконечному числу уже занесенных в списки». Проф. С. Соболев с полным основанием подчеркивает, что все это было написано почти сто лет назад, когда даже наиболее передовые биологи были бесконечно далеки и от простого понимания связи между вопросами биологической теории и сельскохозяйственной практики.

Вместе с тем «Автобиография» еще раз говорит о том внимании, с каким Дарвин следил за сочинениями Спенсера, и напоминает, что сочинение Мальтуса «О народонаселении», хотя и было прочитано Дарвином «случайно, ради развлечения», помогло, как он пишет, «оценить (значение) повсеместно происходящей борьбы за существование» и увидеть, почему «при таких условиях благоприятные изменения должны иметь тенденцию сохраняться, а неблагоприятные — уничтожаться. Результатом этого и должно быть образование новых видов», — как заключал Дарвин, в связи с чем Фр. Энгельс, рассматривая дарвиновские представления о борьбе за существование, и указал, что возникновение новых видов может происходить «без всякого мальтузианства». Автор комментария, к сожалению, не оттенил эту сторону вопроса, которая и сегодня актуальна.

По сей день сохраняет актуальность и приводимый в «Автобиографии» вывод Дарвина, сделанный им «в ходе рассуждений о происхождении видов, а именно, что скрещивание играло важную роль в поддержании постоянства видовых форм» (137) — факт, нередко забываемый и некоторыми нашими современниками, которые видят источник изменчивости только в скрещивании.

Дневник и «Автобиография» очень хорошо рисуют разносторонность и широту научных интересов ученого. Он с огромной

страстью коллекционирует сначала одних только жуков, а затем и животных всех классов, тщательно исследует горные породы, изучает деятельность дождевых червей и т. д. В течение многих лет Дарвин занимался вопросом об опылении цветковых растений, начав с «Опыления орхидей», перейдя к изучению цветковых полиморфных видов. Он вспоминал впоследствии: «Не думаю, чтобы что-либо еще в моей научной деятельности доставляло мне столь большое удовлетворение, как то, что мне удалось выяснить значение строения (цветов) этих растений» (138). Он непрерывно в течение многих лет собирает факты, имеющие отношение к проблеме происхождения видов. «Этим,— пишет Дарвин,— мне удалось подчас заниматься в такие моменты, когда из-за болезни я не мог делать ничего другого» (110).

Исключительный интерес представляют многочисленные замечания Дарвина о том, как складывалось его умение ставить научные исследования, собирать и систематизировать литературные данные, проверять свои выводы и т. п. «Приобретенные таким образом навыки позволили мне осуществить все то, что мне удалось сделать в науке» (92). «В прежнее время у меня была привычка обдумывать каждую фразу, прежде чем записать ее, но вот уже несколько лет, как я пришел к заключению, что уходит меньше времени, если как можно скорее, самым ужасным почерком и наполовину сокращая слова набросать целые страницы, а затем уже обдумывать и исправлять (написанное). Фразы, набросанные таким образом, часто оказываются лучше тех, которые я мог бы написать, предварительно обдумав их» (146).

По всей книге рассыпаны такие имеющие первостепенное значение для правильного понимания системы, стиля, метода работы Дарвина его воспоминания, указания, разъяснения, а также общие соображения о принципах научного исследования.

«С самой ранней юности,— вспоминает Дарвин,— я испытывал сильнейшее желание понять и разъяснить все, что бы я ни наблюдал, то есть подвести все факты под некоторые общие законы. Все эти причины, вместе взятые, и объясняют то терпение, с которым я мог в течение любого количества лет упорно размышлять над каким-нибудь

неразрешенным вопросом. Насколько я могу судить, у меня нет склонности слепо следовать указаниям других людей. Я неизменно старался сохранять свободу мысли, достаточную для того, чтобы отказаться от любой, самой излюбленной гипотезы (а я не могу удержаться от того, чтобы не составить себе гипотезу по всякому вопросу), как только окажется, что факты противоречат ей» (150).

Следует особо отметить замечания о «так основательно разруганной» гипотезе пангенезиса, по поводу которой Дарвин признает, что «непроверенная гипотеза представляет небольшую ценность или совсем не имеет ее». Тем не менее Дарвин считал возможным добавить к этому, что «если со временем кому-нибудь придется заняться наблюдениями, которые могли бы подтвердить какую-нибудь из подобных гипотез, то я окажу ему добрую услугу, так как при помощи моей гипотезы можно связать воедино и сделать понятными поразительное количество изолированных фактов» (140).

Нет никакой возможности даже бегло пересказать все богатство мыслей и фактов, приводимых в книге.

В очень подробных и тщательно составленных примечаниях к основному тексту приводится, в числе других, выразительная справка: за 30 лет— с 1845 по 1876 г.— в Англии разошлось 10 000 экз. второго издания «Путешествия натуралиста». Разумеется, эта цифра должна быть значительно увеличена за счет дальнейших переизданий книги на английском языке. Но ни одна страна в мире не знает таких тиражей сочинений Дарвина, как СССР, где с 1917 по 1955 г. «Путешествия натуралиста» были изданы, не считая многочисленных сокращенных изданий для юношества, 6 раз тиражом около 190 000 экз.

Эти факты, как и издание полного собрания сочинений Дарвина, а также первое в мире издание полного текста его «Воспоминаний», говорят о любви и уважении советского народа к основоположнику научной биологии, великому мужу науки— Дарвину, дело которого развивается и продолжается биологами-материалистами.

**И. ХАЛИФМАН.**

(Журнал «Агробиология», № 2. 1958).

## В американском «краю»

**И**ммиграция, положение иммигрантов, их борьба за существование составляют одну из важнейших внутривнутриполитических проблем Соединенных Штатов Америки на протяжении десятилетий. Многие за это время изменились на американской политической арене. Многие вопросы, волновавшие американскую общественность, сейчас вызывают интерес разве только у историков, и, наоборот, проблемы, которых раньше не существовало, находят теперь в центре внимания.

Но имеются вопросы, остающиеся весьма актуальными долгие годы. Острота их с течением времени не только не уменьшается, но возрастает еще больше. Это подлинно хронические болезни американской общественной и политической жизни. К их числу и относится круг вопросов, связанных с положением и местом, занимаемым в американском обществе многими миллионами людей, которых объединяет название — иммигранты.

Пожалуй, нет на земном шаре ни одной другой страны, в жизни которой иммиграция сыграла бы такую роль, как в Соединенных Штатах. В течение одного только XIX века население США (после того как индейцы были почти полностью истреблены колонизаторами!) увеличилось с пяти миллионов человек почти до семидесяти шести миллионов, причем эти невиданные темпы роста явились главным образом результатом широкой иммиграции. Она продолжалась, правда в меньших размерах, и в первой половине нынешнего века.

Поэтому нельзя правильно понять многие процессы, происходящие в США, не ознакомившись предварительно с проблемой иммиграции. Этой проблеме и посвящена книга Л. Баграмова, вышедшая в издательстве Института международных отношений, пополняющая наше представление об «американском образе жизни».

Анализируя причины, по которым эмиграция из Европы приняла в прошлом столетии такие большие масштабы, автор приходит к выводу, что этому способствовали, с одной стороны, неурожай в ряде европейских стран, ставившие сотни тысяч людей на край голодной смерти, и жестокая поли-

тическая реакция, воцарившаяся после подавления революции 1848 года, а с другой — относительно высокий средний жизненный уровень в США, большой спрос на рабочую силу, а также наличие пустующих земель на западе страны.

Миллионы европейцев, отважившихся покинуть свой родной край, надеялись найти в Америке, о которой рассказывали столько чудесного, землю обетованную. Однако эти надежды, как правило, не сбывались. Едва ступив на американскую почву, иммигрант становился объектом самого беззастенчивого обмана и эксплуатации. «Американская промышленность, — отмечает американский прогрессивный историк Герберт Аптекер, — жирела... на труде иммигрантов. С 1870 по 1900 год, то есть в период появления на свет американского монополистического капитализма, в Соединенные Штаты прибыло из Европы и Азии двенадцать с половиной миллионов мужчин и женщин, которые привезли с собой в Америку лишь сильные руки, профессиональное мастерство, а также большие надежды. И все это они отдавали владельцам шахт, лесов, фабрик, тем самым неизмеримо обогащая этих собственников». Подтвердились слова Энгельса, еще в 1882 году указывавшего, что «поток эмигрантов, который Европа ежегодно направляет теперь в Америку, способствует лишь тому, чтобы довести там до крайних пределов капиталистическое хозяйство со всеми его последствиями...»

Уже в первый период массовой иммиграции стали проявляться расистские тенденции американских правящих классов. Возникли различные организации, ведущие травлю иммигрантов. Ку-клукс-клан, помимо диких расправ над неграми, повел заодно широкую кампанию против всех «иностранных».

Выражая точку зрения американских капиталистов, один из членов конгресса в припадке откровенности заявил, что цель иммиграционной политики заключается в том, чтобы «взять новую человеческую машину, работать ею, пока она не треснет, и затем выбросить. Всегда есть люди, которые просят поставить их на освободившееся место».

Получая от зверской эксплуатации иностранных рабочих колоссальные прибыли, американская буржуазия систематически подкупала верхушку рабочего класса

с целью раскола его единства и создания рабочей аристократии. «В Соединенных Штатах, — писал В. И. Ленин, — иммигранты из восточной и южной Европы занимают наихудше оплачиваемые места, а американские рабочие дают наибольший процент выдвигающихся в надсмотрщики и получающих наилучше оплачиваемые работы. Империализм имеет тенденцию и среди рабочих выделить привилегированные разряды и отколоть их от широкой массы пролетариата».

В части американской буржуазной экономической и исторической литературы и по сей день имеет хождение теория о том, что иммигранты якобы тормозили развитие американского рабочего движения, мешали сплочению профсоюзов и т. п. «Такое освещение роли «новых» иммигрантов, — пишет Л. Багратов, — является односторонним и неправильным. Если подавленные нуждой и страхом перед безработицей иммигранты из стран Южной и Восточной Европы и вынуждены были продавать рабочую силу дешевле других рабочих, то причиной этого прежде всего является политика многих профсоюзных лидеров, препятствовавших принятию иностранных рабочих в профсоюзы. В тех же профсоюзах, где такой дискриминации не произошло, иммигранты выступали в роли активных борцов за интересы рабочего класса. «Новые» иммигранты приобрели решающее влияние в профсоюзе горняков, играли видную роль в организации «Индустриальные рабочие мира».

В период общего кризиса капитализма и связанной с ним хронической безработицы иммиграция в США резко сокращается. Однако, установив жесткие ограничения для эмигрантов-европейцев, американские капиталисты в погоне за максимальными прибылями стимулируют иммиграцию латиноамериканских, главным образом мексиканских, рабочих, подвергающихся в США чудовищной эксплуатации.

После второй мировой войны иммиграционная политика правящих кругов США стала использоваться также и для ведения подрывной деятельности против стран социалистического лагеря.

Идеологические оруженосцы империализма всячески стремятся преуменьшить роль иммигрантов в жизни США, пытаются таким способом затушить то бесправное положение, в котором находится значительная часть населения страны. Если неопро-

вержимые и общезвестные факты заставляют американскую пропаганду время от времени признавать, хотя и со всяческими оговорками, неравноправное положение американских негров, то факты дискриминации иммигрантов и вообще вся проблема в целом замалчиваются самым тщательным образом.

А между тем данные, приведенные в книге Л. Багратова, свидетельствуют о первоочередности этой проблемы. Это видно хотя бы из того, что в 1950 году в США насчитывалось около тридцати четырех миллионов иммигрантов и лиц, родители которых были иммигрантами. Таким образом, дискриминация, которой подвергаются иммигранты, распространяется почти на четвертую часть населения США.

Дискриминация эта носит весьма широкий характер. Иммигрантам закрыт доступ в целый ряд предприятий и учреждений, их последними берут на работу и первыми увольняют, за одну и ту же работу они получают зарплату значительно меньшую, чем «коренные» американцы.

«Далеко не все американцы, — пишет американская журналистка И. Яворская, — имеют равную возможность получить работу. Совершенно очевидно, что не личные способности человека, а совсем другие факторы определяют шансы на ее получение. Самым серьезным препятствием в этом является расовая принадлежность. Вероисповедание того или иного гражданина также может послужить причиной отказа в предоставлении ему работы или привести к тому, что он раньше, нежели другие, окажется безработным. Серьезной помехой может явиться и национальное происхождение».

Американская буржуазная наука пытается подвести «теоретическую» базу под дискриминацию иммигрантов в США. Распространяются различного рода расистские бредни о «неполноценности» итальянцев, славян, мексиканцев, евреев. Показывая несостоятельность всех этих потуг реакции, автор рецензируемой книги вскрывает истинные причины позорной системы расовой дискриминации, процветающей в США. Причины эти носят как экономический, так и политический характер.

Неравенство в оплате труда является источником дополнительных и притом немалых прибылей американских предпринимателей. По данным американского прогрессивного экономиста В. Перло, разница



в оплате труда только белых и негров приносит американским монополиям ежегодно свыше четырех миллиардов долларов дополнительной прибыли. Конечно, американская официальная статистика тщательно скрывает эти данные.

Реакция пытается столкнуть между собой отдельные национальные группы трудящихся и тем ослабить борьбу американского рабочего класса против монополий.

Однако в последние годы эта коварная тактика дает осечку. Трудящиеся США, к какой бы национальной группе они ни принадлежали, все чаще объединяются в борьбе против наступления капиталистов.

Система дискриминации иммигрантов в США отнюдь не является результатом действий отдельных лиц, тех или иных предпринимателей или политиков. Эта позорная, антидемократическая система возведена в стране, кичащейся своей «современной демократией», на уровень государственной политики.

Конкретная разработка этого до сих пор малоосвещенного в нашей литературе во-

проса составляет большую заслугу Л. Баграмова.

Следует, однако, указать и на некоторые недостатки книги. Хотя в ней имеется специальный раздел, посвященный борьбе прогрессивных сил США против дискриминации иммигрантов, борьба эта освещена неполно. Автор недостаточно широко обрисовал участие иммигрантов в прогрессивном движении, и это несколько исказило подлинную картину.

К сожалению, в значительной степени осталась в стороне та «теоретическая база», которую американская официальная наука пытается подвести под дискриминационную практику. В последние годы на американском книжном рынке появились в изобилии книжонки, на разные лады варьирующие всевозможные теории, имеющие расистский характер.

В целом книга Л. Баграмова «Иммигранты в США» является бесспорной удачей как автора, так и молодого издательства.

*Кандидат исторических наук*  
**Вал. ЗОРИН.**

★

## Рыцари нефтяного бизнеса

Преступная агрессия Соединенных Штатов и Англии на Арабском Востоке явно показала, что не забота о мире и безопасности, а корыстные интересы нефтяных королей Уолл-стрит и Сити двинули 6-й американский флот к берегам Ливана и английские самолеты с парашютистами — в Иорданию. Крушение монархии в Ираке и провозглашение в этой стране республиканского строя империалисты Запада восприняли как удар по одному из важнейших нервов всего нефтяного бизнеса. В действие был приведен давно подготовленный механизм агрессии, направленной против национально-освободительного движения народов Арабского Востока.

В этой связи небесполезно еще раз вспомнить о том, что между Соединенными Штатами и Англией, объединившимися для защиты своих колониальных привилегий, никогда не прекращалось острое соперничество из-за сфер влияния, из-за нефти. С одним из эпизодов этого соперничества, от которого в первую очередь стра-

дают законные владельцы нефтяных богатств Ближнего Востока — арабские народы, знакомит нас книга английского журналиста Джеймса Морриса «Султан в Омане», вышедшая в Лондоне в прошлом году.

В одном из самых глухих и малоисследованных уголков земного шара — в юго-восточной части опаленного зноем Аравийского полуострова — находится небольшое арабское княжество Оман. Отрезанный от внешнего мира цепями скалистых гор и бескрайними пустынями, Оман долго жил обособленной, замкнутой жизнью, сохраняя в неприкосновенности обычаи и порядки седой старины. Неоднократные попытки англичан и их марионетки — султана Саида бен-Теймура, под властью которого находилась часть прибрежной территории с центром в городе Маскат, — покорить свободолюбивые оманские племена кончились неудачей. После поражения британских войск в 1920 году султан заключил с имамом — духовным и светским правителем Омана — договор, по которому признал независимость имамата и обещал не вмешиваться в его внутренние дела.

Однако в конце 1955 года мирная жизнь Омана была нарушена. Войска вероломно-

J. Morris. *Sultan in Oman*. London, 1957 (Д. Моррис. *Султан в Омане*. Лондон, 1957).

го султана бен-Теймура под командованием английского подполковника Чизмена вторглись в имамат. Малочисленные оманские отряды, вооруженные старинными ружьями, пиками и португальскими орудиями трехсотлетней давности, естественно, не смогли оказать сопротивление силам захватчиков, оснащенных современным оружием. Оман был оккупирован.

Вслед за этим разбойничьим нападением султан Саид бен-Теймур совершил поездку по своим новым владениям, чтобы привести в повиновение непокорные оманские племена. В обозе султана вместе с английскими офицерами находился специальный корреспондент лондонской «Таймс» — Джеймс Моррис.

Приподнимая завесу тайны над судьбой районов, которые колонизаторы назвали «английским озером», Моррис не скрывает, что трагические события в Омане явились лишь одним из эпизодов нефтяной войны, которая то скрыта, то явно ведется на Ближнем Востоке между английскими и американскими монополиями. В этой борьбе интересам Англии было нанесено немало чувствительных ударов. По свидетельству Морриса, в 1939 году американская доля в добыче ближневосточной нефти составляла 13 процентов, а английская — 60 процентов. Пятнадцать лет спустя Соединенные Штаты контролировали уже 65 процентов нефтедобычи, в то время как их соперники — всего 30 процентов. Особенно тяжело переживал Лондон поражение в Иране, где английским нефтепромышленникам пришлось допустить к разработке иранской нефти американские монополии. А ведь Иран наряду с Ираком был цитаделью британской нефтяной империи на Ближнем Востоке.

Английские нефтепромышленники решили по возможности прочнее закрепиться в южной и юго-восточной части Аравийского полуострова, где предполагается наличие огромных запасов нефти. «Судьбы Великобритании, возможно, будут зависеть от будущего месторождений Персидского залива», — пишет Моррис. Он откровенно говорит и о методах, с помощью которых английские колонизаторы намеревались осуществить свои далеко идущие планы. «Обычно они это делали с помощью дипломатии, временами путем демонстрации силы, иногда благодаря авантюристическим переворотам».

Первые шаги к укреплению своего вла-

дычества в Юго-Восточной Аравии Англия предприняла в октябре 1955 года, когда возглавляемые британскими офицерами войска Маската и другого подвластного англичанам княжества Абу-Даби захватили оазис Бурайми. Этот затерявшийся в песках пустыни оазис (и прилегающие к нему девять бедных деревушек), по словам Морриса, является «ключом» к внутренним районам Аравии и занимает «господствующее положение» на подступах к Оману: через него проходят пять главных караванных путей, ввиду того что лишь там имеется много воды.

Но не это обстоятельство определяло для англичан главную ценность Бурайми — здесь находятся крупные нефтяные месторождения. Моррис открыто пишет, что виды на них имели заправилы американской компании АРАМКО, монополизировавшие нефтедобычу в Саудовской Аравии. Однако расчеты компании оказались тщетными: англичанам удалось перехитрить своих американских соперников.

Все же взоры английских нефтепромышленников особенно манило другое место — Фахуд, — расположенное в имамате Оман на стыке Аравийской пустыни и гористой местности. Исследования показали, что здесь под небольшой котловиной, окруженной амфитеатром холмов, таятся исключительно большие запасы нефти. Не откладывая дела в долгий ящик, английская компания «Ирак петролеум» принялась поставлять туда буровое оборудование через пустыню и по воздуху, на что, по свидетельству американского журнала «Ньюсуик», было затрачено пять миллионов долларов.

Неожиданно эти планы оказались под угрозой. Как отмечает Моррис, у Лондона возникли опасения, что месторождения нефти могут попасть в руки американцев, тем более, что в Маскат уже проникла американская компания «Ситиз сервис».

«Для англичан, — пишет Моррис, — это было наиболее неприятной возможностью. Во-первых, огромное месторождение в Фахуде могло бы серьезно поддержать шаткую британскую экономику. Во-вторых, лица, которые занимаются планированием в военном министерстве, лишенном большинства опорных пунктов на Ближнем Востоке, были особенно заинтересованы в оманской нефти ввиду того, что ее можно перегонять прямо в южном направлении, минуя стратегические опасности почти закрытого

Персидского залива. В-третьих, все английские позиции, удерживаемые главным образом с помощью ряда договоров с местными правителями, оказались под угрозой... Британские власти, которые неохотно говорят о своих связях как с султаном, так и с нефтяными компаниями, были глубоко обеспокоены положением в Омане».

Признания Морриса, а также высказывания иностранной печати позволяют воссоздать подлинную картину трагических событий, разыгравшихся в Омане в конце 1955 года, когда британские власти решились пойти на обострение отношений с американцами, встав на защиту корыстных интересов своих нефтяных воротил. Оман явился жертвой нефтяного бизнеса.

После выхода книги Морриса в Омане произошли важные события. Оказавшись под пятой иноземных колонизаторов, свободолюбивые оманские племена не прекра-

тили борьбы за национальное освобождение. В июне прошлого года над Оманом пронеслась буря народного восстания. Английские власти бросили против патриотов войска, оснащенные артиллерией и реактивными самолетами. Любители чужого добра во что бы то ни стало стремятся удержать в своих руках эту небольшую страну, богатую нефтью.

Но пули и бомбы не сломили дух мужественных оманцев. Они ушли в горы и, объединившись в партизанские отряды, оказывают мужественное сопротивление захватчикам.

Народ Омана черпает силы в сознании того, что его борьба сливается с борьбой всех арабов, мужественно отстаивающих свою свободу и независимость от посягательств «рыцарей нефтяного бизнеса».

Г. ДРАМБЯНЦ.

★

### Добрый спутник

Для книги, которую я пишу, мне нужно было побывать в Ленинграде, и в дни, проведенные там, со мной был добрый спутник. О нем, о недавно изданном «Путеводителе по Ленинграду», я и хочу рассказать.

В этой книге около тысячи страниц. Изданная на простой бумаге, она превратилась бы в пухлый том, который не возьмешь с собой в прогулку по городу. Но путеводитель напечатан на тонкой бумаге хорошего качества, набран мелким, очень четким шрифтом,— вот и получилось, что целая энциклопедия разнообразнейших сведений о Ленинграде вместились в томик компактного объема и удобного формата.

Книга не только хорошо издана, что важно; она хорошо составлена, что еще важнее.

Первая ее часть содержит краткие обзоры географии, истории, архитектуры и монументальной скульптуры города. Политические, исторические, экономические, искусствоведческие сведения сообщаются в этих обзорах в простой и, за исключением некоторых суховаты написанных страниц, живой форме. В них приводится то колоритная архивная выписка, то красноречивые данные статистики, то цитаты из классиков, описавших и прославивших город,

то наглядная кривая годовых температур или схема образования воздушных потоков на улицах.

В каждой из глав первой части интересный материал найдет для себя не только тот, кто впервые знакомится с городом,— приезжий, экскурсант, турист,— но и тот, кто много раз бывал в нем, а может быть, и коренной ленинградец.

Сквозь все многообразие сведений, собранных путеводителем, проходят главные темы: город как центр революционного движения России и город как очаг национальной культуры, промышленности, техники...

Линии эти прослеживаются от декабристов до залпа «Авроры», от школы Феофана Прокоповича до научных институтов современного Ленинграда, от петровских верфей до атомного ледокола, построенного в Ленинграде.

Вторая часть путеводителя — «Маршруты по городу». Из лектора, которым была книга во вводных главах, она становится гидом, выводит на улицы и площади Ленинграда, ведет от одной достопримечательности к другой, напоминает о прошлом и знакомит с настоящим районов, кварталов, улиц.

Открывается этот раздел рассказом о местах, которые связаны с революционной деятельностью Ленина в Питере. Книга ведет к домам, где Ленин жил, в квартиры,

ставшие музеями, в места, где он встречался с рабочими-революционерами, к зданиям, в которых помещались редакции большевистских газет, на площадь у Финляндского вокзала, в дом на набережной реки Карповки, где ЦК принял решение о вооруженном восстании, к штабу пролетарской революции — Смольному...

Маршруты, которых в книге множество, построены по единому плану. Каждая глава открывается общей характеристикой района, его прошлого и настоящего; затем идут собственно маршруты, примерно рассчитанные так, чтобы по каждому из них можно было пройти часа за полтора-два. По некоторым из них я прошел, строго следуя книге, и узнал множество интересного, потому что она внимательно отмечает исторические памятники, здания, примечательные в архитектурном отношении, места, связанные с великими людьми... Разумеется, нужно очень много времени, чтобы пройти по всем этим маршрутам, но ценность этой книги, думаю мне, и состоит в том, что она вызывает желание узнать как можно больше про город, пройти по нему снова и снова, служит на его улицах путеводителем, а когда уезжаешь из Ленинграда, становится напоминанием о нем, да и не только о нем: большой раздел книги посвящен пригородам — Петродворцу, городам — Пушкину, Ломоносову, Павловску, Гатчине.

У нас не один раз говорилось в печати, как важно, чтобы жители города, особенно молодежь, знали его историю, хранили его традиции, знали, в честь каких событий или имен названы его улицы.

В путеводителе есть два полезных и интересных указателя. Один содержит краткие сведения о всех тех людях, память которых увековечена в названиях ленинградских улиц, — от декабриста Александра Якубовича до Героя Советского Союза Федора Аккуратова. Второй указатель говорит об исторических событиях, в честь которых названы площади Восстания и Пролетарской диктатуры, проезд Стачек, набережная Красного Флота, улица Зенитчиков, улица Победы и другие улицы и площади.

Книга эта, хорошо продуманная ее составителями, не только историко-культурный справочник, она советчик, полезный приезжему, а может быть, и ленинградцу множеством сведений делового и бытового характера. Адреса театров и му-

зеев, транспорт, связь, гостиницы, магазины, столовые — словом, целое справочное бюро в одном переплете.

О том, насколько позаботились составители книги об удобствах тех, кто будет ею пользоваться, свидетельствует хотя бы то, что в «Указателе проездов», где можно найти сведения, откуда и куда идет любая улица города, какой транспорт по ней следует, даны не только новые, но и старые названия улиц, а дополнительный указатель маршрутов транспорта помогает более точно выбрать наиболее удобный способ проезда.

Путеводитель снабжен, наконец, указателем имен и предметным указателем, которые облегчают пользование книгой. Словом, это книга, изданная серьезно, с любовью к родному городу, с заботой о его гостях, да и не только о гостях, потому что и старожил найдёт для себя в путеводителе много полезного.

Нужно долго жить в Ленинграде и хорошо знать город, чтобы дать оценку не только структуре книги, но и построению каждого маршрута; для этого я не чувствую себя достаточно компетентным. Думаюется все же, что о некоторых достопримечательностях города можно было рассказать еще интереснее.

«При институте имеется постоянная выставка музыкальных инструментов, открытая для всеобщего обозрения», — говорится, например, в связи с домом № 5 на площади Исаакиевского собора, в котором помещается Государственный научно-исследовательский институт театра и музыки. Суховатая справка о «крупнейшем собрании музыкальных инструментов» сразу ожила бы, если бы путеводитель сообщил, например, что человек, входящий на эту выставку, попадает в зал, где рядом стоят рояли Глилки, Даргомыжского, Бородина, Рубинштейна и Римского-Корсакова!

Характеристика, которая дается в соответствующем маршруте Музею истории религии и атеизма, почти ничем не отличается от краткой справки в разделе «Культурно-просветительные учреждения». Но если в справке достаточно перечня разделов экспозиции, то в разделе «Маршруты по городу» следовало, вероятно, сказать об этом живее, интереснее, так, чтобы действительно захотелось пойти в этот музей. А для этого было бы достаточно назвать некоторые из его наиболее примечательных экспонатов.

Петербургу — Ленинграду посвящены стихи и проза Пушкина, Некрасова, Достоевского, Гоголя, Блока, Алексея Толстого. Понятно желание составителей ввести в книгу литературные цитаты, прославленные описания. Большой частью они включены в ее текст оправданно, но иногда слишком уж прямолинейно. Наввно выглядят, например, ссылки на классиков в главе о климате города, когда сразу вслед за данными о среднегодовых температурах и наибольших морозах идет следующий абзац:

«Сильные вьюги и морозы нашли отражение в произведениях Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и других русских писателей. Так, Гоголь писал: «Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не

в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель» («Шинель»).

Но это частности, не умаляющие достоинств книги. Хотелось бы увидеть составленный с такой же широтой и такой же удобный «Путеводитель по Москве». В самом деле, изданный «Московским рабочим» путеводитель «Москва. Спутник туриста», имеющий свои достоинства (это в полном смысле слова карманное издание), по богатству материала значительно уступает ленинградскому путеводителю.

Путеводители нужны разные — и более краткие и более подробные. Все они найдут своих читателей. И в этой будущей библиотеке разных путеводителей по разным городам нашей страны почетное место займет «Путеводитель по Ленинграду» — во многих отношениях образцовое издание этого рода.

**Сергей ЛЬВОВ.**



# ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

## ВАЛЬТЕР СКОТТ В ПЕРЕПИСКЕ С ДЕНИСОМ ДАВИДОВЫМ

*Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина направила в Шотландию фотокопии писем Вальтера Скотта, хранящихся в фондах библиотеки. В ответ на это ученые Шотландии выслали в адрес Библиотеки имени В. И. Ленина микрофильм, содержащий письма к шотландскому романисту его русских корреспондентов, в частности Дениса Васильевича Давыдова. В июне 1958 года библиограф Эдинбургского университета г. Джеймс Корсон прислал в дар автору публикуемого ниже сообщения фотокопии писем русских корреспондентов к Скотту. Оригиналы этих писем хранятся в Национальной библиотеке Шотландии, в Эдинбурге.*

Среди многочисленных романов Вальтера Скотта нет ни одного, где бы действие касалось истории русского народа, но о глубоко и устойчивом интересе писателя к России, к событиям политической современности свидетельствует его попытка осмыслить историю похода Наполеона в Россию и разгром, нанесенный ему русской армией,— мы имеем в виду его книгу «Жизнь Наполеона Бонапарта», где десятки страниц посвящены описанию хода «русской кампании» и великого мужества русского народа.

В письме к Джорджу Эллису от 9 января 1813 года содержатся строки, говорящие о том, сколь небезучастен был романист к победе русских над Наполеоном:

«А теперь позвольте приветствовать Вас с возрожденной славой ваших прекрасных друзей — русских. Блжусь богом, это наиболее их знаменитая кампания. Я не единственный среди тех нетерпеливых, кто с нетерпением ждет полного падения Бонапарта»<sup>1</sup>.

Победа русского оружия над Наполеоном позволила В. Скотту прибыть в 1814 году в Париж. Здесь, как об этом сообщает сам писатель, он был представлен через английского посланника при российском дворе не только Александру I, но «и таким людям, как Барклай-де-Толли, Платов, Чернышев и другие герои Калуги и Березины, где впервые побежден непобедимый».

О пребывании русских войск в Париже Вальтер Скотт подробно рассказал в «Письмах Поля к родным» (1816), подчеркивая силу и благородство русских воинов. Особенно подружился В. Скотт с Матвеем Ивановичем Платовым, славным атаманом казачьих, героем Отечественной войны.

Непосредственно после окончания войны Вальтер Скотт начал сбор материалов для создания книги «Жизнь Наполеона Бонапарта».

Обстоятельством, благоприятным для писателя, оказалось его знакомство с Владимиром Давыдовым—племянником русского поэта-партизана, приехавшим в Англию в 1825 году для продолжения образования. Молодой Давыдов был причислен по прошению его отца к лондонскому посольству с правом продолжать образование в Эдинбурге.

Владимир Давыдов и его наставник Кольер вскоре получили возможность познакомиться с Вальтером Скоттом в Эбботсфорде. Вальтер Скотт, как впоследствии рассказал В. Давыдов, тепло встретил приезжих, много расспрашивал о России, о московском пожаре 1812 года, о партизанской войне, говорил о высокой роли России.

Молодой студент передал Скотту присланную из России статью о московском пожаре, и Скотт заимствовал некоторые факты из этой статьи для своей «Жизни Наполеона».

О своем посещении Вальтера Скотта Владимир Давыдов написал отцу. Ознакомившись с этим письмом и узнав о том, что Вальтер Скотт проявляет большой интерес к кампании 1812 года и лично к нему, Денис Давыдов 10 марта 1826 года написал шотландскому романисту горячее письмо, благодаря его за высокую оценку его действий как вождя партизан и выражая страстную любовь к таланту писателя.

Стремясь укрепить дружественные связи с русскими и, в частности, с Д. Давыдовым, Вальтер Скотт в ответ направляет Черному Капитану (как часто называли за рубежом Дениса Давыдова) письмо, датированное 17 апреля:

<sup>1</sup> Lockhart John Gibson. *Memoirs of the life of sir Walter Scott*. Edinburgh. 1870, p. 231—232.

«Генералу Денису Давыдову  
Сэр!

Немалая честь для меня, живущего на покой, быть предметом столь лестного мнения человека, сиреведливо вызывающего восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в час грозной опасности, человека, имя которого останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории. Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец — и горячее всех сердце нишущего Вам — обращалось к вашим снежным бивуакам с надеждой и тревогой, внушенными происходившими там ренающими событиями, и какой взрыв энтузиазма в нашей стране вызвало ваше победоносное наступление. Ваша чрезвычайная любезность позволяет мне обратиться к Вам с просьбой, исполнение которой я буду рассматривать как неоценимую услугу.

Я очень хотел бы знать подробности партизанской войны, которая велась с такой отчаянной смелостью и неутомимой настойчивостью во время московской кампании. И знаю, что было бы безрассудно обращаться с просьбой, требующей от Вас столь большой затраты времени, поэтому я ограничился бы получением нескольких описаний и эпизодов, написанных рукою Черного Капитана, и это считал бы величайшей любезностью. Мой молодой друг, г. Владимир Давыдов, был болен нынешней весной; это обстоятельство в соединении с нездоровьем членов моей семьи помешало мне видеть его так часто, как я желал бы, если бы здоровье леди Скотт позволяло мне принимать наших друзей, как обычно. Это превосходный молодой человек, с прекрасным характером, и я был счастлив познакомиться с ним и его другом. Действительно, я достал портрет капитана Давыдова, выставив портрет среди наиболее драгоценных для меня вещей, а именно, рядом со шпагой, которая досталась мне в наследство от предков и в их время не оставалась праздною, хотя уже в течение трех поколений наш род миролюбив. Воинский дух пробудился в моем сыне — капитане, пылком и смелом офицере.

С глубоким уважением, сэр, уважающий Вас покорный слуга Вальтер Скотт. Эбботсфорд, 17 апреля»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Фонды Государственной библиотеки имени Ленина, ф. № 178.

В дневнике Скотта за 14 апреля 1826 года находим запись, имеющую непосредственное отношение к предыдущему:

«...Получил письмо от знаменитого Дениса Давыдова, Черного Капитана, чьи способности как партизана особенно проявились в дни отступления из Москвы. Если я смогу вытянуть у него несколько рассказов, это будет большой удачей»<sup>1</sup>.

Поблизости другая запись, от 16 июня. «...Имел удовольствие преподнести юному г-ну Давыдову для его дяди — знаменитого Черного Капитана кампании 1812 года — свой портрет»<sup>2</sup>.

Подарок В. Скотта был принят Денисом Давыдовым с воодушевлением. В начале января 1827 года русский поэт в большом письме благодарит английского романиста:

«Милостивый государь!

Тысячу раз благодарю за только что присланный мне Вами ценный подарок. Я задержался со своей благодарностью потому, что в течение целых пяти месяцев подряд нахожусь во главе моих храбрецов у подножия Арарата. Из газет Вам должно быть уже известно, что тот, кого Вы почтили своим вниманием, сумел его заслужить: он сражался, и не без успеха»<sup>3</sup>.

Сейчас зима, передышка, и я собрался отдохнуть в семейном кругу, но с возобновлением военных действий тотчас же должен буду вернуться на поле чести. Что за удивительное путешествие совершил я в течение этих пяти месяцев! Тысяча пятьсот французских миль исколесил я со своим отрядом, три раза за это время переваливал через кавказские горы — и все это среди постоянно вооруженного населения...

Я слышал от своего племянника Владимира Давыдова, что Вы коллекционируете оружие. Позвольте мне послать Вам несколько образцов оружия кавказских горцев, курдов, живущих у подножия Арарата, и персов. Я был бы весьма

<sup>1</sup> «The Journal of sir Walter Scott». Edinburgh. 1950.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> В конце июля 1826 года без объявления войны Персия начала военные действия против России. В августе того же года Д. В. Давыдов выехал на Кавказ, являясь начальником войск, расположенных на границе Эриванского ханства. — С. О.

счастливы пополнить Вашу коллекцию своими трофеями. У меня уже есть для Вас курдские концы и горючие колчан со стрелами, лук и кипжал. В ближайшем будущем я добавлю сюда персидское ружье, горючую саблю и такой же пистолет. Как только все это будет собрано, я отправлю Вам свой дар через английское посольство.

Племянник передавал мне также, что Вы вместе с генералом Гамильтоном почтили меня тостом за мое здоровье. Примите мою искреннюю благодарность за это и благоволите передать мое глубокое уважение этому достойному генералу, с которым я весьма желал бы свести личное знакомство. Мы, солдаты, — все жрецы одного и того же божества, с одинаковым рвением и страстью прислуживающие у его мрачного алтаря, и потому все должны знать друг друга.

Вы писали мне, что хотели бы иметь некоторое представление о характере партизанской войны. Обстоятельства помешали мне ответить Вам своевременно, но по возвращении из Персии я буду иметь честь и удовольствие сослаться на мои «Мемуары об операциях моего отряда в 1812 г.» и мой «Опыт теории партизанских действий», которые года два тому назад вышли в 3-м издании и которые перед моим отъездом в действующую армию я еще раз пересмотрел, исправил и дополнил. Владимир хорошо знает оба языка — русский и английский — и с удовольствием переведет Вам мои мемуары и плоды наблюдений.

Я поручил ему также перевести для Вас одну поэтическую безделушку, недавно сочиненную мной на бивуаке. Я не осмелился послать ее прямо Вам ввиду ее незначительности.

Имею честь быть с чувством глубочайшего уважения к, так сказать, страстного преклонения перед Вашим гением и Вашими нравственными качествами — Ваш покорнейший слуга

Денис Давыдов.

10 января 1827 г.  
Москва»<sup>1</sup>.

10 сентября 1827 года Денис Давыдов посылает Скотту из Москвы небольшую посылку с оружием в знак признания и

дружбы, сопровождая ее следующим письмом:

«Милостивый государь!

Заболел я не убойственного грузинского климата, а не успел собрать оружия, которое мне так хотелось прислать Вам, а то, что уже было у меня, пропало в пути из-за небрежности моих людей, растерявших почти все мои трофеи. То немногое, что я посылаю Вам, почтительнейше прошу принять на память от Вашего восхищенного почитателя и как слабое выражение благодарности за сделанный ему Вами ценный подарок.

Лук — теперь уже редкое оружие на Кавказе: им еще пользуются только наиболее отсталые племена, вот почему у посылаемого Вам экземпляра такой сильно подержанный вид. Этот народ цивилизуется лишь с большим трудом, по все же цивилизуется, и младшее поколение принимает все, что оно находит полезного у более цивилизованных наций. Так, например, у черкесов (кавказские горцы) вооружение теперь точно такое же, как и у нас, т. е. хорошие ружья и пистолеты. Из прежнего оружия они сохранили только свои короткие сабли, т. н. «шашки», от которых они никак не решаются отказаться в пользу пика, так как сохранившиеся у них первобытное мужество заставляет их считать бесчестным пользоваться длинной пикией в рукопашном бою.

Я писал зимой Вам и Владимиру Давыдову, но боюсь, что мои письма затерялись в пути, т. е. не получила на них ответа. Не желая докучать Вам лично своей стихотворной безделицей, написанной на бивуаке, я вложил ее в одно из этих писем с тем, чтобы он по возможности перевел ее Вам, но он ничего не писал об этом ни мне, ни отцу и сестрам, что убеждает меня в справедливости моих опасений.

По возвращении из Грузии я провел некоторое время на знаменитых Кавказских минеральных водах, находящихся как раз в стране тех воинов, оружие которых я Вам посылаю. Мне очень хотелось бы сделать эти воды фоном для романа вроде «Сент-Ронанских вод»<sup>1</sup>. Сколько контрастов можно было бы здесь найти при сравнении! Впрочем, общее

<sup>1</sup> Перевод с французского, публикуется впервые.

<sup>1</sup> «Сент-Ронанские воды» — роман В. Скотта.



для всех курортов на свете, конечно, также нашлось бы — например женские сплетни, светская зависть и свои Леди Пенелопы и Леди Бенке. Найдется у нас также и свой назойливый Точвуд, только не такой подвижный, как сентронанский, и вдобавок без грома в кармане. Параллелью для праздника Мюбрея могла бы быть экскурсия нашего курортного общества во время Байрама (магометанский праздник) в аул (черкесская деревня) в нескольких милях от источников, где вместо театра и концерта мы посмотрели игры этого воинственного народа, у которого даже танцы похожи на схватку. Это, конечно, имеет свое отражение на свободе передвижения в окрестностях курорта: все здесь на военную ногу, все вооружены вплоть до водопийцев, которые,

как Вам известно, еще со времен всемирного потопа всегда были самой мирной породой людей.

Благоволите принять уверения в совершенном почтении.

Ваш покорнейший слуга

Денис Давыдов.

10 сентября 1827 г., Москва<sup>1</sup>.

Переписка шотландского романиста с его русскими корреспондентами — документ большого значения. Она свидетельствует о глубоких корнях исторических связей деятелей русской и английской культуры.

*Кандидат филологических наук*  
**С. ОРЛОВ.**

г. Горький.

<sup>1</sup> Перевод с французского, публикуется впервые.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**РУССКИЙ ФЕЛЬЕТОН.** В помощь работникам печати. Госполитиздат. М. 1958. 456 стр. Цена 8 р. 20 к.

Русские писатели создали много содержательных и острых фельетонов, перешедших с газетных столбцов на страницы книг и успешно выдержавших испытание временем.

«Историю фельетона в России обычно начинают с 30-х годов XIX века, когда является термин «фельетон», перенесенный в русскую прессу из французской. Однако задолго до появления специального названия сам жанр уже существовал на страницах русских и зарубежных изданий. В сатирических журналах XVIII столетия очерки, письма, статьи часто перерастали границы своих жанров и становились фельетонами. Особенно широко фельетон был распространен в русской печати XIX—XX веков», — говорится в предисловии к книге, которая является своеобразной «хрестоматией фельетона». Она включает в себя произведения сорока пяти русских авторов начиная с Н. Новикова, Д. Фонвизина и других и кончая дореволюционными фельетонами М. Горького, В. Маяковского, А. Луначарского, В. Воровского, Д. Бедного.

Советский фельетон по замыслу составителей явится содержанием следующего, отдельного тома.

**ВОЙНА ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ.** Госполитиздат. М. 1958. 144 стр. Цена 1 р. 60 к.

Восемь человек, испытавших ужасы Бухенвальдского концентрационного лагеря, рассказывают о лагерной жизни, о страшном быте военнопленных. Эти простые, безыскусственные повести нельзя читать без волнения и гордости: советские люди оставались непокоренными и непобежденными даже за колючей проволокой. В рассказе Н. Кюнга мы знакомимся с подвигом Григория Екимова, человека несгибаемой воли, который под изуверскими пытками не выдал своих товарищей, почтивших память Тельмана. Перед нами встает образ граж-

данина, воспитанного партией, для которого служение Родине — высший идеал.

Пятьсот заключенных лагеря были посланы на соляную шахту, где на глубине двухсот восьмидесяти метров строили большой авиационный завод. Подпольная организация добилась того, что эсэсовцы вынуждены были вывести из подземелья всех узников. Подпольщики срывали строительство военного завода и оттянули срок пуска его.

В рассказах бывших заключенных Ю. Сапунова, Б. Назирова, Н. Симакова и других строго и правдиво переданы картины жизни подпольщиков, их борьба с нацистами, их благородное стремление с оружием в руках участвовать в разгроме ненавистного врага.

**СРЕДНЯЯ АЗИЯ.** Физико-географическая характеристика. Издательство Академии наук СССР. М. 1958. 648 стр. Цена 42 р. 55 к.

Монография, изданная Институтом географии Академии наук СССР, охватывает большой круг вопросов: рельеф, климат, растительный и животный мир, почвы, физико-географическую характеристику отдельных областей Средней Азии.

Своеобразная природа Средней Азии издавна привлекала внимание географов и натуралистов. Особенно значительные исследования проведены советскими учеными за последние тридцать лет. Эти исследования дали много нового материала, который обобщен и систематизирован в книге. Она представляет собой ценный, оригинальный научный труд.

Интерес вызывает и краткий исторический очерк изучения Средней Азии.

В авторском коллективе — научные сотрудники Института географии, Ботанического и Почвенного институтов, а также ученые, работающие в Узбекской, Киргизской и Казахской ССР.

В книге помещены многочисленные фотографии, карты и схемы, приведена обширная библиография.

**Ф. А. КУДРЯВЦЕВ, Г. А. ВЕНДРИХ.** Иркутск. Очерки по истории города. Иркутское книжное издательство. 1958. 515 стр. Цена 11 р. 50 к.

«Энциклопедией города Иркутска» можно без преувеличения назвать эту объемистую, аккуратно изданную, иллюстрированную книгу. В ней рассказано о пути развития Иркутска — от маленького казачьего зимовья, основанного в 1652 году, до крупного современного города, экономического, административного и культурного центра Восточной Сибири. Ряд глав посвящен революционному прошлому Иркутска, заключительная часть книги — социалистическому строительству в годы послевоенных пятилеток и росту культуры. Будущее Иркутска, раскинувшегося на берегах Ангары, связано с могучим размахом экономики и культуры Сибири, определенным на ближайшие годы Коммунистической партией.

В конце книги — обширные «Материалы к библиографии города», составленные О. Троицкой. В этом списке 538 названий, что само по себе представляет значительную ценность. Среди иллюстраций привлекают внимание старые планы и виды города, фотографии современного Иркутска.

**ЮРИЙ АРБАТ.** Конаковские умельцы. Калининское книжное издательство. 1957. 207 стр. Цена 3 р. 25 к.

Писатель Ю. Арбат любит и знает фарфор, но не только тонкие, прозрачные на свету изделия. Он знает хорошо и людей, трудом и умением которых упрочена слава советского фарфора. Новая работа автора посвящена истории Конаковского завода. Этот увлекательный и поучительный рассказ охватывает большой период — от возникновения завода в XVIII веке и до наших дней. Автор широко пользуется архивными материалами, воспоминаниями старых производственников.

Интересна глава, повествующая о Порфирии Конакове, именем которого ныне назван поселок Кузнецово, где расположен завод. Вот рассказ о судьбе рабочего Богачева: узнав, что он болен туберкулезом, фабрикант Кузнецов выставил его за ворота после восемнадцати лет каторжного труда. Эту главу заключает краткая справка о том, как живут, трудятся и отдыхают семнадцать кадровых рабочих нашего советского завода, носящие фамилию Богачевы.

Работа писателя — полезный вклад в историю заводов, создать которую призвал А. М. Горький.

**И. Н. ВЯЗИНИН.** Старорусский край. Издание газеты «Новгородская правда». 1958. 176 стр. Цена 3 р.

Старая Русса — один из городов, игравших заметную роль в экономической, культурной и военной жизни древней Руси. Знаюк Старорусского края И. Н. Вязинин рассказывает об истории края начиная с XI века. Книга повествует о борьбе угнетенных классов против поработителей, о народных восстаниях, о боях с иноземными захватчиками.

Автор знакомит с прошлым Старой Руссы — уездного города Новгородской губернии, с революционными событиями 1917 года и гражданской войны, годами пятилеток, со сражениями под Старой Руссой в период Великой Отечественной войны и, наконец, с жизнью города в послевоенное время.

Читатель узнает из книги о древних архитектурных памятниках Старой Руссы, о местах, связанных с пребыванием в этом крае Н. А. Добролюбова, Д. И. Менделеева, А. М. Горького, Ф. М. Достоевского.

**Н. ИСЛАМОВ, В. КОЗАЧКОВСКИЙ, Я. НАЛЬСКИЙ, А. ПРСОТОВ.** Таджики-ская ССР. Краткий историко-экономический очерк. Госполитиздат. М. 1958. 196 стр. Цена 2 р. 50 к.

Таджики — один из старейших народов Средней Азии, народ очень древней культуры. Свыше четырех тысяч лет назад предки таджиков уже достигли высокого уровня земледелия, сумев создать сложные оросительные системы. Зачатки своей государственности они имели еще к началу первого тысячелетия до нашей эры.

Знакомя читателя с природой, историей, социальными преобразованиями края, авторы книги показывают характерные черты сегодняшнего Советского Таджикистана.

Вахшская ирригационная сеть, обеспечившая водоснабжением около ста тысяч гектаров земли. Большой Памирский тракт протяженностью в 567 километров, сооруженный колхозниками за сто десять дней и позволяющий теперь доехать из Сталинабада в Хорог за два дня вместо месяца, как это было до строительства тракта. Оборудованные современной техникой заводы машиностроения и металлообработки. Ленинабадский шелкокомбинат, который после реконструкции будет выпускать свыше 30 миллионов метров шелковых тканей в год — больше, чем производилось во всей царской России. Сталинабадский текстильный комбинат, мощность которого в ближайшие годы возрастет в три раза...

Интересные данные содержатся в заключительной главе книги — «Край большого будущего», где рассказывается о перспективах дальнейшего развития экономики Таджикской республики.

**Б. ДАНЭМ.** Гигант в цепях. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 250 стр. Цена 6 р. 15 к.

Профессор Темпльского университета в США Бэрроуз Данэм, американский философ, в своей книге «Гигант в цепях» задался целью раскрыть социальные корни идеалистической философии.

Книга представляет собой ряд очерков. В них даны оценки абсолютному идеализму, прагматизму, логическому позитивизму. Автор показывает, что ни одна из этих идеалистических философских школ не служит и не может служить интересам трудящихся. Он обосновывает ряд материалистических положений — о познаваемости мира, о вечном и бесконечном существовании объективного мира. Критикуя современных

релятивистов, Б. Данэм показывает несостоятельность их теории.

Страницы этой живо написанной и убедительно аргументированной книги пронизаны глубокой верой в социализм.

**Э. ДЗЕЛЕПИ.** Правда о Кипре. Перевод с французского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 63 стр. Цена 1 р. 10 к.

Небольшая, полная страсти книга французского публициста Э. Дзелепи посвящена драматическим событиям на острове Кипр, уже давно привлекающим внимание мировой общественности. Опираясь на убедительным фактическим и документальным материалом, автор рисует справедливую борьбу киприотов за право на самоопределение,

их непреклонную решимость покончить с господством английских колонизаторов.

С большим сарказмом разоблачает Дзелепи лицемерие английских политиков, разглагольствующих с трибуны ООН о «свободе для всех» и в то же время жестоко расправляющихся с борцами за свободу на Кипре. Читатель знакомится с бесчестными закулисными маневрами английских империалистов, стремящихся лживыми посулами и демагогическими «планами» увековечить свое господство на острове, сохранить под новой вывеской колониальный статус.

Высокий публицистический накал, острота и меткость стиля, убедительность аргументации и выводов делают книгу особенно интересной.

## СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Ленинский союз молодежи — верный помощник Коммунистической партии — готовится отметить сорокалетие своего существования. Этой славной годовщине будет посвящен целый ряд книг, выходящих в центральных и областных издательствах.

Среди книг, подготовляемых к печати издательством «Молодая гвардия», — важное место занимает книга «Ленинский комсомол», представляющая собой сборник публицистических очерков. Открывается книга очерком о том, как жила молодежь до революции, как боролась за свои права. Следующие очерки рассказывают о помощи Коммунистической партии в создании союза молодежи, о деятельности ВЛКСМ в различные периоды.

Два сборника — «Славные традиции» и «Шаги поколения» — как бы дополняют друг друга: первый построен на документальном материале, второй носит очерковый характер. Сборники рассказывают о подвигах, совершенных молодыми советскими патриотами в дни мира и в дни войны. Документальный материал «Славных традиций» — воспоминания, письма, дневники, воззвания, протоколы комсомольских собраний — и литературный материал сборника «Шаги поколения» — это страницы яркой и многообразной истории комсомола от его зарождения до наших дней.

Несколько изданий посвящено памяти героев-комсомольцев, погибших в боях с врагами нашей Родины.

Сборник очерков «Вечно живые» знакомит с малоизвестными именами молодых героев, отдавших свою жизнь за народ в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Бессмертный подвиг Александра Матрсова повзгорил киргизский парень Чолпонбай, когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Книжку о нем написал Ф. Самохин. Одновременно она выходит и в Киргизии.

Переиздается «Девушка из Каширы» — книга дневников и писем юной партизанки

Инны Константиновой, погибшей смертью храбрых в дни Великой Отечественной войны. В материалах книги запечатлен духовный облик советской девушки, раскрыто становление ее характера, ее героизм, горячая любовь к Родине.

Среди имен Героев Советского Союза есть имя Клавдии Назаровой. О ней написал А. Мусатов. Детство и юность будущей героини прошли в небольшом городке Остров. Во время Великой Отечественной войны город оказался временно захваченным гитлеровцами. Клавдия Назарова организовала подпольную комсомольскую группу. О ее делах, с героической гибели молодой патриотки и рассказывается в книге.

«Бессмертные юных» — книга П. Гронько — повествует о борьбе молодых подпольщиков Украины.

Ценнейшими, неповторимыми свидетельствами служат воспоминания людей, стоявших у колыбели комсомола, своим мужеством и трудом помогавших его созданию. Воспоминания этих старых комсомольцев собраны в книге «Боевая юность».

Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ А. Мильчаков в книге «Первое десятилетие» рассказывает об организации комсомола на Украине, в Сибири, на Урале, о встречах с видными деятелями партии и правительства, с первыми комсомольскими писателями и поэтами.

Герой Советского Союза Д. Зюзин в книге «На боевом курсе», написанной в форме дневника, вспоминает о своей трудной и интересной работе летчика-испытателя, о своих товарищах, о боевых буднях истребителя, которым он стал в годы Великой Отечественной войны.

Ряд книг к сорокалетию комсомола подготовил для своих юных читателей Детгиз.

Сборник избранных рассказов и отрывков из лучших книг для юношества носит название «Мы — молодая гвардия». Сборник построен по хронологическому принципу. Выдержки из литературных произведений — «Как закалялась сталь», «Молодая

гвардия» и других — воссоздают в образах историю нашей Родины от гражданской войны до настоящего времени.

«Советской страны пионер» также представляет собой сборник произведений, популярных среди юных читателей.

Книга А. Кузнецова «Продолжение легенды» — повесть о молодых строителях Иркутской ГЭС.

Повесть В. Туренской «Девятая» знакомит с одним из колхозов Ставрополя, где работает бригада старшеклассников. Ей выделен специальный участок, на котором ре-

бята чувствуют себя настоящими колхозниками.

О казахском мальчишке, организовавшем бригаду пионеров на целине, повествует книга «Мой помощник Карсыбек» Н. Вирты.

Издательство «Советский писатель» переиздает хорошо знакомую книгу Д. Нагишкина «Сердце Бонивура» — о герое-комсомольце — и выпустит книгу А. Рутько «Голубинные годы» — повесть об участии молодежи в революционных событиях и в гражданской войне. Герои повести — дети рабочих, живущие в небольшом городке на Юге.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс и Ф. Энгельс.** Обращение Центрального Комитета к Союзу коммунистов. — К истории Союза коммунистов. 72 стр. Цена 1 р.

**Устав Коммунистической партии Советского Союза.** Принят XIX съездом партии (частичные изменения внесены XX съездом КПСС). (Художественное издание). 128 стр. Цена 3 р.

**Материалы июньского (1958 года) Пленума ЦК КПСС.** Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов. Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое 18 июня 1958 года.

**Доклад товарища Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 17 июня 1958 года.** 64 стр. Цена 75 к.

**Материалы совещания Политического Консультативного Комитета государств — участников Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 24 мая 1958 года.** 144 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Н. С. Хрущев.** Речь на VII съезде Болгарской коммунистической партии 3 июня 1958 года. 32 стр. Цена 35 к.

**Пребывание К. Е. Ворошилова в Польше 17—26 апреля 1958 года.** Сборник материалов. 152 стр. Цена 1 р. 70 к.

**С. Багоцкий.** О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии. 56 стр. Цена 70 к.

**Р. А. Белоусов.** Развитие тяжелой промышленности в Германской Демократической Республике. 136 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Вера Дридзо.** Н. К. Крупская. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Н. Н. Колосовский.** Основы экономического районирования. 200 стр. Цена 3 р.

**Краткий экономический словарь.** Под редакцией Г. А. Козлова и С. П. Первушина. 392 стр. Цена 11 р.

**Материалы Всесоюзного совещания ведущих кафедр общественных наук.** 512 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Партия — организатор колхозного строя.** 192 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Русский фельетон (серия «В помощь работникам печати»).** 456 стр. Цена 8 р. 20 к.

**Пьетро Секья.** Влияние Октябрьской революции в Италии. 80 стр. Цена 1 р.

**А. И. Уемов.** Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

**XVI Национальный съезд Коммунистической партии США (9—12 февраля 1957 года).** 148 стр. Цена 3 р. 25 к.

**В. Шульгин.** Памятные встречи. 80 стр. Цена 90 к.

### СОЦЭКГИЗ

**Г. Б. Ардаев, А. Б. Вебер.** Новые эксперименты с «народным капитализмом» (Западная Германия и Австрия). 104 стр. Цена 1 р. 65 к.

**М. Ш. Бахитов.** Об одной «новой» социальной утопии (критические заметки о микросоциологии). 152 стр. Цена 2 р. 40 к.

**П. А. Зайончковский.** Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 года. 470 стр. Цена 15 р.

**Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции.** Сборник статей. 543 стр. Цена 15 р. 15 к.

**Е. И. Спиваковский.** Подъем революционного движения в Румынии в начале XX века. 227 стр. Цена 5 р. 35 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Н. Браун.** Новая лирика. 116 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Б. Вагаб-заде.** Простые люди. Поэма. Перевод с азербайджанского. 128 стр. Цена 3 р. 30 к.

**В. Гончаров.** Я твой, весна! 108 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Н. Дементьев.** Мои дороги. 172 стр. Цена 3 р. 55 к.

**П. Кириллов.** Избранное. Стихи и поэмы. Перевод с мордовского. 184 стр. Цена 3 р. 80 к.

**С. Кожевников.** Ради этого стоит жить. Очерки. 468 стр. Цена 8 р. 10 к.

**Н. Краснов.** Березовский дневник. 116 стр. Цена 2 р. 30 к.

**В. Кубилюс.** Теофилис Тильвитис. 156 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Б. Мейлах.** Вопросы литературы и эстетики. 582 стр. Цена 11 р. 95 к.

**В. Панова.** Пьесы. 240 стр. Цена 6 р. 90 к.

**А. Поповский.** Профессор Студенцов. Роман. 380 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Поэты Балкарии.** Сборник. Перевод с балкарского. 236 стр. Цена 4 р.

**Л. Равич.** Избранное. 172 стр. Цена 3 р. 40 к.

**М. Сяндюкле.** Хорошие люди. Перевод с банкирского. 116 стр. Цена 1 р. 70 к.

**В. Тушкова.** Память сердца. 148 стр. Цена 3 р. 40 к.

**С. Шаховский.** Лирика П. Тычны. 287 стр. Цена 6 р. 50 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Антология румынской поэзии.** 774 стр. Цена 22 р. 20 к.

**Александр Блок.** Стихотворения и поэмы. 391 стр. Цена 5 р. 85 к.

**Ю. Данилин.** Беранже. Критико-биографический очерк. 235 стр. Цена 7 р.

**Рубен Дарио.** Стихи. Перевод с испанского. 143 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Георгий Караславов.** Дурман. Роман. Перевод с болгарского. 207 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Владимир Киршон.** Избранное. 955 стр. Цена 10 р. 75 к.

**А. В Жуначарский.** Статьи о Чернышевском. 120 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Георгий Марков.** Строговы. Роман в двух книгах. 608 стр. Цена 11 р. 10 к.

**Альфред де Мюссе.** Исповедь сына века. Перевод с французского. 271 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Пимен Панченко.** Стихотворения. Авторизованный перевод с белорусского 367 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Шандор Петефи.** Избранное. Перевод с венгерского. 559 стр. Цена 9 р. 10 к.

**Важа Пшавела.** Сочинения. В двух томах. Перевод с грузинского. Том I. Стихотворения. Рассказы. 407 стр. Цена 6 р. 25 к. Том 2. Поэмы. 328 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Эрих Мариа Ремарк.** Три товарища. Перевод с немецкого. 431 стр. Цена 6 р. 85 к.

**Жюль Ренар.** Рыжик. Перевод с французского. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Галина Серебрякова.** Женщины эпохи Французской революции. 159 стр. Цена 4 р.

**Сказки и легенды Вьетнама.** Перевод с вьетнамского. 359 стр. Цена 6 р.

**Софокл.** Трагедии. Перевод с древнегреческого. 564 стр. Цена 6 р. 65 к.

**Вадим Стрельченко.** Стихи. 231 стр. Цена 4 р. 90 к.

**Э. Сяргава-Петерсон.** Просветитель. Роман. Перевод с эстонского. 236 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Абдильда Тажобаев.** Песнь о друге. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. 295 стр. Цена 6 р.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**С. Абдыкадырова.** Любовь пришла. Стихи. 71 стр. Цена 2 р. 20 к.

**М. Алимбаев.** Степи казахские. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 85 к.

**В. Кубанев.** Идут в наступление строки. Стихи, фельетоны, дневники, письма. 336 стр. Цена 5 р. 85 к.

**В. Кеулькют.** Пусть стоит мороз. Стихи. 64 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Г. Ревзин.** Ризго. 320 стр. Цена 6 р. 65 к.

**А. Софронов.** От всех широт. Стихи. 120 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Д. Трунов.** В горах Дагестана. 352 стр. Цена 7 р. 95 к.

### ДЕТГИЗ

**И. Артемьев.** Искусственный спутник Земли. 136 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Ж. Верн.** История великих путешествий. В трех томах. Том первый. 576 стр. Цена 13 р. 65 к.

**И. Вольпер.** Большое расписание. 1956—1960. Рассказы о шестой пятилетке. 248 стр. Цена 7 р.

**И. Ганзелка, М. Зигмунд.** Африка грез и действительности. Сокращенный перевод с чешского. 368 стр. Цена 18 р. 80 к.

**М. Ефетов.** Девочка из Сталинграда. Рассказ. 40 стр. Цена 65 к.

**Б. Изюмский.** Тимофей с Холопьевой улицы. Историческая повесть. 128 стр. Цена 3 р.

**Ф. Квиличи.** Приключение на шестом континенте. Перевод с итальянского. 272 стр. Цена 7 р. 55 к.

**Я. Макаренко.** Всадник, скачущий к солнцу. Монгольские очерки. 168 стр. Цена 6 р. 25 к.

**И. Мостовский.** На каникулах. Повесть. 112 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Н. Печерский.** Генка Пыжов — первый житель Братска. Повесть. 208 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Д. Пирелли.** Джованнинно и Пульчероза. Повесть-сказка. Перевод с итальянского. 120 стр. Цена 4 р. 20 к.

**М. Писарев.** В приморском городе. Повесть. 248 стр. Цена 5 р.

**В. Повев.** Испытание огнем. Документальная повесть. 144 стр. Цена 2 р.

**Е. Рязанова.** На пороге юности. Повесть. 158 стр. Цена 4 р. 85 к.

**И. Трублаини.** Орлиные гнезда. Повесть. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 2 р. 40 к.

**А. Храпковский.** Занимательные очерки по химии. 104 стр. Цена 2 р. 30 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**В. П. Волгин.** Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. 413 стр. Цена 17 р.

**Вопросы киноискусства.** Ежегодный историко-теоретический сборник. 435 стр. Цена 13 р. 25 к.

**Вопросы разработки месторождений полезных ископаемых.** 251 стр. Цена 14 р. 70 к.

**Вопросы социалистического воспроизводства.** 414 стр. Цена 13 р. 80 к.

**Л. К. Габунья.** Следы динозавров. 71 стр. Цена 1 р.

**И. И. Корнелов.** Никель и его сплавы. 339 стр. Цена 21 р. 50 к.

**Н. А. Красильников.** Микроорганизмы почвы и высшие растения. 463 стр. Цена 24 р. 50 к.

**Я. А. Ленцман.** Происхождение христианства. 266 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Литература Германской Демократической Республики.** Сборник статей. 575 стр. Цена 23 р. 85 к.

**А. М. Некрич, Л. В. Позднеева.** Государственный строй и политические партии Великобритании. 263 стр. Цена 5 р.

**Ю. А. Поляков.** Московские трудящиеся в обороне советской столицы в 1919 г. 225 стр. Цена 8 р. 25 к.

**А. А. Пстапова.** Экспорт капитала — орудие экспансии США (после второй мировой войны). 237 стр. Цена 7 р. 60 к.

**В. Г. Пуцилло, М. Н. Соколова, С. И. Миранов.** Нефти и битумы Сибири. 245 стр. Цена 15 р. 80 к.

**А. В. Пясковский.** Революция 1905 — 1907 годов в Туркестане. 615 стр. Цена 30 р.

**Содружество стран социализма.** 337 стр. Цена 15 р. 70 к.

**А. А. Щербакова.** Андрей Николаевич Бекетов — выдающийся русский ботаник и общественный деятель. 255 стр. Цена 11 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Петр Никитин.** В стране фиордов. 128 стр. Цена 3 р.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Анри Аллег.** Допрос под пыткой. Перевод с французского. 59 стр. Цена 90 к.

**Жан Ануй.** Пьесы. Перевод с французского. 219 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Вопросы производительности в черной металлургии США и Англии.** (Отчет бригады английских специалистов о поездке в США). Перевод с английского. 383 стр. Цена 13 р. 90 к.

**Шарль Дюллен.** Воспоминания и заметки актера. Перевод с французского. 145 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Георгий Караславов.** Простые люди. Роман. Перевод с болгарского. 274 стр. Цена 10 р. 85 к.

**Д. Д. Г. Коул.** Капитализм в современном мире. Перевод с английского. 78 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Альберт Мальц.** Длинный день в короткой жизни. Роман. Перевод с английского. 105 стр. Цена 12 р. 40 к.

**Сэмюэль Элиот Морисон.** Хрестофор Колумб, мореплаватель. Перевод с английского. 212 стр. Цена 9 р. 75 к.

**В. Перло.** Империя финансовых магнатов. Перевод с английского. 540 стр. Цена 18 р. 50 к.

**Ивайло Петров.** Нонкина любовь. Повесть. Перевод с болгарского. 180 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Подрывная деятельность в Индонезии.** (Дело юнгеллагера М. Шмидта). Перевод с английского. 132 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Шри Чакраварти Раджагопалачария.** Человечество протестует. Статьи, речи и заявления по проблемам атомной войны и испытаний атомного оружия. Перевод с английского. 130 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Сеид Касем Риштия.** Афганистан в XIX веке. Перевод с персидского. 486 стр. Цена 17 р.

**Люциан Рудницкий.** Старое и новое. Перевод с польского. 190 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Поль Л. Сопер.** Основы искусства речи. Перевод с английского. 471 стр. Цена 10 р. 15 к.

**Стерьо Спассе.** Они были не одни. Роман. Перевод с албанского. 302 стр. Цена 9 р. 60 к.

**Чарльз Стопор.** Шерпы и снежный человек. Перевод с английского. 236 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Сукарно.** Сарина. Задачи женщин в борьбе Республики Индонезии. Перевод с индонезийского. 262 стр. Цена 7 р. 20 к.

**Чан Зан Тиен.** Рассказы о жизни и деятельности президента Хо Ши Мина. Перевод с вьетнамского. 117 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Якуб Увейс.** Конец карьеры Глабба в Иордании. Перевод с арабского. 109 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Х. Христов и К. Василев.** Димитр Благоев. (Биографический очерк). Перевод с болгарского. 106 стр. Цена 2 р.

**Прем Чайя.** Волшебный лотос. (Романтическая фантазия). Перевод с английского. 105 стр. Цена 1 р. 40 к.

#### МЕДГИЗ

**А. Б. Алексанян.** Дифтерия. (Эпидемиология и профилактика). 203 стр. Цена 6 р. 65 к.

**Е. Н. Боринская, И. С. Лукасик, Г. Ф. Маркова и др.** Лечебное питание. (Пособие для диетсестер и поваров больничных учреждений). 396 стр. Цена 11 р. 10 к.

**И. М. Гейзер, В. В. Вересаев** — писатель-врач. 148 стр. Цена 4 р. 15 к.

**С. Г. Геллерштейн.** Чувство времени и скорость двигательной реакции. 148 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Ф. И. Добромыльский.** Распознавание ранних форм туберкулеза верхних дыхательных путей. 116 стр. Цена 4 р. 80 к.

**Л. В. Поллер.** Санитарное благоустройство полевого колхозного стана. 56 стр. Цена 1 р. 30 к.

**М. Н. Сыроечковская.** Парафинолечение. 112 стр. Цена 2 р. 80 к.

**С. Р. Татевосов.** Грязелечение. 100 стр. Цена 2 р. 70 к.

**С. Н. Черкинский.** Гигиенические вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов. 200 стр. Цена 6 р. 40 к.

**Чжу Янь.** Достижения древнекитайской медицины. 88 стр. Цена 2 р. 5 к.

#### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**Е. Балабанович.** Дом А. П. Чехова в Москве. 206 стр. Цена 3 р. 50 к.

**А. Вьюрков.** Рассказы о старой Москве. Издание 2-е, дополненное. 386 стр. Цена 8 р. 40 к.



**Г. Деборин.** Социализм — мировая система. 127 стр. Цена 1 р. 50 к.

**А. Козловский.** Кровли из металлической чешуи. 66 стр. Цена 1 р. 15 к.

**А. Кольцов, И. Никитин, И. Суриков.** Избранное. 695 стр. Цена 11 р. 85 к.

**С. Красивский.** Управление производством на расстоянии. 93 стр. Цена 2 р. 50 к.

**К. Ломунов.** Музей Л. Н. Толстого в Москве. 195 стр. Цена 3 р. 40 к.

**В. Рязанов.** Планировка и застройка колхозного села. 105 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Е. Смирнова.** Реки и озера Московской области. 95 стр. Цена 1 р. 70 к.

**А. Соболев.** Марксизм-ленинизм о формах перехода от капитализма к социализму. 161 стр. Цена 1 р. 95 к.

#### ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. И. Ким и М. И. Зафран.** Практика изменения уставов колхозов (из опыта работы колхозов Казахской ССР). 56 стр. Цена 65 к.

**С. Малолин.** Государственный строй Швеции. 68 стр. Цена 75 к.

**И. Б. Редько.** Государственный строй Непала. 64 стр. Цена 70 к.

**Л. С. Явич.** Верховный Совет Таджикской ССР. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.




---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев,  
В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-78-97.

Сдано в набор 12/VII-58 г.

Подписано к печати 7/VIII-58 г.

А 07261. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 1317.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.

В следующей, 9-й книге  
«НОВОГО МИРА»  
будут напечатаны:

ВЗРЫВ

*повесть Сергея Снегова*

ДЕВУШКА ИЗ МИНИСТЕРСТВА

*повесть Норы Адамян*

ЮГ - РЕКА

*цикл стихотворений Александра Яшина*

ЗАМЕТКИ О МАСТЕРСТВЕ

*С. Маршака*

МЕСЯЦ В ИНДИИ

*путевые заметки*

*народного артиста РСФСР*

*Б. Бабочкина*